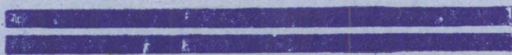


Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

5



1974

1974

# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания I

№ 5

Май, 1974 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПАБЛО НЕРУДА — Стихи разных лет. Предисловие и перевод с испанского Павла Грушко	3
А. КАШТАНОВ — Белые дома Толочи, рассказ	18
Ю. КРЕЛИН — Хирург, повесть. Окончание	58
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Радушие, стихи. Перевел с белорусского Валентин Корчагин	126
Л. ДУГИН — Лицей, роман	130
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
ВЛАДИМИР БАРДИН — Обыкновенная Антарктика	173
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ — С чего начинается...	194
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
<i>Академии наук СССР — 250 лет</i>	
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ — К 200-летию Всесоюзной Академии наук	203
Б. Н. ПЕТРОВ — Сверхения	213
<b>ИСКУССТВО</b>	
ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ — Пушкин. Толстой. Заметки к задуманным филь- мам. Публикация Валентины Козинцевой. Вступление Вл. Орлова	222

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<b>Б. СИДОРОВ</b> — Уроки Леонова	247
<b>МИКОЛАС СЛУЦКИС</b> — Одной жизнью с веком	252
<b>ЛЕВ ОЗЕРОВ</b> — Уцененные восторги	258
<b>ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ</b>	
<b>В. ЕЛИСЕЕВА</b> — Неужто не надоело?	264
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Л. Михайлова.</b> Отражение истории в человеке.— <b>Е. Квинович.</b> Оружием критики.	269
<i>Политика и наука</i>	
<b>Вал. Гольцев.</b> Накануне.— <b>Олег Моисеев.</b> Хлеб целины.— <b>П. Черкасов.</b> Мятая эскадра.	275
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>Е. Арэнзон.</b> — На ударных стройках. Рассказывают писатели и журналисты. Составитель <b>Л. С. Попов.</b> ♦ <b>Вс. Сахаров.</b> — Ксения Некрасова. Стихи. Составитель <b>Л. Е. Рубинштейн.</b> ♦ <b>Богдан Чалый.</b> — С. Алексеев. Небывалое бывает. ♦ <b>Б. Сарнов.</b> — Рембрандт. Автор текста и составитель альбома <b>Л. А. Ефремова</b>	234
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	288

---

---

ПАБЛО НЕРУДА  
★  
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С испанского

Смерть Пабло Неруды потрясла мир. Его похороны стали одной из ярких страниц сопротивления фашистской хунте: под дулами автоматов сотни людей проводили поэта в последний путь, пели у его могилы «Интернационал». Он был тяжело болен, но самоотверженно работал: заканчивал новые стихи, диктовал воспоминания. Его последние дни были исполнены не только физических страданий (ему было отказано в лекарствах), но и страданий душевных: на улицах чилийских городов озверевшая солдатня охотилась за его единомышленниками, друзьями...

12 июля этого года ему исполнилось бы семьдесят лет. Он прожил удивительную жизнь, полную ярких человеческих поступков, и выразил смысл своей жизни в простых и мудрых строках:

Умирал я со всеми, кто умер,  
поэтому я и выжил...

Это относится и к его жизни и к бессмертию его поэзии, которая не только помогает глубже осмыслить существо этого «яростного» столетия, но и будет открывать все новые и новые грани замечательного таланта Неруды.

Родившись в латиноамериканской глухомани в год, когда чилийская история словно остановилась, он стал одним из величайших чилийцев, величайших латиноамериканцев, одним из величайших людей. Его творчество сравнимо с вулканом, чья деятельность с годами не истощалась, а возрастала: во вторую половину своей творческой жизни, начиная с 1945 года, он написал в десять раз больше, чем в первую.

При всей огромности этой поэтической продукции, подавляющее большинство его текстов может стать хрестоматийным. Его ранние стихи похожи на поздние приверженностью к одному поэтическому материалу. Чистота, цельность, открытость, поразительная естественность — вот черты этой поэзии, в молекулярных недрах которой мы находим первородный материал, такие слова, как «вода», «земля», «камень», «листва», «птица», «ветер», «дерево». Образы Неруды похожи на терпкие откровения, на зарницы. Он описывает реальный мир, но хочет все назвать по-своему, заново. Этот «адамов» язык и есть источник и сокровищница поразительных метафор. В его стихах «волна, как бабочка морская, без усталости порхает над песком...», «псы — громкие, неумные, словно колокола», облако «лушит свой виноград», «деревья окольцованы водой», а человеческий глаз — «маленький волшебный шар, добрый малютка-спрут, добывающий из мрака свет, жемчужная реторта, агатовый магнит, порывистый фотограф, оторопелый первооткрыватель...».

В Советском Союзе стихи Неруды публиковались больше, чем в какой-либо другой не испаноговорящей стране. При всем при том у нас опубликована лишь малая часть из того, что он написал. В то же время, на мой взгляд, Неруда менее бесформен и более музыкален на испанском языке, чем в русских переводах. Именно эту естественность

дыхания, это «ничто — и почти что все», это органическое соединение, казалось бы, разнородных элементов в яркие и лаконичные образы и хочется передать средствами русской поэзии.

Многие его стихи, написанные задолго до последних чилийских событий, прочитываются словно написанные сегодня, как, например, стихотворение «Я буду жить» из «Всеобщей песни»: «Я не умру. Сегодня, в этот день, вулканами увенчанный, я кану в народ, я уйду в пространство жизни. Все это я хочу решить сегодня, сейчас, когда наемные убийцы, вооружившись «западной культурой», в Испании творят кровопролитие, и в Греции от виселиц темно, и Чили четвертовано бесчестьем,— всего не пережить... Я остаюсь с народами, дорогами, стихами, которые меня зовут — стучат руками звездными в мое окно».

Он любил поэзию, как живое существо, и благодарил ее за то, что она вознесла его «на выдающуюся высоту простолоудинов».

...за то, Поэзия,  
спасибо,  
что я изнашиваюсь,  
а ты неизносива...  
за то, что Время, которое меня  
мало-помалу перемелет в землю,  
позволит вечно течь  
потоку моего напева.

Павел ГРУШКО.

---

## ОДА ПОЭЗИИ

Поэзия,  
почти полвека  
мы неразлучны.  
Сначала  
ты путалась в ногах,  
я падал ничком  
на сумрачную землю  
и в лужу погружал глаза,  
чтобы увидеть звезды.  
А позже ты ко мне приникла —  
и обняла руками  
влюбленной девушки,  
вилась в моей крови,  
как плющ.  
Потом ты обернулась  
чашей.  
И было радостно  
расплескивать тебя, не истощая,  
поить тобою, не исчерпывая,  
смотреть, как маленькая капля,  
упав на тлеющее сердце,  
из пепла воскресала.  
А мне  
все было мало.  
Так долго мы были рядом,  
что я с тобою свыкся  
и видеть перестал,  
как будто ты была  
расплывчатой русалкой;

держал тебя за прачку,  
за продавщицу в булочной  
и за ткачиху,  
за кузнеца в цеху.  
И ты пошла за мной  
по белу свету,  
уже ты не была  
цветущим изваяньем детства,  
уже твой голос  
был голосом  
железа.  
А руки  
каменными.  
А сердце  
неистоцимым  
источником набатов.  
Ты выпекала горы хлеба,  
и помогала мне не падать  
ничком,  
и выбрала в друзья  
не женщину  
и не мужчину,  
а тысячи и миллионы  
мужчин и женщин.  
Поэзия, мы вместе  
шли в бой и в забастовку,  
на демонстрацию и в порт,  
спускались вместе в шахту,  
я хохотал, когда твой лоб  
был в угольных узорах,  
когда на лесопильне  
тебя венчала шапка  
благоухающих опилок.  
Уже в пути мы отдыха не знали.  
Нас ожидали группы  
рабочих в свежевystиранных блузах,  
под красными знаменами.  
И ты, Поэзия,  
такая робкая до той поры,  
шла в голове колонны,  
и все привыкли к твоей одежде  
обыденной звезды,  
и несмотря на то, что иногда  
волшебное сиянье выдавало  
твое происхождение,  
ты выполнила долг,  
шагая в ногу со многими.  
Я попросил тебя  
быть нужной и полезной,  
как железо или мука,  
готовой  
быть плугом, инструментом,  
вином и хлебом,—  
чтоб ты, Поэзия,  
была готовой к рукопашной,  
к тому, чтобы упасть,  
облиться кровью.

Сегодня, Поэзия,  
я говорю спасибо  
тебе — жене,  
сестре и матери,  
тебе — невесте,  
спасибо, прибойная волна,  
жасмин и знамя,  
музыкальный двигатель  
и длинный золотистый стебель,  
подводный колокол,  
неисчерпаемое зернохранилище,  
спасибо,  
отечество всех моих дней,  
мираж и плоть  
всех моих лет,  
за то, что ты со мной спустилась  
с разреженных высот  
к нехитрому  
бедняцкому застолью,  
за то, что душу мне обволокла  
землистым запахом  
и пламенем холодным,  
за то, что вознесла меня  
на выдающуюся высоту  
простолюдинов,  
за то, Поэзия,  
спасибо,  
что я изнашиваюсь,  
а ты неизносива,  
за то, что ты распространяешь  
свою уверенную свежесть,  
свой чистый трепет,  
за то, что Время, которое меня  
мало-помалу перемелет в землю,  
позволит вечно течь  
потoku моего напева.

## ТРУЦОБЫ

*(Печальный напев)*

На выходе из Сан-Антонио  
попал я в омут нищеты:  
скрипели стершиеся петли,  
устало причитали двери,  
готовясь отойти ко сну.  
То там, то здесь в разбитых окнах  
виднелись чахлые цветы,  
полузасохшая герань  
выпрастывала прогуляться  
свой грязно-охровый огонь.

В безмолвном этом запустенье  
за мной — из самой глубины глаз —  
следили дети: так глядит  
водою донною колодец.

Внезапно объявился ветер,  
казалось, он искал свой дом.

Вспорхнули мертвые газеты,  
и на мгновение лениво  
переменила место пыль.  
В перекосившемся окошке  
качнулась выцветшая тряпка,  
и снова стало все как было:  
застывший переулок, взгляды,  
похожие на мглу колодца,  
дома, которые, казалось,  
не ожидают никого,  
перекорезанные двери —  
все было твердым, запыленным,  
хотело смерти и рожденья:  
древесный омут нищеты,  
которая ждала пожара.

### ОДА ГЛАЗУ

Ты всемогущ,  
но легкая песчинка,  
комарья лапка,  
мельчайший полумиллиграмм  
пылинки  
попали в правый глаз —  
и мир поплыл, померк,  
и улицы  
гармошкой,  
а здания подернулись туманом,  
твоя подруга, дети и еда  
переменили цвет и стали  
не то тарантулом, не то кустом.

Оберегай свой глаз!

Глаз,  
маленький волшебный  
шар,  
ты в нашей глубине,  
как добрый  
малютка-спрут,  
из мрака добываешь  
свет,  
жемчужная реторта,  
агатный магнит,  
машинка,  
моментальное всего и всех,  
порывистый фотограф,  
французский живописец,  
оторопелый  
первооткрыватель.  
Глаз,  
ты дал огласку  
свету изумруда,



средишь  
за набуханием  
апельсина  
и контролируешь  
устав зари,  
соразмеряешь,  
предупреждаешь об опасности,  
спешишь к сиянию  
незнакомых глаз  
(и в сердце разгорается огонь!)  
и, словно миллионнолетний  
моллюск,  
весь поджимаешься,  
когда тебя ужалит  
кислота,  
читаешь  
банкирские гроссбухи  
и алфавит  
застенчивых учеников  
в колледжах Парагвая,  
Турции и Мальты,  
читаешь списки  
и романы,  
охватываешь волны и ручьи,  
всю географию,  
исследуешь  
и узнаешь свой флаг  
среди других  
в древнейшем море,  
и берегаешь тонущему  
синейший из портретов  
неба,  
а ночью  
крошечное твое окошко,  
закрываясь,  
открывается вовнутрь —  
в тоннель, ведущий  
к расплывчатой отчизне  
сновидений.

В селитряной пустыне  
я видел мертвеца,  
он был  
одним из сыновей селитры,  
братом песка.  
Во время забастовки,  
когда он полдничал  
с друзьями,  
его убили,  
и люди  
в его крови,  
которая опять  
в песок вернулась,  
смочили свои знамена  
и по суровой пампе  
побрели —  
и пели,

бросив вызов палачам.  
Я наклонился, чтобы прикоснуться  
к его лицу,  
и вдруг увидел  
в его умерших  
зрачках  
запечатленное навеки  
в них —  
живое знамя,  
которое несли  
в сраженье  
его поющие  
друзья, —  
там,  
как в колодце  
всей человечьей  
бесконечности,  
я вдруг увидел  
багряный этот стяг,  
похожий  
на пурпурный костер,  
на вечную  
гвоздику.

Глаз,  
тебя недоставало  
моей песне,  
и однажды,  
когда я снова вышел  
к океану,  
чтоб тронуть струны лиры  
и оды,  
ты мне учтиво  
дал понять, насколько  
я близорук:  
я любовался жизнью и землей,  
все видел,  
не видя собственного глаза!  
И ты позволил  
атому пылинки  
попасть  
под веко.  
И помутилось зренье.  
Мир  
почернел!  
И окулист в скафандре  
направил на меня свой луч  
и капнул  
адской каплей  
(как на устрицу)  
на мой зрачок.  
Потом,  
когда вернулось зренье,  
задумавшись  
(и восхищаясь  
просторными вечерними глазами  
моей подруги),

я стер свою неблагодарность  
этой одой,  
которую сейчас читают  
твои безвестные  
глаза.

### ЭТО Я ТАК...

Среди отбросов моря  
поищем самые ветхие:  
лиловые ножки крабов,  
головки умерших рыб,  
карликовые государства  
древесины и янтара —  
все, что упрямое море  
безуспешно хотело разъять,  
расчленило и вынесло,  
оставило нам в наследство:  
свившиеся лепестки,  
взлохмаченный хлопок бури,  
беспольные бусы воды,  
нежные косточки птиц,  
грезящие полетом.

Забывтые морем останки —  
ветер ими играет,  
их обнимает солнце,  
а Время, живущее в скалах,  
трогает их, считает.

Все водоросли я знаю,  
глаза белесые дюн,  
маленькие базары  
осенних приливов: я здесь  
брожу пеликаном грузным,  
подбираю мокрые гнезда,  
губку, влюбленную в ветер, —  
эти губы донного мрака,  
но нет ничего страшней,  
чем след кораблекрушенья —  
легкие скорбные щепки,  
искусанные волнами,  
порабощенные смертью.

Повсюду надо искать  
призрачные остатки:  
на синем краю безмолвья  
или там, где промчался,  
как поезд, громила смерч, —  
искать неясные знаки,  
монеты воды и времени,  
отбросы, лазурный пепел —  
несравненное опьяненье  
от участия в тяжких трудах  
одиначества и песка.

### МАГНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Чем больше поцелуев и блужданий,  
тем больше книг. И если в книге нет  
любви, дорог, пространства, всех мужчин  
и женщин в каждой из бумажных клеток —  
желанья, злости, голода, — она  
ни колоколом, ни щитом не станет —  
ей не расклеить сомкнутых ресниц,  
рта, посиневшего от назиданий.

Я полюбил молчанье брачных роц,  
искал стихи в полях любви и крови,  
на голом камне выпестовал розу,  
за чью любовь роса дралась с пожаром.

Поэтому я смог в скитаньях петь.

### ОКРАИНА ВО МГЛЕ

Поэзия, ты покидаешь душу —  
или душа гнушается тобою?  
Вчера в последних отблесках заката  
я был в руинах сыростью слепою.

Над городами ненависть и копоть,  
глухое омерзение окраин,  
контора, пригибающая спины,  
где хмуρο озирается хозяин.

Зарница кровью на холмы плеснула,  
на площади и улочек излуки,  
там, где сердца, разбитые печалью,  
от слез гноятся и от смертной скуки.

Река в потемках шарит, обнимая  
рукой студеной гиблое предместье,  
и звездам, разгоревшимся во мраке,  
купанье в этих водах — как бесчестье.

Дома свои томленья и желанья  
за блещущими окнами укрыли,  
а ветер, обитающий снаружи,  
на розах оседает слоem пыли.

А там, вдэли, — туман воспоминаний,  
размытый мол, белесый дым болота,  
сопящие волы, поля — там зелень! —  
и люди, чьи тела блестят от пота.

А я в руинах этих прорастаю  
росточком квелым всей земной недоли.  
Как будто горе — зернышко слепое,  
а я — единственное в мире поле.

### НЕЗНАКОМЕЦ

Стремясь постигнуть все, чего не знаю,  
я наугад стучусь в любую дверь,  
мне открывают, я вхожу, гляжу  
на дряхлые портреты, стул, кровать,  
солонку в этой вотчине мужчины  
и женщины, и только лишь потом  
я вижу, что для них я незнакомец.  
Я выхожу на улицу, не зная,  
какая это улица, и сколько  
она людей навеки поглотила,  
и сколько гомонящих нищих женщин  
и тружеников разных рас, чья жизнь  
им жалкое дала вознаграждение.

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нахмуренные горы,  
небо-камень —  
смотрите, иностранцы, вот оно,  
мое отечество, здесь я родился,  
мои виденья обитают здесь.

Кораблик стелется по синеве,  
по средоточию всемирной сини,  
вдоль берега — вдоль самой протяженной  
каймы вселенского уединенья,  
здесь бесконечны белые пески,  
салятся и встают нагие горы,  
пустынная земля течет вдоль моря,  
объятая железистой кончиной...

Когда растения настигла смерть  
и зелень нежная ушла в изгнание —  
все с высоты испепедило солнце,  
все из глубин окаменила соль.

И стали проступать из-под земли  
древнейшие из минеральных звезд,  
и обнажился весь костяк планеты  
там, где безмолвье затвердело камнем.

Простите, иностранцы,  
за сквозное  
уединенье нашего пространства,  
за то, что длятся дами.  
И однако  
здесь корни снов моих и озарений,  
мы любим этот нелюдимый свет,  
и как ни тяжело здесь, но, не кичась,  
с достоинством ночного минерала  
живет на этих долгих дюнах честь.

## ОКЕАН

Тело чище воды,  
линия, умытая солью,  
светлая птица,  
парящая без корней.

## НЕПОГОДА С ТИШИНОЙ

Над соснами загромыхало небо.  
И облако лущит свой виноград,  
вода сошла со всех глухих небес,  
ее прозрачность развеивает ветер,  
деревья окольцованы водой,  
большими бусами летучих слез.

Опять земля  
по капле  
копит дождь.

Бездомный гром  
над соснами летает  
и над водою — сиплое движенье,  
пожухлый грохот,  
словно бы на небе  
передвигают мебель.

Задевая  
за тучи, с выси падают на землю  
рояли неба, синие комоды,  
хрустальные кровати и диваны.

И ветер все уносит восвояси.

А дождь подсчитывает и поет.

Струится с неба алфавит воды,  
расплющивая гласные свои  
о кровли:  
полустертый манускрипт,  
соната, расточенная по капле  
душа воды и скоропись воды.

Ненястье отступило, но теперь  
у тишины уже иная нота.

## ГЛАГОЛ

Я скомкаю это слово,  
помну,  
уж слишком оно  
гладкое,  
как если бы  
большая собака или большая река  
его вылизывали долгие годы  
языком или водой.

Хочу, чтобы в слове была  
 шероховатость,  
 короста соли,  
 беззубая щербатость  
 земли,  
 кровь говорящих  
 или молчащих.  
 Хочу почувствовать жажду  
 слова —  
 ожечься пламенем  
 звука,  
 услышать мглу  
 крика. Люблю  
 шершавые  
 девственно-каменные  
 слова.

### ВЕСНА

Со светом в клюве  
 прилетела птица:  
 из каждой трели  
 родилась вода.

Между водой и светом воздух вырос:  
 уже открыта выставка весны,  
 и семечко узнало, что взошло,  
 и корень отразился в лепестках,  
 и повела ресницами пыльца.

А все пичужка  
 на зеленой ветке.

### НОЧЬ НА ЧЕРНОМ ОСТРОВЕ

Расхристанная соль и древний мрак  
 штурмуют стены дома моего:  
 так одинока темнота, а небо —  
 вздох океана;  
 темнота и небо  
 взрываются, бесформенно бунтуют,  
 всю ночь ведут отчаянную тяжбу,  
 никто не знает, как точней наречь  
 свирепый свет, который глухо брезжит,  
 как мякоть переспелого плода:  
 так нарождается на побережье  
 от злобной мглы угрюмая заря,  
 искусанная движущейся солью  
 и взбаламученная грузной ночью  
 в своем кровавом кратере морском.

### ОПАСНОСТЬ

Предупредили: осторожней,  
 не поскользнитесь на паркете,  
 на мокрой глине, на снегу.

Ну что ж, сказали мы, на льду  
мы постараемся не падать.  
Но вышло так, что под ногами  
все начало внезапно плыть,  
и все мы стали кувыркаться.

А это кровь была.

Она  
текла из секретариатов,  
с постов, захваченных разбоем,  
текла по мраморным ступеням  
и затопила поле, город,  
редакции газет, театры,  
хранилища людского пепла,  
полковничьи застенки.

Кровь  
окопы с верхом залила,  
струилась из войны в войну,  
по миллионам мертвых глаз,  
которые лишь кровь видали.

Так было — я могу поклясться.  
Возможно, в жизни вы скользили  
лишь на снегу или на льду.

Мне выпала другая доля —  
оскальзываться на крови.

### ПОГЛЯДИМ

Бог с нею — кончим созерцать  
изменчивую атмосферу,  
где все зависит от дождевки,  
тумана, запаха левкоев;  
ты не успел моргнуть, а небо  
уже рубаху поменяло.

Войдем в себя самих — войди  
в свой коридор, в свой календарь,  
а главное, войди в чулан,  
где мебель старую хранишь,  
давно погаснувшие лампы,  
печальные размолвки, стычки,  
полуизгнившие секреты,  
ключи, упавшие на дно.

Заглянем ниже этажом,  
откупорим крошечный ад,  
откуда слышатся мольбы  
на незнакомых языках,  
понятных одному тебе,  
хоть ты и затыкаешь уши,  
когда тебе кричат из ада —  
из памяти твоей бессонной.



## НАШПИГОВАЛИ ВОЗДУХ БУКВЫ..

Нашпиговали воздух буквы —  
и расцвели глухие звуки,  
соединились континенты,  
и скоро на любом прилавке  
мы купим новенькую печень  
и сердце, годное вполне,  
уже цветут земные знаки  
на голых пустошах Луны.

Победа это или зло?  
Что это — горе или радость?

Чтоб радость наша не ушла,  
отметим все это слезами,  
а лучше, на худой конец,  
все это радостно оплачем.

## УЖ ТАКИЕ МЫ ЕСТЬ

Коль вам известно, что и как,  
скажите или утаите,  
но я-то понял, пусть и поздно,  
что вовсе ничего не знаю  
и не узнаю никогда,  
и я, приноровясь к незнанию,  
настолько мало знал, что все  
сказали: этот знает все!

Я понимал, что это ложь,  
но свыкся и, махнув рукой,  
их лживость посчитал за правду.

(Что нужно сделать, чтобы знать?  
Чтобы не знать, что нужно сделать?  
Поднаторевшие во лжи  
все так же правду говорят?)

## ОСЕНЬ

К моей топазовой отчизне  
я добавляю вечный колос,  
приладив к этому букету  
то, что теперь всего желтей,—  
мой осенние творенья.

## ВЫМЫТЬ РЕБЕНКА

Любовь, лишь древняя любовь земли  
сумеет вымыть статую ребенка,  
поднять, поставить, укрепить коленки,  
и вдруг течет вода, и мыло пляшет,

и тело свежее спешит на волю  
и дышит чистым воздухом цветов  
и матери.

О ласковый подвох,  
надзор чистейший,  
нежная война!

Казалось, не распутать эти космы,  
похожие на шкуру, на колтун,  
где все смешалось — масло и опилки,  
рачки, колючки, сажа и песок,  
покамест терпеливая  
любовь  
не призвала ушаты и мочалку,  
гребенки, полотенца — и давай  
тереть, расчесывать, янтарить, мыть,  
жасминить, первобытно опекать,  
пока малыш не стал новей, и тут же  
из материнских рук освободился,  
и снова оседлал циклон, и стал  
искать навоз, чернила, кувыркаться  
среди камней, царапать ноги в кровь.  
Так, свежевывмытый, он жить спешит,  
поскольку позже сможет он хоть вечность  
быть чистым, но уже не будет жизни.

*Перевод ПАВЕЛ ГРУШКО.*



---

---

А. КАШТАНОВ

★

## БЕЛЫЕ ДОМА ТОЛОЧИ

Рассказ

1

**Т**ут иначе не скажешь. Семен должен был набить морду Протасене, бывшему мужу Кати. Он должен был набить морду слабосильному, источенному какой-то скрытой нервностью человеку, и при мысли об этом становилось не по себе.

Если бы Протасеня попался под горячую руку, сразу, когда Мурашко сказал в раздевалке: «Кто это твоей Катьке фонарь подвесил? Поработал мужик на совесть, ввалил так ввалил». Кулаки Семена тогда сами сжались — тогда бы попасться Протасене!

Он успел увидеть сестру до начала смены. Катя собиралась уже лезть на кран, он задержал ее у лестницы. Пока шел сюда, на плавку, злость обернулась против сестры. Опять у нее не слава богу...

«Ты что ж без брюк-то?» — спросил он. И всегда его раздражало, что она может полезть вверх по железной лестнице в платье, с голыми ногами. «А-а, кто на меня смотрит, — сказала Катя. — Жарища». «Ты бы совсем разделась, — сказал он и увидел темный синяк над губой, сбоку носа. — Шурик постарался, что ли?» «Ударилась об угол. Впотьмах». Наверно, ей больно было улыбаться, улыбка вышла кривая, и тут Семену стало так ее жалко, что попадись бы сейчас Протасеня... «Опять с ним связалась, да?» — «Говорю же, об угол. Тебе-то что за дело?» Катя полезла наверх, он удержал ее за руку: «Так мне, мне перед людьми стыдно, если тебе не стыдно!» «Он не ко мне, кстати, ходит, а к своим дитям». — «Ага, значит, он тебе приварил, он? Я ему морду набью! Сегодня! К дитям... Дитям семнадцать лет, в армию идти, как-нибудь обойдутся без него!» «Много ты понимаешь», — сказала Катя и полезла на кран.

Стоит утром случиться неприятности, весь день все идет вкривь и вкось. Семен забыл по пути с работы купить творог для Игорька. Зина сказала: «Я так и знала». Он ничего не ответил, но (он обедал в это время, теща подавала на стол, а Зина стирала в ванной, из ванной спросила: «Творог взял?» — он сказал: «Забыл» — и она сказала: «Я так и знала») толкнул от себя тарелку и ушел из кухни. И главное, он действительно забыл купить творог, и вроде бы по-ихнему действительно получалось, что они правы. «Ты фокусы свои при себе оставь, — сказала теща. — Хоть бы сейчас-то посовестился».

Она намекала, что Зина донашивает последние дни. Он, причесываясь в прихожей перед зеркалом, видел через раскрытую дверь в ванной синие, почти черные клубки вен на Зининых ногах. Он не мог на них смотреть. Игорька она родила легко, а вторую беременность тяжело переносила, и, лежа ночью рядом с женой, Семен не раз замирал от жалости к ней, от невольного, непривычного изумления перед

значительностью ее жизни и заботы, от желания все для нее сделать и жить ради нее. Но сейчас было только раздражение. Как он ни поступит и что ни скажет, жена будет права. Он бесполезен, ему нечем заняться в доме, а она стирает его рубашки, и нужно быть благодарным ей, но вместо благодарности опять раздражение, потому что стирает она в ванне, а стиральная машина, которую Семен купил полгода назад, стоит, занятая грязным бельем, и он никакими доводами не может заставить Зину стирать рубашки в машине, раз соседки внушили ей, что машина рвет. «Вы одни об ней заботитесь,— ответил он теще и, расстегнув все пуговицы на своей модной пестрой рубашке, так что она разошлась и клинышком обнажила волосы на груди, посмотрел в зеркало и увидел, что хорошо.— Вы одни об ней заботитесь, чего же она стирает на девятом месяце? Вы же приехали доглядать. Так вы доглядайте». «Паразит,— сказала Зина.— Мама, не слушайте его».

А ведь он не пьет, он получает двести в месяц, не меньше, иногда и больше выходит, и все приносит домой. Он ходит в магазины, моет полы. Даже теще в первый раз, как увидела его с тряпкой в руке, стыдно стало и она закричала на дочь: «Мужик у тебя полы моет! Леня раньше тебя родилась!» — а он только смеялся: «Мама, тот не солдат, кто полы лучше любой женщины не надраит». Он никогда пальцем ее не тронул. Пожила бы она с Протасеней. А может, и лучше была бы, если бы он, как Протасеня... Такой это народ. Он опять вспомнил, что должен идти к Протасене, и понял, что в таком состоянии, как сейчас, сможет. «Я пошел за творогом,— сказал он, не ответив на «паразита».— И к Протасене зайду». Женщины промолчали. «Надо старое пальтецо Володиного посмотреть,— объяснил он излишне подробно.— Игорьку уже, наверно, впору». «Хочешь идти, так пальто не приплетай.— сказала Зина.— Всяку рвань в дом нести. Справим новое». Она не любит вещи с чужого плеча. Все подавай новое. Вот так ему сына балуют. Семен до зеркального блеска начистил туфли и вышел.

Кончался август — сухой, с уже холодными ночами и теплыми солнечными днями, с первыми желтыми листьями на асфальте. Семен не стал садиться в автобус, а пошел пешком. Приятно поскрипывали начищенные черные туфли, стрелка белых брюк была безукоризненна, а пеструю свою, с рисунком из лиловых и голубых завитушек рубашку он оставил расстегнутой, как у всех парней.

Он поглядывал на загорелых, нарядных девушек. Каждый раз теперь, куда бы он ни шел, надеялся встретить Стеллу. Он был уверен, что ту девушку зовут Стелла. В середине мая однажды опаздывал на работу — болела Зина, температурил Игорек — и увидел эту девушку в густой толпе перед проходной, смуглую, в светлом платье. С тех пор каждое утро надеялся ее увидеть и однажды увидел в конце июля, потом на следующий день, вскоре еще раз и больше уже не видел. Он проходил вертушку в проходной в семь двадцать пять — цех был в конце завода, нужно было успеть переодеться в гардеробе и в семь сорок стоять на месте. А она проходила вертушку, он заметил, не раньше семи тридцати.

Сокращая путь, Семен решил идти через завод.

На при заводской площади стояли два голубых «КамАЗа» с надписями мелом на бортах: «Перегон». Вокруг толпились любопытные, заглядывали в кабины. Перед центральной проходной было непривычно пусто. Вот бы сейчас вышла из нее эта девчонка... Семен показал пропуск охраннице, прошел аллею почета с портретами передовиков по обе стороны. Дальше начиналась главная аллея, срослись кронами стриженные липы, а вплотную за ней виднелись красные с белым стены механических корпусов. Еще дальше липы стояли желтыми —

здесь громыхали литейные цехи. За ними была Южная проходная, и, еще раз показав пропуск, Семен очутился за заводской стеной — и за городом. Сразу запахло травой и землей. Серая тропинка, поднимаясь на зеленый холм, пружинила под ногами. Потянуло деревенским ветром. Задышалось легко и глубоко, зазвенело в ушах. С холма открылись далеко на горизонте белые дома-башни нового микрорайона Толочи. Там жила Катя. Сразу за холмом в узком овраге шла колея заводской железнодорожной ветки, и тропинка, круто спускаясь, перебежала ее, еще круче выбиралась из оврага в поле и шагов через пятьдесят превращалась в проселок, уходящий к микрорайону. Вдоль проселка, как вдоль улицы, по одну его сторону стояли в ожидании сноса деревенские домики, отделенные друг от друга огородами. Ближним к заводу был дом Протасени.

В овраге пахла полынь. Взбираясь вверх, Семен хватался руками за ее кустики. У сарайчика перед домом тонко пахло крапивой и тут же — нагретым листом смородины. С годами эти запахи все сильнее тревожили Семена, как ускользящее воспоминание, которое, кажется, вот-вот всплывет в памяти.

Игорька сюда нельзя привозить. У Игорька аллергия. От одуванчиков и сена, от кислых запахов у него мгновенно воспаляется нос и начинается мучительный зуд в ушах, а то и красная сыпь выступает по телу. Игорьку деревня противопоказана. «Где такое видано?» — упрямо не верит теща. Семен и сам не знал раньше, что бывает такое, а врач говорит — это сейчас очень даже часто. Может быть, с возрастом пройдет.

Еще жарко припекало солнце, а тень от холма была холодна. На нее накладывалась тень завода. Отсюда завод неуютен — здесь его изнанка. Слепые, закопченные стены шихтовых дворов — стальцега и чугулки, к ним примыкают бурые металлоконструкции подкрановых путей, наверху со скрежетом дергаются мостовые краны, магнитные шайбы таскают железный лом. Поодаль высокая кирпичная труба стальцега, дым стоит вертикально. Неустойчивое равновесие августовского вечера держит его, но случись слабое колебание воздуха — и он повалит сюда или пойдет на белый микрорайон.

Сейчас дым стоял неподвижно, и сильно пахла смородина, расслабляя душу. Семен со страхом чувствовал, что с каждым мгновением все меньше решимости у него ударить человека, и, не давая умиротворению захватить его целиком, торопливо прошел мимо грядок, толкнул дверь, она не поддавалась, он громко застучал. Он старался вспомнить и вызвать в себе ощущение, которое было, когда Мурашко сказал: «Поработал мужик на совесть, ввалил так ввалил».

Послышались шаги Протасени. Брякнул запор, дернулась дверь, но не отворилась. Протасеня молча вернулся в комнату. Семену пришлось самому отворить и идти следом.

Он гарашил глаза, привыкая к сумраку. Протасеня наткнулся на сервант (звякнул хрусталь на стеклянной полочке), лег на диван-кровать, голова на подушке, ладонь под щекой. Изображает обиду на всю семью Ефимовых. Комик. Между ним и Семеном почти вплитык к диван-кровати стоял круглый обеденный стол под скатертью.

— Слушай, ты, — фальшивым голосом начал Семен. — Я тебя предупреждал. Если ты еще раз тронешь Катьку — прибью, понял?

Нехорошо получилось. Очередное предупреждение, и только.

Протасеня молчал, и тут стол, разделяющий их, оказался кстати. Семен рванул его в сторону, схватил Протасеню за ворот, посадил.

— Понял, нет?

Голова Протасени мотнулась.

— Понял, нет?

— Понял.

— То-то,— с облегчением оттого, что дело сделано, сказал Семен и отпустил руки.

Помолчали. Протасеня, приходя в себя, сказал:

— Понял, так твою...

Изобразить оскорбленную добродетель ему не удалось, и он вошел в более привычную роль.

— Смотри,— не очень уверенно сказал Семен.

— Так твою, Сеня, Сеня... Выпьем, что ли, так и разэдак?

— Не буду я с тобой пить.

— А иди ты строить из себя,— деланно возмутился Протасеня, как будто Семен шел сюда выпить и вдруг ни с того ни с сего начал ломаться.

Он знал, что Семен не любит и не может пить. Он уже смотрел на Семена так, словно видел что-то смешное, что Семену никогда не увидеть в себе. Он уже посмеивался — тот самый шут Протасеня, от которого всегда ждут забавного словечка или выходки, «комик в жизни, злодей на сцене». Поднялся, похлопал Семена по плечу. Доставал бутылку «экстры», распечатывал ее, ставил на стол стаканы, а язык молот без остановки, без передышки, механически, сам по себе: «Давай, Сеня, давай, дорогой Сеня, давай, шуряк» — и ругался все забористее, веселее, явно издеваясь, презирая и побаиваясь Семена, дразня не только Семена, но и свой страх. «Садись, Семен Михалыч, гостем дорогим будешь, бутылку принесешь — хозяином будешь, ради гостя дорогого я на все, на все готова, для хорошего человека и дерьма не жалко, ну так понеслась душа в рай, не хотите — как хотите, наше дело предложить, ваше дело отказаться, пусть нам будет хуже, так вас разэдак, ну, будьте здоровы, Семен Михалыч, Сеня, Сеня, ах ты Сеня, Сеня новая моя...» И, налив себе чуть-чуть, закрывая стакан рукой, чтоб не видно было, сколько налито, Протасеня запрокинул голову, выпил одним духом и крякнул, словно стакан был полным. Семен знал эти его фокусы. Что было делать? Стоять дурак дураком? Он сел на стул.

— Нет, ты скажи...

Протасеня нашел рукой диван сзади себя, уже входя в роль пьяного, опустился и потянулся к Семену, но Семен отстранил его рукой. Протасеня обиделся. Черт его знает, может быть, всерьез.

— Вот ты как... Нет, ты все-таки скажи: я зла кому желаю? Я семью разрушил или она? Я ее жизнь погубил или она мою?

— Не трогай ее, понял? Не лезь к ней.

— Нет, ты скажи: я ее жизнь погубил или она мою единственную жизнь погубила, которая дается человеку один раз? Ты скажи.

— Надо было тогда как следует по рукам тебе дать. Жаль, я в армии был.

— Ты, Сеня, парень умный. Ничего не скажешь, ты умный парень. Ответь: можно к пьяному мужику лезть? Ну хорошо, собака я, такой-рассякой, но ты утром поговори, когда просплюсь, а к пьяному под руку что лезть? Что за глупая привычка? Соображала она? Ни разу не соображала! Другая подушку под голову положит, разденет, скажет: «Спи, дорогуля», а уж утром по ем поедит. Так нормальные люди поступают. Умно. А это что за баба? Говорил же, каждый же раз говорил ей: «Уйди от греха, уйди, Катька, от греха». Нет, пока свое не получит, не отстанет. Это правильно?

Эти самые слова и Семен всегда говорил сестре и теперь опять почувствовал досаду на нее. Но своего сочувствия он не показал:

— Что с тобой говорить, межеумком.

— Конечно, что тебе, умному, со мной говорить.

— Ладно, что тогда было, то прошло. Чужие они тебе теперь.

— Давай малость, Сеня, для настроения.— Протасеня налил понемногу в оба стакана и, так как Семен отмахнулся от своего, держал их в руках.— Все мы здесь с Катькой сделали. Сами. Руки у нее — даром что баба, — руки у нее золотые... — Он как бы нечаянно вложил стакан Семену в руку.— Знаешь, сколько ей было, когда мы яму под дом начали рыть? Восемнадцать было! Я как теперь помню — семнадцать лет уже прошло! — апрель был, дожди заладили, что твоя осень, Катька в сапогах резиновых... Ну, будь здоров, Семен.— Он стукнул стакан Семена своим, выпил.

Семен тоже выпил.

— Десять лет мы тут горбатились, — говорил Протасеня.— Ни часу отдыха. И работа у каждого, и огород еще свое требовал, и пацанов двоих незаметно вырастили. И, по бревнышку, все сами. И крышу сами. Ну, на отопление, на водопровод, ну еще кое на что нанимали, а так все сами. Она хотела, чтобы сами. Нет, ты скажи, что теперешние соплячки могут в восемнадцать? Что ты можешь? Конкретно ты? Ничего не можешь. Потому что дурак. Ну ладно, давай. Не обижайся.

Он опять стал наливать, и Семен, которому от водки всегда бывало плохо, испуганно сказал:

— Мне немного... Хватит.

Выпили.

— Я, конечно, сам виноват, — сказал Протасеня.— Но крутила она. Ты этого не знал, а я знал. Как последняя крутила.

— С кем?

— Со всеми.

— Ты видел?

— Знаю.

— Нет, ты видел?

— Меня, Сеня, не обманешь.

— Дурак ты, — сказал Семен и подумал, что зря полез не в свое дело.

— Я бы ей все простил. Для кого я старался все это? Для себя? Ты говоришь, чужие они мне...

— Ты не обижайся, — сказал Семен.

— Я обижаюсь. Я обижен, Сеня.

— А ты плуй на все, — посоветовал Семен.

— Я ей говорил: я все прощу, все забуду, признайся, говорю, крутишь? Я ведь все равно знаю, признайся, говорю, и все. Все забуду. И не лезь никогда к пьяному, говорю. К пьяному лезть — глупое ведь дело.

— Это точно, — сказал Семен.— Ты знаешь что? Ты к ней сейчас не ходи. Она тебе сейчас чужая. Свидетелей поставит — соседок, например, — побои снимут, и будь здоров на три года. Я такой случай знаю. Баба специально свидетелей подговорила, сама же первая его двинула, и мужик три года схлопотал. И на суде говорили, что она первая к нему полезла, и все равно — ей ничего, а ему три года. Так что ты теперь к ней не лезь, она чужая, зачем тебе это?

— Ладно, Сеня, держи пять, — схватил его руку Протасеня.— Договорились.

— Ну вот, так-то лучше, — сказал Семен.

Кажется, этого он и хотел, но отчего-то было не по себе.

Первым за четверть часа до начала смены приходил на участок Мурашко. В цехе было еще тихо и прохладно, и воздух еще был прозрачен. Кое-где силели пневмошланги. Давно отдымили, остыли от-

ливки второй смены. Черные, с остатками пригоревшей земли, они висели на еще неподвижном конвейере вдоль стены. Через четверть часа обрубщики начнут кранбалками снимать их с конвейера и перевозить по воздуху на участок Кастрицкого, выставлять на чугунных плитах пола. Включат пневмозубила, склонятся над отливками, с оглушительным грохотом и визгом начнется обдирка, посереет воздух, уплотняясь шумом.

Мурашко обходил конвейер, выглядывая себе отливки поаккуратнее, повыгоднее. Подцепляя их кранбалочной цепью, перевозил к себе. Недаром когда Семен или Гриша Шамаль сделают свою первую отливку, у Мурашко будет готово две. За ним никому не угнаться.

Потом появлялся сварщик Бакунчик. Они с Мурашко выкуривали по сигарете. Иногда говорили про футбол, про политику. Мурашко любил порассуждать, Бакунчик только кивал: да, ну, ну ясно. С Бакунчиком особенно не поговоришь. Первые дни Семен путал его с Мурашко, а теперь кажется — ничего у них нет общего.

Бакунчик шел к шкафчику сварщиков, доставал электроды, инструмент. Нацеплял на лоб защитные очки — такие, как у обрубщиков, но с темными стеклами. У Бакунчика красивый седой затылок. Бывает седина тусклая, бурая, а у него сзади словно фольга конфетная от уха к уху наклеена, а под ней, над брезентовым воротом малиновая полоска широкой шеи. У него и лицо красивое, с гладкой кожей, правда не такое красивое, как на портрете в заводской галерее Героев Социалистического Труда.

Приходили остальные. Их всех восемь человек. Два сварщика — Бакунчик и Пирогов, их место чуть поодаль, от обрубщиков отгорожено невысоким стальным щитом. Рома Лошак и Костя-глухонемой — на «мелочи», они в своем углу, их отливки можно таскать руками, без помощи кранбалки. А остальные — Мурашко, Сонич, Гришка Шамаль и Семен — на крупном литье.

Смутная тревога после разговора с Протасеней пережила ночь и не отпускала Семена утром. И не было желания увидеть ту девушку перед проходной. Наверно, она ходит теперь в другом платье, а он все выискивает в толпе белое. Разве найдешь человека в таком потоке? И чем уж она от других отличается, все друг друга стоят. Семен не стал задерживаться у проходной до семи тридцати.

В гардеробе натягивал брезентовые штаны Рома Лошак. Мурашко когда-то пытался прозвать его «четверть лошака» — из-за маленького роста и худобы, — но не привилось. Семен долго не мог определить возраст Ромы. Безбровое сморщенное лицо то казалось детским, то совсем стариковским. По всему, ему было близко к пятидесяти, но держался он с молодежью как ровня, даже заискивал.

— Как, Сема, дела?

Семен промывчал в ответ, заранее озлобляясь на чрезмерную общительность Ромы. Ну что тому Лошаку его дела?

— Маленький Ефимов не появился? Или ты Ефимову ждешь? Ты жене кого заказывал? Ефимова или Ефимову?

— Лошака заказывал.

— Я своей заказал двух мальцов, она и выдала двух мальцов. Надо уметь заказывать.

— В следующий раз тебя попрошу, чтоб рыжие были, с веснушками.

— Всегда рад помочь товарищу, — сказал Лошак. Он пролез между локтем Семена и шкафом, опасаясь, что Семен прижмет его плечом, выбрался в проход и, довольный разговором, заспешил к выходу.

Семен слышал, как он закричал в дверях: «А-а! Туши свет, сли-



вай воду!» Это из Гришиного репертуара (Гриша произносит «ваду»), а Лошак с каждым старается говорить его языком.

Шкафчик Лошака справа, а шкафчик Шамалья слева от Семена.

— Ну, сливай воду,— сказал Гриша, на ходу стаскивая через голову рубашку.— Я сегодня не работник. Силов нет.

— Гулял? — спросил Семен, пересиливая раздражение. Они вдвоем были самыми молодыми в бригаде и оттого во всем тайно соперничали.

— Погуливал.

— С Тамарой?

— Сема, друг народа, ты меня смешишь. Тамара на десять лет моложе Михайлы Ломоносова, а я еще маленький. Мне еще двадцать первый годик, Сема.

— Маленький, а уже жирный, Шамаль,— сказал Семен, обидевшись на «друг народа». Он ведь просил Гришку не называть его «друг народа».

— Какой же я жирный? Восемьдесят килограммчиков равномерно приходятся на мои сто восемьдесят четыре сантиметрика.

— Если бы равномерно,— сказал Семен. Он, сидя на полу, зашнуровывал тяжелые спецботинки с металлическими носками. Поднялся, запер шкаф.

Голый Шамаль стоял босиком на газете. Он не был жирным, но был по-детски припухлым и гладким.

— Подожди, Сема, вместе пойдем.

Гардероб и обрубка в разных корпусах. Нужно пройти по галерее, из окон которой видны верхушки желтеющих лип и пустынная улица под ними, потом спуститься по железной лестнице, приваренной к цеховой стене. У лестницы Семен и Шамаль нагнали сварщика Пирогова. Шамаль с разбегу повис сзади на Пирогове и ловко отпихивался ногами от стены и трубчатого поручня, так что Пирогов никак не мог его скинуть и доез до низа. У подвешенного конвейера сидели в ожидании смены женщины, наблюдали за ними и посмеивались. Им приятно было смотреть, какой сильный и большой Пирогов.

— Ты б, Миша, двинул его раз,— советовали они.— Все б ему на других ездить!

Пирогов улыбался. Семен на его месте прижал бы Шамалья спиной к стене, вот смеху бы было...

— Все б мне ездить,— задержался около женщин Шамаль.— Да на вас не больно-то поездишь, сливай воду.

— И без тебя есть кому ездить.

— Нужен ты больно!

— Таких, как ты, на Комаровке десятков на рупь дают!

Шамаль понял, что сейчас его заклюют, и ловко сманеврировал, прицепился к молоденькой Усовой:

— А ты, Усова, на Пирогова глаз не клади, он парень окольцованный. Ты на меня лучше смотри.

Усова от неожиданности не нашлась с ответом, покраснела, и это заметили. Теперь Шамаль в безопасности, теперь ему рай.

— Ну, не хотите насовсем, возьмите кто хоть напрокат! На три месяца сроком! Кормежка и амортизация да бутылку в день поставите...

Конвейер дернулся, закачались на нем отливки, заструился кое-где песок, и тут же все остановилось. Видно, кто-то нажал кнопку. Семен и Пирогов, оставив Шамалья, нырнули под висящие отливки, перелезли через рольганг и оказались на участке. Там, где с конвейера снимают отливки, толпились обрубщики. Мурашко чем-то возму-

щался, остальные слушали. Семен заметил: Мурашко сегодня не заготовил себе выгодных отливок. Значит, и выбрать не из чего, все отливки плохие. Если вчера на земледелке гнали бракованную землю, сегодня обрубщикам будет работы втрое больше обычного.

Так и оказалось. Давно уже такого не было. Поверхность отливок в прикипевшем песке больше на наждачную бумагу похожа, чем на металл. Пирогов глянул и пошел в свой закуток за стальным щитом. Сварщикам безразлично, какая поверхность, им от этого работы не прибавится, им лишь бы раковин поменьше. В ожидании Бакунчика он от нечего делать да от избытка физической силы стал поколачивать крочком по щиту, сшибая с него синеватые наросты — намерзшие брызги электросварки.

Глухонемой Костя тоже отделился от всех. Он толкнул Семена: мол, ну как? Это про Зину. Семен покачал головой: нет, еще не родила. Костя показал: не волнуйся, все будет в порядке. Потом показал на Мурашко и засмеялся. Он не любил Мурашко.

Семен перездоровался со всеми за руку. Тут и Шамаль подлез. Взглянул на отливки:

— Братцы-ы... Туши свет.

— ...я их в гробу видел,— продолжал внушать Мурашко.

Сонич и Лошак уже не слушали его, и он — не в воздух же говорить — обращался к Семену:

— Чтоб я такие отливки рубил? Пусть они выкусят.

Конвейер опять дернулся. Сонич, держа руку на кнопке кранбалки, повел ее к первой отливке.

Мурашко поглядел на него и сплюнул.

— Ты куда ее тянешь?

— Так время уже...

— Время, говоришь? Ну тяни, тяни. Вкальвай.

— Все равно же нам их рубить, кому ж еще?

— Тяни, тяни, если все равно.

Сонич посмотрел на всех и отошел от кранбалки.

— Что мне, больше всех надо?

Он самый давний из них здесь, еще раньше Мурашко пришел на участок, лет, наверно, назад двенадцать или четырнадцать — для обрубщика очень большой стаж. И вот даже бригадиром не стал. Куда ему бригадиром с таким голосом. Даже сейчас, когда в цехе тихо, его почти не слышно.

Лошак пересказывал Шамалю свой разговор с Семеном:

— ...он мне: «А я тебя попрошу, чтоб, значит, все рыжие были». А я ему: «Всегда рад помочь товарищу».

— Хохмач ты у нас, Рома,— похлопал его по плечу Шамаль и небрежно (мол, с него спроса нет, лично ему, в общем-то, все равно) заметил: — Ну, за такие отливочки должны давать доплату.

Мурашко ждал, давно ждал, чтобы кто-нибудь это сказал. А то всегда получается, что начинает он, и уже привыкли: Мурашко всегда всем недоволен, ему все равно не угодить, его можно не слушать. Теперь же ему оставалось только закрепить слова Шамалья, причем он незаметно подменил в них предположительность на безусловность:

— Конечно, должны. Ты что, только на свет родился?

Бакунчику не понравилось направление разговора, и он пошел в свой угол — его все это не касается. Пирогов возился там у ярко-желтых электрошкафов, вытягивал провод. За щитом затрещали, заклацали электроды, заиграли голубые блики в воздухе, полетели искры.

Прибежал мастер земледелки:

— Вы конвейер остановили?

— А, привет,— встретил его Мурашко.— Пришел на свою работу полюбоваться?

Мастеру уже досталось от начальства за плохую землю, теперь приходится перед обрубщиком отчитываться.

— Трубу у нас порвало вчера, ребята. Но это только первые грязные, дальше на конвейере отливочки, как яйца, чистенькие идут.

Никому не интересно слушать, отчего отливки плохие. Причины всегда есть.

— Я норму должен дать,— сказал Мурашко.— Попробуй на таких дать норму.

— Разбаловался ты, Мурашко,— стараясь не слишком сердить, защищался мастер земледелки.— Привык по три сотни в месяц забирать.

— Ты мои деньги не считай. Распустил своих баб, а мы тут уродуйся.

— Говорю ж, трубу на эмульсии порвало. Это только первые, а там дальше...

— Я такую каракатицу рубить не могу. Пусть доплату дают.

— Это ты не мне говори.

— За ваш счет.

— Пожалуйста! Что мы, бедные?

— Будете знать, как работать.

На «мелочи» загрохотали пневмозубила Лошака и Кости-глухонемого. Завизжал наждак Сонича. Сонич никогда в споры не лезет.

Семен подцепил кранбалкой первую отливку, повез к своему месту. Пусть Мурашко базарит, все равно ведь надо рубить. Насаживая пневмозубило на наконечник шланга, он оглядывал двадцатикилограммовый корпус. Он намечал, какие неровности срубить раньше, чтобы потом отливка устойчиво легла на ровную плоскость, прикидывал, с какой стороны удобнее взяться, как потом повернуть... Будто он против денег. Но Мурашко всегда больше других надо.

Появился Юра Кастрицкий. Он сегодня в новом свитере — белом с красной полосой. Вот уж на кого жена, наверно, не настирается — в белом свитере в обрубку. Мурашко с досадой поглядел на всех. Опять все в стороне, он один с мастером ругайся. Шамаль, правда, стоит рядом, но от него помощи не будет, он и сам не знает, что ляпнет через секунду. Ему лишь бы не работать.

Кастрицкий поздоровался и сразу ткнул в отливки мастера земледелки:

— Видал? Вы там у себя мышей не ловите, а моим парням работать надо.

— И заработать,— сказал Шамаль.

Мастер сказал, чтобы его в покое оставили.

— Ну, вы-то себя в обиду не дадите. Вы доплату всегда пробьете. Будьте здоровы, ребята.

И убежал. Не зря Мурашко его накачал. Опять получилось, что идея доплаты не от него исходит.

— Смотря какая доплата,— начал он разведку.

— Не будет доплаты,— сказал Кастрицкий.

— Почему?

— А потому. Забыл уже, что раньше все отливки такие шли? А теперь разбаловались.

— Так и должно же лучше быть, чем раньше. Или должно хуже быть? Ты еще с тринадцатым годом сравни.

— Надо будет, и сравню. Ты давай кончай демагогию и начинай работать.

— И сливай воду,— сказал Шамаль. Непонятно было, над кем он посмеялся, да он и сам этого не знал.

— А чего ты доплату-то жалеешь? — полюбопытствовал у мастера Мурашко.— Боишься к начальнику идти? Я могу пойти.

— Иди. А я буду против.

— Да почему?!

— Потому. Мурашко, я тебя по-хорошему предупреждаю: ты у меня сядешь на тариф. Сядешь на тариф: сто сорок и премия!

— Чего ты взъелся на меня?

— В обед поговорим. За вчерашние корпуса вы мне ответите.

— Какие такие корпуса? — притворился непонимающим Мурашко.

— Ты мне круглые глаза не делай. Из-за нехватки литья сборка машин стоит, а вы тут годные отливки в брак выбрасываете, лишь бы лишний рубль урвать.

— Ты видел?

— Иди работай. В обед поговорим,— сказал Кастрицкий и ушел.

Мурашко потоптался на месте, потом сплюнул и взялся за кранбалку. Все равно когда у Семена были готовы две отливки, Мурашко уже рубил третью. Он чем злее, тем быстрее работает.

Время летело незаметно. Так у Семена всегда: утром идешь нехотя, думать о работе не хочется, а втягиваешься — и уже какая-то радость появляется. Пустое, не занятое работой время всегда делает его тревожным, оно как сон, в котором боишься проспать. От сна, в котором боишься проспать, спасает простой будильник. Он заведен, маятник отсчитывает секунды, и ты спокоен: ●т пустого времени не спасает ничто. Но когда ты работаешь, время не бывает пустым, оно видно глазом, оно движется на кончике твоего пневмозубила и длится на поверхности отливки — гладкий блестящий след на месте заусенца, уменьшающееся сантиметр за сантиметром пятно пригара, и вот уже блестит вся отливка, бери следующую... Узор времени повторяется спиралью, каждая отливка — новый виток, и весело следить, как тянется он... если не мешает усталость.

Сегодня им всем трудно. Женщины снимают с конвейера новые и новые отливки, обрубщики не успевают рубить, и женщины складывают отливки друг на друга, и растет гора черных отливок перед конвейером. Тут уже не думаешь о деньгах, о расценках. Гора тревожит, появляются нелепые мысли: а что, если она поднимется до крыши? Упадет? Не упадет? И что бы ты себе ни говорил при этом, невольно стараешься уменьшить гору, стараешься работать быстрее. В руках прыгает пневмозубило, а ноги твои и плечи неподвижны — вибрация инструмента гасится в твоих бицепсах, и от этого они начинают неметь... Хуже нет сбиться с темпа. Замедляется время, ползет, почти останавливается, дергается, движется рывками, совсем остановилось — и тут обед.

Первым бросил свою отливку Мурашко.

— Ну что, Шамаль? — сказал он.— Мандражишь? Юра тебе вчерашние корпуса на шею-то подвесит. Ничего, раньше сядешь — раньше выйдешь. И целее будешь.

Ему казалось, что он смеется над страхом Шамала, но Семен видел, что Шамаль уже и думать забыл о разговоре с Кастрицким, а вот Мурашко действительно напуган и оттого хорохорится. Так ему и надо. Семену никогда не нравилось, что он годные отливки отправлял на переплавку.

Конечно, понять его можно. Работают они сдельно, каждый берет из общей кучи отливку почище, и в куче остаются, постепенно скапливаются самые невыгодные, смотреть на них тошно. Когда же при-

ходит автопогрузчик за браком, а начальства рядом нет, очень просто подцепить эту кучу кранбалкой — и в машину. Наверно, вчера кто-то это заметил.

— Где Кастрицкий? — продолжал шуметь Мурашко. — Он что? Думает, мы ждать его будем? Я пошел в столовую. Шамаль, идем. Через десять минут туда формовка набезит.

Остальные приносили обед с собой. Бакунчик и Пирогов в своем закутке сели на пол, привалились спинами к щиту и стали невидимы за ним.

Пирогов читал газету, в которую завернут был завтрак, сказал:

— Что-то не пишут про того... с новым сердцем...

— Умер он, — сказал Бакунчик.

Костя-гаухонемой и Рома Лошак заняли железный столик, разлинованный под шахматную доску. «Ссобойки» свои они объединяют, жуют и одновременно играют в шашки. Вместо шашек у них гайки — желтые, пассивированные и белые, цинкованные. Сонич присел в угау.

Семен сунул свой обед в карман и пошел к сестре.

На плавке было пусто. Проход загромождали раскаленные ковши, над ними струился горячий воздух. Гудели воздуходувки на печах, гудели газовые горелки. Около одной из них в углу устроилась на брезентовой курточке Катя. В спину ей шло тепло от ковша, а спереди обдувал вентилятор, шевелил волосы. Катя читала. Семен сел рядом, взял из ее рук книгу, посмотрел обложку: «Курс высшей математики».

— Если у вас в техникуме математика высшая, то в академии какая? Наверно, чуть пониже будет?

— Привет, Сеня, — сказала Катя. — Как Зина твоя?

— Нормально. Что ей, впервой?

Он косил глаза, чтобы не видеть сестру. Синяк у нее стал лиловым, и начала шелушиться мертвая кожа.

— Экзамена боюсь. Не идет она в меня, математика. Я ее в себя впахиваю, а она назад.

— Никто не заставляет, — сказал Семен.

— Оно так...

— Сдашь. Ты у нас ушлая. В столовой была?

— Я с собой взяла.

Семен развернул свой сверток. Котлеты между ломтями хлеба, отдельно в бумажной салфетке лук и соленый огурец. Зина молодец, с его едой она никогда не схалтурит, этого у нее не отнимешь. Семен отделил сестре котлету с хлебом. Катя отказывалась, но он заставил. Он знает: утром она торопится, не успевает приготовить что-нибудь с собой, а на столовую деньги жалеет. Два взрослых обормота на шее, Витька вот уже год после школы работает, а денег домой считай что не приносит.

— Как пацаны? — спросил он.

— Витька работу бросает.

— И куда идет?

— Никуда. Дома будет сидеть. Говорит, дай хоть до армии погулять.

— А что он жрать собираетсЯ?!

— Больно он об этом думает. Мать прокормит.

— Я б ему, подлецу, есть не давал! — сказал Семен.

Катя, отвернувшись, коротко всхлипнула. Помолчали.

— Игорь мой вырастет — тоже даст прикурить, — сказал Семен в утешение. — Балуют они его. Я раз хотел ремня отвесить, так теща

как тигр кинулась, руки расставила... Ремень прямо-то ей по заднице и пришелся, не успел его удержать.

— Уж как мой Витьку драл... — только и сказала Катя.

— Я вчера, кстати, поговорил с ним. Подержался за воротник. Больше он к тебе не полезет. — Семен и сам верил сейчас, что припугнул Протасеню.

Катя мельком глянула, как будто и не слышала Семена.

— Скажи ему: еще раз придет — милицию вызову. У меня телефон теперь есть.

— Почему я? — настороженно спросил Семен. Не поверила она ему? Он оскорбился: — Сама скажи.

— Вы ж друзья.

— Мы? Что ты мелешь?

— А то вы вчера с ним не выпили, нет? Да что ты обижаешься, я же тебя не виною.

— Уже я в ваших делах виноватый. — Семен поднялся. — А если разобратся, ты виноватая и есть.

— Пускай я буду виноватая, — спокойно сказала Катя. — Да тебе-то зачем мои дела до головы брать?

— Он, между прочим, за твой полдома тебе три тыщи отвалил, ты на них три комнаты кооперативные отгрохала, квартиранта держишь, это тоже надо учитывать. А ты — милицию вызову. Будто он вор.

— Дался тебе этот квартирант.

— Это тебе он дался.

— Почему это он мне дался? Мне за кооператив надо платить?

— Он тебе тридцать дает, не больше, так? А пустила бы вместо него трех девок, шестьдесят бы с троих брала. Так? Не так?

— Ладно, иди, — сказала Катя, всерьез рассердившись. — Из-за тебя час пропал, ничего не выучила. А у меня экзамен.

— Правды никто не любит, — сказал Семен.

Кастрицкий на участке еще не появлялся. Лошак и Костя играли в шашки, но им уж надоело, друг с другом играть им скучно. Вот когда Мурашко садится, или Шамаль, или Бакуничик — вот тогда шум. Мурашко и Шамаль вернулись из столовой, принесли молоко. Молоко пили прямо из бутылок. Потом разыграли на спичках, кому возвращать пустые бутылки в буфет, выпало Шамалю. Он поворчал, но пошел. Семен думал, он не пойдет.

Оставалось десять минут, сидели на отливках, курили. Мурашко поглядывал на всех, отыскивая тему для трепа. Небось в столовой они с Гришкой успели переброситься, что, мол, все молчат всегда, одни они с начальством спорят. Правдоискатели. Теперь Мурашко зол, а все старается казаться веселым.

— Ефимов, сколько котлет сегодня принес?

Ага, решил, значит, взяться за Семена. Знала б Зинка, какие разговоры из-за ее котлет бывают, на помойку бы их побросала, чем ему давать. В бригаде всегда шуточки: много котлет — значит, угодил муж, мало котлет — значит, никуда он не годится.

Семен ответил, как обычно:

— А тебе жена вообще ни одной не дала. Выгонит она тебя скоро. И правильно сделает.

— Что-то пока не выгоняет, — сказал Мурашко. — Рубль каждый день на обед дает. Я б от котлет высох весь, а она у меня мослов не любит. А так я сметанки взял, щец полную порцию, натуральную отбивную за сорок копеек, то, другое, третье... Так и кантуемся, что поделаешь. На «Жигули» я не откладываю.

Это уже был намек на Бакунчика, который не ходит в столовую, а берет с собой. Бакунчик недавно купил «Жигули».

— На твоей сметане много не отложишь,— парировал Бакунчик, к удовольствию Пирогова.— Ты бы вот на водке сэкономил.

— А мне «Жигули» ни к чему.

— А мне маргарин ни к чему. У меня после столовой всегда изжога. Там все на маргарине.

Пирогов опять заулыбался. По его улыбке выходило, будто в споре победил Бакунчик. Улыбка была как бы знаком, присуждающим эту победу. Поэтому и сердился Мурашко, воспринимавший улыбку Пирогова как неправое решение самозванного судьи.

— Это у тебя на маргарине! — вскипел он.— В столовой все на масле.

Рома Лошак не любит, когда ссорятся, он вмешался в разговор, пытается примирить различные точки зрения:

— В маргарине, я читал, на четверть сливочного масла.

Костя-глухонемой дергал его за рукав: мол, что с Мурашко разговаривать, играй.

— А три четверти чего? — поинтересовался Бакунчик.

— Там растительные жиры, животные.

— А еще?

Лошак, которому состав маргарина был абсолютно безразличен, сказал:

— Я знаю? Специи всякие, соль, сахар...

— Рома,— сказал Бакунчик.— А зачем тебе столько сахара?

Все засмеялись, Рома громче всех. Семен подумал: он неплохой парень. Стоит посмеяться над ним — и всякая рознь между всеми пропадает. Так же бывает, когда кого-нибудь невзлюбят. В общем, кто-то должен быть чужим, чтобы остальные чувствовали себя своими. Вот как сейчас — вернулся Гриша Шамаль, принес новость:

— Слышали? Кто-то из сталеваров новый почин взял.

— Почин не берут, а делают,— сказал Бакунчик.— Это обязательства берут.

— Ну, в общем, почин: работать на печи без подручных.

Тоже «новость». Эту «новость» разве что Шамаль еще не знает.

— Так это Радько,— сказал Сонич.— Это давно уже, с месяц.

— Дурак Радько,— сказал Мурашко.— Думает небось, будет за подручного работать и полтора оклада получать. Добавят от силы десятку, а работай за двоих.

Явно ему было приятно считать Радько дураком. Почин Радько обрубщиков не касался, и никто о нем не задумывался, а теперь Мурашко сказал «дурак», спорить не хотелось, все устали от споров и хотели соглашаться. Только Бакунчик нехотя возразил:

— У тебя все дураки...

Ему тоже спорить не хотелось, тем более что к ним шел Кастрицкий. Перемахнул через рольганг — «пан спортсмен», — на ходу вытирал замасленные руки ветошью. На белый свитер он успел надеть мастерку — черную сатиновую куртку. Свитер, конечно, и под ней пачкается.

— Так,— сказал Кастрицкий.— Все здесь? У меня на пять минут. Дело такое. Во-первых, литья на заводе не хватает, а тут у нас в обрубке выбрасывают годные. Подожди, Мурашко, не перебивай. Я скажу, потом ты скажешь. Вчера мастер плавки видел, как в печь вместе с браком грузили годное литье, которое вполне можно было бы обрубить и сдать. Подожди, Лошак, я знаю, выкручиваться ты умеешь, помолчи. Кое-кто у нас очень умный. Считает: чем мучиться с

невыгодной отливкой, лучше ее выбросить. Теперь во-вторых. Каждый... Не будем говорить каждый, скажу: некоторые... Некоторые стараются схватить отливку повыгоднее, чтобы товарищу досталось похуже. Бывает такое?

Все промолчали, опустили головы. О таких вещах говорить неприлично, а если говорить, то, наверно, как-то не так, как говорит Кастрицкий. Это разговор для своих, а он держится чужим. Костя-глухонемой пристально всматривался в мастера, кое-что улавливая по движениям губ, иногда оборачивался к Лошаку, тот быстро переводил слова знаками пальцев. Настропалился в этом Рома не хуже глухонемых.

— В-третьих,— продолжал Кастрицкий.— Я буду говорить откровенно, не для печати. У нас с вами так получается: голову выгащишь — хвост увяз, хвост выгащишь — голова увязла. Были на тарифе — было качество, не было количества. Перешли на сдельщину — исчезло качество, Мурашко чуть что — требует доплату. Я, Мурашко, знаю же, ты всегда можешь дать две нормы, а то и больше. А ты нарочно тянешь, чтобы тебе расценки не срезали.

— А разве не так? Ты мне выведешь три сотни?

— Я не «вывожу», я закрываю наряды. Тут тебе не частная лавочка. А Шамаль как свои полторы сотни выработает, ему хоть трава не расти. Так дело не пойдет.

Костя вопросительно взглянул на Лошака, мелом написал на отливке: «Тариф?» Лошак отрицательно покачал головой. Костя ногой стер надпись.

— В общем, так,— сказал Кастрицкий.— Сегодня все утро начальник цеха мылил мне шею. И количества нет и качества, а тут еще эта история с корпусами. Я лично вижу один выход. Перейти на бригадную систему оплаты.

— Правильно! — сказал Рома Лошак и осекся, испугался, что выскочил раньше всех.

— Всем ясно?

— Туши свет,— сказал Шамаль.

— Теперь заработок каждого будет зависеть от всех. Сварщики остаются сами по себе, их это не касается. Остальные будут получать пропорционально разряду. Прикиньте сами как и что, завтра поговорим подробнее. А сегодня надо дать норму. На сборке нет литья. Сегодня мы на виду, ребята.

— У меня вопрос,— сказал Мурашко, так как не дождался, чтобы хоть кто-нибудь спросил раньше него.

Конвейер в это время двинулся, и Кастрицкий сказал:

— Какие уж сейчас вопросы. Вопросы отложим на завтра.

Сонич поднялся первым, за ним все. Лошак дотронулся до рукава Мурашко:

— Сидорыч, дай закурить.

Он проверял, не слишком ли тот на него рассердился за его «правильно».

— Обрадовался, Лошак,— сказал Мурашко.— Выскочил. Все ты ищешь, как бы повыгоднее. На чужом горбу. Все хочешь выгадать.

Лошак хоть и ждал чего-то подобного, но растерялся:

— Ты... ты... Сема, ты слышал? Сдурел он?

Семен промолчал. Пусть сами разбираются. Он включил сжатый воздух, стравливая из шланга отстоявшуюся воду, и за шумом струи уже ничего не слышал, видел только, как Лошак отчаянно размахивает руками, оправдываясь перед спиной Мурашко. Семен еще не успел обдумать, лучше ему или хуже будет с бригадной системой. Как



будет, так и будет... И опять блестящей полосой по металлической поверхности побежал узор времени. Все вплетается в этот узор: мысли о расценках, белый свитер Кастрицкого, страх, что достанет до крыши гора черных отливок, золоченая оправа очков и тонкий, как костяной, нос женщины-врача, которая сказала: «От сена, от одуванчиков у него аллергия, природа ему противопоказана»,— и Зинка с синим клубком вен на ногах, словно синий краб клещами присосался, и белое платье, обнаженные смуглые тонкие руки— Стелла... Гора отливок начала уменьшаться. Молодец Мурашко, молодец Сонич, ровно стучат их зубила, слитые с руками, пять отливок остается, три отливки, и тащат с конвейера новую— значит, четыре... Время опять пошло рывками, немеют руки. Семен, когда они немеют, всегда боится: вдруг началась вибробольность? Последняя отливка, на счастье, попалась гладкая, как яйцо, срубил залив по разъему— все! В душевой Семен всегда пускал струю погорячее, сколько можно терпеть. Тело становится невесомым, перестаешь его ощущать, отпускает усталость— сладкий сон наяву...

За клубами пара кто-то ждал очереди у соседнего соска, потом постанывал блаженно в теплых потоках воды.

— Ефимов, сколько срубил?— Это был Мурашко.

— Пятьдесят девять.

— Я шестьдесят восемь, Сонич шестьдесят, Шамаль тоже за пятьдесят. Ничего.

— Нормально.

— Я так думаю: с этим бригадным методом Юра наш выслужаться хочет. Вроде как он, понимаешь, головой работает, новые методы ищет, точно? Творчески подходит. Молодой специалист, понимаешь, авторитет зарабатывает. Скажешь, не так?

— Откуда я знаю.— Семену было лень разговаривать.— Ты у него спроси.

— Он не дурак, Кастрицкий. Он понимает: я ж не буду терпеть, что кто-то в бригаде прохлаждается, а платят поровну. Ну, мне еще туда-сюда, у меня шестой разряд, а вот ты с Гришкой будешь получать одинаково. Ты вкальываешь, он филолит, а получите одинаково. Справедливо?..

Семен это оценил. Пусть Шамаль обедает вместе с Мурашко и молоко всем носит, однако люди вот видят, кто как работает. Мурашко не с Шамалем разговаривает, а с ним, с Семеном. Специально ждал, пока сосок рядом освободится.

— Шамалю много не надо. У него детей нет,— сказал Семен, как бы соглашаясь с Мурашко и в то же время как бы оправдывая Шамалья.

— Вот Кастрицкий и знает: мы сами будем друг дружку подстегивать. Он, понимаешь, политику-то усвоил правильную. Сила коллектива, равняться на лучших и так далее. Только на фига мне это надо, нервы из-за какого-нибудь Шамалья тратить? Это пусть Кастрицкий тратит, он за это деньги получает. А наше дело— рубить и по сторонам не глядеть. Правильно?

— Факт,— сказал Семен.— Кастрицкому что? Ему еще годик стаж отработать, и он пойдет. Он мне сам говорил: дядька у него в институте, он по науке пойдет, охота ему тут металлом дышать.

— Вот. Ему год, а нам еще вкальывать и вкальывать. Я считаю, с ним надо поговорить. По-хорошему объяснить. Норму будем вытягивать, в общем, мы свое дадим и доплат не попросим, а нас пусть с этим бригадным методом не трогают. Ты как?

— Я за,— сказал Семен.

— Ну и я за. Заметано. А он пускай в науку идет, она без него плачет.

— Пусть грызет гранит,— согласился Семен.

— По пивку? — предложил Мурашко.— В баньке буфет после ремонта открылся.

— Мне домой надо. Жена.

— Значит, заметано,— на всякий случай повторил Мурашко.— У Катьки твоей как там? Глаз цел?

— Цел.

— Да, здорово он ей приварил... Наверно, допекла, как думаешь?

— А,— сказал Семен.— Я в их дела не лезу.

— Конечно, виновата. Баба она крепкая, вдвое его крепче, если б вины не чувствовала, небось сама бы ему приварила. Разве что он неожиданно изловчился... Ну, будь здоров. Считаю, насчет завтра договорились.

Семен еще постоял под душем, чтобы не идти вместе с Мурашко. Когда он вышел, Мурашко в гардеробе уже не было. Кончали одеваться Лошак и Костя-глухонемой, вели разговор пальцами. После душа Лошак раскраснелся. Рыжие волосы были светлее лица и шеи. Объясняясь пальцами, он одновременно, сам того не замечая, произносил слова голосом: «...бригада... вместе... каждому по разряду...»

— Сема,— кивнул он,— будь здоров.

Костя тоже кивнул Семену, прощаясь. Костя и Лошак живут в разных районах, но почти всегда Костя сначала провожает до дома Лошака, а потом возвращается к себе. Он за Лошака потроха любому выпустит.

И все друзья Костины из других цехов тоже.

У табельной прохаживался Шамаль. Он был в такой же, как у Семена, пестрой рубашке, только не лилово-голубой, а красно-белой. И так же ее расстегнул почти до пояса.

— Погоди,— сказал он,— Кастрицкий просил подождать.

— Включаем четвертую.— Появился Кастрицкий и рукой дернул воображаемый рычаг автомобиля.— А то начальство еще что-нибудь придумает, до вечера не вырвешься.

Тысячи людей закончили смену, из всех цеховых ворот, из каждого цеха тянулись бесконечные цепочки, сливаясь на заводских улицах, вливаясь из улиц на главную аллею, и там шел сплошной поток, упирался в плотину центральной проходной и вываливался на предзаводскую площадь. Низкое солнце слепило.

На площади обрубчики увидели в толпе Пирогова. Тот катил детскую коляску, замедлил шаг, дал себя догнать. Он работает посменно с женой, каждый день, когда он в первой смене, она привозит или приносит ребенка к проходной, передает мужу и бежит в прессовый цех. Когда он во второй — все наоборот. Вот бы Зинке так побегать, меньше ныла бы по пустякам.

Кастрицкий все не начинал разговор, показывал Шамалу то на одну, то на другую девушку:

— Смотри, Гриша, ничего, да?

— Та, что ли? Два мосла и чекушка крови. Я ж не собака, чтоб кость любить.

— А вон пошла как раз, точно?

— Юра, ты, наверно, моей смерти хочешь. Что я тебе сделал плохого?

Юра подмигивал Семену: мол, это не похабничает он, а вместе с Семеном посмеивается над Шамалем. Потом сказал серьезно:

— Шамаль, ты сегодня на веранде будешь? Тогда до вечера. Мне с Семой по пути. А ты, Пирогов, по сторонам не гляди, вон твой на-

следник курить уже просит,— показал он на коляску, в которой зашевелился малыш.

Они проходили мимо мужской толпы у желтенькой одноэтажной бани. Теща и Зинка будут злиться, если он задержится. Такая у него жизнь. Вон и постарше его мужики к открытию буфета пришли — ухоженные, мордастые, выбритые, туфли до блеска начищены. Не в магазин за пивом пошли, а сюда. Люди поработали, теперь отдыхают.

— На подготовительные курсы не собираешься подавать? — спросил Кастрицкий. С Шамалем он о девочках, с Семеном — о серьезном.

— Да навряд ли. С двумя малыши куда?

— Зря. Поступал бы. Сколько ж можно в обрубке? Лет через пяток-другой кругом автоматы будут, куда денешься? На тракторном в литейном два уже стоят, всюду понатыканы! Красавцы! Или вот эффект Юткина, который американцы у нас переняли... Сейчас нельзя не учиться. Ты ж не Мурашко, у которого семь классов. У тебя полное среднее.

— Да подзабыл я все.

— Для того и курсы, чтобы освежить в памяти. Вон сестра твоя в тридцать пять пошла учиться, а тебе еще тридцати нет. Могу с дядькой поговорить, он тебя устроит в политехническом.

— Надо бы, конечно,— сказал Семен.— Но...

От разговоров про учебу у него всегда портилось настроение. Потому что были когда-то мечты и теперь нет-нет да и вспомнятся. А мечтал он пойти по общественной линии, с людьми работать, его всегда люди интересовали. И уж так высоко в мечтах заносился, где одного образования, даже самого высшего, мало... Наверно, с дружками ему не везло. Дружки пошли бы учиться, и он бы сдал экзамены. Все потянулись на завод, не мог же он отрываться. С тех пор сколько раз на подготовительные курсы собирался, да никак не мог никого с собой сагитировать, а одному как-то боязно было. Вроде и бояться нечего, не сможешь так не сможешь, не поступишь так не поступишь, а боязно. Просто как-то не привык он делать что-нибудь один.

— ...в общем, мне и так неплохо...

— Тогда, конечно, другое дело,— сказал Кастрицкий с облегчением оттого, что не придется просить дядьку, и преисполнившись благодарности к Семену за это.— Все же обрубщиком и денег больше, и домой идешь спокойно, не думаешь, как там без тебя, в цехе. Мне знаешь как за вчерашние корпуса вклеили. Что ты! Теперь с бригадной системой оплаты. Мурашко будет против, будет носом землю рыть. Не знаю, как ты, Семен, терпишь. Он же паразитирует на тебе! Как он утром корпуса себе отставляет? Я б на твоём месте из принципа бы не позволил.

— Ладно,— стесняясь, сказал Семен.— Не пообедем.

— Ведь я же прямую выгоду предлагаю, только вначале нужно приспособиться, а потом привыкнете — иначе и не захотите!

— Конечно, если привыкнуть...

— Мурашко зловредный от зависти. Он же всем завидует. Человек чисто одет — завидует, хорошо зарабатывает — завидует, веселый, вежливый — завидует, сестра твоя учиться пошла — и ей завидует.

— Катьке?

— У-у,— тонко улыбнулся Кастрицкий.— Тут особый разговор. Я раз видел, как он к ней клеился. Только уж тут ему не светит.

— Мурашко боится, что ему придется за других переработать,— сказал Семен.

— Вот, вот, знакомая психология. Стыдно же так жить, Семен! Я бы с такой психологией удавился.

— Ну, он не удавится,— сказал Семен.

Они были на перекрестке, и Кастрицкий остановился.

— Значит, Семен, мы друг друга поняли. До завтра, мне сейчас сюда.

До чего ж не хотелось заходить в дом! Последнее летнее тепло, тихая благодать во дворе под деревьями. Черт с ним, с обедом, лучше голодным остаться, только бы не слышать женского ворчания. Семен решил: возьмет Игорька и пойдет в парк. Открывая дверь, внушал себе: не раздражаться. Ну вот, Игорек плачет. Две женщины в доме — и одного пацана успокоить не могут... Так и есть, теща встретила колючим, враждебным взглядом...

А дальше началось неожиданное, какой-то сумбур. Зина сидела в кресле одетая, в плаще. На лице ни кровинки, губа прикушена. Игорек выполз из-под телевизора, бросился к отцу, по грязному лицу разводы от слез. Теща собирала какие-то вещи...

— Беги за машиной,— сказала она Семену.— Схватки начались, надо везти. Тебя вот ждали.

Он не помня себя бросился по лестнице вниз. Бежал полтора квартала до стоянки такси. Очередь. Просить, чтоб пропустили, сказать, что жена рождает, было неудобно. Машины с пассажирами проходили мимо... Не в силах стоять на месте, он выскакивал на мостовую, поднимал руку, не слушая негодующего ропота очереди и ругани таксистов. Кто-то сигналил, какая-то женщина в белом платке тащила его за рукав в сторону, он отбивался, не видя и не слыша ее, а она повторяла:

— Хлопец, тебя кличут, слышишь, тебя кличут, ну да как полумный, кличут же тебя!

Он видел малиновый автомобиль у обочины, видел, что водитель, высовываясь из него, машет кому-то рукой, и вдруг понял, что это Бакунчик и Бакунчик машет ему. Потом он сидел рядом с Бакунчиком, выводил под руку из квартиры Зину, искал тещу, которая побежала звонить в «скорую помощь», потом все они опять ехали, и теща и Игорек, потом поднимались по широким ступеням, ждали кого-то в белом вестибюле, и Зину увели, а она, прикусив губу, улыбнулась им на прощание. «Ну все,— подумал Семен.— Теперь все в порядке». Они продолжали сидеть, и женщина в белом халате сказала им, чтоб уходили и что до утра новостей не будет. Бакунчик отвез тещу и Игорька домой, а Семену не хотелось возвращаться в дом, и он сказал теще, что вернется позднее. Он вновь и вновь видел, как Зина улыбалась им, как закрывалась за ней белая дверь, и от непомерной значительности происходящего в нем поднималась странная, тревожная радость, с которой нельзя было сидеть неподвижно или спать, а надо было двигаться, куда-то бежать, ехать, что-то делать. Бакунчик тоже не спешил расстаться, ему тоже сейчас хотелось быть с Семеном, а может быть, и не с Семеном, а с собственной ролью доброго волшебника и спасителя.

— Семен, ты кого хочешь — девочку или мальчика?

— Да кто будет, тот будет.

— А все-таки?

Семен хотел девочку, но стыдился в этом признаться. Все всегда хотят мальчика. Он повторил слышанную где-то шутку:

— Сын будет — с сыном выпьем, дочь будет — с зятем.

Тут же вспомнил, что это говорил Мурашко при Бакунчике, и покраснел. Однако Бакунчик ничего не заметил.

— А я всегда девчат хотел. И не жалею. Младшая у меня на днях, представляешь, в маму играла. Куклу под платье на животе запихала, досчитала до девяти — представляешь! — и вытащила — родила! — Бакунчик расхохотался. — Имя уже придумали?

— Нет.

Если родится дочь, хорошо бы назвать ее Стеллой, но он никогда не решится, даже сказать об этом Зинке не решится, больно уж имя диковинное.

— Имен все меньше и меньше становится, — сказал Бакунчик. — Какие сейчас имена? Алексей, Андрей да Игорь. И две дюжины, наверно, не наберется. В мое время имен куда больше было. Назар, Аким, Яков, Ерофей, Фрол, Лев, Захар, Исай, Фаддей... Теперь такие и не услышишь. А у отцов наших десятки имен были. Так дело пойдет, скоро вообще всех одинаково называть будут.

— А если Стеллой назвать?.. Конечно, если дочь.

— Ну уж сразу Стелла. Конечно, кому что нравится. Мне вот имя Таня нравится. Ну что, Семен, желаю вам с жинкой всего.

— А вы куда ехали? — спросил Семен. — По делу, наверно?

— К свояку хочу заглянуть. А дела у меня завтра, утром заседание, вечером прием до шести.

— Если к свояку мимо парка, — сказал Семен, — меня бы подбросили.

Сейчас Бакунчик казался ему совсем не таким, как в цехе, и Семен робел перед ним больше обычного. Как он мог путать его раньше с Мурашко?

— Вы бы Соничу помогли. Как депутат, — сказал Семен. — Уж на пенсию скоро, трое детей, а живет с соседями.

— Не по моей это части, Семен. — Бакунчик следил за дорогой, притормозил, когда мальчишки выскочили на мостовую. — Вот пацанва! Не по моей это части. И если он сам хлопотать не будет, кто же ему поможет? Так ведь тоже нельзя. Кастрицкий мог бы ходатайствовать...

— Кастрицкий даже доплату сегодня не мог сделать.

— Мог. Но он прав: один раз уступит, потом тот же Мурашко всегда начнет требовать. А литье есть литье. Сегодня такое, а завтра такое.

— Вы насчет бригадной системы что думаете?

— Дело прогрессивное, в духе всего, так сказать, с одной стороны, но с другой — посмотреть надо... А, ч-черт!!

Семена бросило вперед. «Жигули» остановились в метре от несуразной мужской фигуры. Пьяный, покачиваясь на расставленных ногах, смотрел на них, погрозил пальцем и пошел дальше.

— По шее бы ему дать, — сказал Семен.

— Ладно. — Некоторое время Бакунчик вел машину молча, успокаивался. — Вот из-за таких никогда спокойно не проедешь. Развелось их что той саранчи. Я тебе скажу, воспитательные меры, конечно, необходимое мероприятие, и нельзя сказать, что у нас это дело плохо поставлено...

Они выезжали из переуллка на проспект, остановились, пропуская поток машин, и Бакунчик сосредоточился, ожидая разрыва в потоке, чтобы успеть быстро вклиниться в него. Свернув на проспект, он снова заговорил:

— Я вот много думал насчет водки, и знаешь, что решил? Ее автомобиль победит. Народ у нас уважает технику. А если у тебя автомобиль, у тебя столько занятий с ним и такое от них удовольст-

вие уму, что поневоле о водке забудешь. Опять же, за руль нельзя выпивши садиться. Как войдешь во вкус, как начнешь копать во всех этих регуляторах-карбюраторах — спать неохота идти, не то что водку пить! Красотища-то во всем этом какая, Семен! Погляди, панель приборов, кресла, плафоны посмотри — ведь, можно сказать, техническая эстетика, большое дело! Эстетическое воспитание! Нельзя недооценивать. Кроме автомобиля, существенного такого предмета я не вижу. Книга — она вещь хорошая, но ведь, бывает, и читающие пьют. Опять же автомобиль — материальный стимул, тут уж подумай, прежде чем четыре двенадцать за «экстру» отдать. Не знаю, может, я не прав, но лично мое мнение такое: от пьянства спасет автомобиль, только он. Это я, конечно, как Кастрицкий говорит, не для печати. Может быть, все это и глупости. Не люблю я пьяниц. Пьяница себя не уважает. А тот, кто себя не уважает, на любую пакость способен, ему терять нечего.

— А я вот тоже себя не очень уважаю, — неожиданно признался Семен, и только когда сказал вслух, подумал: да, это действительно так.

— За что ж тебе себя не уважать? Работаешь хорошо и, как говорится, моральный облик в порядке. Между прочим, и жена у тебя, сразу видно, из работающих. Чувствуется, что аккуратная, верно? Это ж у человека сразу видно. И из себя она ничего.

— Она сейчас в положении, а так она получше, — сказал Семен.

— Да и сейчас ничего... Где тебя ссадить, здесь?

— Спасибо вам, Акимыч. До завтра.

— Завтра у меня депутатский день. До послезавтра тогда.

Еще не было семи часов. Тоненькие, лет пять назад высаженные на пустыре липы отбрасывали длинные узкие тени на зеленый газон и асфальтовые дорожки. Женщины катили детские коляски. Теперь снова надо будет коляску покупать. Зине никогда не хватало времени гулять с коляской, всегда гулял он, а она стирала, стряпала, чинила одежду — работа ее никогда не имела конца...

Зря он приехал к парку. Лучше бы зашел к Протасене, посидел бы. Или бы к Кате. Семен шел по асфальтовым дорожкам, дорожки сменились тропками, усыпанными скользкой хвоей. Здесь, на холмах, сохранился кусок старого леса, густо росли высокие прямые сосны с красноватыми голыми стволами, обнаженные их корни вылезали на тропинки, были отполированы ногами людей. Под соснами стояли яркие павильончики с мороженым, пивом, в одном играли в шахматы. Семен потолкался среди болельщиков, но знакомых не оказалось. Забухал оркестр на танцверанде. Значит, был уже восьмой час.

Танцевать начнут не скоро. Оркестр сейчас старается зря. Парни и девушки проходят на веранду мимо контроля, но не танцуют, никто не решается начать первым. Стоят группками, прохаживаются — парни с парнями, девушки с девушками.

Вокруг веранды высокий переплет белых планок, образующих ромбы. Сколько раз он приходил сюда молодым парнем, лет семь назад, мечтая быть смелым и остроумным, завидуя разбитным сверстникам! Иногда кое-что получалось, но никогда не чувствовал он себя здесь хорошо. Может быть, поэтому и девушки не нравились. Только с Зиной ему сразу стало хорошо, и все произошло само собой.

— Мистер Ефимов, можно вас на минуточку, если вы не очень заняты?

Семен обернулся. Стекается отовсюду народ, толпится около касс.

— Мистер Ефимов, поверните головку правее, если вас не затруднит!

Ну конечно, Гриша Шамаль. Он стоял рядом с двумя девушками, опираясь рукой о ствол сосны. С первого взгляда девушки показались Семену шикарными — одна в кремовом брючном костюмчике, другая в полосатой яркой кофточке и кожаной короткой юбке. «Только бы он не сказал — друг народа», — подумал Семен, подходя к ним.

— Знакомьтесь, девушки, это мистер Ефимов, друг... — Шамаль сжалился или не захотел обострять отношения, — животных и певец научно-технической революции.

Это еще куда ни шло. Девушки неопределенно улыбнулись: мол, знаем все ваши шутки. Однако, кажется, они оробели. У той, которая была в мини-юбке, лицо было злое и настороженное, улыбаться она не умела. У таких Шамаль не может иметь шансов. Такие любят парней попроще и разговорчивость считают женским качеством. Она даже не сумела сделать незаметным взгляд, которым окинула, оценивая, Семена, и он понял, что ни он, ни Шамаль ей не понравились. Вторая была побойчее, и лицо у нее было живее, приятнее.

— Юмор полезен для здоровья, — ответил Семен приятелю. — Особенно от простуды.

Симпатичная в брючном костюмчике засмеялась, а ее подружка в мини-юбке торопливо и с опозданием изобразила улыбку.

Шамаль не стал продолжать, он заметил на веранде знакомого парня, свистнул ему и начал делать какие-то знаки рукой. Разговор прервался.

Рядом стояла компания совсем молодых парней из четвертого общежития. Они старались говорить погромче, чтобы их слышали проходящие мимо девушки.

— ...ты, говорю, сначала зубы почисти, а потом я буду с тобой разговаривать...

— ...справа был который? Тот, что с безразмерным носом?..

— ...только не думай, говорю, чистить сапожной щеткой, все волосы из нее вылезают...

Девушка в мини-юбке фыркнула — оказывается, она прислушивалась. Семен почувствовал что-то вроде ревности. Шамаль же перестал ее замечать. Наверно, для того и Семена позвал, чтобы тот ее спровадил, а сам наклонялся к симпатичной в брючках и говорил все тише. Она отвечала задорно, после каждого своего ответа переглядывалась с подружкой, и обе прыскали.

— Интересный костюмчик, — говорил Шамаль. — Я таких не видел. Где это достали?

— Где надо. там и достали, — сказала девушка, переглянувшись с подружкой, и они прыснули.

— Матерьяльчик меня заинтересовал. Я потрогаю, можно? — Шамаль тронул рукав.

— Сначала руки помой, — сказала девушка, и опять они с подружкой прыснули.

Подружка прыскала механически и, занятая своими невеселыми мыслями, в это время поглядывала по сторонам.

— Не руки, а ручки, — возразил Шамаль.

— Ну да, ручки! Грабли!

Компания парней рядом с ними проводила глазами двух высоких девушек, и парень с усиками «выдал» для них новую остроту:

— Давно ты, Коля, я вижу, в вытрезвителе не был, совсем стал грязный, хоть в баню бы ходил, там тоже, говорят, моют.

Девушка в мини-юбке фыркнула. Семен спохватился: надо и ему поддерживать разговор, а то совсем дураком выглядит.

— Девушка, а вы здесь давно... или, вернее, как вас зовут?

— Таня,— сказала она, снова становясь напряженной.

— Ага,— сказал он, мучаясь.— Значит, Татьяна.

И ужаснулся своей ненаходчивости.

— ...а у меня не только руки большие. У меня и душа большая.

Симпатичная фыркнула, шепнула что-то на ухо подружке, и тут обе совсем раскисли от смеха.

— Где больше двух, говорят вслух,— сказал Семен. Он показал Шамалю рукой: ты оставайся, а я пошел.

Шамаль подмигнул ему и сказал:

— А я знаю, что вы шептали. Сказать?

Он зашептал на ухо симпатичной. Она покраснела, удерживаясь от смеха, и сказала:

— Глупости какие. Я и не слышала ничего.

— Ну ладно, девушки,— сказал Семен.— Не скучайте.

— Ну ладно, Семен,— сказал Шамаль.— Будешь проходить мимо — заходи.

— Пиши письма, Гриша.

Игорек спал. Теща возилась на кухне. Она не может без дела. Зина в нее. Без работы на них нападает хандра. Семен разложил диван-кровать. Непривычно было лежать одному. Зинка, конечно, сейчас спит. Теща волнуется сдуру — сейчас рожают не так, как в ее время, сейчас кругом наука, беспокоиться нечего.

Может быть, та девчонка и не Стелла. Просто он тогда услышал, как кто-то крикнул у проходной: «Стелла!» — и решил, что кричат ей. Она ведь тогда не обернулась. Тысячи людей спешили на смену. Может быть, окликнули и не ее.

Ему нравилась ее походка. Она шла, как будто она существует одна в мире и, кроме нее, больше ничего нет. Проходя мимо зеркальных стекол на Доске почета, она не косила в них глаза и не рассматривала свое отражение, как другие девушки и парни, как сам Семен. И ему захотелось оказаться в том удивительном мире, в котором она одна. Он уже верил в главный закон этого мира: она одна, а все прочее не важно, нелепо, несущественно.

## 3

Голова у квартиранта крупная. По бокам лысины, не скрытой зачесанными со лба редкими волосами, как козлиные рога, торчат светлые завитки. Широкий нос выгнут хоккейной клюшкой. Вот и разбери-пойми женский вкус. Впрочем, мужчина он здоровенный, сейчас, когда он в майке, это особенно заметно.

Квартирант открыл дверь, сказал своим басом: «Здорово, Семен Михайлович» — и ушел в ванную домываться. Конечно, не в рубашке же ему быть в ванной, но Семену неприятно было, что он ходит в майке, не стесняясь Кати. Да еще шлепанцы на босу ногу.

Катя обрадовалась брату, будто не вчера его видела, а невесть когда. Вылетела из кухни в цветастом передничке, перетянутая тесемочками, на ногах пестрые домашние туфельки с каблучками, косынка надета сзади наперед, концы впереди бантиком завязаны, а волосы под ними падают на лоб челочкой.

— Ну, был сегодня у нее?

— В окно видел. И записку передала.

— Как она?

— Нормально.

— А малышка?



Такой уж народ женщины. Как заговорят про детей, так глаза горят.

— И малышка нормально. Может, послезавтра выпишут.

Квартирант появился из ванной, докрасна растирая лицо и шею полотенцем.

— Николай Константиныч, Сеню моего поздравьте,— сказала Катя.

— От имени отдела главного конструктора и так далее,— забавил квартирант, от смущения излишне сильно тиская руку Семена своей волосатой веснушчатой лапой,— поздравляю, Семен Михалыч. Сестра твоя пятый день ходит как именинница. Поздравляю.— И еще раз больно тиснул руку.

— Зинку выпишут, мы это дело само собой,— пообещал Семен.— Скромненько.

— А мы и сейчас немножко,— быстро сказала Катя, переводя взгляд то на одного, то на другого.— В своем кругу. Как можно такое не отметить, а, Константиныч?

— Да я к вам ненадолго,— сказал Семен.

— Я вмиг соберу, вы пока поговорите, а я вмиг.— Катя бросилась на кухню.

Из Катиных комнат вышел Витька — долговязый, в тренировочном костюме, немного сутулясь, словно озябнув после сна, и переваливаясь с ноги на ногу.

— Поздравляю, дядя Сеня. Теперь у нас сестренка будет.

— Спасибо,— сказал Семен.— А ты что же работу бросил?

— Так получилось, дядя Сеня. Обстоятельства сложились. Как тетя Зина?

Показать бы ему тетю Зину. Бросил работу, сидит на шее матери, вечерами шляется неизвестно где, а что ты! — такой воспитанный и родственник, дальше некуда.

— Вовка где? — спросил Семен.

— В бассейне. Занятия у них.

Семен счел себя обязанным сделать нравоучение:

— Государство вам все дает, а вы растете лоботрясами.

— Ну уж лоботрясами,— вежливо возразил Витька, переминаясь с ноги на ногу. Ему было скучно стоять тут с Семеном.

Катя выскочила из кухни с горкой тарелок в руке, побежала в комнату, сказала оттуда:

— Что в коридоре стоять, проходили бы.

Квартирант открыл свою дверь:

— Заходи, Семен Михалыч. Не будем мешать хозяйке.

Он, должно быть в шутку, поддельвал свою речь под простонародный говор, но делал это так давно, что уже сам не замечал. Из его комнаты Семен слышал, как в коридоре Витька тихо канючил у матери:

— Мам, ну дай...

— Откуда я тебе их возьму? — шепотом сказала Катя.

— Мам, ну дай, а? Мне Серега давно трешку должен, я завтра принесу.

— Мы все за стол, а ты уходишь? — обиженно шептала Катя.— Хоть раз бы что сделал для матери.

— Да на что вам я?

— Посидели бы своей семьей, поговорили бы как люди. Потом бы шел куда хочешь...

— Мам, а ты мне тройка дашь?

— Ну что с тобой сделаешь, горе мое...

У квартиранта стояла широкая тахта с тумбой для белья, ши-

карный письменный стол из какого-то гарнитура, кресло, на стене висели полки с книгами. Квартирант вытащил из-под тахты носки, достал из шкафа белую рубашку, брюки. Снимая домашние штаны, сказал:

— Раз такое дело, надо быть при параде. Ты садись, Семен Михалыч.

— Да чего ей там возиться? — сказал Семен.

— Женщины. Им надо, чтобы все было как положено. Чтобы красиво. И случай весьма торжественный.

Семен наблюдал, как квартирант одевается. Ради них с Катькой, больше ведь никого не будет.

— Случай — да, — согласился Семен и спросил: — А самим отчего бы не попробовать?

— Мне? Так я ведь не женщина.

— Долго ли женщину найти?

— Я, Семен Михалыч, два раза был женат. Видно, не судьба.

— Да, — сказал Семен. — Не везло, наверно. Но бог троицу любит.

— Намек понят, — сказал квартирант, залезая в брюки.

— Я не про Катю, я вообще.

— Я понимаю, я понимаю.

— Кать, ну чего ты там? — крикнул Семен. — Свои же люди!

— Сейчас, сейчас! — отозвалась она.

— Ты, Семен Михалыч, чтоб не скучать, вон ту коробочку посмотри, — сказал квартирант.

Он кончил одеваться, вытащил откуда-то и поставил на стол распечатанную бутылку «экстры» и сел на тахту. Он все больше нравился Семену: и оделся для них с Катей, и не с пустыми руками идет. Вежливый человек и держится просто.

Семен снял с полки коробку из-под тубель. В ней была стопка фотографий. На верхней фотографии сидела, закинув ногу на ногу, полуголая женщина. Чувствовалось, что карточка старая. Незнакомая прическа, высокий мужской лоб, тонко выщипанные брови...

— Ну как? — спросил квартирант. Спросил серьезно, без той улыбки, которая бывает, когда обсуждают такие картинки.

— Ничего. Толста немного.

— Да, женщина полная.

— Старая, наверно, карточка.

— Тридцатых годов.

— Я чувствую. Сейчас мини-юбки короче, чем у нее штанишки.

На других фотографиях были портреты — мужские и женские. Женщины почти все казались похожими — светловолосые, полные, с выщипанными бровями, с одинаково подрисованными ртами и глазами. Мужчины были и старые и молодые, худые и полные, но все красавцы. То ли поворот голов, то ли еще что-то было такое, что отличает портреты актеров от всех других портретов.

— Ты садись, — опять сказал квартирант и показал рядом с собой.

— Вот эта ничего.

— Нравится?

— По-моему, вполне. Она тоже тридцатых годов?

— Тоже. Она всегда играла невинных девушек. Которых всегда спасали мужчины.

— Это не наши артисты? Лица все как будто знакомые, а ни одного не помню.

— Не наши. А вот эта, черненькая, как тебе?

— Я таких не люблю. Красивая, но сразу видно — стерва.

- Верно. Она всегда играла шпионок и коварных женщин.
- Вы кино интересуетесь, да?
- Так себе...
- А этот толстяк, наверно, комиков играл,— сказал Семен, рассмеявшись.— Симпатия.
- Да, очень известный был комик. А кто тебе из мужчин больше всех нравится?
- Вот этот,— показал Семен на мужчину с гладкими седыми висками.— А этот, с густыми бровями, наверно, отрицательных играл, точно?
- Точно. Шпионов.
- Немецких?
- Американских.
- А я думал, это американские артисты.
- В американских фильмах шпионов, по-моему, негусто. Не их тематика. Там больше по любовной линии. Это немецкие актеры.
- Так это фашисты? — удивился Семен.
- Объективно говоря. Тут шведская актриса есть, чешская.
- А у вас эти карточки откуда?
- В Берлине купил.
- В Западном секторе?
- Тогда еще секторов не было, Семен. Это в сорок пятом было. Выменял у одного земляка на махорку.
- Воевали, значит?
- Немного было.
- А зачем вам эти карточки?
- Должно быть, пытался понять, что такое этот фашизм.
- Чего ж тут понимать, в школе учили. Мелкая буржуазия.
- А ты молодец, Семен. Сегодня спроси — не каждый из молодежи вспомнит.
- А я на исторический хотел поступать,— смущенно сказал Семен.— Я тоже историей очень интересовался.
- Ему все-таки было приятно, что квартирант похвалил.
- Да, Катерина Михайловна говорила. Ты вроде бы и не пытался сдать экзамен.
- Все! — крикнула им Катя.— Можете идти!
- Все компанию себе не найду. А теперь уж и желания нет.
- Это точно,— согласился квартирант.— Желания пропорциональны возможностям. Когда сознание возможности равно нулю, желание тоже равняется нулю.
- Почему? — обиделся Семен.— Возможности есть. Не в этом дело.
- Возможность учиться есть. Но возможности измениться нет. Возраст. У каждого свой предел изменения. Один до старости все меняется, другой уже из детства выходит как в форме отлитый.
- Что ж хорошего — от всего меняться?
- Разговор перестал нравиться Семену.
- Ничего. Абсолютно.
- А какие еще у вас карточки есть?
- Больше никаких.
- У приятеля моего японские есть. Там, знаете, бабы... Похабщина, конечно, но интересно. Если хотите...
- Спасибо, Семен, не нужно.
- Я тоже этим не интересуюсь, я так.
- Так что же вы? — заглянула Катя.— То торопили меня, а теперь сами!
- Идем, Катерина Михайловна, идем,— поднялся квартирант.

— Вот уж разговорились, а оба такими вроде молчунами прикидываются.— Катя как будто журила их, а Семен видел, что она довольна и нарочно молчунами назвала, показала: мол, значит, понравились друг другу.— Сеня, ты только секунду помоги мне...

Она уволокла его на кухню, прикрыла дверь, зашептала:

— Не говори ему, что это Протасеня. Я сказала — сама.

— Что Протасеня? Что сама? — не понял Семен.

— Тише... Синяк... Я сказала, о дверь ударились...

— Ладно тебе.

— На хлеб. Неси в залу. Ну что же вы! Все готово!

Посреди комнаты был раздвинут стол, на белой скатерти расставлены закуски и четыре прибора.

— Садитесь,— сказала Катя.— Начнем с закусок, потом горячее принесу.

— Ну ты даешь,— изумился Семен.— Вот наворотила. Не съесть.

— Ну-у,— сказал квартирант,— Катерина Михайловна, такого стола я в жизни не видел.

— Константиныч, вы наливайте, будьте хозяином,— вмиг покраснев еще больше, сказала Катя, стрельнула глазами в Семена и добавила, оправдываясь перед ним: — Сеня, как виновник торжества, сегодня гость... Витя, где ты там?

Витька появился тоже приодетый, сел к столу, оценил:

— Мам, люкс! — Он придержал руку квартиранта с бутылкой: — Мне не надо. Я уж пивца.

— Капельку-то выпей,— сказала Катя и пояснила квартиранту: — У нас в семье никто водку не любит. Сеня тоже. Зато батя за всех принимал.. А мне полную!

— Смотри, мам,— сказал Витька.— С непривычки посуду начнешь колотить.

Семен отмечал, как всегда отмечал при застолье: у него и у Витьки рюмки стоят маленькие, квартиранту поставлена большая, и он ее наполнил доверху, еще капля — и прольется.

— Катерина Михайловна, я за вами поухаживаю,— говорил квартирант со знакомым Семену благодушным оживлением перед выпивкой.— А это уже изобретение, это я уже не знаю что.

— Это синьор помидор,— сказала Катя.— Попробуйте, там внутри начинка.

На тарелочке стояли игрушки: голова из помидора, на ней шляпа из половинки яйца и усы из стрелок зеленого лука. Вот это Катя!

— Мам, ты это самое,— сказал Витька,— модерняга.

— Образованный,— сказал ему квартирант.— На тебе модернягу, а то малокровный.

— Может, поборемся?

— Конечно, я буду пить, а ты будешь смотреть, а потом борись с тобой. Ну, Семен Михалыч, поздравляем тебя, пусть дочка будет... дай бог, не хуже хозяйка, чем ее тетя.

Семену не понравилось, что тост вышел несерьезным, и не понравилось, что Катя чмокнула его в щеку.

— Ай,— сказала Катя,— какая я там хозяйка! И на скорую руку все, торопилась... Пусть она будет счастливой.

Выпили. Некоторое время все ели быстро и молча. Квартирант первым вспомнил о приличиях:

— Катерина Михайловна, кажется, никто не посмеет сказать, что мы не отдали должного. Теперь можно сбавить темп.

Катя смеялась:

— Оставьте место для картошки с курой.

— Ма-ам,— укоризненно сказал Витька,— что ж ты не предупредила!

— И куда в тебя, худого такого, столько лезет? — притворно удивился квартирант.

— Именно худым и надо есть. А вы неделю за счет внутренних резервов существовать можете.— Витька скромненько улыбался, и у него получалось необидно. Он и квартирант получали удовольствие, поддевая друг друга.

— Языком ты умеешь молоть,— все же вступился за квартиранта Семен.— Ты бы так руками.

— Дядя Сеня,— умоляюще попросил Витька.— Меня мама целый день воспитывает.

— Ладно, Сеня,— сказала Катя.— Не трогай ты его сейчас.

— Сама балуешь, а потом сама...

— Ну, вторую, как водится, за родителей,— взял бутылку квартирант.— Сначала за папу...

— Сначала надо за маму,— сказал Витька.

— Ну, мы сначала за присутствующих.

— И где ты девок таких находишь, что тобой интересуются? — сказал Семен племяннику.

Витька счел нужным разделить его удивление:

— Представьте, дядя Сеня, спрашивать не приходится.

— Представляю, какие.

— Конечно, не такие, как тетя...

— За папу! — торопливо подняла рюмку Катя и толкнула сына ногой.

Потом была горячая картошка с курицей. Пили за маму. За Катю. Отдельно за экзамен по математике. У Кати глаза стали на мокром месте, она обнимала Семена и говорила квартиранту:

— Он ведь у меня единственный, Коля. Больше никого близких нет...

Витька тихонько выбрался из-за стола, вышел в коридор, вызвал мать. Пошептался там с нею и, простившись со всеми, ушел. Им уже было не до него. Семен рассказывал квартиранту о бригадной системе оплаты:

— ...Кастрицкий, мастер наш, говорит: «Подумайте». А у нас есть один, Мурашко фамилия. Перетрухал, что деньги потеряет. Он небось больше главного конструктора получает... У главного сколько в месяц?

— Да ладно тебе, Сеня,— сказала Катя.— Больше не о чем говорить, что ли? Так хорошо сидели, по-семейному...

— Погоди, Катя, мужской разговор. Мужской разговор, погоди. Мурашко, конечно, не хочет терять. По бригадному методу он как будет получать? Сколько ни сработает — деньги на всех, а потом делят по разряду. Вот он и выступил. Кастрицкий, это мастер наш, сначала с Соничем разговаривал. А у Сонича один разговор: начальству виднее. Он своего мнения не имеет. У него трое детей вроде Витьки нашего, а он все квартиру себе не пробьет. Я ему говорю: «Как же так? Ты в партком ходил?» Он говорит: «Я в завком ходил». «Когда ты ходил? Сколько раз?» — «Один раз ходил». — «Когда?» — «А не помню, говорит, давно это было». Вот он какой. «Что мне ходить, говорит, раз уже отказали». Понимаешь? Я уверен, он и говорил-то в завкоме не с тем, с кем надо...

Катя тихо-тихо напевала сама себе:

...Казаться гордою хватило сил.

Ему сказала я: «Всего хорошего»...—

и глядела на квартиранта.

— Да погоди ты, Катя. Мурашко выступил. Он так темный, а тоже хитрый. Как будто от всех. Берем обязательства не терять ни одной отливки, план будем давать сто пять процентов, материальное стимулирование... Что ты, теперь все грамотные! В духе последних решений, мол, все будет прекрасно, только не нужно этой бригадной системы. Юра наш, это Кастрицкий, мастер, даже растерялся, а Бакунчик выступил... ну, Бакунчика ты, конечно, знаешь?

— Депутат?

— Он. Ты от всех, говорит, не говори. Ты только от себя говори, а другие сами скажут. А все молчат. У нас ведь как? Молчат.

— А ты?

— А мне, между прочим, все равно: бригадная, сдельная... Я свой кусок хлеба с маслом всегда заработаю. Тут Шамаль выступил, говорит: «Мурашко боится, что ему за меня работать придется. А мне, говорит, на хрена, чтобы за меня работали. Я сам за себя буду».

— Значит, поддержал Мурашко?

— Как это?

— Ну, значит, тоже за сдельную.

— Ну да. Получается. А Лошак — давайте проведем эксперимент, говорит. Месяц на бригадной поработаем и посмотрим. Это он чтоб и вашим и нашим. Такой народ...

— А ты? — спросила Катя.

— Что зря языком было болтать? Все равно Кастрицкий как решит, так и сделает.

— Теперь, значит, по бригадной системе работаете? — спросил квартирант.

— Я ж говорю.

— И как?

— А как и было. Что это, в первый раз? Сонич говорит, еще при царе Горохе по бригадной работали.

— Так что ж ты, Сеня, Мурашке-то говорил, что согласен с ним? — спросила Катя.

— Не согласен. С Мурашкой? Не был согласен. У меня свое мнение есть.

— А говорил, — сказала Катя.

И Семен почувствовал: на него нападают. Двое на одного.

— Он, что ли, так тебе сказал?

— Не важно.

— Ясно, он. Значит, правда про тебя с ним.

— Сеня, что ты говоришь!

— По лицу же видно, что правда!

— Сеня!

— Похоже, Семен Михалыч перебрал немного, — сказал квартирант. — Ну что, Семен Михалыч? Поздравили мы тебя, теперь не мешало б отдохнуть, а?

— Ты здесь не хозяин, — сказал Семен.

— Сеня! Сдурел ты, да?

Квартирант тяжело поднялся.

— Извините, Катерина Михайловна. Моя вина. Да ничего, бывает. Свои люди.

Семен пошел за ним в комнату.

— Ты здесь не хозяин.

— Садись, — сказал квартирант. — Отдохни.

Слышно было, как плакала, сидя за столом, Катя. Квартирант закрыл дверь.

— Я немного того, — сказал Семен.

— Да нет, брат, не очень. Нервы. Ты посиди.

— Закурить есть?

— Не курю.

— У меня душа. Я могу иногда и лишнее сказать, я ведь что думаю, то и говорю, не так, как некоторые. Я хитрить не умею. Они, понимаешь, гладко стелют, говорят красиво, улыбаются тебе, а зазеваешься — голову откусят. Умники всякие. А у меня душа.

— А где она у тебя, душа?

— Ты что, смеешься? Я десять классов кончил. Это так только говорится — душа.

— А на самом деле?

— Что на самом деле?

— Говорится душа, а души, как я тебя понял, нет. Так что же на самом деле?

— Я человек неученый. Как по-научному называется, не знаю. Все понимают, что такое душа.

— Вот я и спрашиваю: где она у тебя помещается, та самая душа, о которой все понимают, что она такое?

— Тебе не увидеть, — сказал Семен. — Ее не всякому открывают.

— Ой ли?

— Сам-то ты знаешь, где она?

— Знаю.

— Где?

— Сейчас ты меня не поймешь, Семен Михалыч.

— А ты попробуй.

Квартирант стоял у окна спиной к Семену, смотрел на улицу.

— Все мы, Семен Михалыч, одинаковы. Все мы как сотворим какую-нибудь глупость, сразу вспоминаем — у нас душа. Мол, это снаружи мы пакостники, так сказать, с поверхности, а внутри, в душе, невиннейшие агнцы божьи. И в грудь себя колотим — душа... Ты в электричестве разбираешься?

— Ты мне про душу давай. Было б что сказать, я пойму.

— Заряды электрические только на поверхности проводника идут, сердцевина не нужна. И душа наша также на нашей поверхности, на нашей коже. Не в глубине, а там, где мы друг о дружку тремся. Трением нашим она и создается. Человек — он что такое? Тебя учили. Продукт среды, общества. И называется личностью. Это и есть душа. Другой нет.

— Так это само собой, — сказал Семен. — Что тут темнить было? Это само собой.

— Ну так где у тебя душа?

— Иди ты со своей душой...

— В фотокарточках, которые ты видел, тоже душа. Тот, со сросшимися бровями, он почему был отрицательным? Потому что чужой. А чужой — это плохой; понаблюдай за грудными малышами, они так полагают. Ты говоришь — само собой. А мог бы возразить: есть звезды на небе, солнце, воздух, родные места — это тоже душа наша. Но это тоже у нас на нашей шкуре, на кончиках нервов, там же, где у животных... Ты спишь?

— Слушай, Константиныч, ты вот как считаешь: можно любить сразу двоих? Например, жену и еще кого?

Дверь сперва предупреждающе дернулась, потом приоткрылась. Катя, источая запах только что нанесенной пудры, заглянула к ним.

— Можно? О чем вы тут?

— Да так, — сказал квартирант, — о жизни. Семен Михалыч вот переживает, что зря сестру обидел. Все эта водка проклятущая, говорит, зачем меня заставляли.

— Я ж говорила тебе, — сказала Катя, — а ты все подливал.

Совсем как Зина.

— Виноват, Катерина Михайловна.

— Сеня у нас отходчивый. Мы с ним оба отходчивые.

— Оно-то хорошо, да оно-то и плохо,— сказал квартирант.— Все мы этим грешны.

## 4

Утром Семен опаздывал, обгонял перед проходной людей, собрался было обогнать девчонку в вишневом платице и увидел — она. Тонкие смуглые руки. Вот как бывает.

Она шла внутри своего загадочного мира, и никакой другой мир для нее не существовал. Ни тысячи спешащих людей вокруг, ни Семен. На длинном ремне через плечо висела сумочка. Было семь тридцать пять.

Семен подумал, что зря он идет за ней, что она ему не нужна, что нужно обогнать ее и спешить в цех. Перед проходной она опустила руку в сумочку, и рука внезапно задержалась. Девушка сделала шаг в сторону, вышла из людского потока, открыла сумочку и стала искать в ней что-то — наверно, пропуск. Семен не замечал, что он останавливается, что поток выталкивает его из себя, и вот он тоже стоит, ждет и волнуется, найдет она или не найдет. Девушка нашла, подняла глаза на Семена и улыбнулась. Она улыбнулась от радости. Если бы перед ней стоял не Семен, а кто-то другой или совсем никого не было, она бы улыбнулась точно так же, но Семен радостно засмеялся, встретившись с ее глазами, и на мгновение оказался вместе с ней в ее загадочном мире, единственном мире, где ему могло быть хорошо, потому что, кроме него и ее, там ничего не существовало и этот мир был более знакомым и простым, чем его собственный мир, неизвестно как он знал его законы и знал, из своих же собственных мечтаний и фантазий знал, как в этом мире он должен себя вести.

Это длилось мгновение, а за ним оба мира — сегодняшний и фантастический — легко смешались, не замутив друг друга, не помешав друг другу. Наоборот, сегодняшний мир стал проще и дружелюбней, в нем уже не нужно было спешить и не страшно было опоздать на работу. Девушка пошла к проходной, и Семен, как и положено знакомому, посторонился, пропуская ее, и пошел рядом. Он придержал вертушку, чтобы девушке не пришлось приноравливаться к ее вращению, и сдерживал собой торопящихся сзади людей.

— Каждый день боюсь забыть дома пропуск,— сказала девушка.

— Перед сменой на пропуск и не смотрят,— говорил Семен и слышал свой голос как бы со стороны.— Я свой из кармана не вытаскиваю.

— А вдруг попросят показать?

— Надо идти уверенно. Главное — уверенность. Всегда.

Это получилось хорошо — резко, небрежно, как надо. У центральной лаборатории девушка второй раз подняла на него глаза, второй раз улыбнулась ему и вошла в дверь. Семен побежал в цех, чувствуя себя уверенным, сильным и красивым.

Когда из гардероба он бежал на участок, Кастрицкий уже шел оттуда.

— Как дела?

— Все в порядке, Юра!

— Выписали?

Вот почему он не ругает за опоздание.

— Может быть, завтра выпишут.



— Смотри, Ефимов, последний день месяца. Всю обрубку нужно выбрать, до последней детальки. План горит.

На участке теперь перестановка. Шамаль поставлен на «мелочь» вместо Кости-глухонемого, а Костя вместо него на крупное литье. Кастрицкий это правильно рассчитал. Уж за Костю Мурашко работать не придется.

Лошак показывал Шамалю, как рубить кронштейны, а на крупном литье работа не начиналась, там из-за неисправности стоял конвейер. Обрубщики и сварщики сидели на отливках, покуривали. Мурашко веселил всех анекдотами. Теперь он не торопится, не выскивает себе отливки повыгодней, как раньше. Неделю был злой, не подходи, а сегодня — как именинник. Лошак поглядывал на него и трещал своим зубилом особенно старательно. Когда Мурашко злой, не трогай его, и он тебя не тронет, а когда веселый и ничем не занят, как сейчас, он сам может полезть со своими шуточками.

Семен тоже закурил, сел. Он сейчас по-новому увидел всех. Он впервые заметил, что Мурашко красив, что в нем чувствуется внушающая уважение сила и он, наверно, нравится женщинам, хоть они побаиваются его. А Сонич всегда утомленный, он словно от рождения задолжал кому-то и всю жизнь добросовестно пытается расплатиться с долгом, а всем, кроме него, ясно, что жизни ему на это не хватит. Шел летом многосерийный телефильм о нашем разведчике, профессор-антифашист там похож был на Сонича. У Сонича лицо человека, сосредоточенного на своих мыслях. Такие лица часто бывают у старых рабочих, рабочий всю жизнь сосредоточенно смотрит на кончик своего инструмента и говорит при этом мало. А Пирогов всегда улыбается. Даже Мурашко никогда не задирает его. Скучно задирать Пирогова — улыбнется, и все.

И Семен смотрел на всех так же, как, чувствовал он, смотрела бы на них та девушка, — с благожелательным состраданием.

— Лошак!

Рома работал, не слышал или делал вид, что не слышит.

— Лошак!.. Шамаль, дерни его.

— Чего тебе? — спросил Лошак.

— У твоей жены нога какого размера?

— Зачем тебе?

— А мы тут спорим. Вот у Бакунчика тридцать пятый, а у моей тридцать седьмой.

— Ну, тридцать девятый.

Все захохотали. Смешно было, что у маленького Ромы большая жена. Лошак пожал плечами, снова затрещал зубилом.

— У моей тридцать пятый, — сказал Сонич, а Пирогов рядом с ним, рассматривая свою выставленную вперед ногу в спецботинке с металлическим носком, сказал неожиданно:

— А у меня сорок четвертый.

Все опять захохотали, и он, не понимая причины общего веселья, улыбался.

— Высказался, — успокоившись, сказал Мурашко. — Мы про женщин говорим, при чем тут твоя нога? Молчит месяцами, а тут высказался.

— Я слышал, что про женщин, — спокойно отпарировал Пирогов, — не глухой.

Бакунчик, смеясь, обнял его за плечи, дружески стиснул, поднялся:

— Пора, ребята. Конвейер пошел.

— Дай докурить, — сказал Мурашко.

— Ребята, — появился Кастрицкий, — все, все, все, кончайте, конвейер пошел.

— Пусть идет,— сказал Мурашко.— Авось из цеха не уйдет.

— Мурашко, ты это что?

— Шучу. Шуток не понимаешь? Дай докурить.

— Ребятки, сегодня мы должны выбрать весь цех. План горит, последний день месяца. Из всех углов подберут отливочки, надо выложиться.

— Штурмовщина,— сказал Мурашко.— Неритмичность производства. С этим надо бороться.

— Мурашко, я вижу, ты не хочешь работать. Так и скажи.

— Работать? Хочу работать. Ты, Юра, не знаешь, что такое работать. Еще будешь вспоминать, как Мурашко работал. Ну-тка, Мурашечка...

Он поднялся, взял с полочки зубило, повернул кран, стравливая из шланга воздух и отстой воды. Семен, заражаясь его злым весельем, прилаживал свое зубило и чувствовал: сегодня будет работа!

Через минуту на участке трещали зубила, заглушали все другие звуки. Отливки сами ложились как надо, и, как всегда, когда есть настроение и рука легка, металл был податливым, как масло. Раз, два — давай следующую! Сонич, не держи кранбалку, шевелись!

— Так-то, Мурашечка! — покрикивал, побряхтывал рядом Мурашко.

Семен только раз отвлекся: показал Косте, как удобнее укладывать корпус. Тому два раза показывать не приходится. Молодец Костя! Звук его зубила ровный, как звук мотора, оно не срывается в воздух.

В общем треске Семен различал зубило Шамалья. К «мелочи» надо долго привыкать, надо знать, где срубить, а где оставить, иначе будешь годное переводить в брак. Лошак поминутно бросал свое зубило, снова показывал Шамалю, как надо, а тем временем гора «мелочи» росла, и Лошак нервничал, оттого и объяснял, наверно, плохо, а Шамаль злился и оттого совсем ничего не понимал. Треск их зубил был похож на чихание неисправного мотоцикла.

Ближе к обеду Семен уже не слышал ничего вокруг. Все больше сопротивлялся металл, все менее послушным становилось зубило. И вдруг рядом взвизгнуло в воздухе и затихло зубило Кости, а Костя исчез. Семен поднял голову. Рома Лошак вертелся на месте, согнувшись и прижимая к животу левую руку с красной кистью. Костя суетливо разворачивал бинт из аптечки, Кастрицкий махнул ему: «Иди ты со своим бинтом...» — и за локоть повел Лошака к здравпункту, а тот сердито вырвался: мол, отстань, сам дойду. Костя проследил за ним, пока он поднимался по лестнице. Спустя четверть часа Лошак появился с забинтованной рукой, встал за свой верстачок. Значит, пустяк.

Семен и не заметил, как подошел обед. Стало тихо, только Шамаль и Лошак все трещали, злые на весь белый свет. Потом и они успокоились, и Шамаль побежал догонять Мурашко. Костя и Лошак, как всегда, «ссобойки» объединили, сидели рядом. Семен подумал: в обед вполне можно успевать в центральную лабораторию бегать. Там есть буфет.

Кастрицкий и обеденное время использовал: кранбалкой затащил на участок несколько отливок. Спросил у Лошака:

— Запись в здравпункте сделали?

— Они всегда делают.

— А как классифицировали?

— Какая разница? Травмы производственной нет.

— А ты можешь работать?

— А что я делаю? — окрысился Лошак.

Мурашко и Шамаль пришли из столовой каждый сам по себе — поссорились.

— Ты, Лошак, зря на него время тратил, — сказал Мурашко. — Сам бы за двоих делал, быстрее бы было. И рука бы целой осталась.

— Можем поменяться, — сказал Шамаль. — Иди на мелочь.

— Мне это ни к чему, — туманно ответил Мурашко.

Кастрицкий посчитал на конвейере годное, остался доволен:

— Ну, ребятки, сегодня мы дали темп! Рома вот только подвел.

— Он-то чем виноват? — спросил Мурашко.

— Я, что ли, виноват?

— У сильного всегда бессильный виноват, — сказал Лошак.

— Ты только сейчас это узнал? — Мурашко посмотрел на него.

Лошак, спотыкаясь на скопившейся «мелочи», пробрался к своему верстачку, установил отливку, взял зубило. Мурашко сказал:

— Брось. Много ты так наработаешь. Без тебя справимся.

— Справятся ребята, — подтвердил Бакунчик Кастрицкому.

— Да кто его заставляет? Он сам такой настырный. Сонич, иди на мелочь за Лошака. Рома, на кранбалке сможешь?

— Пусть домой идет, — сказал Бакунчик.

Рома поймал качающийся в воздухе шнур кранбалки с кнопками на конце, нажал на кнопку, повел кранбалку к конвейеру. Кастрицкий встал на место Сонича.

— Смотри сам не поранься, — сказал ему Мурашко.

— Ты давай за собой следи, — рассердился Бакунчик.

Семен подумал, что наконец они сцепятся. Он давно ждал этого. Но Мурашко промолчал.

Затрещали пневмозубила. Рома подвозил и подвозил отливки, только Семен закончит одну — плывет к нему по воздуху следующая. Так они еще никогда не работали. В эту смену Семен сделал шестьдесят восемь штук. Даже Кастрицкий за полдня обрубил двадцать отливок, а Мурашко — черт какой-то в нем сидел — сделал девяносто семь. И когда он закончил последнюю, разогнулся, увидел чистый участок (Сонич тоже недаром десяток лет на «мелочи» отработал, все подобрал вокруг себя), увидел вспотевшего, взлохмаченного Кастрицкого, подмигнул Семену и сказал:

— Ну вот. Немного поработали.

— Сливай воду, — отозвался Шамаль.

Кастрицкий, переживая свой результат (будто физическая сила может возместить многолетнюю сноровку! — и те двадцать отливок, которые он сделал, никто от него не ждал), отдышался, выругался:

— ...такое зубило. С непривычки как живое. Ты, Мурашко, сколько сделал?

— Три штуки до сотни не хватило.

— Почти две нормы? А все жалуешься, все доплату просишь. Я ж всегда говорил, что ты филонишь.

— Юра, — проникновенно сказал Мурашко, — Юрочка! Я ж не у тебя просил! Не из твоих трудовых доходов! Зря ты волнуешься.

— Я, между прочим, не волнуюсь.

— И это зря. Ты мастер. Должен за рабочего волноваться.

Бакунчик с Пироговым подошли к нему сзади и, услышав, рассмеялись. Пирогову, как всегда, надо было бежать к проходной, принимать у жены коляску с малышом. Он все-таки немного помедлил. Расходиться никому не хотелось. Пирогов ушел, а они стояли, курили.

— Надо подождать, пока Юра обсохнет, — шутил Мурашко. — А то потному простудиться легко.

Кастрицкий забыл обидеться.

— Оказывается, бригадная система ничего, а? А вы боялись. А, Сонич? Не хуже прямой сдельщины?

Сонич смущенно затоптался.

— Дело известное... И так нормально и так нормально...

Семен утром успел рассчитать, что если сразу после смены первым успеть в душ, можно подойти к лаборатории раньше, чем начнут выходить оттуда. Но сейчас всем не хотелось расставаться, они стояли, трепались о чем придется, тянули время, и ему не хотелось отрываться от них. Вместе все двинулись в душевую, вместе шли к проходной. Стеллу Семен еще увидит. Рано или поздно он встретит ее. Они уже знакомы.

Непостижима жизнь. Он разговаривает о пустяках с ребятами, и ему так хорошо, будто происходит что-то самое важное для него. Может быть, это и есть самое важное: каждому из них он свой и они ему свои. Когда они расстанутся, ему будет о чем думать, и все мысли — о Стелле ли, о дочке, о Зине — будут хорошими. Может быть, вот в эти мгновения о нем думает Стелла. Где-то идет себе, и для нее не существует ничего вокруг, и люди гадают со стороны: что в ее загадочном мире? А там — он, Семен. Пусть в самом краешке ее мира — он уже существует, существуют его лицо и фигура, его голос и его слова, и он совсем не плох, тот Семен, отчего бы ей о нем не подумать? И это непостижимо: тот Семен в ее мире живет своей отдельной жизнью, независимой от Семена и неизвестной ему.

Ребята идут рядом. Мурашко пригласил Рому в баньку выпить пива, Лошаку это и лестно и немного странно. Костя-глухонемой, конечно, с ними идет, он тоже заразился общим настроением, и на него разговорчивость напала, и он руками «рассказывает» Лошаку вчерашний телефильм. Видимо, про войну: он стреляет пальцем — к! к!

— Будь здоров, Семен! Жинке привет! Скажи, будем на крестины!

На следующее утро (Зину так и не выписали) Мурашко пришел позднее всех. В первый день месяца работы немного, все подобрали вчера. Только у колонны лежали два корпуса, вчера до них руки не дошли — в рвотинах, заливах, впору выбросить. Дернулся и остановился конвейер, закачались на нем редкие отливки. Рома Лошак подцепил их кранбалкой, выгрузил на участке. Рука у него забинтована. Рубить не торопились: половина конвейера впереди пустая, успеют. Костя ушел потропаться к своим приятелям на формовку. Бакунчик и Пирогов устроили у себя в закутке «переучет». Пирогов приваривал что-то к своему защитному щитку, которым он все равно не пользуется. В стороне Сонич точил на наждаке кухонные ножи.

Шамаль, забыв о вчерашних обидах, протянул Мурашко пачку «Примы», сел рядом:

— Солдат спит, служба идет.

— Служба-то не идет.— Мурашко взял сигарету.— За свой счет спим.

— А, Мурашко, все деньги не заработаешь.

Семен тоже подсел к ним. Пришел самосвал за браком. Лошак грузил его: цеплял на цепь кранбалки по три отливки, подвозил их к кузову, опускал, а там водитель снимал их. Водитель торопился, переругивался с Лошаком — мол, тот медленно работает,— крикнул:

— А двуруких у вас нет?

Шамаль сменил Лошака. Тот рассматривал свою забинтованную руку.

— Надо было больничный взять,— сказал ему Мурашко.

— Зачем же на участок лишнюю травму вешать?

— За Кастрицкого беспокоиться?... Эй, Бакунчик! — закричал Му-

рашко.— Газетка у тебя свежая? Брось сюда, мы тут политинформацию, кстати, проведем, опять же Кастрицкому работы меньше будет.

Бакунчик собрался бросить, но раздумал, сам принес, сел рядом. Мурашко сначала глазами пробежал по заголовкам:

— Опять расстреливают в Чили.

Сонич, кончив точить ножи, вытирал их теперь ветошью, сказал:

— Есть же любители пострелять. Сырым мясом их кормят, что ли?

— Реакция,— сказал Бакунчик.

— Сонич, неужто ты в партизанах ни одного немца не кокнул?

Сонич ответил не сразу. Он никогда не рассказывает про партизанский отряд.

— Сколько мне было? Десять годов...

Семен видел, как Шамаль подцепил два корпуса у колонны и отправил их в брак. Самосвал выстрелил облаком дыма, ушел. Вентилятор погнал дым на обрубщиков. Лошак чертыхнулся.

— Шамаль, ты что же годное литье на переплавку отправил? — спросил Мурашко.

— Туши свет, и Мурашко стал сознательным. Глянь лучше, что в кино сегодня. Только не про войну.

— Ты что же годное литье в брак отправляешь? — поднялся Бакунчик.

— А, само собой как-то получилось... Я-то про войну люблю, да я с бабой иду. Мне ее не на войну, а на любовь надо настраивать.

Как тут Бакунчику было рассердиться!

Дернулся конвейер. Вернулся Костя, погихоньку все поднялись, началась работа. И тут подошел Кастрицкий.

— Мурашко, хоть бы предупредил. Все-таки работали вместе. Начальство спрашивает, а я ничего сказать не могу. Впервые, говорю, слышу.

— А что говорить-то,— сказал Мурашко.

— Если ты недоволен чем, можно ж обсудить. Мы вот хотели бригадиром тебя поставить... Чем ты недоволен?

Обрубщики останавливали зубила, прислушивались.

— Я всем доволен,— сказал Мурашко.

— Уходишь? — спросил Шамаль.— Кастрицкий, он уходит?

— Да вот сегодня заявление отдал секретарю. Даже не мне, а секретарю. Чтоб зарегистрировала.

Обрубщики обступили Мурашко.

— Ну, ребята, туши свет.

— И куда, Мурашко? Опять обрубщиком?

— Отпуск у меня неиспользованный,— сказал Мурашко.— Погуляю, потом буду думать.

— Ну, если секрет,— сказал Лошак,— тогда конечно.

— Не секрет,— смутился Мурашко.— Но подумать еще надо. В Тюмень вот зовут.

— Зарботки там, говорят, хорошие,— сказал Сонич.

— Руки-ноги есть, отчего ж не поработать, точно? — сказал ему Мурашко.— Потом поздно будет.

— Сразу я не могу подписать заявление,— сказал Кастрицкий.— Сам понимаешь. Надо человека вместо тебя искать.

— Долго, что ли, найти? Скажи только — побригадная оплата, сразу все кинутся.

— Не язви, Мурашко,— устало махнул рукой Кастрицкий. Он был расстроен.

Мурашко насадил на шланг свое зубило, повернул удобнее первый корпус, начал работать. А у Семена появилась какая-то тревога

и потом не отпускала весь день. Мир, с которым ты настолько свыкаешься, что не представляешь себе другого, сразу становится неуютным, когда кто-то вдруг отвергает его ценность. И не отпускает тревога, пока не убедишь себя, что тот, отвергнувший, не прав. Всем было не по себе в этот день. И потом, как-то это не так — никого не предупредил Мурашко..

— Вот такие дела,— сказал Мурашко Бакунчику.— Все хотелось с тобой как-нибудь потолковать.

— Можно и потолковать,— сказал Бакунчик.

— Так я не умею на сухую, а ты не принимаешь.

— Это дело можно бы решить. В конкретном случае.

— Не одобряешь меня?

— Тебе виднее. Рыба ищет, где глубже.

— Ты вообще-то меня всегда не шибко одобрял.

— Напрасно ты так. Ничего я против тебя не имел.

— Никогда я не мог понять, когда ты серьезно, а когда за дурачков нас принимаешь. Думал, принять бы каждому по норме, оно бы и видно стало.

— Никому от этого дела виднее не становится..

Все-таки работать — так лучше работать по-настоящему, быстрее тянется время, а так.. В обеденный перерыв Семен дозвонился до роддома — точнее, звонил Кастрицкий, сам Семен стеснялся,— Зинку опять не выписали. Какие-то анализы врачам не нравятся. Обещали назавтра. Чем он займется вечером, Семен не знал. Вышел из проходной вместе с Мурашко.

— Поехали на пару, Ефимов,— неожиданно предложил тот.— Ты видел тайгу?

— Не видел.

— И я не видел. Так ничего в жизни не увидишь. У меня шурык там на бульдозере. Говорит: вы только делаете вид, что работаете. Вам, говорит, за полгода столько платят, сколько у нас за месяц.

А что, если?.. Морозный воздух, зори в тайге, техника в снегу, а летом лесная жизнь... А тут жизнь в закопченных стенах, в грохоте; мазутный дым и металлическая пыль в воздухе... А что?!

— Куда я с двумя мальми..

— Так и я семью поначалу здесь оставлю. Без тебя баба пеленки не стирает?

Семен знал, что никуда он не поедет. Ему как-то предлагали в стальцех соседний, сразу давали пятый разряд, и то он не решился. Но хотелось слушать и слушать Мурашко, а тому важно было сочувствие Семена, чтобы убедить самого себя. Когда они расстались, Семена волновало неясное ожидание каких-то перемен.

В этот час от конца первой смены до закрытия магазинов на предзаводских улицах было особеннолюдно. Около бани стоял автофургон, сзади него у раскрытой двери толпились девушки. Семен поверх их голов видел: продают шиньоны, золотистые и каштановые. Был особенный час благодатного летнего дня, когда день вот-вот сменится вечером и само лето, может быть, кончится вместе с ним. Бледно-голубое безоблачное небо, горьковатый неподвижный воздух, густая зеленая листва — ничто не выдавало признаков близкой перемены, и оттого ощущение кратковременности тепла становилось пронзительным. Семен решил было идти к Протасене и тут увидел его. Небритый, в замызганном пиджачке и мятых брюках, Протасеня шел к нему.

— Тише,— говорил Протасеня.— Тише. Это Сеня.

— Легок на помине,— сказал Семен.— Только что про тебя подумал.

— Сеня, пошли со мной. Ты ей подтвердишь. Ты ей скажешь, что Протасеня человек. Протасеня человек. Ко мне соседка набивается — кровь с молоком. Захочу — женюсь. Ты ей скажи. Мне еще не поздно начать по второму разу.

— Куда ты такой пойдешь? — сказал Семен. — Выгонит она тебя. Ты ж на человека не похож.

— Эх, люди, — сказал Протасеня. — Люди!

Не повезло, что он пьян, но кому-то надо было рассказать про Тюмень и вообще про жизнь. Протасеня сбегал в пятнадцатый магазин. Устроились на скамейке в скверике.

— Соседка клеится, — говорил Протасеня. — Думаешь, трудно жене сейчас найти? Только свистни. Говорит, на книжке у нее на машину имеется. Тридцать пять лет. Бухгалтер. Детей — дочка. Там у нее на примете один отставник-подполковник, но я думаю, ничего у ей с ним не выйдет. Катька твоя против нее что? Ничего. Ты не обижайся.

— Я не обижаюсь, Протасеня, ты человек.

— У меня душа. Тебе это не понять. Это Катька твоя может понять. У меня душа.

— Где она у тебя, душа?

— Здесь, — стукнул себя в грудь Протасеня.

— Там ее нет. Там ребра, легкие. Сердце. Душа знаешь где? На коже.

— Чего?

— На коже у человека душа.

— Ты насмехаешься, что ли? — спросил Протасеня. — Или баптист?

— Темный ты человек, что с тобой говорить.

Протасеня внезапно задумался, оттопырив нижнюю губу.

— Протасеня, я в Сибирь поеду. Что вы здесь видите? В Сибири бульдозерист — это человек. У меня туда друг едет, и я с ним.

— Знакомая, что ли? — вдруг перебил Протасеня.

— Кто?

— Девчонка прошла, улыбнулась тебе.

— Где? Не вижу! — заволновался Семен, вскочил, выбираясь из листьев.

— Прошла уже. Чего испугался? Мы с тобой прилично.

Семен видел, как у афиш напротив скверика остановилась та девчонка. Поднялся Протасеня.

— Она, Протасеня?

— А, — сказал Протасеня. — Смотреть не на что. Твоя Катька, так она хотя бы...

— Я говорю, вон та!

— И я про нее. Смотреть не на что. Вот твоя сестра...

Семен рассердился на Протасеню и в то же время что-то в девчонке уже обесценилось для него, а когда Протасеня добавил ехидное похабное замечание, Семен уже смотрел другими глазами. Он уже думал: стоит ли подходить? Она, конечно, будет не против, но стоит ли ему...

— А, Протасеня, ничего ты не понимаешь. Хочешь, я тебя познакомлю? Зачем тебе бухгалтер, смотри, какая молодая.

Он пошел, на ходу захватывая ветки боярышника и обрывая листья. Протасеня за ним.

— Привет, Стелла, — сказал Семен. — Как сегодня, пропуск не забыла?

Девушка медленно повернулась, улыбнулась.

— Здравствуйте. Нет, не забыла. Только я не Стелла.

В ее улыбке исчез Протасеня, опять Семен оказался внутри ее загадочного мира, покрывшего их двоих прозрачным звуконепроницаемым куполом. Кружилась голова, язык плохо слушался, и с самозабвенным безразличием к своей судьбе, презирая себя, Семен словно бы со стороны следил, как происходит непоправимое.

— Извините.— Он попятился.— Извините. Обознался.

Протасеня подошел:

— Познакомь, Сеня. Девушка, вы на него не обижайтесь. Мы в Сибирь уезжаем, ну, знаете, на дорожку немного лишнего...

Улыбка застыла на лице девушки, сразу ставшем некрасивым.

— Это Протасеня, друг народа,— как во сне и почему-то слишком громко говорил Семен, пытаясь спастись, обратить все в шутку.— И певец научно-технической революции. А вас как зовут?

— Извините,— сказала девушка.— Вы обознались. Извините, я спешу.

Она быстро пошла от них.

— Туши свет,— сказал Семен Протасене.

— Сейчас это модно — худые,— сказал Протасеня.— Некоторым нравится. Может, у тебя дочка родится, так что учти. Алло, Сеня!

— Да,— сказал Семен.— Учту. У меня, кстати, дочь родилась.

— Сеня! Ну? Такое дело!

— Шалава,— сказал Семен о девчонке.

Час спустя они были перед дверью Кати. Протасеня в последнюю секунду спрятался. Катя открыла и увидела Семена.

— Сеня, что случилось? С Зиной?

— Что с Зиной? Нервные все стали, сразу: «Что с Зиной?» Даже испугала меня. Порядок с Зиной...

Протасеня стал рядом с Семеном, сказал:

— Привет честной компании.

— А-а,— понимающе сказала Катя и осталась стоять перед ними, загораживая коридор.— Дружки пришли. Рубль дать или что?

— Ты, Катя, не ерпенься,— сказал Семен.— К тебе люди пришли, и тебе не чужие. Спокойно ты можешь говорить?

Дверь в комнату квартиранта сама собой плотно закрылась. Катя не пошевелилась, не пригласила в комнаты, молчала.

— Ты, Катя, на меня за тот случай не сердись,— сказал Протасеня.— Виноват я. Так я ж какой был?

— А сейчас ты какой? — не выдержала Катя, хотя решила молчать.

— Какой? — удивился Протасеня.— Скажи, Сеня. Я в норме. Не в этом дело, Катя, не в этом дело. Ты должна понять: не в этом дело.

Катя молчала, пришлось заговорить Семену:

— Ты, может, боишься, что мы наследим у тебя в комнате? Так мы можем туфли снять.

— А ты что не в свое дело лезешь? — опять не выдержала Катя.— Своих хлопот мало? У меня экзамен послезавтра!

— А мне знаешь что на твой экзамен? — повысил голос и Семен.— Из-за них и детей забросила, хулиганами растут, и людям в душу плюешь!

— Сеня, зачем? — кротко сказал Протасеня.

Дверь квартиранта открылась, он вышел в майке и шароварах, всклокоченный, пробасил:

— Катерина Михайловна, я вам не нужен?

А вместе пили, про душу разговаривали.

— Здраваться надо,— сказал Семен.

Квартирант не замечал его, смотрел на Катю. Она устало сказала гостям:



— Идите уж в залу.

За их спинами виновато посмотрела на квартиранта и развела руками. Они сели на стулья, она стояла.

— Получается, значит, такая конфронтация,— сказал Протасеня.— Не в духе времени. Чего прошлое вспоминать. Тем более я сознаю: виноват. Был не прав. Но ведь жизнь надо устраивать. Я человек гордый, два раза себя не предлагаю. Но устраивать жизнь надо? Надо. О детях надо думать? Надо. Спокойно. Не будем торопиться. Оба мы люди еще не конченные, у обоих есть варианты. Сама понимаешь, корысти мне в тебе — в смысле материальном — никакой...

Семен слушал, удивляясь. Хорошо говорит Протасеня и трезв как стеклышко. То ли быстро выветривается у него, то ли — и это вернее — на улице он больше притворялся, чем на самом деле был пьян. Артист.

— Каждый по-своему жизнь устраивает,— все более рассудительно говорил Протасеня.— Вон Сеня наш в Сибирь собрался...

— Ты — в Сибирь? Сеня!

— Да болтает он,— махнул Семен рукой.— Это Мурашко собирается. За длинным рублем потянулся.

— Мурашко? Он тебе сказал?

— Он уже заявление подал.— Семену не понравилось, как заинтересовалась Катя, и он спросил с намеком: — А разве он сам тебе не сказал?

Катя не ответила на намек.

— Решил, значит, что с вами каши не сварить... Сам по себе человек...

— С кем это с нами? С бригадой?

— С тобой. Ну ладно. Все вы сказали или еще что будете?

— Ладно,— сказал Протасеня.— На нет и суда нет. Это было мое последнее слово.

— К нему, между прочим, бухгалтер сватается, не тебе чета,— сказал Семен.— А он семью не хочет разрушать. Через гордость свою перешагивает. И я его поддерживаю. Какая у меня Зинка ни есть, пусть хоть что, а я ее не оставлю. Мне никакие другие не нужны, шалавы всякие,— с неожиданной злостью добавил он, вспомнив о девочке,— поскольку она — жена. А тебя ветер носит. Экзамены тебе нужны? Знаю я, почему ты учиться потянулась! Видел я его, учителя твоего!

— Хватит,— сказала Катя.— Сеня, не доводи до греха, уходите.

— Правды не любишь? — поднялся Семен.— Да не бойся, не слышит он, учитель твой, дверь закрыл, чтобы покой не нарушали! А услышит, так другого найдешь. Сибирь тоже недалеко, семью-то он здесь оставляет! Только спеши, пока он там получше тебя не нашел, он ведь своего не упустит, ему больше всех надо!

Катя тяжело дышала и заговорила тихо-тихо:

— Всех вы лучше... Все вам негожи... Мурашко — он хоть себя уважает, а вы... Потому вы и других ненавидите, что меряете по себе: мол, если уж вы такие, то другие какие же! А ты хуже всех, Сеня! Протасеня-то хоть дом свой любит, землю свою любит, а ты пустой внутри! Ничего у тебя нет, кроме страха быть хуже других! Ты и злобствуешь из этого страха и смеешься из-за него! Холопы вы, как вам ни тверди, что вы люди, а вы — холопы! Над чужой бедой всегда смеетесь, несчастного всегда спешите обвинить: мол, он сам виноват, и, значит, все по справедливости и с вами ничего плохого не случится! И ненависть ваша и любовь — все холопское! Не

люблю я вас. Никого мне не надо, одна проживу! Не могу я вас видеть...

— Совсем психованная стала,— сказал Семен.— Пошли, Протасеня, что с бабой говорить. Она еще пожалеет.

— Зазналась ты, Катя,— грустно сказал Протасеня.— Не к хорошему это.

Было еще светло. В молочных сумерках линияли летние краски, затихал город. Пятиэтажные серые коробки двумя рядами поднимались на серый асфальтовый холм, желтым светом горели окна.

— Я знаю, откуда у нее все идет,— сказал Семен.— Я его видел, квартиранта.

— Она всегда такая была,— возразил Протасеня.— Ты ее не знаешь. Разбалованная она.

— Зинка у меня человек. Повезло мне с ней.

Чем ближе становилась ночь, тем больше думалось о Зине и сильнее хотелось ее видеть. Что определили врачи в ее анализах? Неужели до сих пор такую обычную вещь, как рождение человека, не могут сделать совсем безопасной? Ничего ему не нужно в жизни, только бы все у нее было благополучно, как он будет беречь ее, как они заживут! Уж она не разбалована. Никто о ней худого ничего не скажет, но только один человек есть на свете, который знает о ней все, знает, какой она бывает робкой, стыдливой и нежной. Этот человек — он, Семен.

Протасеня тянул:

— Пошли, Сеня, ко мне. У меня есть кое-что...

Они ехали в автобусе, потом уже в темноте лезли через овраг, сильно пахла полынь, и совсем рядом лязгал железом завод. Он всегда странен ночью. За столом Семен все рассказывал и рассказывал про Зину, про Игорька...

— У человека должно быть двое детей. Нас с Зинкой двое, и оставим мы после себя двоих. Сколько взяли, столько отдали. В расчете. Понимаешь? Игорек у меня хорош. Ты давно его видел?

— Давно уже...

— Большой он теперь. И представляешь — аллергия. Деревня ему противопоказана. Чудно, правда? Отец деревенский, мать деревенская, а у него от одуванчиков простых нос воспаляется и уши. Врач говорит, теперь это часто. И чирьи на коже...

— Ну, поехали,— говорил Протасеня.— За его здоровье.

— А знаешь, у меня сегодня она идет. Всегда не шла, тошнило прямо, а сегодня идет.

— У всех так, Сеня. Все не идет, не идет, а потом как пойдет, так только давай.

— Игорек говорит: «Мой папа хороший. Не пьет, не курит, не дерется, все деньги домой приносит»...

Протасеня смеялся.

— Сколько ему?

— Пять лет.

Семен открыл окно. Шумел в яблоне ветерок, быстро холодало. Нужно было уходить, и не хотелось.

— Пять лет,— мечтательно сказал Протасеня.— Самый лучший возраст.



---

---

Ю. КРЕЛИН

★

## ХИРУРГ \*

Повесть

*Запись одиннадцатая*

— Слушай, Женя, общественной работы ты никакой не ведешь. — Здравсьте — новый год! Не веду! А оперирую — это не общественная работа?!

— Ты за это деньги получаешь.

— А что ж, на общество только без денег надо работать? Еще у Ильфа в «Записных книжках» было: «У нас общественной работой называют ту, за которую не платят». Я весь в общественной работе. Кстате, мне не за всю платят. Хоть одну ночь, когда меня вызывали, оплатили?

— Это, милый, твое дело личное. Можешь не приезжать. А если бы ты своих научил обходиться без тебя как следует, они не вызывали бы. Научи. Воспитай. И не будешь ездить по ночам.

— А если вашего мужа привезут?

— А это мое личное дело, если я тебе позвоню. Короче, ты знаешь, что у нас называется общественной работой, и ты такую не ведешь. Так ведь. Почему у меня должно быть столько неприятностей из-за тебя? Тебя же в районе все знают. Ты не иголка. В райкоме у меня спросили, какую общественную работу ведет у вас Мишкин. А я вынуждена что-то врать. Сказала про народный контроль, про стенгазету.

— Такая красивая женщина, как вы, может себе это позволить.

— Эх, Женечка, кончилось то время, когда я могла себе что-то позволить. Годы вышли. Пойми! Ты же всех нас подводишь. Ну сделай ты хоть что-нибудь, хоть разовую, что ли.

— А разовые я делаю всегда и аккуратно.

— А где твоя индивидуальная общественная работа? Ну напиши хоть в стенгазету что-нибудь.

— Да что? Рецензию на фильм, что мы вчера смотрели, что ли? — Мишкин радостно засмеялся, представив себе, как он пишет рецензию. — Правильно. Там про хирургию. — Смеется. — Напишу.

— А что ты смеешься? И напиши.

— Ну и умора! Обязательно напишу сегодня вечером. И все — и больше не будете приставать с этой работой?

— Ты напиши, напиши сначала — пехота! — а потом торговаться начнем.

Мишкин ушел.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

Марина Васильевна видела, как он шел по двору одетый, наверное домой. По лицу его блуждала та же улыбка, с которой он вышел из кабинета.

«Он если вдруг сбрендит, то и напишет, пожалуй,— подумала Марина Васильевна.— Нет. Куда ему. Не соберется. Ох и безалаберный. А ведь все может. И делает все, но только то, что непосредственно нужно и для больного. Облегчает себе жизнь. Упрощает».

А Мишкин пришел домой и, никого не застав, с той же улыбкой сел за стол и стал писать рецензию. Он вспомнил фильм, вспомнил Сашку, вспомнил операции свои и начал писать почти не отрываясь от бумаги:

«Искусство включается во все, где хоть на миллиметр спорно.

Профессор Приходько — единственный герой фильма — просто относится к дискуссии о моральности пересадок сердца. Пожалуй, это разумная позиция.

О какой аморальности идет речь? Мы, врачи, здесь для того, чтобы люди жили. Мы не даем жизнь. Мы не в состоянии ее сделать вечной. Но все между — наше, врачебное.

Когда профессор Бернард произвел первые пересадки сердца, мир — и научный и обывательский (от медицины) — поднялся на дыбы: кто за, кто против. В некоторых странах отдельные газеты и даже ученые буквально суд над Бернардом устроили.

Успех пересадок породил споры об этико-моральной стороне иных видов лечения. Впрочем, «и это было» — где-то я читал, как в конце прошлого века поднимался вопрос о безнравственности столь широкого внедрения медицины в жизнь, так как ее успехи, тогда только начинавшиеся, приводят к выживаемости «убогих» и в целом род человеческий станет хилее.

Тоже был спор. И спорили как сейчас, наверное.

Работать надо. Делать, а не спорить.

Это и говорит в фильме профессор Андрей Приходько: работать надо, а не спорить.

Надо думать, как жить с новым, а не как закрыть то, что открылось нам естественным течением и расширением познания.

Как говорит один из персонажей фильма: «Трудно остановить поезд, который называется прогресс». С моей точки зрения, прогресс — это в конечном итоге борьба со смертью.

Прав герой фильма, который просто не реагирует на предположение, что иные могут устроить бизнес из человеческих органов, что врачи могут злоупотреблять своим положением и не лечить предположительно умирающего, а стараться быстрее схватить необходимый, или, если хотите, недостающий кому-то, орган человеческий.

Герой фильма не видит новой нравственной, морально-этической проблемы. Как он может думать о злоупотреблениях врача, когда сам он врач? Кто злоупотребляет?! Так говорят только те, которые в мыслях могут это допустить. А врач! Настоящий!

Новая проблема! — это всего лишь один из частных случаев главной, единственной, всегдашней нравственной проблемы мира: как миру порядочных людей оградиться от мерзавцев.

Эти демагогические разговоры мне столь же непонятны, как и разговоры о какой-то особенной отдельной врачебной этике. У врачей нет отдельной от остальных порядочных людей этики. Но все-таки герой фильма лично мне по-человечески не нравится. Я не люблю крикливых хирургов, считающих, что можно своего подчиненного публично обидеть, назвать его кретинном, предложить ему вместо хирургии заниматься кастрированием поросят. Это ходульное представление

о хирургах часто поддерживается малодумающими врачами с ограниченной внутренней культурой и плохим воспитанием. Приходько не сорвался в аффекте, он сдержался в палате при больных (хоть за это спасибо), но позволил себе распоясаться при коллегах. Это счет: он знает, где можно срывать, а где лучше сдерживаться.

По-моему, это мусор хирургической жизни. Но это есть, авторы фильма не погрешили против истины, но хотелось бы, чтобы они как люди искусства, возможно даже наделенные внутренней культурой, тактом, воспитанием, чтобы они как-нибудь оценили этот эксцесс со своих авторских позиций.

Впрочем, может быть, они и оценили.

Приходько в своих отношениях с коллегами, да и с больными, прямолинеен, как истина в последней инстанции. Этот генетический свой код он передал следующему поколению. И следующее поколение, сын его, воспитанный им, получив ту же комбинацию хромосом (повидимому), с той же категоричностью последней инстанции ломает жизнь ему, отцу. Целенаправленная категоричность и нетерпимость, решительно взятое себе право решать за других мстит, мстит всем без разбору.

Под конец фильма я испугался возможной надвигающейся, напращивающейся пошлости. У зрителя создают впечатление, что возможный донор, женщина, попавшая в аварию и лежащая перед героем-хирургом, сердце которой можно будет пересадить, эта женщина — любимая героя фильма.

Но это только кажется. Нет, не она.

Герой потрясен. Профессор задумывается. Авторы говорят герою: ты, отрицающий моральную сторону проблемы, а если это твой близкий? Как?

Да. Я согласен с авторами фильма — нет никакой новой нравственной проблемы. Я и сам так думаю. Но вот лежит конкретный человек, возможный донор, возможно, близкий человек...»

Утром Мишкин пришел к Марине Васильевне.

— Вот. Держите.

— С ума сойти! Написал! Господи, да если так дело пойдет, может, и отчет на аттестацию напишешь? Радость ты моя!

— Всю ночь писал.

Марина Васильевна перекидывала листочки.

— Смотри-ка, написано. Много-то как. Да я велю перепечатать и в «Экран» отправлю. Ты, паразит, если захочешь, председателем месткома можешь быть. Вот тогда не делал бы нравственной проблемы из технической детали.

### *Запись двенадцатая*

С а ш а. Папа, а почему ящеры все вдруг умерли?

М и ш к и н. Слишком большие они, никуда не спешили, а Земля для более невесомых тварей. При таком верчении не поспешишь — вымрешь.

С а ш а. А ты, пап, любишь спешить?

М и ш к и н. Нет. Не люблю, но спешу, и сейчас тоже. В отделение надо.

Г а л я. В выходной день и без всякой нужды. Лучше б дома делом каким занялся.

М и ш к и н. Делом! Больно ты деятельная. Какие дела! Посиди лучше, подумай, посозерцай... Делать ведь легче, чем думать.

Г а л я. Думатель. Это верно. Потому ты и хирургией занимаешься, что делать можно.

М и ш к и н. Я тебя прошу — не вставай между мной и хирургией. Мне необходимо туда.

Г а л я. Экий незаменимый! Незаменимых людей нет!

М и ш к и н. В общественных отношениях, может, и нет. А для личностей еще как есть.

Г а л я. Евгений, ты морализируешь, значит, ты не прав!

М и ш к и н. Прав не прав, а лечу личности, нужен личностям и незаменим для некоторых личностей.

Г а л я. Гуманист! Гуманист абстрактный.

М и ш к и н. Гуманизм абстрактный — абсурд. Гуманизм, как и любовь, может быть только конкретный, направленный на личности, на больного например. Вот...

Г а л я. Ну задурил, проповедник, моралист, сектант.

М и ш к и н. Пойти взглянуть я должен. Если что есть — значит, не зря пришел. Все! Я пошел.

Как говорится, сказано — сделано, и Мишкин уже в отделении.

М и ш к и н. Ну как, Игорь Иванович, дежурится?

И л ю щ е н к о. Как обычно.

М и ш к и н. Спали, ели, гуляли?

И л ю щ е н к о. Разгуляешься. Агейкин и сейчас спит.

А г е й к и н. Доброе утро.

И л ю щ е н к о. У нас все в ажуре, Евгений Львович.

Несмотря на двухметровый рост Мишкина и на вполне приличный рост Илющенко, они в своих креслах были похожи на двух гномов, замышляющих недоброе, хоть и праведное. Если смотреть сзади на спинки кресел, видны только белые колпаки: остро поднятый кверху колпак Игоря Ивановича и закругленный, обтягивающий темечко колпак Евгения Львовича.

В приемное отделение привезли тяжелого больного.

И л ю щ е н к о. Евгений Львович, прободная.

М и ш к и н. Желудка?

И л ю щ е н к о. Вестимо.

М и ш к и н. Не передразнивай. Бери в операционную. Соперируете с Агейкиным. Агейкин! Кончай спать. Работа есть.

А г е й к и н. Уснешь с вами.

И л ю щ е н к о. Евгений Львович, больной отказывается.

М и ш к и н. Ну и дурак. Он дурак. Уговори. Ты же доктор.

И л ю щ е н к о. Не хочет. Уговаривал.

М и ш к и н. Клади в отделение. Разберемся.

Мишкин направился к больному как тяжелая артиллерия. Как правило, после разговора с ним больные сдавались.

Больной лежит не шевелится. Лицо осунувшееся. Глаза запавшие. Стонет.

— Здравствуйте. Что случилось?

— Болит, профессор.

— Я не профессор, даже не кандидат, а потому на лишние слова время не тратьте. Когда заболели?

— Часов шесть назад. Как ножом в живот ударило.

Врачу всегда приятно, когда больные рассказывают классически, как написано в учебнике. Мишкин удовлетворенно и как бы призывая и их быть свидетелями правильности и могущественности медицины поглядел на больных. Но они не оценили классики.

Живот при дыхании не двигался — тверд, как доска. Чистый учебник.

— Язва давно у вас?

— Лет двадцать.

Дальше выяснять Мишкин не стал. Он погладил больного по руке и сказал:

— Не волнуйтесь, все будет в порядке. Сейчас сделаем операцию — и все будет в порядке.

— Нет, доктор. Не надо делать операцию. Пройдет.

— Да вы что — пройдет! У вас уже перитонит. Шесть часов прошло. Больше тянуть нельзя. Под наркозом же — все будет в порядке, не бойтесь.

— Мне говорили, лечить надо, оперировать не надо.— Больной говорил с трудом, перемежая слова стонами, но говорил, спорил, возражал.

— А оперировать — не лечить! Кто говорил?

— Профессор Семин меня лечил. Он говорил, не надо.

— Мы... Вы и так время потеряли. Надо срочно оперировать.

— Нет.

— Умрете.

— Нет.

Обычно при этом заболевании больные не спорят — слишком больно. Но никогда не бывает «как всегда». Вот и этот больной отказывался для своего состояния слишком многословно.

— Нет, доктор, профессор обсуждал со мной и возможность операции: говорил, полечим пока.

— Но он же вас сегодня не видал. Он кто — терапевт, хирург?

— Семин — хирург. Вот в том-то и дело, что не видал. Мы звонили ему, звонили, а его нет. Воскресенье. Лето. На даче, наверное.

— Ну, все равно надо оперировать.

— Доктор, мне очень тяжело говорить. Больно очень. Помогите. Снимите боль. А я вынужден отбиваться от вас. Где же ваш гуманизм? Профессор Семин, надеюсь, достаточно понимает. Надеюсь, он авторитет и для вас. Больно мне!

Удивительное многословие. Мишкин опять стал щупать живот.

— Да что вы, в конце концов! Я ответственно вам говорю: тянуть нельзя, надо оперировать срочно. Умрете.

— Мне больно. Я, наконец, требую обезболивания.

— Кем вы работаете?

— Я занимаюсь экономикой и планированием нашего хозяйства.

Что-то я понимаю!

— Хорошо. Пусть жена ваша, если хотите, звонит кому угодно. Скажите ей. Подождем еще минут двадцать.— В раздражении Мишкин резко поднялся с кровати. Больной, следуя за ним взглядом, перевел глаза под потолок.— Пусть звонит.

Мишкин вышел в коридор. К нему подбежала жена.

— Ну, что делать будем, доктор? Он так страдает.

— Конечно. Но он не хочет оперироваться. А надо срочно. У него язва лопнула. Вы должны его уговорить.

— Как же я могу уговорить? Он же взрослый человек.

— Как хотите. Он умрет у вас. Или у нас, если хотите. Идите к нему и решайте. Все. Не тяните только сейчас.

— Его лечил профессор Семин...

— Знаю. Но профессор не сегодня его лечил. Такого же с ним никогда еще не было.

— Он очень верит профессору.

— Не тяните время, идите к нему договаривайтесь.

Мишкин вернулся к себе.

Мишкин. Я для него, конечно, не авторитет. Но нельзя же тянуть. Да пусть жена любому профессору позвонит. Лев Павлович, подскажи ей какого-нибудь профессора. А то еще думать будут бог знает сколько времени. Пойди подскажи.

Агейкин. Какого?

Мишкин. Любого. (Сел на подоконник. Солнце жарит в спину. Ждет.) Я представляю, Игорь, своего деда, или прадеда, основателя врачебной династии Мишкиных, который подходил к больному, садился рядом с кроватью в кресло, которое ему подвигали, а не на кровать, как я, брал больного за руку, вынимал из кармана часы, щелкал крышкой; это вот лицедейство, этот ритуал, как шаманский трюк, сразу ставил больного и врача на разные уровни. Врач сразу же становился начальником, даже если больной — император. А я! Ворвался в палату, сел на кровать, без особых разговоров сразу стал щупать и что-то изрекать — никаких ритуалов. Я могу его поразить только ростом, от которого я сам уже давно устал. Конечно, я могу купить карманные часы, даже, наверное, сделаю это, но как у деда... я никогда не смогу.

Вошел Агейкин и с ходу включился в беседу:

— Да, вот раньше земские врачи, говорят! Они были покрепче нас. Говорят, одними своими знаниями, руками, глазами...

— Ушами,— поддакнул Мишкин.

— Да, ушами. Все могли — и диагноз поставить и лечить.

— Что банальности балаболишь. Люди они были хорошие, понял? Люди. А любой самый средний врач сегодня намного сильнее самого хорошего врача прошлого. В общем сильнее, лечить будет успешнее. Медицина ушла больно далеко. Ну, что жена? Звонит?

— Звонит. Ничего я не подсказывал ей — у нее целый список профессоров. Кто-то ей по телефону сообщил. А мужик-то допоеется. Доходит, по-моему.

Опять у больного:

— А жена звонит?

— Да, наверное. Никого нет. Воскресенье, знаете ли. Очень мне жаль, что нет профессора Семина.

— Надо оперироваться.— Мишкин снова пощупал пульс, живот и посмотрел язык.— Нельзя ждать, нельзя.

— Нет, нет. Завтра профессор приедет. Завтра и решим. А мне уже легче. Завтра. Вот приедет барин, барин нас рассудит.

Мишкин выскочил из палаты.

— Это перитонит. Язык стал суше. Пульс за сто идет. Надо срочно оперировать. Пойди, Игорь, померь давление.

Жена в ординаторской у телефона. Только что положила трубку.

— Никого, Евгений Львович.

— У него развивается перитонит. Он умрет.

— Уговорите его, Евгений Львович.

— А вы согласны на операцию?

— Нет! Как же я могу? Он должен сам. Я за него не могу решать.

— Он у нас уже два часа!

Пришел Илющенко.

— Давление держит. Сказал, чтоб лейкоцитоз взяли.

— А что он тебе даст? Наверняка высокий. Что делать? Недавно было письмо министра, подтверждающее прошлые постановления,



что больного можно оперировать, только получив у него письменное согласие. Письменное! А то бы мы...

Прошел еще час.

Никаких изменений. Больной отказывается уже с усмешкой. Усмешка — признак эйфории. Эйфория — признак перитонита. Перитонит — смерть.

Мишкин нервничал.

Давление к ночи у больного стало несколько снижаться. Живот вздулся. Язык стал совсем сухим.

Уже почти ночью Мишкин позвонил Гале, попросил ее приехать, дать наркоз. Решил делать без согласия больного.

— Зачем вы жену вызываете? — спросил Илющенко. — Делаете вы не по закону, вопреки инструкциям. А если что случится? Без согласия, да еще собственную жену вызвал наркоз давать. Скажут: дело нечистое!

Мишкин с удивлением посмотрел на Игоря:

— Да, ты прав. Но Галя же ближе всех живет.

— Звоните вы лучше Вере Сергеевне. Пусть дольше, но это лучше.

— Ты дежурный, ты и звони.

Больному сделали укол в палате, а когда он уснул, взяли в операционную и сделали операцию.

Да, была прободная язва желудка, был запущенный уже перитонит. Надо было оперировать раньше.

Когда Марина Васильевна стала разбирать историю болезни, она с удивлением прочла, что больной от операции отказывался.

— Зачем же ты это написал?

— А так было.

— Лучше же ничего по этому поводу не писать.

— Жена тоже не соглашалась. Говорила: «Как он».

— Но ты действительно не имеешь права оперировать без согласия.

— Знаю. Но он умирал.

— А может, он хотел. Не тебе решать за него, жить или умирать.

— Больной у меня в отделении умирает, а я буду смотреть на это, что ли?

— Каждый человек, Мишкин, волен сам решать, жить или не жить. Это к самоубийству отношения не имеет. Ты пойми меня, про что я говорю.

— Я выучен не для того, чтобы помогать человеку выбирать, жить или умереть. Если я на работе, значит, у нас с больным цель одна — жить. А когда не могу и знаю, что не могу, тогда я должен, по крайней мере, боли устранять.

— Ты же умный интеллигентный парень, а болтаешь, огрызаешься. Может, ты и прав. Но только я хочу тебе сказать, что о людях, даже когда они болеют, надо думать как о людях. Пусть они сами решают главное в своей жизни. Даже врач не имеет права революционно решать судьбу человека. Поэтому и письменное согласие надо брать. Дурак.

— Мы ж ни у кого не берем согласие.

— Знаю. Не привыкли, но зачем-то это правило существует.

— Сначала я буду уродоваться, уговаривать больного на операцию, а когда он согласится, я ему бумажечку-расписочку подсуну. Ничего себе!

— Ну и что! Только надо сначала людей предупредить об этом во всех газетах. А то они, конечно, пугаться будут, если с них распи-

сочку перед операцией брать. Сейчас я разговор этот завела, потому что ты поступил неправильно по существу. А кроме того, коль скоро ты все же решился на это, мог бы позвонить главному врачу и написал бы в истории болезни, что главный врач поставлен в известность. Тогда видно, что ты, так сказать, мыслил и страдал, подошел к этому со всей ответственностью. А так видна безответственность, и бесшабашность, и легкомыслие, и наглая вседозволенность. Вы, дорогой Евгений Львович, судя по истории болезни, взяли на себя функции господина бога: «Я считаю надо — делаю!» Все-таки не все нам позволено.

— Если больной умирает, я обязан его спасать.

— Ну ладно, ты, по-моему, уже заиклился. Кстати, ты помни, что при разбирательствах в инстанциях преобладает презумпция виновности врача. Считают, что если больной отказывается от операции — виноват врач, не нашедший с больным контакта. Тюрмы ты, естественно, не заслужил, но ты не прав, друг мой. Ты лучше подумай, Женечка, в чем ты не прав. Думай, Женя, думай...

### *Запись тринадцатая*

Илющенко. Евгений Львович, что лить ему будем?  
Мишкин. Кому? С непроходимостью? Значит, соду, калий, гемодез, глюкозу. Хорошо бы плазму и белок — его подпитать надо.

Илющенко. А Нина не привезет ничего оттуда?

Мишкин. Обещала несколько банок аминазола с интралипидом.

Илющенко. Хорошо бы. А когда приедет?

Мишкин. Да вот жду.

Илющенко. Вы ей сами звонили?

Мишкин. Нет. Ей что-то нужно...

Илющенко. Тогда это надежней...

Мишкин. Сказала, приедет. Обещала. А вон и она.

Мишкин отошел от окна и сел в кресло.

Вошла Нина.

Нина. Здравствуйте. Удалось достать несколько банок. Мало, конечно. Но это такой дефицит. Сами знаете. Апробация-то закончилась.

Илющенко. Господи, спасибо и за это. Нам так нужно — тяжелый очень больной. С интоксикацией справился, но слаб. Пойти поставить, Евгений Львович?

Мишкин. Подожди. Пусть прокапает сначала все против интоксикации, потом начнем питать.

Илющенко. Это верно. Пойду сестрам отдам.

Илющенко вышел.

Нина. Евгений Львович, у меня знаешь какая к тебе просьба? У нас одному пациенту в институте не хватает кое-каких данных. Ты бы не мог ему дать несколько своих снимков из тех, что ты показывал мне, сделанных во время операции, где желчные пути и протоки поджелудочной железы? Ему только несколько снимков — и диссертация сразу же приобретает другой вид.

Мишкин. Пожалуйста, но как это может ему помочь?

Нина. У него хорошая работа, вполне достоверная. Но достоверность ее могла бы быть проиллюстрирована такими снимками. А он о них и не думал, пока материал набирал. Когда я ему рассказала про тебя, он за голову схватился.

Мишкин. А какие ему нужны? Что за работа?

Нина. Знаешь, пусть он приедет и сам поговорит с тобой и вы отберете, что ему понадобится.

Мишкин. Валяй.

Нина. Я ему сейчас позвоню.

Мишкин. Валяй.

Вошел Илющенко. Нина села звонить. Разговор идет параллельно.

Илющенко. Соду и гемодез уже прокапали. Он ничего — и пульс пореже стал.

Нина. Боря. Это я. Я договорилась с эскайром Мишкиным. Он даст тебе пару снимков, но ты должен приехать, объяснить точнее, что надо, и отобрать — их ведь много.

Мишкин. Ты дежуришь сегодня?

Илющенко. Да. Больному полегче стало. Освободился маненько. Позвонил на «скорую», попросил подвезти нам кого-нибудь — поинтереснее.

Нина. Конечно, удобно, если интеллигентно.

Мишкин. Правильно. А как говорил?

Илющенко. Простите, пожалуйста, говорит дежурный, и тэзэ, пришлите, пожалуйста, если можно и будет не очень далеко от нас, и тэзэ, хорошо бы прободную язву, холецистит, на худой конец, непроходимость и даже аппендицитом не побрезгуем...

Мишкин. Аппендикитами ты уже, по-моему, вполне насытился.

Илющенко. Все равно сгодится.

Нина. Тебе подходят интраоперационные снимки желчных путей и поджелудочной железы. Так?

Илющенко (шепотом). Это ваши, что ли, снимки?

Нина. Я так и сказала... Даст, даст. Приедешь — увидишь.

Мишкин. Угу.

Илющенко. А я бы принципиально не давал. Пусть сами делают.

Мишкин. Они и сами могут сделать, конечно. Невелика хитрость. Но нам-то чего жалеть? А мужику поможем.

Илющенко. Конечно, не жалко. Но я бы принципиально не дал.

Нина. Э-э, Борис! Все должны друг другу помогать в любом деле, было бы дело. Нечего принципиальничать на ерунде, когда принцип доказан всем, а не только снимками.

Илющенко. Вот слышите? Они уже все доказали, во всем уверены. Пусть поработают сами.

Мишкин. Не люблю, когда говорят «а я из принципа», это всегда на поверку оказывается либо злобностью, либо шкурничеством, либо ленью, либо мелочностью. Брось, Игорь. Будь шире.

Нина. Все, все, Борис, договорились. Адрес знаешь?

Илющенко. Они договорятся, это уж точно. А вы будете иметь утешительный заезд типа: «И правильно, милый Евгений Львович. Долг дружбы, Евгений Львович. Законы дружбы, друзья должны помогать друг другу».

Мишкин. Ну, ты все понимаешь. Только будь шире. А что касается дружбы, то этого я вообще не понимаю. Любовь есть. В нее входит все. А «дружить» — нет такого понятия в канонических текстах. Так-то, друг мой. Шире будь.

Нина. Сам позвонишь. Приеду — объясню подробнее. Все. Обнимаю тебя. Обнимаю.

Илющенко. Да это ж ваши диссертации, в конце концов.

Мишкин. Не морочь голову. Не живи по принципу: у меня не вышло, пусть и у них не выйдет. Лучше наоборот.

Нина. Евгений Львович, ты едешь? Я вас довезу. Поехали.

Мишкин. Одеваюсь. Черт подери! Подошва совсем оторвалась. И туфли-то никак не купишь.

Н и н а. Почему? Сейчас заедем в магазин и купим.

М и ш к и н. Во-первых, у меня с собой денег нет. Во-вторых...

Н и н а. Первое не проблема, у меня с собой есть. Потом отдашь.

М и ш к и н. Главное как раз второе. Размера моего достать не могу.

Н и н а. Да-а. Большие. Какой размер?

М и ш к и н. Сорок восьмой.

Н и н а. А разве такие бывают? Не может быть.

М и ш к и н. Может, раз они на мне.

Н и н а. Сейчас я позвоню. Помогут.

М и ш к и н. Да бросьте. Никуда я не поеду. И вообще перебыюсь. Не первая необходимость.

Н и н а. Что за вздор! Если есть возможности!

М и ш к и н. Не надо. Я ж говорю, не нужно этого.

Игорь подмигнул Нине: мол, надо, звоните, а я его пока за руки подержу.

И л ю щ е н к о. Евгений Львович, вы перед уходом все-таки взглянете на больного?

М и ш к и н. А как же иначе.

Н и н а. Алло. Привет, Миша. Это я. Да, да. Слушай, я это сделала. Переговорила с ним. Он согласился. Вы придете в понедельник к десяти в институт. Только не опаздывать, а то он не сможет... Ладно... Так что тебе все сделают. Нет, нет, это вы сами с ним решать будете. Я ни при чем... Я! Я другое дело — долг дружбы.

М и ш к и н (бурчит себе под нос). Дружба. Вот именно что дружба.

Н и н а. Врачи, друг мой, по выбранному добровольно пути с удовольствием помогают людям. Это для них удовольствие. (Поглядела искоса на Мишкина со странной улыбкой.)

М и ш к и н (что-то высматривает на шкафу, наверное какие-нибудь снимки). Да, да. Удовольствие. (К Игорю.) Для меня удовольствие, например, сделать операцию.

Н и н а. Я тебя прошу, ты можешь позвонить Стефании Львовне? Нужно одному хорошему человеку ботинки сорок восьмого размера.

М и ш к и н. Я же сказал, не надо.

И л ю щ е н к о. Бросьте вы, Евгений Львович. Подумаешь, дело какое.

Н и н а. Да, вот такие, и не меньше. Есть же еще люди на планете. Как пелось в детской передаче: «Все же выпала планете чেষть: есть мушкетеры, есть», кажется, вроде этого что-то... Она у тебя!.. Тем более спроси.

М и ш к и н. Не надо спрашивать. Пойду взгляну на больного.

И л ю щ е н к о. Что вы значение пустякам придаете?

Мишкин вышел.

Н и н а. Вот чудак.

И л ю щ е н к о. Ничего. Вы все объясните мне. Сам он все равно не пойдет. Я его жене передам.

Дома.

— Жень, так я поеду.

— Не знаю. Не стоит, по-моему. На кой нам это надо. Не хочу я этих подачек.

— Почему ты так все усложняешь? Это ж не хирургия, где ты все делаешь сам. Ведь мне идти, мне унижаться. Что ты меня мучаешь? И работать надо, и вас с Сашкой приводить в порядок. Ведь это мне придется бегать по всему городу и искать тебе ботинки. Легко быть щепетильным за чужой счет.

— Трудно — пожалуйста, никто не держит.

— Дурак ты все-таки, Женька. И садист.

— Мачеха ты, а не мать. Так оно и быть должно. Нечего было мне и рассчитывать.

Галя заплакала.

— Из таких вот слов Сашка и узнает когда-нибудь, что я ему неродная мать. Как тебе не стыдно. Ты и в хирургии такой. Всех загоняешь. Хоть и сам все делаешь, но об остальных тоже думать надо. Вот Наташа, она верой и правдой тебе служит, но у нее же семья. Ты сам все делаешь! Но она же не может уйти, когда ты работаешь. Их по-одному, меня по-другому, но всех угрожаешь.

Плачет.

— Ну чего реवेशь? Я ж никого не держу. И Наталью Максимовну не держу. Пусть идет.

— Дурак ты. Я не об этом вовсе. Никто не хочет уходить. Но ты-то должен думать о других. Нельзя же думать только о больных. Ты здоровых сделаешь больными. Тогда будешь думать о них иначе, что ли?

Меня в Мишкине поражала странная смесь доброжелательной мягкой интеллигентности с неожиданной жестокостью. Иногда не думая (да он в эти моменты никогда, наверное, не думал) он мог обидеть человека, и, конечно, близких обижал чаще всего. Вернее, только близких. Поистине труднее всего любить ближнего своего, близкого своего.

У Мишкина всегда был выход: он включался в операцию — и удовольствие собой моментально улечивалось из его сознания, смывалось, как кровь с резиновых перчаток.

Я вспоминал рассказ Гали о начале их совместной жизни.

Это было после института, в маленькой районной больнице. Он был заведующим хирургическим отделением. Она туда приехала работать участковым терапевтом. Галя знала, что он жил с сыном в домике на территории больницы и часто убегал из отделения, потому что сына надо было накормить, умыть, напоить, одеть. Ему помогали сестры, санитарки — весь персонал больнички, который был свободен, когда он был занят.

Однажды она пошла к нему посоветоваться об одном только что поступившем больном. Хотя, если вспоминать по правде, не советовать ей надо было, а поглядеть, как он живет, поглядеть на него.

Он лежал на раскладушке и читал. Сын сидел на матрасе с ножками, называемом тахтой, и был отгорожен от мира спинками связанных между собой стульев. Перед мальчиком лежала гора всякой домашней всячины: игрушки, клубок ниток, будильник, ложка, ботинок, детские книжки, шапки детские и отцовские. Мальчик брал поочередно в руки какую-нибудь ближайшую вещь и кидал ее на пол.

— Евгений Львович, он же часы ломает!

Мишкин засмеялся:

— Что вы! В «Записных книжках» Ильфа есть такое место: «Часы «Ингерсолл». Их кидали, били, опускали в кипяток — идут, проклятые». Так и эти. Пока все не перекидает, он будет молчать, а я могу почитать. А потом начнет шуметь — я снова все соберу — и новый цикл существования. Это и называется мирное сосуществование двух систем в нашей семье. Мы довольны.

Встретившись с этим сосуществованием двух систем, она стала третьей системой в их существовании.

Так началась их совместная жизнь.

А потом появилась опасность, что сердобольные любители «бедных сирот» или гневные борцы и обличители «злых мачех» расскажут Сашке, что Галя не его родная мать. Начались их мытарства по новым местам и новым квартирам. Они переезжали из одного города в другой, из одной квартиры в другую, он переходил из одной клиники в другую, пока они не оказались в этом городе, в этой квартире, в этой больнице.

Хирургия была четвертой системой в их существовании. Галя ревновала, мучилась, не отдавая себе отчета в том, что они все полноправны.

В конце концов она поняла — для нее важнее всего то, как любит она. И сейчас Галя была защищена от жизни, от самого Мишкина своей любовью к нему.

А я, сторонний наблюдатель, я люблю их обоих...

Потом она принесла ему туфли.

Он говорил, что никогда не наденет их, что он предупреждал ее, и еще много всякой ерунды. Потом примерил, прошелся по комнате, и мир снова был восстановлен.

Они обедали. Галя рассказывала, как из магазина ему звонила в отделение.

— А я тебе позвонила, но мне ответил незнакомый голос: а кто его спрашивает, а зачем он вам? Я не стала отвечать — представляешь, сказала бы — супруга, брр. Я ответила: «Какая разница кто? Если не можете позвать, позвоню позднее» — и повесила трубку. Кто это у вас?

— И зря начала права качать. Сказала бы — из дома. Или фамилию бы назвала. Сама обиделась, плохое настроение свое ухудшила. Кому-то настроение испортила — ему теперь неудобно передо мной.

— Господи, все ты понимаешь за других. Там ты никому не портишь настроение. А дома-то!

— Ну ладно. Я тоже хорош. Виноват, молод, исправлюсь.

— Первое — это точно. Второе — врешь. А вот третье... вряд ли. Да и не знаю, надо ли.

### *Запись четырнадцатая*

На субботник собирались не так аккуратно, как на работу.

Мишкин опоздал ненамного. Мужчин было четверо. Марина Васильевна направила их носить оборудование в новый корпус. Строительство в основном закончили, и сегодняшний субботник хотели хотя бы частично посвятить размещению оборудования. Пока оно лежит всюду — в подвалах, сараях, во дворе под навесом и просто так под открытым небом тоже, к сожалению, лежит. Все это надо внести в корпус. Конечно, дел тут не на одну субботу, это лишь первая прикидочка.

Марина Васильевна уж думала, нельзя ли под каким-нибудь предлогом прекратить временно работу хирургического отделения и весь персонал отделения направить на подготовку корпуса и оборудования. Конечно, строители должны им сдать весь корпус с полностью расставленным оборудованием, но тогда придется очень долго ждать, а между тем семизэтажный хирургический корпус уже стоит готовый.

Марина Васильевна достала большое количество рабочих варжек для хирургов и сестер.

Вчетвером нести один операционный стол очень тяжело.

Мишкин кричит Онисову:

— Не стони, не стони — неси! Здоровый мужик! Что тебе станется?

Евгений Львович идет как бы в головах и распахивает собою дверь. Около дверей стоит строительный рабочий. Старшая сестра издали кричит рабочему:

— Ну что стоишь без толку? Не можешь двери закрыть? Холод напускаешь! Холодно же на улице!

— Кто открыл, тот пусть и закрывает.

Врачи со столом поравнялись с рабочим. Агейкин уже совсем было рот раскрыл, чтобы одернуть рабочего, но Мишкин успел раньше:

— Будьте добры, закройте дверь, пожалуйста, за нами.

Поднесли стол к лифту. Оказывается, лифт еще не пустили. Надо ждать.

— Чего зря ждать! — воскликнул Агейкин. — Пойдем следующий подтащим.

— Подождите, — сказал строитель. — Передохните. Скоро включат.

— Мы за это время еще один подтащим, — извиняюще улыбнулся Мишкин. — А вы скажите, пожалуйста, лифтеру, если он придет за это время, что мы сейчас еще один принесем.

Строитель пожал плечами, сел на стул рядом с лифтом и закурил.

На улице они подошли к очередному столу. Мишкин переломился где-то посередине и взялся за нижний край ящика.

— Ну! Беритесь.

Из-за спины он услышал голос Натальи Максимовны:

— Рвать цветы легко и просто детям маленького роста, но тому, кто так высок, нелегко сорвать цветок.

— Чувствуется, что вы еще в дошкольном мире. Родители растут с детьми. А я пою песни для старшего возраста: «Я играю на гармошке у прохожих на виду».

— Евгений Львович, вы разломайте упаковку здесь, а доски мы уберем и свалим в кучу.

— И женщины иногда совет отменный подадут.

— А что, верно! И нам легче будет нести. Не надо доски волочить. — Агейкин говорил возбужденно и громко. Наверное, потому, что работа необычная.

Подошли две женщины средних лет. Это две дочери одного семидесятилетнего больного, которому Мишкин удалил желудок по поводу рака. Старик очень тяжело перенес операцию. Тысячи осложнений. Порой они совсем теряли надежду. Дочери не отходили от него ни днем, ни ночью — и это уже два месяца. Измучились вконец, так что сейчас их не узнать.

— Евгений Львович, ну что скажете нам? Надежда-то есть сейчас?

— Лучше, конечно, но планировать нельзя, хотя я думаю — выкарабкается. Тяжел еще очень.

— Папа просит дачу снять. Так если надежда есть...

— Задаток большой давать надо. — Это вторая дочь. — Чтоб не зря. Если жив будет.

— О чем вы говорите! Как можно говорить, что будет! Ну, рискните деньгами. — Агейкин опять начал учить.

От дверей им крикнул строитель:

— Доктора! Лифт включили. Я с лифтером затащу стол. На какой этаж?

— На седьмой! — ответил Онисов.

— Ну, спасибо вам, Евгений Львович. Мы тогда снимем дачу.

Дочку почему-то успокоенно отошли.

— Ну, давай, ребята! — крикнул Мишкин. — Подхватывай! Три, четыре — поднимай! Пошли.

— Вон. В окнах. Больные. Смотрят, — проворчал Агейкин.

— Неси. Дыхание сбиваешь. — Поставили около лифта и этот стол. — Смотрят. Окна. Больные. Живи себе и неси.

Работа шла хорошо. Но успели они... Если и дальше так, понадобится несколько месяцев.

Подошла Марина Васильевна.

— Приезжало начальство. Велено мусор этот, упаковку, тару, ликвидировать. Чтоб территория была приглажена. Иначе зачем субботник.

— А как ликвидировать?

— Сжечь.

— Доски какие! Жалко. Стеллажи сделать можно...

— Пожалуйста. Уноси домой, но сейчас.

— Мне сначала квартира нужна.

— К тому времени еще будут. Вечно ты, Мишкин, создаешь проблемы из ничего. Сказано жечь — жги.

— Жгу. Я разве против? Мне только жалко.

— Смотрите, как горит, — сказала Марина Васильевна.

Все побросали работу. Мишкин тоже подошел к костру.

— Чем отличается человек от животного? — спросил Илющенко.

— Многим, — мрачно буркнул Мишкин, а потом добавил: — Всем. Человек смеяться может, плакать, и к огню его тянет. Животное не смеется, не плачет, а огня боится. Правда?

— Правда, правда, — тихо сказала Марина Васильевна. — Давайте кончать. Сейчас догорит — и расходитесь. Время уже. Будем по традиции пить в конце субботника?

— Я всегда за, — ответил Агейкин.

— Я нет. — Это Онисов.

— Мне домой надо, — сказала Наталья Максимовна.

Марина Васильевна вздохнула:

— Скучные вы, ребята.

Мишкин пошел к себе в кабинет. Там его ждала заведующая райздравом Валентина Степановна с дочерью.

— Евгений Львович, я к вам. Мне ваша помощь нужна.

— Всегда готов. Заболели?

— Не я. У дочери живот болит. Я привезла ее. Расскажи, Катюша, Евгению Львовичу, что болит у тебя. Днем вчера заболело у нее. Ну, рассказывай. Ночь, правда, спала хорошо. Но сегодня болит по-прежнему.

— Пусть она сначала сама расскажет.

— Конечно. Ну что же ты, Катя?

Девочка стала рассказывать, где болит, что она чувствует при этом. Мать иногда вступала с уточнениями.

Потом девочка легла на диван, и Мишкин стал ее осматривать, ощупывать, задавать еще вопросы...

— Что вам сказать, Валентина Степановна. Живот мягкий, болезненность умеренная. Аппендицит есть, но чтоб считать его горящим... Сомнительно. А кровь какая?

— Лейкоцитоз восемь тысяч.

— Ну вот и аппендицит такой. Аппендицит есть наверное. Но с ходу делать не стоит. Не гнойный. Тут деструкции нет. Давайте посмотрим до завтра. Положим ее в отделение. А если что — меня



вызовут. К тому же сегодня... Руки наши... Без особой нужды, без экстренности лучше не лезть в живот.

— Ну хорошо, Евгений Львович. Договорились. Я ее укладываю, а потом мы созвонимся, решим что и как.

Валентина Степановна ушла.

Мишкин подумал: «Может, это Нина решила начальство прислать ко мне на совет для укрепления будущих успехов? Хотя, может, и нет».

Мишкин поглядел на телефон и усмехнулся.

На другой день утром.

— Лев Павлович, нельзя так, с ходу, оперировать. Ведь это же аппендицит. Вы должны понимать, что срочность при этом заболевании чисто легендарная. На самом деле такой срочности нет. Несколькими часами, конечно, может обождасть, и до утра вполне. Перитонита ведь не было.

— У нее боли сильные были, Евгений Львович.

— В крайнем случае мне бы позвонили. Если заведующая райздравом привозит свою дочку, а я говорю, что пока ничего нет, надо ждать до утра, то просто обычная деликатность требует, чтобы без меня вы не оперировали. Я же был дома. Говорил с вами по телефону. Нехорошо. Да и аппендицит не гнойный оказался. Я же прав был.

— Были сильные боли, и я не считал себя вправе, понимаете... Конечно, Евгений Львович, если вы считаете, что я поступил неправильно, можете меня наказывать. Я готов.

— Да за что наказывать! Сделали вы все как надо. Диагностика и тактика — не дважды два. Но я говорю о деликатности. Какого черта вы меня ставите в дурацкое положение?

— Бейте, Евгений Львович, вот шея.

— Я не хочу вас бить, я хочу, чтобы вы думали о других во всех подобных ситуациях.

— А обо мне когда-нибудь думали? Я не про вас лично, Евгений Львович. Вот я знаю: меня ругают все и сейчас думают, что я хотел хорошо выглядеть перед начальством, что спас дочь, понимаете. Ну и правильно, ну и считайте. Вам-то хорошо. А за моей спиной осталась тяжелая жизнь — тысячи поколений русских мужиков, понимаете ли?

— Вы не поднимайте все на принципиальную высоту. Мы оба одинаковые хирурги. Кстати, Лев Павлович, не тысячи поколений русских мужиков, а всего сорок, сорок поколений... В лучшем случае за тысячу лет России. Так что не занимайтесь демагогией, а ведите себя интеллигентно, как и подобает русскому врачу, если уж на то пошло.

— Вам ведь легко это говорить, Евгений Львович. А мне ведь все своим горбом пришлось пробивать. И выучиться и выжить, Евгений Львович. Отец ушел в армию, да так и не вернулся. Получил паспорт, остался где-то работать, написал, что вызовет, деньги пришлет, да так и пропал. Хорошо, я один у матери был. Пока учился в деревне, как все, больше в поле, чем в школе. Школу окончил — меня в армию. Слава богу, папанин пример был, научил меня старик, уж не знаю, жив он, нет, но за науку спасибо. Остался в городе и поступил в медицинский институт — в нашем городе конкурса не было. А стипендию получал двести двадцать, двадцать два, значит, по-сегодняшнему. И без вашей деликатности в иные дни лежал в общаге на кровати, голодный, чтоб сил не тратить. После третьего курса стал фельдшером на «скорой» работать. Легче стало, так и то в беду угодил. На нашей станции пьяный залез в машину, стал гудеть,

а шоферу палкой предплечье сломал. Мы с нашим доктором вышли, вытащили пьяного, вломили ему малость, так нас под суд. Кто-нибудь помог?! Ну, может, и лишнего дали парню. Вы уж простите, Евгений Львович, за неделикатность, но вы можете себе позволить быть бесхарактерным, мягким, не ругаться, гордо сделать за другого его работу, понимаете? А нам, Евгений Львович, так нельзя.

— А вы считаете, что если не ругаешь и не бьешь, значит, бесхарактерный? А по-моему, для мягкости нужно больше характера, чем для удара. Ударить — это же так легко. Ни мысли, ни гордости, ни характера. Пустота.

— Так что, как говорится, извиняемся, барин, но нам институты кончать надо, денежки зарабатывать и кормить себя, мать, жену и детей. Кончил все-таки институт. В деревню работать уехал уже с женой, вместе учились. Сын родился. Работаем. И тут мне предлагают в районе путевку в ординатуру на два года в Москву. Я поехал, а в деревне, где сын с женой, думаете, легко? Получала она семьсот двадцать, ну, полторы ставки набегало, около ста, по-нынешнему, имела. Проживи-ка, Евгений Львович!

— Да что вы мне это говорите, Лев Павлович? Я-то что, не так жил? И тоже в районе, а не в городе.

— У вас накатанная дорожка, а мне думать надо было. Сын годовалый. На деликатность много не купишь, Евгений Львович. Из Москвы каждый месяц домой на три дня ездил. Чемодан целый с продуктами вез. Хорошо хоть начальство по деликатности не обращало внимания, что я по понедельникам иногда на работу не выходил. Знали, что в деревню уезжал к своим. Не успевал я к понедельнику иногда. Вот и ловчил. Зато квартира есть и силы сохранил. Я с дежурствами до двух ставок набираю — силыгодились. Жена две имеет. Вот и получается на нас пятерых, с детьми и тещей, около пятисот рэ. Да я, как вы, на такси себе не позволяю. Еще и накоплю. Все сам, Евгений Львович. У нас с вами разные деликатности. Вы не голодали... Ну не возражайте, не надо, голодали вместе со всей страной, когда всем плохо было. Я это знаю, много раз слышал. Вам легче, Евгений Львович, о добре говорить.

— Простите меня, Лев Павлович, может, я и не прав, даю слово подумать, но и вы подумайте. Что ж, я в другом, городском мире рос, но уверяю вас — в каждой среде свои горести, свои беды. Разве горести измеришь? Моя горечь для меня всегда самая горькая. Помните только, Лев Павлович, что порядочный человек чаще бывает счастливым. Его меньше точит, меньше грызет изнутри... В общем, хорошо, Лев Павлович, что мы выговорились, простите меня за мою настырность, но нам легче после этого быть обоюдно деликатными. Для деликатности любовь нужна. Для любви — понимание. А без любви по-настоящему жить никто не может. Даже господь бог, говорят, людей создал, так как в любви нуждался. И нам с вами не хватает. Да. Время каяться — время щеки подставлять.

— Что-что?

— Это я уж так. Сам себе. Зря только мы этот разговор затеяли перед операцией. Но у нас, пожалуй, все времена перед операцией. Мишкин начал переодеваться.

А Агейкин вышел с видом победителя.

### *Запись пятнадцатая*

Мишкин положил руки на стол, полусогнув кисти. Онисов сидел напротив и ворчал:

— Я Агейкину твоему сказал, что этот аппендицит можно и не оперировать. Не каждый же аппендицит надо оперировать. А он рас-

шумелся, обиделся. Я ж его ни в чем не обвинял. Чего он обиделся? Расшумелся, стал доказывать необходимость операции. Я ж не спорил. Я понимаю, что можно оперировать, если боли сильные. Иногда и не поймешь больного. Но после операции, если отросток не гнойный, мы понимаем, что можно было и не оперировать. Обиделся. Чем человек ограниченнее, тем более обидчив.

— Ладно тебе ворчать. Ты, наверное, не просто сказал, а что-нибудь вроде: «Дурак — нечего было оперировать», после того как он стал расписывать, какое было тяжелое дежурство. Я ж тебя знаю.— Мишкин засмеялся.

— А что особенного! Нечего жаловаться. Сам себе создал тяжесть. Лишнюю. «И аппендицит, говорит, технически сложный был». Сказал бы сам, что зря делал его. Нет, на всякий случай стал оправдываться.

— Ты же тоже с ним дежурил. Ты где был? Все на него переложил, а еще и ворчишь. Ты же мне сам зачитывал из какой-то книги, помнишь, что в основе самых различных бед людских и особенно бед человеческих взаимоотношений — это неистребимое желание оправдаться и свалить вину на другого. Как Адам на Еву, а Ева на змия — первородный грех. Теоретически ты все понимаешь, а практически на него все сваливаешь.

— Нет, ты уникал. Я ж не про то тебе говорил. Я говорил, что все вокруг надо на себя опрокидывать. Например, я молодой и здоровый, но когда я вижу лысину своего друга детства — это я, когда я вижу седину своего друга детства — это я.

— Хорошо же ты хочешь устроиться. Все на себя. Это, малый, ты уникал. Душевный комфорт себе создаешь.

Телефонный звонок.

— Евгений Львович, вас.

— Я слушаю.

— Евгений Львович? Здравствуйте. Это Нина, Женя.

— Да, я вас слушаю.

— Тебе неудобно, Женя, сейчас?

— Да, у нас конференция.

— Ну ладно. Я потом. А сейчас минутку только. Мог бы ты посмотреть и, если надо, оперировать одну мою знакомую с холециститом, с камнями?

— Пожалуйста.

— Завтра она придет к тебе в больницу.

— Хорошо.

— Около десяти утра. Да?

— Хорошо.

— Спасибо, Женя. А я еще раз позвоню. Хорошо? До свидания.

— Хорошо. До свидания.

Вошел Агейкин.

— Евгений Львович, опять расписание операций изменилось?

— Да, Лев Павлович. Это я виноват. Да и вы. Вы по дежурству положили больного с грыжей. Четверг же. Если мы его сегодня не прооперируем, то получится четыре дня до операции. Только в понедельник. Предоперационный койко-день для грыжи слишком большой будет. Решил ограничиться одной койко-ночью — назначил на операцию. А вообще-то нехорошо, конечно.

— Конечно, нехорошо. Сестры обижаются — операционное расписание все время меняется.

В ординаторскую постепенно набрались все хирурги отделения и уже пришедшие дежуранты.

— Конечно, должен быть порядок в операционной, сестра должна знать, что будет завтра. Иначе она перестанет верить в будущее.— Мишкин одиноко засмеялся.— Если нет устойчивости, тогда все можно в операционной. Но мы, но человек оказывается между двух инструкций: койко-день и расписание. Да, я помню, какой был скандал в клинике, когда я нарушил расписание. Меня чуть не выгнали. Я тогда болел еще. Заболел тогда.

Мишкин задумался. Онисов опять высказался насчет «уникума».

— Ну ладно. Все собрались. Давайте начинать. Кто докладывает? Агейкин? Начинай. Чего молчишь?

— Скромный очень.

— Скромность — это часто показатель надежд на будущее. Так сказать, ну, что я сейчас, что я сделал? Вот вы посмотрите, что я буду делать. Вы еще узнаете, что меня ждет, чего от меня ждать. Так ведь? Вот ты уже профорг. А что будет дальше? — Мишкин опять странно засмеялся.— А патанатом где? Без него мы не можем начинать. Позвоните-ка ему. Скажите, что мы ждем.

В это время пришел патанатом.

— Ну вот и наш контроль. А это символично — только сейчас понял. Он и председатель народного контроля в больнице, и начальник патанатомической службы, контролирующей нашу работу. Правильно, всякий контроль надо объединять, контроль надо централизовать.— И опять засмеялся.

Евгений Львович был напряжен и несколько неестествен. Так бывало с ним, когда предстоял разбор смертного случая. Мишкин начинал думать, что он сделал и чего не сделал, и невольно от вчерашнего дня он уходил к позавчерашнему и дальше, дальше. Так было всегда, и все уже к этому привыкли. В таких случаях он начинал изрекать истины, кидался афоризмами, морализировал, чем вообще грешил.

Сейчас он, очевидно, впал в свой, так сказать, клинико-анатомический транс:

— Докладывайте, Лев Павлович.

А г е й к и н. Больная — семьдесят два года, поступила в больницу с явлениями острой кишечной непроходимости. Наблюдалась несколько часов. Диагноз был подтвержден. На основании того, что у больной непроходимость развивалась в течение нескольких дней и не сразу стала полной, а также потому, что в течение нескольких месяцев она чувствовала себя слабо, мы предположили, что у нее опухоль толстого кишечника. При операции мы так и обнаружили: рак и непроходимость. Учитывая тяжесть состояния больной, непроходимость, а также то, что опухоль в принципе удалима, решили операцию делать двухэтапно: убрать участок кишки с опухолью и концы вывести наружу. А в последующем сшить концы и восстановить обычное прохождение кишечных масс, что и было сделано. Кишечный свищ, конечно, не лучшее для больного, однако цель оправдывает средства, а мы хотели, чтобы больная выжила.

М и ш к и н. Не надо переводить наш разбор в философский спор, оправдывает ли цель средства. Тем более что это невозможно доказать. Ни одной желаемой цели не достигли. Так что не проверять. А вы, Лев Павлович, в другом не правы. Свищ в любом случае, в любом варианте этой операции необходим. Без свища здесь операция невозможна, вернее, возможна, но в таком случае риск слишком высок и неоправдан. Простите, что я перебил, но операцию делал я и потому об этом я хочу рассказать сам. В этом случае могло быть три варианта операции. Первый — просто наложить свищ на слепую кишку и через две недели, после ликвидации непроходимости, вос-

становив силы больной, сделать радикальную операцию: удалить кишку с опухолью и сшить сразу концы. Второму варианту мы следовали. Удалили пораженную кишку, а концы вывели в виде свищадвустволки. Как оказалось, слишком большая травма для ослабленной непроходимостью больной. Третий вариант: убрать кишку с опухолью и сразу сшить концы, восстановить естественное прохождение по кишечнику. А чтобы наложенный анастомоз подстраховать, наложить свищ на слепую кишку, а впоследствии ликвидировать его. Нам надо было, конечно, остановиться на первом варианте. Я, наверное, ошибся, выбрав второй. Лев Павлович был прав при наших обсуждениях во время операции...

Мишкин продолжал говорить, а сам вспоминал, как было дело. Он вошел в операционную. Агейкин к этому времени уже вскрыл живот.

— Ну что тут у вас?

— Опухоль сигмы, Евгений Львович, непроходимость...

— Вестимо, непроходимость.

— Я считаю, что неоперабельно. Наложу свищ на слепую кишку и зашью.

— Ну-ка, покажи сигму.

— Не выводится. Опухоль вклинена в заднюю стенку.

— Оттяни край крючком. Здесь кишку натяни. Неоперабельная — это еще надо посмотреть. Может, можно забрать с участком мышцы. Подождите, я помоюсь...

Мишкин подошел к столу.

— По-моему, опухоль эту можно убрать. Надо попытаться.

— Евгений Львович, опухоль большая, бабке семьдесят два года — зачем? Лучше наложить свищ — сколько проживет, столько проживет.

Мишкин вспоминал, как все в нем злобно кипело против этого *modus vivendi*, против этого кредо у врача. Кто же может на себя взять смелость отмерять годы жизни?! Уж не Агейкин ли?..

Мишкин клял себя, что позволил злобе править им, да еще во время операции. Конечно, опухоль была удалима, и он удалил ее. Но надо было, наверное, просто наложить свищ на слепую кишку, а удалять опухоль через две недели. Зачем он не обуздал свою злобность!

Мишкин. Лев Павлович предлагал ограничиться свищом на слепую кишку. И это было бы правильно. А радикальное удаление опухоли мы могли бы попытаться сделать на втором этапе, недели через две. То, что больная не выдержала операции, моя вина — руки опередили голову. Все мы понимаем, почему она умерла. Мы сделали операцию, превышающую ее возможности. Мы хотели ее сделать здоровой — цель наша. Это к вопросу о целях и средствах, Лев Павлович. Я не имел права рисковать ее жизнью.

Вера Сергеевна. Я не согласна с Евгением Львовичем. Я не спорю, ограничиться свищом на слепую кишку, может, и лучше было бы, но смерть последовала не от радикализма. Я давала наркоз, я видела тяжесть ее состояния. Она могла погибнуть и от вашей маленькой операции. У нее плохо шел наркоз. Была недостаточная легочная вентиляция, очень скакало давление. Вот график ведения наркоза — смерть эта наркозная. Я не знаю, чья это вина, и если есть чья-либо вина, то только моя.

Наталья Максимовна. Тут надо проанализировать все. Мы не можем обсуждать, что было до поступления в больницу. А вот если проследить, как мы ее вели с самого начала... В ту ночь дежурила я. Диагноз непроходимости сомнения не вызывал. Лев Павлович говорил

о кратковременном наблюдении. Это так. Она поступила в четыре часа утра, и я, поставив диагноз, решила, что толстокишечная непроходимость не требует сиюминутной операции, а лучше подготовить ее вливаниями и дожидаться утра, когда будут в отделении все, в том числе и Евгений Львович. Не знаю, может, она умерла бы все равно, но с себя я вины снять не могу, так как боюсь, что решение это пришло просто потому, что устала и хотелось спать. Не могу с себя...

Мишкин. Ну-ну. Ее и нельзя было ночью оперировать. Обязательно несколько часов подготовки. Надо было дожидаться утра, когда мы все здесь, когда есть Вера Сергеевна, а стало быть, возможность полноценного наркоза. И больная активно готовилась. Может, хлоридов надо было побольше, да и гормональную подготовку лучше было начать пораньше. Но кто это скажет сейчас? Кто еще имеет суждения? Что-то у нас все сегодня имеют. Пожалуйста, Игорь Иванович.

Илющенко. Я дежурил в ночь после операции. Может, смерть и в результате наркоза — не знаю. Но момент, когда начался отек легких, я проглядел. Возможно, что начни мы наши мероприятия раньше — удалось бы ее вывести из этого состояния и стабилизировать.

Мишкин. Трудно сказать, а проглядеть-то было легко. Она ведь была очень загружена. Практически без сознания. Вера Сергеевна ее так основательно загрузила. Или это просто состояние проявлялось.

Вера Сергеевна. Да. Я считала это необходимым.

Мишкин. Конечно, и нужно было ее загрузить. Она была возбуждена... Да что ж мы забыли патанатома? А он сидит и молчит. Хотя должен был сказать свое слово сразу после Агейкина... А вообще-то патанатомии естественней давать последнее слово. Он завершает все счета и расчеты.

Патанатом. А что говорить. Все правы. Больная не выдержала всего. И прежде всего рака. Вы почему-то не говорили совершенно о болезни, а только о себе. От самодовольства, что ли? Не так уж вы много можете, мои дорогие коллеги. Вы делали так и этак, но у больной-то был рак. Рак!

Мишкин. Это мы помним, но обсуждение нам нужно, чтобы найти, что не сделали мы, чем навредили. Строить будущее — это обезвреживать настоящее... А ведь вы видите только тех раковых, которые умерли,— живых и здоровых и мы-то видим меньше, а уж вы и вовсе...

Сидевший рядом с Мишкиным Онисов вдруг хлопнул себя по бедрам и, нагнувшись, прошептал:

— Ну, уникам, прямо не могу. И других уникамами хочешь сделать. Когда повзрослеешь? Спасу нет!

Мишкин опять улыбнулся странно и опять одиноко засмеялся. Никто не понял этого неожиданного смеха, никто не видел причины его. А Мишкин вспоминал клиничко-анатомические конференции, когда вставали по очереди другие врачи, не участвовавшие в лечении обсуждаемого больного или уже покойного, и старательно искали ошибки и промахи у лечащих врачей. Бывали и такие конференции.

Мишкин нагнулся к Онисову:

— Сам ты уникам.— И затем громко обратился ко всем:— Я думаю, что протокол нам не нужен. Мы же все обсудили, правда?

### *Запись шестнадцатая*

Евгений Львович пришел с родительского собрания.

— Ну как, пап? Что говорили?

— Да все как обычно. Учитесь вы средне. Хотя для вас все делают... С другой стороны...

— Пап, а пап, а как тебе наш классный руководитель?

— Пожалуй, хороший преподаватель, умный... вдумчивый. Тяжело, конечно, с вами. Трудно быть хорошим учителем.

— Так кто же пойдет на такую работу! Я б ни за что не пошел.

— Дурачок ты еще, Сашка. Лучшие профессии, по-моему, — врач и учитель.

— Врач — это да. Особенно хирург. А учитель, знаешь, пап...

— И хирург среди врачей ничего не «особенно». А просто наиболее наглядна его работа. Да еще и романтична. А романтика — это красота для малообразованных и малопонимающих. Вот работа терапевта не менее интересна, только, может быть, более трудна.

— Нет. Хирург разрежет — все увидит.

— Не повторяй этих глупых вещей за другими. Все кухни так говорят. Что ж хорошего — не знать, а только видеть? Сам подумай — если хирурги будут резать, не зная, на что идут! Болит — режь, а там посмотрим. Так знаешь сколько лишней крови прольется! Надо знать, что ты можешь от этого получить. Пока хирург не станет нормальным терапевтом до операции, ну, хотя бы в диагнозах, грош ему цена и горе его пациентам. «Хирург разрежет — увидит!» — посмотрит, зашьет и скажет терапевтам: там то-то и то-то, а как это лечить, известно вам. Так? Ты подумай... Ты уже можешь думать, Саша? Можешь? Молчишь. Ну, тогда послушай, я тебе сказку расскажу, так сказать, легенду о тихом мальчике. Не поймешь, так через год расскажу снова. Говорить?

— Говори. А не скучно?

— Слушай.

Но рассказать ему сказку не удалось.

Снова звонок.

— Ну вот, опять.

— Слушаю.

— Женя? Здравствуй. Это Таня. Ты знаешь, какая вещь, Володька, правда, не велел тебе звонить, но я все равно... Минут сорок назад у него появились сильные боли в животе. Он лежит и прямо стонет. Бледный. Не посоветуешь, что делать?

— Съел что-нибудь?

— Говорит, нет. А дома что ел, так это все ели. Встал с дивана, и вдруг сразу появились сильные боли. А перед этим ничего не было. Сразу началось. Может, грелку?

— Рвоты, поноса не было?

— Ничего не было. Только боли сильные. Все сорок минут, как началось, так все время стонет. Ты же знаешь — он терпеливый.

— Все терпеливые, пока не болит. А что я могу сказать! Сейчас приеду.

— Да он орать будет, не разрешает, и неотложку тоже.

— Ну ладно, ясно. Сейчас приеду. И действительно, еще неотложку вызывать!

— Ты извини, пожалуйста, но я просто не знаю, что мне делать.

— Сейчас буду, жди.

В такси — это быстро. И через пятнадцать минут он был уже там.

— Привет. Чего лежишь? Напился, что ли?

— Ты позвонила?

— Ничего я не звонила.

— Врешь.

— Перестань орать. Никто не звонил — в гости могу зайти, если рядом был. А что случилось? Заболел?

— Ну и правильно, что позвонила. Очень болит, Женька. Постоянно болит, а приступами усиливается. А сейчас рвота была.

— Что ты кобенишься? Раз уж пришел — показывай... Вот это? А раньше штука эта была у тебя?

— Первый раз вижу. Ой, Жень, болит.

— Дай-ка пощупать.

— Ой-ой-ой! Больно жутко. Ты не сильно, паразит.

— А не сильно — не поймешь.

— Так больно очень.

— А мне за это деньги и платят, что больно делаю. А здесь?

— Здесь меньше.

— Впрочем, тут и щупать особенно не надо. Это, парень, грыжа у тебя ущемленная. Довели тебя твои упражнения гимнастические. Оперировать надо. Все от общей хилости.

— Иди ты. Ой-йой.

— Что, и так все время, с такой периодичностью? Приступы?

— Как часы.

— Короче, чего тянуть. Надо ехать.

— Куда? Может, подождем?

— Идиот. Маленький, что ли? Кишка омертвевает. Небось когда у Таньки был аппендицит — сразу погнал. У тебя раньше была грыжа? Никогда не говорил.

— Я и не знал раньше. Не могу, Женька, больно. Болит очень.

— Ну, поехали. Как — «скорую» вызовем или сумеешь на такси ко мне? Дойдешь до машины?

— Конечно, дойду.

Через полтора часа Володька уже лежал на столе, а Мишкин помытый, в стерильном халате стоял рядом.

— Жень, ты как — наркоз общий дашь или заморозишь?

— На кой наркоз. И так больно не будет. Если вдруг больно — скажешь, дадим наркоз. Болит сейчас? После укола не меньше?

— Может, самую малость меньше.

— Ладно, давайте новокаин. Начинаю. Сейчас укольчик небольшой, а дальше не больно. Только распирать будет. Как сейчас? Болит?

— Сейчас нет. Отошло. Жень, а может, не надо оперировать, а? Прошло вроде.

— Молчи, дурак. Я ж заморозил. Ты как ребенок. Ох, не дело это — своих оперировать. Сейчас глубже уколою — опять чуть больно будет... Сейчас как? Не больно?.. Ну хорошо... Подавай, лапонька, подавай. Сама смотри. Ты думаешь: если мой товарищ, то и помогать не надо?.. Вытри здесь. Ага. Ты на работе был сегодня, Володя?

— Был. А что?

— Не болело на работе?

— Нет. Не болело. А ты сейчас что делаешь?

— Что делаю! Оперировать. Лежи и молчи.

— Сам же вопросы задаешь. А посмотреть нельзя?

— Вот подумай: чуть легче стало — сразу и смотреть надо. Лежи и не рыпайся. Сейчас я тебе, парень, за все выдам. Отыграюсь. Держи вот это.

— Это уж точно, отыграешься. Ой! Ты что? Отыгрываться начал?

— А что? Болит?

— Нет. Но неприятно. Ты что хочешь, чтоб я еще псалмы радости тебе тут пел?

— Спой. А что? Не болит? Не болит. Морфий тебе вкололи? Вкололи. Лежи себе и пой. Или спи.

— Так ты же треплешься — спать не даешь.



— Дай-ка обложиться салфетки. Больше. Кишка ущемилась. За-  
раза.

— Чего? Чего там?

— Лежи, не мешай. Сейчас рассечем кольцо — на душе спокой-  
ней станет. Легче. Кишка вроде ничего.

— Это тебе спокойней станет или мне легче? Ты о ком забо-  
тишься?

— Что мне о тебе заботиться. Ты же сейчас тунеядец. Кишка хо-  
рошая совсем. Опускаю ее. Всего часа два-три прошло... Ты чего мол-  
чишь, Володька?

— Ты же сам сказал — спи. А теперь не даешь.

— Верно, прости.

— А там как у вас — или у меня, уж не знаю, — все в порядке?

— Да, да. Главное уже сделали.

— Действительно надо было оперировать?

— А то! Диагностика, милый, с точным прицелом в яблочко. Это  
тебе не твои йоги.

— Пижон ты, Женька. Я же всегда говорил, хоть и не видел, что  
на операциях ты наверняка пижонишь. Раньше подозревал, а теперь  
вижу точно.

— Опьянел ты, любезнейший, от морфия. Молчал бы лучше.

— А что! Не болит, лежу в приятном обществе — почему не по-  
говорить? А ты норовишь быть первым на деревне, оттого и из клини-  
ки ушел. Ну и видик у тебя, Жень, между прочим. Посмотри на себя  
в зеркало.

— Здесь мне тупфером отведи. Вот так. А то не проткнуть бы не-  
нароком.

— Чего-чего? Что у вас там?

— Лежи ты спокойно. Мы на работе, и у нас есть о чем погово-  
рить и без тебя. Иглу, что ли, взять покруче?

— Ну, скажи же, длинный. Мне же интересно.

— Ну, заткнись. Прошу же тебя как человека.

— А ты со всеми так на операциях или только со своими?

— Полежишь в отделении — выяснишь.

— Ну, не подонок?

— Замолчи. От одного укола как захмелел. Оскорбляешь во вре-  
мя исполнения служебных обязанностей.

— Но ты совершенно неестественно себя ведешь.

— По-ошел. Во-первых, операция — это вообще неестественное  
занятие. А во-вторых, ты думаешь — естественно мне оперировать  
тебя?

— А ты и хирургию, наверное, выбрал, чтоб рисоваться можно  
было. А? Перед бабами.

Мишкин наклонился, задвинул голову за занавеску, отделяющую  
мир оперируемого от хирурга, и прошептал в ухо прямо:

— Володька, мы не одни. Я на работе. А то наркоз дам. Ты ж сов-  
сем пьян, алкаш.

Некоторое время операция шла в молчании.

— Тебе не больно?

— Как тебе сказать. Радостного не много, но терпеть можно. Те-  
бе-то что. Ты делай свое дело. Остальное тебя не заботит, все равно.

— Ты думаешь, что если ты сейчас страдаешь, то все тебе можно?  
Лежишь и судишь с пьедестала. Высокомерен, брат. Черт! Здесь пло-  
хо зашили.

— Не расслышал последнее.

— Последнее не тебе. Дай еще такую иголку с ниткой. Перешью.

— Я ж не слышу, Женя. Мне же тоже интересно.

— Перебьешься.

— А все-таки я сейчас страдаемое — говори со мной деликатней.

— Дай мне работать. Ей-богу, я сейчас дам наркоз. Чтоб я еще когда-нибудь оперировал близких. Ни за что! Он же, негодяй, не боится меня. Я для него не хирург.

— Это мне, что ли, наркоз? Мне ж не больно. Я против. Просто тебе, как и всегда, впрочем, неприятно слушать замечания в твой адрес.

— Наконец-то ты нашел время и место. Ну, сейчас, по-моему, хорошо ушито. Хорошо.

— И было хорошо и сейчас хорошо мне. Не болит. Долго еще?

— Ты спешишь?

— А ты остришь? Вот видишь — почувствовал наконец себя начальником над товарищем.

— Тамбовский волк тебе товарищ. Были мы с тобой товарищами. Дай-ка кетгут еще. Здесь перевяжем... Угу, спасибо. Теперь можно и кожу зашивать. Шелк дай, пожалуйста.— И Мишкин к концу операции по традиции запел: — Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой...

Мишкин вышел из операционной, в дверях остановился и стал картинно сбрасывать перчатки, не помыв их предварительно, как обычно.

— Жить будешь! — Потом повернулся к сестре: — Ты свидетель зарока: своих оперировал в последний раз.

Через несколько дней навестить Володю приехал их общий товарищ Филипп.

Филипп. Ну как Володька?

Женя. Нормально. Пойдем. Сам посмотри.

Они подошли к кабинету Мишкина.

Филипп. Привет! Отдыхаешь лежишь.

Володя. Салют, Фил. Правильно. Надо навещать больных друзей.

Филипп. Лежишь, как барин,— один. Лучше тебе?

Володя. Все идет на лад.

Филипп. А отчего все это у него, Женя?

Женя. Отчего! От хилости. А хилость отчего? То бассейн, то йогаятая гимнастика, то лыжи — вот и стало здоровьишко слабым, хилость появилась. А все от безделья. От безделья и жажда чуда появляется.

Володя. Вот такое ничтожество. Понял, Фил?

Филипп. Ничего, мы рога ему обломаем. Еще посмотрим, кто хилее окажется. К тому же сам на лыжах ходит.

Женя. Так я для удовольствия, а не для пользы тела. Для удовольствия все хорошо. Да как вам докажешь.

Володя. Но порядки здесь, Филя, я тебе скажу. Мои условия — результат блата и коррупции. Все-таки в кабинете начальника лежу. А вообще — сначала в приемной снимают показания, имя записывают, где живешь.

Женя. Имя-то надо записать.

Володя. Ладно! Потом переодевание — дают робу.

Филипп. Ну, прости им.

Володя. Слушай. Потом объявляют распорядок. Когда свидания, когда передачи, когда родственникам можно говорить с врачом. Пройти сюда невозможно.

Женя. Мало увидел.

Володя. А это еще не все. Лекарство надо принять в присутст-

вии сестры, чтоб не копил, а то еще отравишься. А это правило сестры не выполняют, дают лекарства сразу на целый день, а их за это ругают врачи. Ножа при еде не дают — оружие потому что. Ну, и так далее.

Женя. Несешь, как всегда с апломбом, лабуду всякую...

Володя. Главные же здесь — это няньки. Но они, как судьи — несменяемы и неподвластны. Их нет, и тем пользуются. Но с ними все равно легче — за рублевочку вылижут, как корова теленка новоявленного.

Женя. Лично мне главное — чтоб больные выживали. Остальное остальным.

Володя. Ну-ну! Не вникай в мелочи — ведь главное: каков процент послеоперационной летальности, сиречь смертности. Понял, Филя, что он предлагает?

Филипп. Нет. Не понял. У вас, видно, длительная дискуссия, сразу не включусь.

Володя. Я толкую ему, что нужны не свидания родственников с больными и врачами, а постоянный контакт. Не часы и дни свиданий, посещений, передач, а время, когда этого делать нельзя, например ночь, утренние процедуры. Нужны часы, когда сюда нельзя пускать. Только! Сразу будут сняты многие проблемы: и кому носить передачи, и как ухаживать за больными, и как врачам выкроить время между операциями, чтобы выйти на беседы с родственниками. Приоткройте больницы. Я им об этом.

Женя. А так и делаем все больше и больше. Сразу, милоч, ничего нельзя. Постепенно надо. Сравни с тем временем, когда Танька твоя оперировалась. Разница?!

Володя. Слава богу. Почему больница должна отличаться от мира за этими занавесами?

Женя. Ну, ладно. Устал тебя я слушать. Пойду функционировать, а вы продолжайте. Потом зайду.

Мишкин только вышел из кабинета, как к нему подошел пожилой человек.

— Товарищ заведующий?

— Да.

— Моя жена, Афанасьева, из пятой палаты. Что вы мне сказать о ее здоровье можете?

— Мы ее обследовали досконально. Ничего особенного не нашли.

— Но боли бывают.

— Человек уже и после тридцати полностью здоров не бывает. Но болезни, требующей больничного лечения, нет. Мы ее выпишем.

— А я считаю, что с ней плохо.

— Ну что можно сделать. Мы не нашли ничего. И анализы нормальные — и консультанты смотрели. Мы ее выписываем. И так она без нужды пролежала около трех недель. А у нас очередь на место для тех, кому нужна операция.

— Как вы можете сейчас выкидывать человека на улицу? Я посмотрю, как вы собственную мать будете лечить. Я желаю вам, чтобы вы попали в такую ситуацию...

— Какую ситуацию?

— Пусть жена праздники пролежит у вас.

— Зачем? Какая ситуация?

— Я категорически протестую и буду на вас жаловаться.

Мишкин повернулся и пошел прочь. Стоявший неподалеку Агейкин стал выговаривать этому просителю.

Мишкин резко оборвал его:

— Не надо. Пойдемте в ординаторскую. А вы, если хотите, обратитесь к главному врачу.

Агейкин Мишкину:

— И неправильно, Евгений Львович. Ну и что ж, что они с заслугами. Что положено, то положено. А еще и оскорбляют. Надо обрезать, чтобы знал.

— Бросьте вы. Мало ли какие обстоятельства у него. Мог бы сказать, правда. Он не знает, как разговаривать.

— Есть же элементарное чувство справедливости. Вас оскорбили...

— Когда говорят «справедливость», думают иногда лишь об отмщении в том или ином виде. А жизнь сама воздаст всегда.

— А если вас бить будут — небось сразу ответите? — Агейкин победно усмехнулся.

— Не знаю. Не был в такой ситуации. Не хотел бы давать сдачи. Лучше удеру. Ты посмотри на меня: ударю — и еще убью ненароком. Жалко мне людей, не знающих других аргументов.

— Вы, конечно, здоровый, ничего не скажешь, но ведь так и убить могут, если не защищаться.

— До убийства дело доходит в драке, а не в... Да что пристал? Живи как хочешь, а я — как получается. И если будут бить — как получится.

— А я считаю, что ради справедливого дела и ударить можно.

— Каждый сам выбирает себе дорогу.

— Если наша цель — лечить, то надо об этой цели заботиться.

Мишкин засмеялся.

— Ты лучше о лекарствах заботься, о правильном оперировании, о своей голове и о своих руках, тогда у больного будет больше шансов выздороветь. Если юноша или девушка идут в мединститут с мыслями о том, как они в грядущем осчастливят человека, не жалея живота своего, то в будущее этого человека как врача я не верю. Хорошо, когда студент говорит: мне это интересно. Интересно! Работа ему эта интересна. Тогда больным будет лучше. В конце концов, каждому работающему должна прежде всего нравиться работа, интерес простой к ней надо иметь, тогда он и делать ее уметь будет.

Наталья Максимовна сидела в ординаторской и молча писала историю болезни.

— Надоели с вашей болтовней. Занялись бы лучше больными. Как операции нет — так жди пустых дискуссий.

— И впрямь, что ты пристал ко мне, Агейкин? Откуда я знаю что и как? Будет дело — будет видно. Может, и мстить буду и бить буду, а смерть придет — помирать буду.

— Вот теперь, — опять включилась Наташа, — получше будет. Дело к пляске.

— Нет, не так просто. — Агейкина тоже не собьешь. — За порядком не следите, обидеть боитесь? Да? А боком-то и выходит все. Инструмент подадут не тот — ни слова. Просите другой. Пожалуйста, еще... Нитка порвется — опять не обругаете.

— Ну отвязись! Ну виноват. А вот насчет ругани... К сожалению, иногда и ругнусь. Потом самому обидно. Тебя даже ругал.

Наташа засмеялась:

— Есть хирурги, которые не кричат и не ругаются, потому что они и зубилом сделают операцию. Ты ему шлямбур, а он тебе грыже-сечение. Ты ему отвертку, а он резекцию желудка. Ориентируясь на себя, они не требуют и для других. А чуть начинаю требовать, уже боятся, что от других требуют невозможного, так как от внутреннего самодовольства ни с кем себя сравнить не могут. — Смеется. — А потому молчат.

Мишкин вспомнил, что Володька говорил приблизительно то же, что, смеясь и не думая, сказала Наташа.

— Хватит трепаться. Работать надо. Агейкин прав. Порядка нет, и пора об этом подумать. У тебя новая квартира на сносях, вот ты и про шлямбур вспомнила, наверное.

Мишкин выпшел.

Наташа сказала:

— Вот ты, Лев Павлович, на сестер орешь, порядок требуешь, они плачут, а ты что требовал полгода назад, то и сейчас требуешь. А он не кричит, но его слова принимают. Он работает, а тогда все можно, даже не ругаться.

Мишкин медленно шел по коридору.

«Конечно, все это самодовольство. Даже то, что я готов себя прооперировать для доказательства своей же методики,— не подвижность, не жертвенность, а самодовольство. Просто я придаю слишком большое значение себе и своим делам, слишком верю в свои дела. Так, конечно, можно обмануть всех, даже себя. О себе-то всегда думаешь высоко».

Мишкин зашел в кабинет, попрощался с Володькой, и вместе с Филиппом они пошли на улицу.

— Женьк, а как, правда,— у Вовки все нормально?

— Вестимо.

— Ух и надоели все эти твои фразочки. Поговори нормально.

— А может, Вовка и прав.

— Что прав?

— Что самодовольство все это.

— Да он это не говорил.

— Ну мог сказать.

— Когда скажет, тогда и будешь обсуждать.

— И правда, я стесняюсь сделать замечание. Он бы сказал, что стеснительность — самодовольство: боишься в неловкую попасть ситуацию, боишься показать себя не с лучшей стороны.

— Ты много сказал. Всего не пойму, но, наверное, глупость. Давай зайдем в этот буфет. Есть хочу. А тут, наверное, можно и по стаканчику сухого. Возьмем?

— Вестимо. Ну, извини.— Мишкин улыбнулся, подошел к стойке и обратился к буфетчице:

— Будьте добры, дайте, пожалуйста, два пирожка с мясом и, если не трудно, два стакана рислинга.

Сзади раздался тихий и, наверное, пьяный голос:

— Слова в простоте не скажут: пожалуйста, будьте добры, если не трудно — обнаглели совсем.

Мишкин обернулся. За столиком сидели два парня и тоже пили вино.

### *Запись семнадцатая*

— Алло. Это Мишкин. С кем я говорю?.. А, Наталья Максимовна. Наташа, я из дома говорю, вы там собираетесь? Приготовили все рисунки? На улице дождик. Возьмите что-нибудь рисунки завернуть... Нет. Пожалуй, не волнуясь... А чего ты волнуешься?.. Значит, как договорились: вы берете машину, а там на площади я вас жду и мы едем вместе. Ясно. Все.

Мишкин повесил трубку.

Галя причесывалась.

— Ну ладно тебе. Кончай. Поедем уже.

— Женечка, ну не дергайся. У нас еще много времени.

Однако Мишкин, по-видимому, все равно нервничал. Он в уме

проигрывал все, что ему придется говорить. Значит, сначала он скажет, сколько таких больных есть вообще. Затем скажет, как рекомендуют оперировать при раке этой кишки в основных статьях последнего времени. Потом опишет методику, которую он предлагает при этих операциях. Потом расскажет историю болезни демонстрируемого больного, покажет снимки и рисунки, объясняющие смысл операции в данном, конкретном случае. А уж потом приведут больного. А после всего сядет и будет ждать реакции на его предложение.

А потом он стал думать и про другое: «А не зря ли я все это затеял, не от гордыни ли?.. Пусть хорошие результаты, пусть мне кажется, что так более надежно и радикально мы убираем всевозможные разбросанные в ближайших тканях невидимые опухолевые островки, пусть мне кажется, что подобное сшивание кишки более надежно, чем предлагавшееся раньше, пусть, но если это всего лишь желание выступить от суетливости — не ждет ли меня возмездие?» Все стенания и поиски прошлой русской литературы поднимались на поверхность его души и бушевали в нем.

Конечно, он нервничал.

Мишкин молча шагал рядом с Галей, кляня себя и ругая Галю.

Проходящая мимо машина обрызгала Галю. Она остановилась, приводя в порядок чулки, — не идти же на хирургическое общество в заляпанных чулках, когда муж выступает. А он, муж, стал шипеть:

— Думай, когда ходишь, надо идти подальше от края, думать надо, когда машина идет навстречу.

— Женечка, почему я должна думать об этом? У меня и без этого есть над чем подумать. Ну, обрызгали! Подумаешь.

— Может быть, ты и права.

Они подошли к условленному месту, и одновременно подъехала больничная машина, крытый микрогрузовик. Впереди сидела Марина Васильевна.

— И вы здесь? — не задумываясь над отточенностью формулировки, брякнул Мишкин. — Зачем?

— Ну не негодяй ты, Евгений? Спасибо хоть сказали бы главному врачу. Да и я куда же без вас денусь. Без вашей хирургии...

Мишкин улынулся, замолчал и стал вспоминать, как Марина Васильевна бросает работу и прибегает в операционную, когда поступает какой-нибудь тяжелый больной. Месяц тому назад Банкин делал трепанацию черепа девочке, попавшей под машину, а Марина Васильевна стояла и держала голову девочки в нужном положении все полтора часа операции. «Виданное ли дело, — ругалась она по-хирургически, — чтобы человек в операционной без толку стоял полтора часа, хотя нужен-то всего специальный стол с подставкой! Хорошо есть лишний человек в операционной — главный врач».

Машина остановилась у здания, где проходят заседания хирургического общества.

Игорь стал развешивать картинки с этапами операции. Мишкин сел с краю, чтобы легче было выходить.

— Женя, а зачем ты ребят вписал в соавторы? Ведь это ты и только ты все сделал — и придумал, и выполнял, и больных из рук не выпускал?

— Знаете, Марина Васильевна, надо, во-первых, людей стимулировать не только вашими благодарностями.

— Ты совершенно не прав. Это неправильное воспитание. Воспитаешь паразитизм.

— Опять же о воспитании. Воспитывать надо в детстве.

В это время поднялся председатель, объявил повестку дня и предоставил слово доктору Мишкину.

За кафедрой он не выглядел таким уж высоким, не выглядел он и уверенным. Он покашливал, тер себе нос, начал говорить тихо, потом увлекся.

Сперва Мишкин сказал очевидную банальность — что больных с опухолью кишки в хирургическом отделении много и, если они попадают вовремя, им делают радикальную операцию. Затем он добавил, что предлагавшаяся операция при подобных локализациях опухоли — он показал на картинку, — с нашей точки зрения, таит в себе много опасностей, которых можно избежать, если применить другую методику.

Мишкин изложил анатомическое обоснование операции и онкологический смысл ее. Показал, что при этой методике можно убрать значительно шире и больше окружающей жировой клетчатки с лимфатическими узлами, сосредоточение, возможно, будущих или даже настоящих, но невидимых метастазов. Чем больше мы можем убрать этой клетчатки, тем радикальнее, тем онкологичнее.

Сидящие в первых рядах, а это в основном профессора и руководители клиник, перестали разговаривать и прислушались. Слушали с интересом.

Мишкин рассказал, как он предлагает выделять пораженную кишку и как ее лучше перемещать, чтобы восстановить по возможности ближе к природному состоянию. Когда Мишкин вышел из-за кафедры и стал показывать таблицы со схемами операции, он уже совсем успокоился.

Привели больного. Некоторые из профессоров стали его расспрашивать и осматривать.

Другие начали перекидываться словами и выяснять — кто такой, откуда. В медицинских журналах всегда после имени авторов статей идет сообщение: из какой клиники, какого института и какой профессор заведует автором.

А Мишкин, черт побери, сам.

Потом начались прения. Выступали те, которые имели свою точку зрения, которые диссертации и книги на эту тему писали, у кого был большой опыт в лечении таких больных.

Сидевшая во втором ряду Нина прислала записку: «По-моему, надо прикрыться артиллерией. Я насчет нашего. Пусть скажет за. Возражения есть?»

Мишкин не успел высказать возражений: когда он посмотрел в ее сторону, Нина уже переместилась на два ряда назад и разговаривала с «Нашим». «Наш» сочувственно и согласно качнул головой. Нина повернулась назад и каким-то неопределенным жестом и мимикой сообщила: «Все в порядке. Сейчас выступит — выручит».

Будущий защитник посмотрел на Мишкина и успокаивающе кивнул — мол, не волнуйся, все будет как надо. Но когда очередной оратор кончил говорить, профессор пропустил момент, увлекшись беседой с соседом. Уже поднимался председатель для заключительного слова.

Председатель. Кому еще угодно задать вопрос или высказать свое суждение? Поскольку нет желающих продолжить обсуждение только что услышанного, м-м... позвольте тогда мне по праву председателя нашего заседания подвести короткий итог. Предложенная операция интересна тем, что она прошла успешно и мы увидели удачливого больного, которого продемонстрировал нам сейчас доктор Мишкин. Предложенная операция интересна и тем, что разработана она не в строгой, контролирующей свою деятельность клинике, не в институте, где всякие подобные предложения предварительно много-

кратно проверяются, а выполнена и разработана в простой больнице, где не имеется ни возможностей, ни условий для проверки и эксперимента. И пусть удачливых больных у доктора Мишкина несколько десятков — мы не можем пока эту операцию рекомендовать. Потому что она, мне кажется, и хирургически и онкологически еще недостаточно обоснована. Разрешите поблагодарить доктора Мишкина за интересную демонстрацию и поздравить нескольких больных, оперированных по его методике. Переходим ко второму вопросу сегодняшней повестки дня и к следующей демонстрации.

Я немного забегу вперед и расскажу, что было дальше с предложением Мишкина. Через полтора года на заседании этого же общества был представлен доклад из научно-исследовательского института. Доклад — с солидным анатомическим обоснованием этой методики операции, с исследованиями на трупах и большим количеством цифр, правильно статистически обработанных. Было много снимков с препаратов, рисунков этапов возможной операции. Было сказано, что «подобных предложений в доступной нам литературе обнаружено не было» и что эта операция пока проделана лишь на трупах и на собаках, но докладчики (а их много) «рекомендуют эту операцию научным сотрудникам хирургических научных учреждений для ее клинической апробации».

Я был свидетелем тому, как перед докладом к Мишкину подошел один из соавторов доклада и спросил: «Скажите, пожалуйста, коллега Мишкин, где напечатано ваше сообщение об этой операции? Мы нигде не могли найти, ни в одном журнале. Поэтому мы вынуждены были обойти молчанием ваше имя, хотя сообщение помним». Мишкин мог только отослать его к протоколам общества, он был спокоен, потому что за эти полтора года он сделал еще двадцать пять подобных операций с неплохими результатами.

### *Запись восемнадцатая*

Еще несколько лет назад, когда родственники приводили на консультацию какого-нибудь профессора, то приходил обычно эдакий вальяжный мужчина, который снисходительно шутил и давал солидные рекомендации. А за последние годы облик профессора изменился. Это уже молодые, быстрые, худые ребята. Впрочем, ребята они в глазах Мишкина, потому что все они приблизительно одного с ним возраста.

Раньше консультант говорил: «Ну что ж, дорогой коллега...» — а сейчас: «Да у вас, ребята, по-моему, все...» Многих из них Мишкин знал лично и почти всех встречал на заседаниях хирургического общества. Несколько раз в году консультанты появлялись у них в отделении. Часто к тяжелым больным родственники просят разрешения привезти профессора.

Нина как-то сказала: «Пусть пригласят нашего. Поможет делу, и ему помощь. Что-нибудь получится».

Когда больным плохо, да, пожалуй, когда и здоровым тоже плохо, люди жаждут чуда. К чудесам тянутся всегда не от хорошей жизни. К больному человеку хотят привезти кудесника, найти лекарство, созданное в какой-нибудь деревне или в горах, во всяком случае не в лаборатории. Ни одна болезнь не дала столько легендарных лекарств, как рак. Когда людям страшно, они, как слепые котята, начинают стучаться, тыкаться мордочкой во все, что тепло. Тогда появляются всякие чудесные теории, которые без больших затрат все сразу улучшают, — это может быть или бег трусцой, или гимнастика йогов, или горная смола мумиё, или какая-то особая диета.



В таких случаях в отделении появляется чудо — профессор-консультант.

Вот и сегодня пришел профессор. Так сказать, протеже Нинин и начальник ее, молодой, лет около сорока — сорока пяти, высокий, худощавый.

В кабинете Мишкина он сказал:

— Что ж, ребята, по-моему, вы все сделали как надо. Вы ведь, Евгений Львович, не волшебник и не господь бог. Больше, чем мы можем, вы не можете. Сделали вы все правильно, а что сейчас плохо — так это болезнь, и никто, ни я, ни любой другой, не улучшит положения. По-моему, так, Евгений Львович. И родственникам я скажу то же самое. Лечите, как и лечили... Да. Я, Евгений Львович, слышал ваше выступление на обществе. Большой материал уже у вас накопился? Документирован?

— Да. Уже много. Вот посмотрите.— Мишкин взял со стола очень толстую папку и стал вытягивать оттуда один за другим рентгеновские снимки.— Вот, пожалуйста. Этого больного я оперировал пять лет назад. На днях приходил. Поправился на двадцать пять килограммов. Пока, тьфу, тьфу, не сглазить, признаков рецидива или метастазов нет. Все функции, которые мы восстанавливали, восстановились... Или вот эта больная. Совсем молодая. С ними же хуже, с молодыми. Но тоже больше четырех лет прошло. Никаких признаков плохих. Смотрите, на снимке как. Вот до операции... А вот после. Видите?.. Или вот посмотрите... А вот еще... А этот случай?.. Этот больной нам дорого достался... Вот эти снимки мы демонстрировали на обществе...

— Евгений Львович! Такой громадный и значительный материал просто валяется на столе! Кабинет открыт. Как можно! Здесь же, по крайней мере, одна докторская и несколько кандидатских диссертаций. Надо архив привести в порядок, Евгений Львович.

— Конечно, Сергей Борисович, надо систематизировать, подобрать литературу.

— Надо было это все сделать уже давно. А где еще делают такие операции?

— Не слышал. Но, наверное... Это ж на поверхности, по-моему, должны. Или скоро будут.

— Вот видите. А вы этот материал держите так свободно. Кабинет-то у вас вообще не закрывается?

— Нет. А я б его, этот материал, с удовольствием дал кому-нибудь. Пусть обработает и публикует... Сергей Борисович, посмотрите эти снимки. Они вам ближе. Вот эту больную оперировали пять раз в клиниках, и не только нашего города. Желчные пути до операции. А это после.

— А клинически все прошло?

— Прекрасно. Поправилась. Болей нет. Желтух нет. Или вот — камень заклинен, проток расширен. Мы оперировали также.

— На симпозиуме по этой патологии высказывались об этой операции с крайней осторожностью. У каждого не более десятка наблюдений за больными после таких операций. Не совсем таких, менее радикальных, но близких. Они говорили, что много осложнений.

— Вот именно что менее радикальных. А надо в таких случаях более радикально оперировать. Таких операций у меня было более ста пятидесяти, наверное.

— Наша общая приятельница много мне рассказывала о вас, но такой щедрой, в кавычках щедрой, безалаберности я не ожидал.

— Да пусть, Сергей Борисович. Я ж все равно с этим материалом ничего делать не буду.

— Да как так можно! Евгений Львович! Это же уникальный материал! Вам, Евгений Львович, надо дать группу аспирантов, молодых ребят, и пусть обрабатывают. Я был в Лондоне, там есть очень крупный хирург, на некоторые его операции ездят смотреть хирурги всего мира. Он считается крупнейшим специалистом-хирургом в своей области — так ни одной строчки сам не писал. И не подписал. Около падутся его мальчики и пишут, правда ссылаясь на его операции, с адресом, так сказать. Вот и вам надо такую группу.

— Что вы сравниваете, Сергей Борисович. Он ученый, а я просто практический хирург. Ну сделал несколько удачных операций — это ведь непосредственные лишь результаты хороши. А что дальше? Ракто может и возобновиться после. Не от меня это зависит. А потом, даже если и все так хорошо, кто мне даст аспирантов? Я ни степени не имею, не аттестован даже как категорийный хирург. К тому ж и аспирантам нужен влиятельный руководитель, чтобы диссертации защищались, а не только писались.

— Ну, это-то найти можно. В конце концов, мои аспиранты... Сделайте вас как бы филиалом моей клиники. А что значит вы не аттестованы? У вас что, нет категории?

— Вот именно. Все никак не соберусь. Интеллект, говорите. А я все отчет никак не соберусь написать — для аттестации. Это ж страниц сорок—пятьдесят надо. Да я и не умею совершенно писать. Я только оперирую. Я двух слов на бумаге не свяжу.

— Перестаньте юродствовать, Евгений Львович. Я же слышал ваши выступления на обществе. Прекрасно пишете и широко. Уверен абсолютно. В конце концов, это же деньги. Ну ладно, кандидатская вам даст всего лишь десятку, но высшая категория — это же тридцать рублей. Ведь у вас семья. У вас обязанности перед женой, детьми. Как можно! Все-таки тридцать рублей.

— Кто вам сказал, что мне дадут высшую категорию?

— А как же! Вас знают. Да я снимки вижу.

— Вы, Сергей Борисович, не знаете положения об аттестации. Высшую не дадут, если раньше не было первой. А между аттестациями должно быть не меньше трех лет. Значит, во-первых, это не раньше чем через три года я могу получить ее, высшую. Да при этом надо опять писать отчет. Уже два самоотчета получается. Это не для меня забава.

— Глупость все это. Дадут вам высшую сразу. Я ж вижу, что дадут.

— Инструкция есть инструкция.

— Инструкция не закон.

Мишкин не знал, как ему кончить этот разговор. Конечно, это Нинина работа. Хотела быть благодетельницей всех сразу — накормить одним хлебом тысячи. Как всегда, он надеялся на то, что кто-нибудь привезут, что-нибудь случится в операционной, что-нибудь в послеоперационной палате произойдет. Но разговор продолжался. Видно, все оберегали разговор своего шефа с этим знаменитым кудесником, который все может.

Никто не входил.

В процессе разговора они совершенно забыли про родственников больного, которые привезли сюда профессора и сидели в коридоре, ожидая приговора.

Наконец они не выдержали и вошли.

— Простите, пожалуйста, профессор. Вы не можете сказать нам что-нибудь утешительное?

Профессор, видно, с неохотой перешел на другую тему.

Мишкин закурил и подумал: «Разговор-то уже окончен, наверное».

— Ну, что профессор? — спросил его после Онисов.

— Ругался, что материалы наши и все снимки валяются в кабинете.

— А что?

— Что. Говорит, как же можно материал доверять пустому случаю. Не доверяет.

— Кому?

— Пустому случаю. Знаешь, к святому Серафиму пришел епископ и сделал выговор за то, что Серафим принимает у себя девиц. А святой сначала не понял, а потом засмеялся. Ему и в голову ничего не приходило, он совсем в другом мире был. Этот епископ еще не ручался за себя, потому и другим не доверял. Понял?

— Что понял? Это ты о ком?

— О тебе. Ты в другом мире и не понимаешь, что есть «пустой случай». И даже притчу не понимаешь.

— Ну, ты уникал! Давай закурим.

### *Запись девятнадцатая*

**МИШКИН:**

Я сидел на подоконнике на лестничной площадке и разговаривал с Игорем Ивановичем. Парень он молодой, шустрый. Мне уже и поздно, да и зачем. А Игорь может. Вот самоотчет для аттестации — это для меня реальнее и важнее: неровен час, без категории еще и не разрешат заведовать отделением. А Игорь еще молодой, может и в клинику податься. Я-то уж в клиники больше не ходок. Это я уж пробовал. Я неудачник. А ему в самый раз. Он может быстро пойти по лестнице. Вот только бы ему научного руководителя найти подходящего, надежного, да был бы, как говорится, аппендицит, а хирург найдется.

Сидим мы с Игорем, разговариваем обо всем этом, вдруг слышу страшный крик внизу:

— А я говорю, выйдите!

— Да мне только снимки доктору передать.

— А я говорю, выйдите, не хулиганьте, а то милицию позову!

— Да что вы шумите зря. Мне доктору снимки передать надо.

— Ничего не знаю. Время будет — пройдете. А сейчас не положено.

— Доктор же сам просил принести.

— Выйдите вон! Вон, вам говорят! Хулиган вы!

Я спустился вниз. В дверях стоит человек, держит в руках свернутые в рулон снимки.

— Какому доктору? Давайте я передам.

— Она просила меня зайти. Отец у меня лежит. У Натали Максимова.

— Евгений Львович, все они врут. Им бы только пройти. А сейчас не время.

— Хорошо, хорошо. А пока перестаньте ругаться. Пусть пройдет.

Посетитель прошел.

— Сами порядок нарушаете. А потом меня ругать будете. Что ни начальник, то новый приказ.

— А кто вам приказывал кричать? Это же больница. Надо было без крика сказать, что нельзя. А теперь я вынужден его пропустить.

— А он первый начал, Евгений Львович. Я сказала — нельзя. А он выяснять начал. Да что, да как. Пришлось объяснять.

— Да вы же не объясняли; а кричали. Себе испортили настроение. Ему испортили настроение. Он придет — отцу испортит настроение, другим расскажет. К больнице заранее будут подходить с криком.

— Как прикажете, Евгений Львович. Мы люди маленькие. Как нам прикажут.

— Они ж не от хорошей жизни в больницу приходят. Все только с горем к нам. Вы подумайте, неровен час, завтра сами в больницу попадете.

— Как скажете, Евгений Львович. А завтра меня, может, и не будет.

Так плодотворно поговорив, я побежал к главной.

— До каких же пор у нас на справках и в раздевалке жандармские приемы применять будут? Они ж только скандалы да конфликты создают.

— В чем дело, Женя, что у тебя опять стряслось?

— Да не у меня. У вас. В вверенной вам больнице гардеробщица ни одного посетителя не пропустит, чтоб не облаять. Больные сидят в посетительской — орет, почему долго. Ей-то что? Разрешено — пусть сидят. Приструните вы ее. Или выгоните. Напишите ей сорок седьмую в трудовую книжку...

— Какой бойкий.

— Ну ладно, не сорок седьмую. Все равно пусть убирается.

— Больно быстро. А у тебя замена есть? Где я возьму? В санитарки никто не идет. Девчонки не идут. Недавно приходила девочка. Говорит, пошла бы в санитарки, если в трудовую книжку ей этого не напишут. Почему-то считает зазорным. Я ее взяла и в трудовую книжку написала «медсестра без образования».

— А не влетит?

— Не должно.

— Вот и поставьте ее в гардероб.

— Да у меня в терапии ни одной санитарки нет.

— Но все равно нельзя ее оставлять в раздевалке.

— Озверел совсем... А вот что я сделаю. Я ее переведу в приемное отделение, а в раздевалку у меня бабушка есть на временную работу. А дальше видно будет.

— Вот и моя санитарка. Черт ее в палату занес. Я прямо морду сначала хотел набить...

— А что случилось?

— А потом поговорил. Притихла.

— Что у тебя там?

— Сегодня утром она...

— Сегодня утром!.. Ну, силен ты, Мишкин! Ну чистая пехота. Сегодня утром — а ты уже «притихла». А что она сделала?

— Больная позвонила. Сестры не было. Дверь открыта была. Она увидела санитарку, попросила принести что-то. А та ей: «А ты рупь плати каждый день. Ведь за раковой кто ж так будет ухаживать».

Марина Васильевна схватилась за голову и даже застонала.

— Хорошо, больная верующая, так только про священника говорит. Я пошел к санитарке. Говорю: а если бы вы так лежали и вам бы так сказали? А она, видите ли, за «рупь» стала извиняться. Я, говорю, бог с ним, с рублем, про рак-то зачем? А она дурочку неграмотную строит: «Не буду, милоч, не буду больше». Теперь притихла.

— Зина, что ли?

— Она.

— Притихла. С ней это, Женя, не первый раз. Вот я ее выгоню. Пусть устраивается как знает, но к больнице ее подпускать нельзя.

Вот ей влеплю сорок седьмую. Я уж ее в поликлинику переводила. Как у нас прорыв, так она снова здесь. Нет, нет, с глаз ее долой.

Марина Васильевна позвонила и велела срочно прислать ей старшую операционную сестру и Зину.

Пришла старшая.

— А где Зина?

— Она занята, Марина Васильевна.

— Как это занята, когда главный врач вызывает?

— Операция идет, Марина Васильевна.

Я наклонился и прошептал Марине Васильевне:

— Сначала вы кричите, а потом и они.

— Это правильно,— отшепнулась она,— согласна.— И громче: — Люда, она сегодня работает последний день. Выгоняю по сорок седьмой статье.

— Марина Васильевна! Ну плохо, что сказала. Мы уж все ее ругали, но у меня в операционной никого нет. Все девочки и так занимают санитарской работой. И полы моют, и белье таскают в прачечную. Еще и Зину гоните.

— Ты брось. Все, что можно, я плачу. Я вместо санитарок лишние ставки сестрам даю. Так?

— Верно. Но это же меньше людей получается.

— Управитесь. Но Зина здесь больше работать не будет.

— Марина Васильевна!

— Никаких «Марина Васильевна»! Человек в больнице сказал больному, что у него рак. Достаточно даже того, что деньги вымогал, а уж... Все, разговор кончен, Люда.

— А как мне работать?

— Как хочешь.

— Тогда и я подам заявление об уходе.

— Жду до пяти часов твое заявление. Иди.

Я схватился за голову.

— Не волнуйся. Старшая никуда не уйдет, а Зина не будет работать.

Марина Васильевна была права. Старшая никуда не ушла, а Зине действительно нельзя работать в больнице. Когда Зина стала просить не портить ей трудовую книжку, я, как дурак, стал за нее хлопотать. Ну уж тут главная надо мной покуражилась! А мне жалко стало. Ведь если женщине под шестьдесят, а она работает — значит, плохо дома.

Впрочем, на работу она все равно устроится — куда-нибудь возьмут. Даже в санитарки могут взять.

Сначала я жалел, что сказал про Зину. А может, правильно, что сказал...

Да и с Игорем недоговорил. Когда еще наберусь сил договорить. Впрочем, он, наверное, сам начнет разговор. Защитит. Станет заведующим, а я у него буду ординатором. Наконец-то покой будет. Пусть пишет.

— Подожди, Мишкин, ты уже о чем-то своем. Ты не рассказал еще, что было вчера на совещании. О чем там?

— Вот, гоняете меня на ненужные заседания! Может, они и нужные, но при чем здесь я? У меня больные! Почему бы не использовать меня во все часы моего пребывания на работе по прямой моей специальности, к чему я приспособлен и обучен.

— Не валяй дурака, Мишкин. Расскажи лучше.

— Да о НОТе говорили, о научной организации труда. Но почему я, простой практический хирург, должен заниматься НОТом?

— Потому что ты не простой практический хирург, а заведующим, администратор.

— Я администратор над больными, над болезнями должен быть, а не над хозяйством и организацией производства. Читали в «Правде» статью «Время в науке»? — каждый должен заниматься своим, свойственным его специальности и квалификации делом. А вы меня заставляете заниматься организацией труда.

— Значит, наши организаторы медицинского труда организационно еще не переварили указания «Правды». Конечно, хорошо бы всю энергию твою направить только на лечение больных, освободив от всех лишних забот, совещаний, добываний оборудования, занятий. Для больных бы это было хорошо. Но у меня нет возможности приставить к тебе работника — организатора и администратора в отделении, оставив тебя только высоким шефом. Ну ладно, что НОТ? Что говорили?

— Говорили, хорошо бы музыку в операционную — улучшает состояние хирургов. Знаете, есть жены, которые время от времени начинают гонять мужей по врачам, заставляют заниматься гимнастикой, требуют бросить курить во славу здоровья — жалеют и заботятся и при этом загружают ненужными принципиальными домашними обязанностями, не дают выспаться, не следят за едой, за одеждой...

— Знаешь, иди к больным, по прямой своей специальности.

Мишкин ушел с видом мальчишки, перепрыгнувшего девочек через веревочку.

### *Запись двадцатая*

«С низким материнским поклоном к Вам ко всем семья и родственники Колюшки Семенова.

Большое Вам спасибо за Вашу заботу о Коле, нет таких слов, которыми можно было бы по матерински выразить к Вам ко всем самое наилучшее уважение всему коллективу в период нахождения на лечении у Вас — Колюшки и за наше постоянное нахождение у него до последнего его дыхания. От себя лично благодарю Вас лично стоя на коленях абсолютно перед всеми за то, что Вы дали мне возможность как матери скорбящей закрыть его голубые-хрустальные по юношески юные глазоньки — самому неповторимому любимому по матерински сыну.

Очень рада буду, если по возможности Вашей кто-либо ответит, это послужит памятью последнего эхо.

С уважением семья и родственники Колюшки Семенова».

Мишкин положил перед собой письмо и задумался.

Когда пришло это письмо, он сказал, что ответ напишет сам. Но вот который раз садится, снова перечитывает письмо, а так ничего и не может написать.

Что можно написать! Каждый раз он долго собирался с мыслями, тербел ручку, рисовал петушков, кораблики, стрелки и почему-то букву «Д», но так ни разу ни одного слова и не написал. В конце концов его звали в операционную, в перевязочную, в приемное отделение, к телефону, к главврачу. Так до сих пор лежит это письмо без ответа на столе кричащим укором. Много слов придумывал он, клеймя себя, обвиняя в необязательности, душевной черствости, жестокости.

Но что он может написать матери погибшего в двадцать два года сына? Если бы он мог, так же как она, не думать о словоподчинениях, запятых, падежах и прочей ерунде, которую у матери стерло горе. Но он думал, как обратиться, с чего начать, поминать ли болезнь...

Он вспоминал, как позвонили ему из легочного хирургического

отделения одной больницы и попросили взять на лечение этого юношу. Уже по телефонному рассказу он понял, что случай безнадежный, и взять на себя, на свое отделение эту не свою, эту чужую тяжесть он не имеет права. Он ведь не только за себя должен решать, но и за своих врачей, сестер, на которых ляжет совершенно бесперспективная работа. Но сказав себе «бесперспективная», он вспомнил этот термин — «бесперспективный больной», который резал ему душу, и он поехал посмотреть больного на месте.

Четыре месяца назад у парня заболел живот. Но он работал, готовился к институту и решил отложить свой поход к врачу, а пока терпел, преодолеваясь домашними средствами. Он клал грелку, принимал пирамидон, белладонну и так протянул три дня. А на четвертый день, когда боли стали нестерпимыми, сказал матери и пошел к врачу. Его срочно отвезли в больницу и сделали операцию. Оказался запущенный аппендицит и перитонит. Операцию он перенес хорошо, но потом начались осложнения: сначала ему вскрыли гнойник под печенью. Потом гнойник образовался в грудной клетке — его перевезли в отделение легочной хирургии и там вылечили этот гнойник. Теперь появился гнойник в печени — это самое тяжелое из всех осложнений. Коллеги из легочной хирургии просили Евгения Львовича взять больного к себе.

Когда он увидел юношу, посмотрел снимки, анализы — он окончательно решил не брать это на себя. Не надо связываться. Да еще сколько это будет койко-дней, на них в отчете специальное объяснение надо писать. «Нет, не возьму».

Это легче подумать, чем сказать...

Больного перевезли к Мишкину в отделение в тот же день.

Первый абсцесс печени Евгений Львович вскрыл на следующий день. Потом был обнаружен еще один гнойник. Затем он вскрыл еще три очага. Ясно, что поражена была вся печень. Ясно было, что он ничего не сделает. Все отделение ходило вокруг этого больного — ему становилось то лучше, то хуже. Все врачи и сестры и из других палат стекались к этой маленькой палате на одного человека, обступая со всех сторон кровать и каждый раз обдумывая новую жизненную проблему. Да, это звучит громко — «новая жизненная проблема», но так было буквально. То вдруг возникшее кровотечение из сосуда, то быстро распространяющаяся закупорка вен, то температура, сжигающая его целиком.

Это продолжалось три месяца.

Невзирая на все правила и инструкции, мать Коли от него не отходила, ей было разрешено все. В лечении принимало участие все отделение. Все видели, что юноша умирал, все его полюбили за характер, за достойное жизнелюбие, за мужество, постоянное желание помочь помогающим ему, даже за внешний вид его. Никто из персонала не плакал, хотя смотреть на происходящее было невыносимо. Никто в отделении ни разу не упрекнул Мишкина ни словом, ни помыслом. Не плакала и мать.

И вот он умер.

Теперь плакали все. Теперь уже ничем помочь нельзя.

Мать была еще здесь. Теперь она была охвачена одним — хорошо похоронить, чтоб было все как надо, чтоб поминки были достойные.

Но вот и эти спасительные действия закончились.

Мать осталась одна сама с собой.

И стала писать письмо.

Мишкин, конечно же, никогда не плакал над больными. Не плакал он и в этот раз. Когда Коля умер, Евгений Львович был на операции. Он размылся в предоперационной, только тогда ему сказали об

этом. Забежал в свой кабинет. Быстро переоделся. И убежал из больницы.

Мать Коли он больше не видел никогда.

Он позвонил своим товарищам, они посидели, говорили бог знает о чем. Они понимали, что раз он их вызвал — значит, ему этого хотелось. Но он еще с утра хотел встретиться с ними. Он пил не по поводу. Это никогда не помогает. А повод пить ищут только алкоголики.

Товарищи его так ничего никогда об этом юноше не услышали, не узнали.

Ел он в тот день только вкусное.

Вино он в тот день пил только сухое.

Домой он пришел не поздно и не пьяный.

Так и не видел он больше мать Коли.

А вот теперь надо на письмо отвечать. Что ж ей ответить? Он даже не помнит, как ее зовут. Он и не знал, как ее зовут.

А Коля был высокий, нет, длинный — он же никогда его не видел в вертикальном положении, — ногам его всегда не хватало кровати, операционного стола, перевязочного. И Мишкину все эти предметы коротки.

А глаза действительно были голубые. А волосы каштановые. Но написать-то все-таки надо.

Он разгладил ладонью бумагу, взял ручку... Тихо запел: «Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино...»

— Евгений Львович, вас Игорь Иванович в операционную просит зайти.

— Иду.

### *Запись двадцать первая*

Нина как бы вжалась в угол диванчика, подвернула под себя ноги, обтянула колени платьем и, как только ее собеседница закончила свой длинный словесный период, вступила в разговор:

— Нет, нет, Анна Сергеевна, брючный костюм настолько удобен, что стал просто первой необходимостью. Это не мода-однодневка, это останется на многие годы. И хорошая портниха может чудо сделать. Брюки могут скрыть многое, ненужное для демонстрации.

— Или наоборот, могут выпятить недостатки.

— Обнаружить недостатки может все, если про свои недостатки не думаешь. Не думаешь, как их скрыть.

Нина после работы отвезла своего начальника Сергея Борисовича домой и задержалась у него. Они пообедали, потом пили чай. А теперь шел серьезный разговор с его женой.

Разговор начинался хороший, действительно важный, но тут в комнату вошел хозяин и, конечно, все испортил.

— Был, Ниночка, я у вашего приятеля в больнице. Я вам скажу: мы в клинике делаем так, чтоб человек, сотрудник, помощник были заинтересованы в деле. А у него дело, работа заинтересованы в человеке, в работнике, а человек только любит дело. Я могу всех выгнать — ничто и никто на работе не пострадает при этом. У него не так. Какая-то поразительная внутренняя ответственность за слово, даже за мысль неизреченную, так сказать; он как будто понимает, что каждое слово, мысль, чуть родившаяся только, стремится стать фактом, делом, хотим мы этого или не хотим. Я посмотрел его работу, снимки рентгеновские — крайне обидно. Весь материал пропадает. И он безвестен.

— Да, Сергей Борисович. А какой материал!

— Конечно. Может украсить любую клинику. И его жалко. Он-то на все махнул рукой. А можно сделать его человеком.



— Но как ему помочь?

— Надо, чтобы он обратился за помощью к клинике, например к нам. Мы б ему подкинули людей, скажем аспирантов, они бы систематизировали все, сделали бы несколько статей, где он бы был первым соавтором. Было бы написано, что это наша клиника,— статьи бы получили зеленую улицу. Ему, в конце концов, можно сделать, вернее написать, диссертацию. Клиника только б выиграла от этого.

— Да он не хочет иметь дело с клиниками. Там он хозяин. А клиника его прижмет.

— Конечно. Прижать немножко придется. Он должен реже рисковать. Реноме должно быть солиднее. Но зато весь материал будет опубликован — нам плюс, ему навар, миру помощь.

— А как привлечь его? Эти наши проблемы для него не проблемы. Сергей Борисович усмехнулся.

— Проблемы есть проблемы, и для каждого его проблема самая серьезная. Надо ему объяснить на его языке. Например, у одного зуб болит, а у другого радикулит — не будут же они спорить, у кого болит сильнее. У каждого своя боль самая сильная. Один скажет, что у него будто весь зад забит зубами больными, а другой отметит, что рот его заполнен больной поясницей. Этот язык он поймет.

— Поймет. И поймет обоих, если помочь не может. Но не проникнется.

— Надо создать такую ситуацию, чтоб он обратился к нам. Не хочу говорить даже, но вот нужна ситуация, что ли, чтоб можно было включиться и спасти. В конце концов, для его же пользы, для доброго дела, а не для зла. Поможем и ему и себе, а все общество наше будет знать его работы. А то ведь как ни говорите, а на хирургическом обществе его маленько пнули — и только потому, что не клиника. Надо ему помочь, Ниночка.

— И ума не могу приложить, хотя помочь ему очень хочется.

— Думайте, думайте. Вы ж хорошо к нему относитесь. И надо быть смелее, помнить свое истинное к нему отношение. Тогда все нормально будет.

— Да, очень хочется ему помочь. Только он не хочет ничьей помощи.

— Его ж материал — это клад! И знаешь, Анечка, мужик совершенно великолепный. Ты б увидела — тоже захотела б нам помочь. А знаете, Ниночка, позвоните ему сейчас, попросите заехать, скажите, что хочу посоветоваться с ним насчет жены. У нее холецистит, и скажите, что мне нужен здравый разум практического врача, не отвлеченного наукой. Совет попросим. Он в немедицинской обстановке светский человек?

— Вполне.

— Так нет проблем! Звоните.

Нина сняла трубку.

— Можно Евгения Львовича?.. В больнице? Спасибо. Извините... Ушел в больницу.

— Позвоните туда.

Опять взяла трубку.

— Можно Евгения Львовича?.. Женя, добрый вечер. Что у тебя случилось?.. После операции?.. Язва была?

Длинная пауза. Нина слушала, разводила руками: мол, простите, не могу прервать. Сергей Борисович тоже замахал руками: мол, ничего, ничего.

— И опять свою кровь сдавал. Ну что за дурацкое пижонство! И, по-моему, злоупотребляешь. Зачем тебе самоутверждаться собственной кровью?.. Ну хорошо, хорошо. Женя, я у Сергея Борисовича,

у него просьба к тебе: не мог бы ты приехать? Сейчас. Он хочет посоветоваться насчет своей жены... Не знаешь, что делать с больным?.. Вот заодно и посоветуешься с Сергеем Борисовичем.

— Правильно, на его языке надо,— улыбнулся Сергей Борисович.

— Не скромничай сверх меры без нужды. К тому же тебе после донорства твоего сладкий чай нужен.— Смеется.— Получишь. Гарантирую. А я за тобой заеду. Вот передаю...

Сергей Борисович взял трубку.

— Евгений Львович, бога ради, извините. У жены моей холецистит, не острый, но мне бы хотелось посоветоваться с вами как с человеком, который обладает незаурядным практическим разумом врача...— Смеется.— Я понимаю. Расскажите нам. Это же интересно. Мы недалеко. Она вас быстро привезет. Уже уехала. Спасибо большое вам заранее.

#### МИШКИН:

Я положил трубку, вытянулся в кресле, посмотрел на свою перевязанную руку донора. Я вспомнил, как мне когда-то пришлось дать свою кровь в клинике. У меня в подчинении тогда было несколько клинических ординаторов. Один из этих докторов приехал к нам учиться с Дальнего Востока. Он много знал, много читал нашу и иностранную медицинскую литературу. Имел по каждому поводу свое мнение. На операции он очень любил советы давать. Вначале это меня раздражало. Доктор этот, Кирилл Власевич, говорил спокойно, уверенно, больным это нравилось. Моя обычная разговорная полупижонская манера с некоторой интонацией якобы неуверенности годилась только для отдельных интеллигентов, а Кирилл Власевич (его называли иногда и КВ, разумеется вспоминая коньяк) говорил как отрубал — и все становилось на свои места. Больные поэтому чаще обращались к нему, а не ко мне, хотя знали, что я главнее.

Да и вообще говорил КВ много. Например, зайдет в ординаторскую: «Что же мне надо сделать? Ах да, ручка мне нужна. Где же она? А-а, вот и ручка. Та-ак. Теперь и записать можно...» Так сказать, сам себе и про себя спортивный комментатор. Я к этому относился благодушно, хотя иногда раздражался. И вот как-то мы оперировали с ним вместе. Кирилл увидит, что кровь из сосуда бежит, сразу: «Евгений Львович, зажимчик тут надо». Ясно же: раз кровь — значит, зажим нужен. Подошли к желудку, надо начинать мобилизацию его — он тут как тут: «А теперь мобилизовывать надо начинать». Я начал злиться, но молчал. А КВ все мне советы дает и сестрам указания. Сестры даже во время операции стали с вопросами к Кириллу обращаться, а не ко мне. Вот после этой операции нам тогда тоже теплая кровь понадобилась. А кровь у меня и у КВ была одинаковая с больным. Возник спор — чью кровь переливать. Конечно, победил я. А КВ сказал, чтобы поперед батьки в пекло не лез. Так сказать, на место поставил. Я вообще в тот день негодовал на Кирилла — и подсазки, и самоуверенность, и решения, которые предлагает без тени сомнения в голосе. А тут и кровь сдать норовит. «Нет,— думал я тогда,— тяжело с таким работать».

Ну, а больному кровь помогла, выздоровел, кровотечение остановилось. Правда, и Кирилл тоже сдал кровь. Одной моей дозы не хватило.

На следующий день у меня началось сильное обострение псориаза. Стал искать причину, а потом понял, что я просто Кирилла-то ревную. «Ревность у тебя, Женечка, просто ревность несправедная», — говорил я себе.

Тогда я себя взнуздal.

То переливание не было, конечно, пижонством, но что-то было в нем от выставления себя на первое место. Вот и псориаз это подтвердил.

Я тогда уверял себя, что «просто профилактировал влияние КВ». Хотя не любил любую профилактику. Я помню, даже профилактику болезней считал опасной вещью. Да и сейчас тоже. Так ведь любого можно считать больным, да и лечить станешь всех подряд, лишних, не больных. Ходить будешь, так сказать, со шприцем наперевес. Чудак был. Впрочем, и сейчас хорош. А на Кирилла я тогда, конечно, просто разозлился, никакой не героизм это вовсе. Да и само понятие героизма! Он очень сомнителен в медицине. Геройствовать приходится тогда, когда что-то кем-то упущено. Нет, уж лучше без героизма, но планомерно и надежно. Вот и сегодня не было б осложнения, не было б и героического переливания. Посмотрим еще, как будет с псориазом. Да-а! Где сейчас КВ? Уехал после ординатуры опять на Дальний Восток. Кажется, уехал. Меня в клинике тогда уже не было.

Мишкин так увлекся своими воспоминаниями, что в первое мгновение удивился Нининому появлению. Но, естественно, быстро вспомнил.

#### *Запись двадцать вторая*

— Ох, иногда и трудно с вами, Марина Васильевна. То вы все понимаете, делаете добро, помогаете, то как зверь...

— То, как зверь, завую я, то заплачу, как дитя...

— Вот именно. Переменчива, как давление в первой стадии гипертонии.

— Ну и сравнения у тебя, Мишкин.

— А я не уверен, что вы правильно выбираете моменты, когда нужно выть, а когда плакать.

— А ты вообще ничего не понимаешь.

— Ну хорошо, а вас как в начальство затащили? Вы ж лечащий врач? Из реанимации — да вдруг в администрацию. Простите за незычную рифму. Реанимация — это ж так интересно.

— Да, скажу я тебе, было дело. Лежала у нас в реанимационном отделении молодая женщина. Какая-то травма, шок был. Клиническая смерть. Оживили. Сердце заработало, а мозг-то... кора — пропала. Сначала она у нас была на искусственном аппаратном дыхании. Потом и дыхание восстановилось. Были какие-то надежды, а потом стало ясно — не жилец. Да, по существу, она уже была мертвая, только сердце и легкие работали. Препарат дышащий — не человек. Но стали мы замечать, что живот у нее растет. Сначала думали, водянка, вода накапливается, а потом выяснилось — беременность это. Пять месяцев. Ты знаешь, Женя, страшно мне стало! Да и не одной мне, наверное, и Онисову тоже, он со мной тогда в реанимации работал. Ты вот его ругаешь, что он не для хирургии рожденный. Но знаешь, какой след оставила эта история в его душе или не знаю уж где. Короче: человек, по существу, мертвый, а в нем жизнь новая растет. А что делать? Прекратить беременность? Опасно — умереть может. Мы-то обязаны до конца тянуть ее. А подойдут роды — ведь, если плод развивается, роды неотвратимы, а уж тогда она точно не выживет. И другая проблема: может, на первое место в решениях ставить ребенка надо, а не ее. Но кто нам дал право к ней относиться как к препарату? В общем, думали, нервы себе портили, придумать ничего не могли, а больная к тому же моя была. Представляешь, каково мне писать каждый день историю болезни. Я уж эту реанимацию с тех пор, знаешь, в гробу видела. Опять прости за двусмысленность. Дай закурить, что ли... Пока

мы мыслили, организм в конце концов не выдержал. Прекратилась и сердечная деятельность, и дыхание, и плод погиб. Все решилось. А если бы нет? Не могла я больше работать там. И вообще я не могу, как ты, получать радость от лечебной работы. Мне предложили пойти в замы к главврачу. Я пошла. Потом стала главной. Онисов тоже ушел из реанимации, пришел ко мне. «Возьми, говорит, в хирурги». За год до твоего прихода. Хирург он средний. Но оперирует. Стандартные операции делает, помощь от него есть. Не очень-то он, правда, любит хирургию. Вот я всегда считала, что медицина — это чисто мужская работа и неудачники-врачи только женщины бывают, вроде меня. А вот тебе и мужской экспонат неудачника в медицине. И все равно в медицину надо идти только мужикам. Это я решила для себя.

— Для себя — это как? За сына решили, что ли?

— Нет. Если бы. Я ему советовала. Не хочет. Он математику предпочитает.

— Видите, умница он у вас.

— Какой там. Математика-то легче. Там соображать только надо. Это еще не самое тяжелое.

— А что же может быть труднее?

— А рисковать совестью, рисковать другими. Или тебе это легко? Но это уже другой разговор. Я тебя прошу, ты Онисова не терзай, не очень его. Ладно?

— А я не терзаю. Он мужик забавный. Свои операции делает. Мы с ним тут дежурили на днях. Читает много. Много мне рассказывал.

— В библиотеке, наверное, сидит.

— Не знаю. Возможно.

— Ну ладно, а ты чего пришел?

— Я чего хочу-то, Марина Васильевна: разрешите Агейкину и Илющенко в расписании до двух ставок поставить.

— Не проси. Потом мне начет будет.

— Какой начет! До двух же разрешают. Ну некому дежурить. Ведь все равно дежурить будут, но бесплатно.

— Все я знаю. Но ты пойми, Женя, нельзя. Сегодня разрешают, завтра нет. Все циркуляры, да инструкции, да письма. Сегодня одни, завтра другие. А потом приходит КРУ — и по голове бьют. А куда я пойду? От лечебной работы отстала. Некуда. Как и Онисов твой — некуда ему идти. Некуда — значит, держаться надо. А в ставках ты ничего не понимаешь, а шумишь. Если бы оплата дежурств у нас в больнице была бы по дежурантскому фонду, тогда хоть сорок ставок. Но тогда профсоюз, охрана труда считает, сколько времени остается на отдых и восстановление сил. Мы же отказались от фонда ради ставок, чтобы не выкраивать бесплатные дежурства каждому. Понял? Вот мы и крутимся между финансами и профсоюзами. Выбериай.

— Хорошо, Марина Васильевна, а что надо для этого сделать?

— Пиши рапорт на имя райздрава, что в связи с нехваткой хирургов прошу разрешить этим двум оглоедам дежурить до двух ставок. Оба подпишемся и пошлем в райздрав на утверждение. Все вместе тогда будем отвечать.

— Ну вот и договорились. Хоть заплатят. Ну, спасибо, Марина Васильевна. Вот спасибо.

— Ух ты и плут, Мишкин. Но ничего, доберемся и до тебя. Погоди... Да, Женя, еще два дела общественной работы. Первое — соберите в отделении взносы в ОСВОД...

— Что это — ОСВОД?

— Общество спасения на водах. (Мишкин фыркнул в ответ.) Не фырчи, а, во-вторых, создай условия тем, кто из вашего отделения в понедельник выйдет сдавать нормы ГТО, бежать будет.

— И бегут неуклюже пешеходы по лужам... — Мишкин, напевая, пошел в отделение.

*Запись двадцать третья*

— Алло.

— Евгений Львович?

— Я.

— Здравствуйте, Евгений Львович. Женя, это Нина говорит.

— А-а! Здравствуйте. Как жизнь?

— Жизнь-то ничего. Я сразу к делу, Евгений Львович. У меня есть просьба. В одной больнице, где работает моя подруга и ваша бывшая сотрудница Майя Петровна Балдина, сейчас лежит мой дальний родственник. У него обнаружен рак желудка. Заведующий их сейчас болен, а замещает его она. У меня большая просьба — очень хочу, чтобы его оперировали вы. И Майя Петровна просит.

— Евгений Львович, здравствуй. Это Майя. Я присоединяюсь к просьбе.

— Пожалуйста, присылайте.

— Евгений Львович, ты меня прости, а не мог бы ты приехать и сделать это в нашей больнице? Он у меня лежать будет. А?

— Можно и так. В пятницу, например, если ничего не случится. У нас плановых операций быть не должно.

— Спасибо большое, Евгений Львович. Родственники заедут на машине.

— Нет, не надо. Сам доберусь, я знаю, где ваша больница.

— Евгений Львович, а ты не мог бы захватить с собой и анестезиолога, у нас очень плохо с наркозом. Захватишь?

— Хорошо. Я ведь люблю только со своим анестезиологом. Сейчас все от них зависит. Договорились. Только утром в пятницу позвоните в отделение. Если все в порядке, то я буду у вас около часа. Ничего?

— Спасибо большое, Женя.

Мишкин пошел в операционную. Вера Сергеевна возилась с наркозным аппаратом.

— Слушай, Вера, звонила Балдина Майя, помнишь, работала с нами?

— Здравсьте. Конечно, помню Майку. Как я могу забыть.

— Она просила нас с тобой приехать, какому-то родственнику одного врача, который нам как-то помог, операцию сделать. Желудок. Рак. У них и с наркозом плохо.

— Сейчас?

— Да нет. В пятницу.

— А почему бы не перевести к нам?

— Я предлагал. Но она, по-видимому, хочет сама за ним ухаживать. Живут рядом. В общем, хочет.

— А мы как наблюдать будем?

— Никак! Съездим, если что. Надо же помочь человеку.

«Нам, врачам, в этом мире хорошо, лучше, чем кому бы то ни было другому. Мы можем помогать людям, так сказать, человеку человек. Жизнь заставляет помогать другим, и при прочих равных мы, врачи, лучше станем. Так сказать, по образу службы».

Мишкин глядел в окно операционной и философствовал. Он забыл, что ждет ответа. Да он и не ждал. Он был уверен в нем.

— Ну ладно. Хочет, так поедет.

Майя Петровна встретила их у входа.

— Здравствуйте, ребята. — С Верой поцеловалась. — Женечка, посмотришь больного?

— Он же ждет, наверное. Конечно, пойдем к нему. Ну, а Вере надо вообще как следует его посмотреть. Наркоз давать — не операцию делать. Я, на худой конец, могу ограничиться снимками да анализами.

Они посмеялись.

— Но вот кому необходимо смотреть, так это больному на хирурга, — сказала Вера Сергеевна.

Через полчаса операция уже начиналась. Вера стояла у головы — давала наркоз. Мишкин справа у больного нетерпеливо ждал команды. Помогали ему Майя и здешний молодой хирург.

— Можно, Вера Сергеевна?

— Начинайте.

— А как вам тут работается, Майя Петровна?

— Ничего. Как везде. Правда, мы не делаем таких больших операций, как вы там, но работать все равно интересно.

— Да. Это верно. Оттяни крючком. Посмотреть здесь надо. Говоришь, интересно. Интересна-а-а.

— Наверное, все становится интересным, когда чему-то научишься. Не пропадать же добру.

Мишкин усмехнулся. Некоторое время работали молча.

— Рак-то небольшой. Можно хорошо убрать, чисто и соединить напрямую. По Бильрот первому. А?

— Хорошо бы, если получится.

— Только посмотрим еще, можно ли от поджелудочной отойти. Поставь сюда зеркало, пожалуйста... Да-а... Все в порядке. Отойдем. Начинаем мобилизацию. Вера Сергеевна, все в порядке. Радикальная будет операция. Резекция будет. Как вас зовут, коллега? Алексей Иванович? Алексей Иванович, мы с Майей Петровной кладем зажимы, вы сразу же рассекаете между ними. Чтоб времени не терять. Поняли? Дальше работали молча.

Лишь вначале один раз он промурлыкал, что проходим не ясно, почему он в этот непогожий день веселый такой.

Осложнений по ходу операции не было. И меньше чем через полтора часа она была закончена. Когда он пропел, что, «к сожаленью, день рожденья только раз в году», Майя ему сказала:

— Идите, Евгений Львович, в кабинет. Мы зашьем сами. Идите переоденьтесь.

— Спасибо, — сказал всем Мишкин.

В кабинете его ждал брат больного.

— Ну что вы нам скажете, Евгений Львович?

— Пока все в порядке. Опухоль убрали всю. Желудок почти весь. Так операция прошла более или менее благополучно. Если послеоперационный период пройдет хорошо — тогда посмотрим, тогда гадать начнем.

— Вы нас простите, Евгений Львович, мы вас вытащили в ваше свободное время, оторвали, так сказать. Нет слов, чтобы выразить вам благодарность, но все же... Извините нас, ради бога. — И он протянул конверт.

— Да вы что! Нет, нет! Во-первых, я человек суеверный, а мы еще не знаем, как пойдут дела сегодня ночью или завтра. А во-вторых, есть же какая-то кастовая солидарность: как можно брать деньги у родственника врача, да еще с которым работал. Прекратим разговор на эту тему. И вообще...

Родственник смутился. Стоял, не зная, куда сунуть свой конверт.

— Вы знаете, но нам так неловко. Если бы еще у вас в больнице, а то мы вас...

— Прекратите, пожалуйста. Вы не подождете немножко в коридоре, чтоб я успел переодеться до прихода Майи Петровны?

Этим, может быть, не слишком деликатным способом Мишкину удалось ликвидировать неловкую для них обоих ситуацию. Родственник вышел, а Мишкин стал переодеваться, и, как всегда, мысли его потекли в русле только что происшедшего.

«Неплохо бы их сейчас. Гале пальто надо зимнее. Да и за отпуск задолжали. А ведь этот мужик сегодняшней лег в больницу прямо с работы, наверное, а теперь уж на работу не выйдет. Во всяком случае, в ближайшее время. Конечно, в его жизни заинтересованы сейчас только его близкие. Нет, хирургам надо платить только за аппендициты, грыжи, маленькие травмы, за операции при язве, а за такие можно много и не платить. Что-то я задумался не в ту степь. Небось просто жалко, что деньги не взял. Нет. Нельзя».

— Ну почему ты, Жень, не взял деньги? — Это уже Нина появилась.

— Не буду я у твоих родственников деньги брать. Да еще неизвестно, выживет ли он.

— Подумай, в какое неудобное положение поставил ты всех. Они люди состоятельные. У тебя денег, естественно, нет наверное, и для чего-то именно сейчас они позарез нужны.

— Ты-то нам помогала так.

— Я на работе была, на своей. И ты не для себя. Я ж тебя знаю. Завтра ты наверняка приедешь. Захочешь посмотреть. А нам теперь даже неудобно за тобой машину послать. И мне неудобно будет заехать за тобой. Люди же должны за помощь реваншировать как-то.

— Не надо.

— Все о себе только думаешь. Тебе так легче, а нам плохо! — сказала Майя Петровна.

Мишкин засмеялся.

— Не морочь мне голову, Майка.

— Если б я еще не знала, как ты живешь! Нина, ну не кретин? Глупо все это...

Когда Мишкин вышел, Майя Петровна сняла трубку и стала набирать номер.

— Девонька, главная у себя?.. Соедини, пожалуйста... Это я, Балдина. Хорошо, я вас еще застала. У меня к вам вот какое дело. Сегодня мы оперировали моего родственника... Приезжий доктор. Да... Он отказался у них взять деньги. Как мы ему можем оплатить по закону?.. Только консультативные... Нет, не кандидат... И анестезиолог без степени... Это ж около шести рублей на двоих!.. Нет, уж лучше совсем не надо... Может, все-таки можно придумать что-то?.. Ну ладно, я на всякий случай спишу у них паспортные данные... Ладно... Ладно... Завтра поговорим.

Майя Петровна положила трубку, посмотрела на Нину.

— Ну не идиот?

Вошли Мишкин и Вера Сергеевна.

Мишкин. Он хорош. Если швы держать будут, полный ажур. Собственно, как всегда: как анастомоз. Ну, мы поедем, Майя. Его уже перевели в палату.

Вера. Я там все написала, Майя, что как лить. Если что — позвоните утром в отделение. Дома-то у меня телефона нет. Впрочем, сама позвоню.

Майя. Ребята, дайте мне ваши паспортные данные. Оформим ваш приезд как консультации.

Женя. Ты думаешь, я помню все эти номера? А с собой у меня нет.

Вера. У меня тоже нет. Завтра приедем — привезем.

Женя. А я даже не знаю, где он у меня. Он мне ведь редко нужен. Паспорт нам нужен другой совсем. Вот если бы там были, кроме возраста, группа крови полностью с резусом, каждые три года давление отмечали, может быть, реакция Вассермана, кое-какие аллергические пробы и еще что-нибудь в том же духе. Такой позарез нужен. Правда ведь. А, Нин?

Вера. Ну, ладно, ладно. Начинается. Поехали, Женя, домой.

Майя. Ты их отвезешь?

Нина. Разумеется.

Майя. Как с тобой трудно. Удивляюсь, что не отказывался сейчас от машины: «Да мы сами доедем». Ну чего ж ты? Ух, Женька, зла на тебя не хватает.

### *Запись двадцать четвертая*

— Этот больной тяжелый, и я хочу с ним поговорить у себя.

Мишкин вышел из ординаторской. Больной сидел в конце коридора на корточках и курил.

— Николай Михайлович, можно вас на минуточку? Мне поговорить с вами надо. Выяснить кое-что... Скажите, Николай Михайлович, вы сами-то считаете себя больным?

— Вот я вам скажу, Евгений Львович, что все у меня хорошо. Но вот есть я как следует, конечно, не могу. А так я совсем здоров.

— Еще раз повторите мне, пожалуйста, когда вы все это почувствовали.

— Я и не помню точно, но месяца три-четыре, как стало мешать есть. Сначала просто мешало есть. Потом твердое перестало проходить — я запивать стал, конечно. Запиваю. Я есть стал меньше и похудел.

— Есть стали меньше и поэтому похудели?

— Ну да! Поэтому. Но, конечно, не больной. Есть все равно хочется. Бывает, когда грипп — есть не хочется. Но как начинаю, да каждый глоток запивать надо... я и меньше ем, конечно.

— И вы все время работали, до последних дней?

— Я вот отработал, к примеру, сегодня, а потом пошел к вам. И остался в больнице.

Мишкин сжал руки между коленями: «Кто же мы в их глазах — спасители или фабрика инвалидов?»

— Дома-то сказали?

— Откуда сыну на работу позвонил.

— А я не видел никого. Не приходят?

— Бывают. И сын бывает, и жена, конечно.

— И вы давно работаете на этом заводе?

— Да вроде бы с детства и опять же недавно.

— Это как?

— Я до войны начал работать здесь. А потом в войну ушел — как все. Потом опять вернулся — работал здесь. А потом на целину уехал.

— Вы! На целину? Это молодежь все больше уезжала.

— А я с женой ругался тогда. Много не пил. Но гулял немного. Пришел как-то — она ругается, конечно. Я ж не маленький. Что такое! И подался с нашей молодежью. Три года. Вернулся вот. Работаю. Толстый был, как приехал.

— А толстый почему? Пил там?



— Не очень. С получки пили. По праздникам. С получки всегда, конечно. Толстый был — похудел сейчас. Потом худеть стал.

— Давно худеете?

— Года два. Не меньше.

— А сейчас еще больше похудел?

— Не ем же. Мало.

— А на войне? Ранения были?

— Малость самую. В ногу — вот, без кости. Живот еще — тоже не сильно, конечно.

— Сколько вам сейчас?

— Пятьдесят пять. Женина пенсия. Сейчас и пить не пью совсем. По праздникам с сыном. Как вот приехал — с получки не пьем. Работают — это да.

— А вы всегда в этом районе жили?

— Родился тут, где вам корпус строят, дома наши здесь стояли. Бараки такие двухэтажные. Знаете?

— Ну да.

— Тут я родился. Рядом. А сейчас вон дом мой, девятиэтажный. Из окна виден. Видите? На седьмом этаже мы с женой. Квартира, конечно. Одна комната. Сын на пятом. У него двое. Дед я. Двое у него.

— А у вас он один?

— Зачем! Дочь еще. Она у мужа, конечно, не здесь.

— А что-нибудь болит сейчас?

— Нет. Вот с едой только трудно, глотать. Сейчас жить ничего. И моя успокоилась. Раньше, бывало, пойдет на кухню, соседи с ней заведутся. Сейчас на пенсию вышла. Телевизор смотрит, конечно. Сейчас спокойно нам.

— К сыну вниз ходит?

— Это да. А сын говорит: плохо сейчас. Раньше, говорит, квартира общая когда была, веселее. Придешь с работы, к кому зайдешь, выпьешь вместе, поговоришь. Это правда. И телевизор смотришь вместе, в коллективе, конечно. А потом во двор выйдешь вместе. А теперь все сидят у себя у телевизоров — и не видишь никого. Летом лучше. Во дворе столы. Домино. А сыну все мало. Пройдет. У него свои растут.

— Николай Михайлович, надо вам операцию делать.

— Понимаю, понимаю, Евгений Львович. А что там у меня? Может, и само пройдет? Погодить?

— Нет. Надо. У вас и не проходит еда поэтому.

— А если запивать?

— Вы заливаете. Вам же хуже становится.

— Стало немного хуже. Но можно жить.

— У вас, Николай Михайлович, доброкачественная опухоль, как жировик, но в пищеводе. Она закрывает ход. Ее надо убрать.

— Жировик. Не рак, значит?

— Не рак. Но оперировать все равно надо. Закроет совсем.

— А не опасно?

— Опасно. Но если будет очень опасно, то мы удалять не будем, а сделаем в желудке дырочку и придется вам есть через трубочку.

— Какая ж еда!

— Временно. А поправитесь, наберете сил, тогда сделаем все как надо.

— А кто оперировать будет?

— Я буду.

— Ну ладно. А когда?

— На той неделе. Скажем еще. Пусть только ко мне ваши зайдут до операции.

— А жена, наверное, уж тут, ждет внизу, мы договорились, конечно.

— Вот сейчас пусть и зайдет тогда.

Жена полная. Трех надо сложить таких, как Николай Михайлович. Но он-то болен, истощен. Интересно, а до болезни какой он был?

Мишкин объясняет жене.

— Да я и сама вижу — плохо. Тает мужик на глазах. Я ему говорю — походи к врачу, может, рак, а он... Ну сейчас хоть не пьет. Сейчас хорошо все. Обязательно, товарищ доктор, операция? А то хорошо все сейчас. Сын рядом. А не умрет от операции, товарищ доктор?

— От болезни он точно умрет. У него рак.

— Я ему говорила. А он вот не ходил. А мне говорит — жировик там.

— Он не знает. И вы ему не говорите.

— Нет. Зачем. Не скажу. — Она вытерла глаза тылом кисти. — Не скажу. Сыну скажу.

— Сыну скажите. Операция опасная. Есть, правда, небольшой шанс, что там жировик, но вряд ли.

— Ну, если надо. Но он хороший сейчас. Вот худой только.

— Операция очень опасная, даже если мы сумеем убрать все, если опухоль небольшая. А если нельзя, надо делать дырочку в желудке и кормить через трубку.

— А нельзя без нее?

— Он умрет от голода.

— А как же сказать про дырочку?

— Не надо ему говорить. Это я сам.

— Значит, без этого нельзя?

— Если удастся — сделаем без трубочки.

— А без операции нельзя?

— Нет.

— А когда будет операция?

— На той неделе. Мы в пятницу, завтра, скажем ему. А он вам.

— Ну, раз надо. А то сейчас хорошо нам. И сын здесь, ниже. Внуки. Дочка бывает. Я на пенсии. А на сколько он здесь? Через сколько ему выписаться можно будет?

МИШКИН:

— Больной спит?

— Да. Уже. Интубируем.

— Ну, я моюсь тогда.

Рядом моется Игорь. Мы перекидываемся, как всегда, словами, чаще всего ничего не значащими. Третий ассистент, молодой врач, интерн — первый год врачевания. Молодым сейчас лучше. Пять лет учатся, потом шестой год доучиваются на какой-нибудь кафедре по избранной специальности, седьмой год в больнице интерном и лишь только потом выползают на самостоятельную работу. Семь лет. Хорошо. А меня, как щенка в воду, в деревню после пятого курса. Говорили, что это хорошо: быстрее, дескать, научусь. Про больных уж я не говорю. А вот чего это нам стоило. Как говорится, нервные клетки не восстанавливаются. Если Сашка пойдет в медицинский, ему легче будет. Когда кончит, если попадет. Если попадет. Куда мне сегодня идти надо? Не могу вспомнить. Хватит мыться.

— Давай, Игорь, кончай. Не баня.

Ну и халаты у нас. А мне еще и короток очень. Не на бал. Хорошо и так.

— Можно йодом его?

— Можно.

Ровно покрасил. Полтела покрасил. Теперь ребра посчитать. Где разрез сделаем? Здесь спиртом надо. Наметим.

— Дайте, пожалуйста.

— Что?

— Спирт!

Накрываю простынями.

— Я сверху. А ты снизу накрывай.

— Свет направьте.

Руками все приходится. А в институте кнопки на пульте нажимают — и лампа передвигается. Куда же я сегодня должен идти?.. Анестезиологи, по-моему, полностью готовы уже.

— Можно начинать.

Так. Сразу крючками, ребята. Правильно все. Кровь останавливать особенно не приходится. Ага, прошел.

— Пневмоторакс.

Если легкое не очень запаяно, к пищеводу подойдем быстро. Да. Вот. Темные простыни лучше. Сначала диафрагму рассеку. Шить надо. Дают не спрашивая. Сейчас-то конечно. Раньше сестра играла большую роль. Операционная сестра. И сейчас большую, но не так. Личные качества не так уж важны. Важны, но не так, как раньше. Кто говорит, что очень важно, это больше для форса треплются, наверное. Сестра нужна, чтобы стояла и давала все, не спрашивая, что нужно. В маске она хорошенькая. Лучше, чем с открытым лицом. Лоб хороший... Здорова опухоль. Прорастает вроде. Отойду ли?

— Смотри какая. Наверное, не удалим. Тогда трубочку.

Ух ты, и поджелудочная захвачена. И край печени. Узлы в клетчатке. Если здесь попробовать. И риск большой. Даже если удастся, работы часа на четыре минимум. Риск здоровый. И толстый кишечник, забрать участок придется. Это началось с желудка, потом на пищевод поползло. Работка, я вам скажу! Нет, ничего у меня здесь не выйдет. Трубочку поставим. А если отсюда попробовать подойти? Сплошняком все. Попробовать если? Смертельный риск. Смертельная вещь. Болезнь тоже смертельная. А здесь отойду? И здесь не подойти. Можно, конечно, но... Если аорта прихвачена — тогда все просто и говорить не о чем. Кто-то предлагал, не помню кто: пищевод с куском аорты забирать. А потом пластика аорты синтетикой. Где-то статья была. Или, как говорится, личное сообщение. Хм. Здесь кровит.

— Дайте зажимчик. Теперь нитку, Вяжи. Ничего не выйдет у нас, наверное. Здесь давайте подсечем. Вяжи.

Если здесь иссечь — удастся ее убрать полностью? Уходит. Риск большой. Работы на целый день. Не выдержит. Риск. Рака не выдержит тоже. Нет. Лучше не делать. Пищевод выделился хорошо. Отошли. И от аорты отошли. Помрет. Риск большой. И меня ругать будут со всех сторон. Но надо делать. Все-таки, если есть шанс, надо его использовать. Все, говорит, по своим квартирам у телевизоров. Еще, может, посидит у телевизора. Но не работник он навсегда, это точно. А может и сейчас умереть. Сразу после операции. И меня ругать будут. Вот и здесь мобилизовать удалось. Уберу здесь. Большой риск. Не сказал он — от дочери тоже есть внуки? Вся опухоль, пожалуй, уйдет. Узлы эти с клетчаткой уйдут. Ну что — буду делать? Да я уже делаю! Черт! Зачем! Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам... — опять эту дурацкую песню занудил. Может, поживет.

— Надсеки здесь... Угу... Ну вот... так, значит...

Я с ним встретился вечером. Он мне рассказал и про этого больного, и про сегодняшний операционный день.

Операцию Мишкин сделал радикально. Убрал и опухоль, и все узлы-метастазы, и все пораженные органы.

Нарушу плавный ход сюжета: больной выздоровел и впоследствии выписался. И сколько лет продлится успех этот, неизвестно. Может, год только. Но пока Николай Михайлович сидит у своего телевизора двумя этажами выше сына и доволен. Жена довольна тоже. И сын доволен. Внуки с дедом гуляют. А дочку Мишкин так и не видал.

Да и не господь же он бог, чтобы решать, кому и сколько жить. Удалить опухоль он, оказывается, мог. Как всякий эгоист, он не думал, что он может или не может, а делал, что получается. Получилось. Он думал о себе — не о других. Не господь же он бог, в конце концов, чтобы решать за других, жить им или не жить.

Но это будет потом.

А сегодня вечером после операции Нина привезла его к себе в институт на выступление какого-то кандидата наук, гипнотизера. Здесь мы и встретились.

В большом зале около пятисот человек. Лишь на сцене полусвет. Лектор, или гипнотизер (не знаю уж, как его и назвать), человек ниже среднего роста, начинающий лысеть, без очков. У него вполне обычные глаза, без какой-либо особой пронзительности. Первую половину вечера, лекции (и это не знаю, как назвать), он рассказывал про гипноз, самогипноз, про массовый гипноз, про Месмера, про Мэри Беккер Эдди, про Сеченова и Павлова, про мозг, физиологию и сон. Временами казалось, что он совсем забывает о медицинском контингенте слушающих. А может, просто такое снисходительно-презрительное отношение к залу позволяло ему самому себе казаться сильным, чтоб легче было потом подчинить сидящих перед ним. Кого подчинить, а кого и нет. Все равно это было интересно. Он готовил себя и зал ко второй половине, ко второму отделению, к художественной части.

Во второй половине вечера он по желанию присутствующих стал проводить сеанс массового гипноза. Желающих было много. Много было и скептиков.

Мы сидели все рядом. Мишкину была неприятна сама мысль о возможности гипноза, и, по-видимому, Нину и меня он тоже заразил своим чувством. Бездумное подчинение души и мысли, да еще массовое, да еще на виду. Он готов был даже первым отойти в призрачный мир подчинившейся сомнамбулы, лишь бы не видеть других в таком же состоянии.

Лектор ходил по сцене, держа в руках какую-то блестящую штучку на уровне своих глаз, и монотонно произносил наставления. Он предлагал поднимать руки, сцеплять их над головой, сильнее сжимать пальцы, смотреть на эту блестящую штучку перед его носом. Он объяснял всем, чего они хотят, что они чувствуют, что им надо делать. Некоторые очень быстро впали в оцепенение. После этого лектор стал ходить по краю сцены, продолжая свои монотонные указания, которые, казалось, были нелепы и примитивны, но крайне эффективны. Он как бы выискивал — кто там еще не подчинился и на кого надо воздействовать активно и индивидуально. Впечатление, что он искал еще кого-то, чтобы обязательно включить в число поверженных.

Я смотрел на гипнотизера, на Мишкина, и уж не знаю, так ли это или не так, но впечатление было, у меня по крайней мере, что увидел гипнотизер — кандидат наук перед собой гиганта с мягкой улыбкой и добрыми глазами, который доброжелательно смотрел и на него, на лектора, как будто хотел сам побыстрее увязнуть в его сетях. Лектор сосредоточился на этом мягком, податливом, не сопротивлявшемся гиганте.

И Мишкин не сопротивлялся, не боролся, не говорил себе: не хочу, я против, не буду,— у Мишкина были свои заботы. Что ему, в конце концов, бушующий вокруг гипноз. Он давно уже отвлекся, сначала думал о больном вообще, потом о больном во время операции, потом о Николае Михайловиче в частности. Он снова проигрывал всю операцию. Он начинал жалеть больного, так как он не мог этого сделать во время операции.

А потом, не сказав нам ничего, вдруг поднялся и собрался уходить.

### *Запись двадцать пятая*

— Ну Евгений Львович! Ну спасите меня! Я ж вам открылась. Мне больше некуда идти. А дома меня просто убьют.

— Ну не могу, Людочка. Ну как я могу! Во-первых, за всю жизнь я это делал, может, раз двадцать всего, да и то в районе, в деревне сколько лет назад.

— Евгений Львович! Что мне делать! Ну подумайте сами, Евгений Львович! Мне ж семнадцать лет. Я ни к кому не могу пойти.

— Почему не можешь? Срок и правда чуть великоват. А ты в больницу ходила?

— До восемнадцати с матерью надо приходиться.

— Ты пойми, Людочка, я ж в тюрьму могу попасть. Да и опасно тебе делать сейчас неспециалисту. Срок великоват.

Какой уж раз приходила к нему Люда и пыталась уговорить. Мишкин отлично представлял себе и степень риска и степень ответственности. Представлял он себе и обстановку в семье, да еще и школа...

Он пошел к друзьям.

Володя. Ты что, одурел? Еще и думаешь! Ты же сам рассказывал, что в двух случаях тебя никто не спасет: если ты перелил не ту кровь и если сделал криминальный аборт. Так? Тебе, конечно, видней, но, по-моему, это чистое пижонство даже обсуждать это.

Филипп. Женька, девочка сейчас маленькая, сейчас у нее только ужас перед глазами, а потом все перемелется. Надо по-иному ей как-то помочь. Ты подумай как. Ведь это самый легкий путь. Тебя же никто не спасет — сам говоришь. Думай, а не делай. Придумаешь, и ей основательнее поможешь.

Женя. Когда я работал в деревне, ко мне также пришла девочка, чуть постарше, и говорила: если не сделаете — повешусь. Спокойно так сказала. А я — иди к родителям, повинись. И через полчаса ее нашли повесившейся.

Филипп. Я и говорю: ищи способ, как помочь. Возраст тяжелый, шизофренический возраст. Давай думать. Может, мы можем что-нибудь, подскажи.

Володя. А откуда на тебя свалилась эта девочка? Кто она?

Женя. Нинина дальняя родственница. Или знакомая.

Филипп. Какой Нины? Этой твоей анестезиологини? А пусть она сделает. Она же доктор. Вечно она добро какое-то сочиняет.

Володя. Да ведь дело сейчас уже не в Нине. Ему девчонку жалко.

Женя. В том-то и тяжесть. Она десятиклассница. Значит, недоучится. Семья дремучая. А девочка не похожа на них. Сказать дома она не может. По моему впечатлению, девочка тонкая, хорошо образованная, талантливая даже. Нина говорит, что удивительно, откуда в такой семье такой ребенок. А тонкость ее, сами понимаете, особенно

опасна в этой ситуации. А сделать Нина и вовсе не может. Она этого вообще никогда в жизни не делала, в деревне не работала.

В о л о д я. По-моему, вообще это пустой разговор. Ты даже технически не в состоянии все это сделать. Где? А инструменты у тебя разве есть? Нет. О чем болтаешь?

Ж е н я. Нина предлагает у нее. И инструменты есть у нее, от отца остались.

В о л о д я. Абсурд какой-то. А Нина живет где-то рядом с тобой?

Ж е н я. Совсем недалеко. Через несколько домов буквально.

В о л о д я. И адрес забудь.

Ф и л и п п. Нет, Нина, конечно, лапонька, с какой стати уж так сразу. Но есть же люди, которые всех устраивают. Устраивают себе комфорт из добра чужими руками. Но я тебе скажу, Женька, ты не приспособлен для преступлений. Ты обсуждаешь, думаешь, совесть-стишься. А сделаешь если вдруг — и вовсе загнешься. Преступления несомнительным легко даются. Раз это сейчас нужно — сделаем. И потом их это не заботит. Не кладется, так сказать, этот груз на шею, не гнет и не гнетет. А совестливые люди не приспособлены и попадают. Ты смотри, сколько ты это обсуждаешь. Ты не должен этого делать. Не для тебя это. Все не для тебя.

В о л о д я. Может, ты еще философское эссе напишешь сейчас? Люди конкретно о деле говорят, думают, как выйти из положения, как всех накормить, а ты развел... А что Нина лапонька — это да. Только из тех, что пьют, гуляют и всех запутывают.

Разговор, конечно, ничем не кончился конкретным. Ребята сказали то, что он и сам думал. Просили воздержаться от решительных поступков.

Да он и сам понимал, что нельзя. И не только потому, что закон запрещает, а просто этого не должно делать. Н е д о л ж н о. Плохо это.

Дома он даже не успел поесть. Позвонила Нина и в императивном порядке попросила срочно зайти к ней. И опять начались уговоры. И о таланте, и об учебе, и о семье, и о долге учителей и врачей, и о будущем члене общества, и о женской доле и девичьей беде — все приводила она в атаке на его твердость.

Сколько он ни кричал «отстань», «прекрати», «отвяжись», волны ее словоблудия накатывались на него и постепенно размывали его непоколебимую уверенность.

Потом он сидел молча, делая вид, что не слушает.

Но слушал.

Все попадало в его сознание. И, наверное, падало глубже, в подсознание. Даже такие истины, что в женщине заложена созидательность мира, она вольна решать сама... Ну, и все такое прочее.

Пришла Люда. Нина тут же выкатилась в другую комнату.

— Евгений Львович, ничего не скажете мне, а?

— Люда, прекрати. Этого нельзя делать. Я тебя прошу, давай поедем ко мне в больницу, поговорим с гинекологами.

— Так они мать требуют.

— Я попрошу их. А может, мне или тете Нине поговорить с твоими родителями?

— Нет, нет. Ну что ж, спасибо за слова хотя бы. До свиданья.

Люда вышла из квартиры. Из-за двери раздалось:

— Женя!

— Люда! Вернись!

И уже в квартире:

— Нина, поставь воду с твоими инструментами. Я сейчас приду.

И со сроком Нина его обманула. Срок оказался еще больше, чем он предполагал.

Люда лежала бледная, покрытая холодным потом. Ни разу не пикнула! Она все стерпела. Мишкин никак не мог понять, откуда у этой девочки хватало сил терпеть адскую боль. Она молчала, когда он проткнул стенку и инструмент попал в живот. Если бы она хоть вздрогнула, он бы обратил внимание и остановился. Она молчала и когда он потянул за кишку. Он заметил лишь тогда, когда разорвал кишку.

Пульс слабый. Кровь хлещет, наверняка и в брюшную полость тоже.

— Нина! Звони немедленно ноль-три! Вызови машину. Скажи — массивное кровотечение.

— Ты сошел с ума!

— Звони, тебе говорят! Людочка! Поедем в больницу. Надо делать операцию. Я тебе порвал кишку.

— Расскажут, Евгений Львович. Не могу.

— Люда! Все! Повезу к себе. Маме что-нибудь навру.

— «Скорая» выехала.

Подошел к телефону, набрал номер.

— Алло. Добрый вечер. Наталья Максимовна? Я тебя очень прошу приехать сейчас в больницу... Алло. Галя, я еду в больницу, задержусь там... Да. Тяжелый больной. Потом расскажу. До свидания.

В операционной сразу наладили переливание крови. Стало легче — давление поднялось, пульс лучше.

— Евгений Львович, вы сами будете?

— Не могу. Я помогу тебе.

— Но вы...

— Не могу. Не мучь меня. Помогать буду.

— А что вы написали в истории болезни?

— Все как было.

— Вы сошли с ума! Это ж тюрьма.

— Была бы жива.

— Может, после операции переделаем историю?

— Будет видно. Но ведь, может быть, придется матку убирать.

Как это объяснить?

— Но так же нельзя написать!

— Ты как думаешь, я хочу в тюрьму, что ли?

— Ну, ладно. Давайте начинать. Потом подумаем. Господи!

— Начинай же! Скорей!

Пришлось удалить кусок кишки в десять сантиметров, матку смогли зашить.

Все!

Господи, сможет ли рожать?

Мишкин сидел около ее постели. В ногах стояла капельница. Кровь капала медленно, в одном ритме, и ему казалось, что этот ритм самый спокойный в мире, самый хороший, самый спасительный...

К пяти утра давление стало нормальным, и Мишкин пошел к себе в кабинет, где сидели Нина и Людина мама.

— Евгений Львович, что у нее?

— У нее нагноение кишки, флегмона кишки — маленький кусочек кишки отрезали. Может, обойдется все.

— Что ж такое, и не жаловалась никогда. Хотя плохая лицом была последнее время. Не опасно, Евгений Львович? Жива будет?

— Посмотрим. Всякая операция опасна. Хотите, пойдём к ней.

Следующую ночь он тоже провел около Люды, но это уже напрасно, из перестраховки: Люде стало лучше.

На четвертый день вроде бы и сомнения отпали.

Люда стала поправляться, но он все еще оставался в отделении и дома с тех пор еще ни разу не был.

Историю болезни Мишкин не исправлял. Она так и осталась с полной правдой, которую необходимо было скрыть от матери.

Мишкин все рассказал Марине Васильевне.

— Боже мой! Откуда ты на мою голову! Не то, так другое. Нельзя же мне так мучиться только для того, чтобы у меня была хорошая хирургия. Ведь ты же знаешь...— Сама же себя перебила: — О чем это я! Надо же что-то делать. А как Девочка? Ничего?

— Прямой опасности для жизни нет сейчас.

— Жива будет, в общем?

— Скорее всего. Я сижу с ней все время.

— Родители не знают?

— Нет.

— Она не расскажет сама?

— Нет.

— Но мне-то как быть, я должна сама пойти на тебя заявить. Ты так все и написал в истории?

— Все.

— А донос, значит, на меня переложил?

— Я сам напишу.

— Молчи, дурак. Каждый выполняет свою работу. И не лезь.

Марина Васильевна обхватила руками голову, хотя она всегда так берегла прическу.

— Вот я заявление принес. Прошу меня освободить.

— Освободить! Нет уж, сиди. Хорошо жить хочешь. Конечно, дома-то сидеть, переживать не на людях спокойнее. Нашел выход. Я не могу по закону держать тебя насильно. Подписку о невыезде из больницы не возьмешь. Но если ты уйдешь, это будет непорядочно.

— Да вам же будет легче, если я уйду!

— Не тебе судить, Мишкин. Ты думай о своей легкости, а не о чужой. Иди работай. С девочки глаз не спускай — выходи. А я подумаю. Галя знает?

— Нет еще.

Марина Васильевна поехала к своему близкому знакомому, большому начальнику в медицине.

— Петр Семенович, выручай.

— Что случилось, Маринушка?

— Доктор у меня есть, хирург. Всеобщий наш любимец в районе, гений...

— Гений? Ну и натворил, наверное. Кто таков? К делу давай.

— Может, и слышал ты, Петр Семенович, Мишкин Евгений Львович, знаешь, он один из первых удалил тромб из легочной артерии при эмболии...

— А! Ты что-то мне рассказывала о нем.

— Ну да. Ну конечно же! А парень какой! Умен, а руки! Высок, статен. Но это все ладно — хирург он от бога.

— Продаешь ты его, что ли? Случилось что, рассказывай. Что?

— Аборт криминальный, Петр.

— Ты что! Изydi, сатана! Ты что! Не знаешь положения с абортами? Пусть расплачивается.

— Петр Семенович, он не брал деньги! Знакомая девочка.

— Девочка тем более. Надо осмотрительней знакомиться. Скажи на милость! Да и не гинеколог к тому же. Пускай своих девочек в больницу посылает. Закон-то есть.



- Да это знакомая сестры его.
- Да какая разница! Что ты меня посвящаешь во все! Аборт! Дома! И все. Больше ничего не надо.
- Конечно, Петр Семенович, но...
- Какие «но»! Не морочь голову. Как у тебя дела вообще?
- Петр Семенович! Парня же упекут! А он ведь от доброты. Ему же в тюрьме сидеть придется. Я вас очень прошу. Просто личная просьба. Да и жалобы-то от родственников нет.
- Ну а что я могу сделать! Ты сама понимать должна.
- Я никогда, Петр Семенович, не просила тебя так. Сейчас — крайний случай, Петр Семенович. Ну просто максимально униженно прошу. Ну, хотите, на колени стану.
- Ну, не морочь голову, говорю. Шутка, что ли! Криминальный аборт. А как узнали, раз не было жалобы? Случилось что?
- В том-то и дело! Перфорация матки, резекция кишки. Сам пришел сказать.
- Что! Что ж можно сделать? Это плохо, очень плохо. Хороший парень?
- Парень-то...
- Да-а... Развела ты у себя. Все мы, конечно, не без греха, но такое... Да тебе голову надо оторвать. А девочка-то как? Плохая?
- Сейчас опасности для жизни нет.
- Голову тебе оторвать мало.
- Виновата, Петр Семенович. Но там видно будет. Сейчас парня от тюрьмы спасти надо.
- Но ты его выгонишь?
- Не знаю. Может, и надо будет, если все благополучно обойдется. Но пострадает-то кто от этого? На нем же вся хирургия в районе держится. Ведь у нас же одна из лучших хирургий в городе, если подумать. Ей-богу, не боюсь это сказать. Сравни отчеты разных больниц в горздраве у вас.
- Незаменимых людей нет. Ты же знаешь.
- Есть, Петр Семенович, есть.
- Дала ты мне задачу. А ты к кому-нибудь обращалась?
- А к кому же с этим обратишься? Только если вы сумеете помочь.
- А кто знает об этом?
- Пока никто. Я сама сообщить должна, пока молчу.
- Подожди еще денек, не сообщай. Запиши мне все обстоятельства дела, а фамилию мне его пока не записывай. Помни — ни одному человеку пока. Через меня не пойдет. Позвоню сегодня посоветуюсь, что и как надо делать. А ты мне утром завтра позвони.
- Да я приеду к тебе спозаранку, Петр Семенович.
- Не надо. Не суетись. А пусть-ка лучше он приедет. Я ему холку намылю.
- Не поедет сейчас. Ты знаешь, какой он! Пока у него больной тяжелый, он из отделения не выходит. А уж такой-то случай!.. Под угрозой расстрела он девочку не оставит.
- Договорились, аллах с тобой, завтра жду. Звони.

### *Запись двадцать шестая*

Мишкин вышел из больницы и медленно побрел по тротуару. Наверное, он хотел пойти домой. А может, в гости. А может, просто пройтись по воздуху и вернуться опять в отделение к Люде. Теперь он и сам не помнит, куда он в тот день шел.

Он тогда пытался представить все этапы и контрапункты случив-

шейся истории, разобраться, что именно в нем есть несправедного, того, что привело в конце концов к случившемуся. Где, в каком месте детства, юности или уже в нынешнее время он споткнулся, чтобы сейчас упасть.

Он себя уже не клял, не жалел, он махнул на себя рукой. Он только искал причины внутри себя.

Мишкин ушел далеко от больницы и брел тихонько по дороге рядом с тротуаром, не глядя по сторонам. Прямо на него ехала девочка на велосипеде. То ли девочка была еще слабым велосипедистом, то ли она думала, что пешеход должен посторониться, но Мишкин увидел ее вдруг прямо перед собой. Он отскочил в сторону бездумно, не глядя, стукнулся об столб, упал и ударился головой о камень.

Очнулся он уже в больнице.

Черепная травма неприятна еще и тем, что ведет к неадекватному, как говорят врачи, поведению. Мишкин знал, что должен лежать, придерживаться строгого режима, но он вставал, ходил и просил, чтобы его перевели в его больницу. Естественно, и Галя и все близкие его этого не хотели, так как всем было ясно, что у себя в отделении он и вовсе в постели не улежит.

Пожалуй, они были не правы — он не рвался сейчас к больным. Он молчал и думал больше о себе.

Может, это тоже неадекватное поведение.

После больницы он уехал в санаторий, даже не заглянув в отделение.

Мишкин в санатории — поведение, безусловно, неадекватное.

#### МИШКИН:

Я сидел в комнате в глубоком кресле для больных феодалов. В таком вот, по моим представлениям, умирал граф Безухов. Сидел я, смотрел в стенку и ничего не делал. Не могу сказать, думал ли. Наверное. Не думать же не получается — как дышать. От нас не зависит.

Галя лежала на диване сбоку от меня. Я любил смотреть на нее, когда она в халате и шапочке. Из-под халата торчали длинные ноги и черная юбка. Поясок халата затягивается туго, до рюмочной талии — высший шик. Шапочка надета кокетливо, но на самом деле кокетлива прическа, а уж шапочка надевается как получится, чтоб прическу не испортить — денег жалко за прическу. Помню, когда-то в больницах женщинам — сестрам и врачам — краситься не разрешали. Чтоб все одинаковы были. Сплошными белыми шеренгами. Теперь даже белый цвет, слава богу, у нас необязателен в больницах. Как больной могу сказать — красивая и хорошо одетая женщина в больнице мне всегда была приятней, чем белая серота и однообразие.

Приехали ребята.

Володька с Филом шумно очень приехали, но, по-моему, это наигранный шум, они не знают, как вести себя со мной, им не помогают наши прошлые общения. Привезли с собой сухое вино. Думают, может.

Володя. То, что тебе пить нельзя, мы знаем, но игнорируем. Мы будем пить, а ты терпи.

Ф и л и п п. Надо привыкать к тому, что пить ты начнешь не раньше чем через полгода, а нам с тобой жить всю жизнь, и эти полгода тоже.

А во мне ходят волны: то почти слезы умиления от их слов и радости встречи, то вот-вот готов взорваться, считая их бестактными

и грубыми. Но потом срабатывает профессионализм и начинаю понимать, что эти реакции и есть классическое черепное поведение, поведение и реакции черепного травматика.

Галя пошла гулять. Правильно. Мы посидим одни.

В о л о д я. Ну что? Надоело выздоравливать?

Я. На меня иногда нападает такая тоска, что хоть вешайся. После травмы...

Ф и л и п п. Ты ж совсем хорош. В чем дело? По-моему, травма практически не оставила никакого следа.

Я. Объективно — пока нет. Но субъективно... Я не тот. И еще неизвестно, что будет и объективно.

В о л о д я. То есть?

Я. Ребята с работы дважды приезжали. Обидел я их, наверное.

В о л о д я. Почему ты так думаешь?

Я. Я их во второй раз расспрашивал, что делается у нас, не рассказывают ничего толком. Они мне ничего не рассказывают.

Ф и л и п п. Привет от Джеймса Форсайта. Просто они не хотят тебя дергать служебной круговертью, пока не поправишься.

Я. Нет. Обидел.

В о л о д я. Да как ты их мог обидеть?

Я. Да мы заговорили что-то о Пирогове. Кто-то осудил его за то, что он велел пороть гимназистов. Ну я и завелся на ровном месте. Я говорю — не так это было. А он говорит — как не так: когда стал попечителем учебного округа, предлагал детей пороть? А я говорю — версия Добролюбова это. А он мне — как же Добролюбова, когда Пирогов написал «Правила поведения», где был пункт о провинностях, за которые полагалась порка.

Ф и л и п п. А чего ты сейчас петушишься?

В о л о д я. Пижон ты, Женька. Болезнь ничего не изменила.

Я. Тут меня вдруг какая-то неприязнь захлестнула, и я выдал целую речь. Что он лишь за отдельные грехи оставил телесное наказание, что сразу все и нельзя переделывать, что должны быть этапы, а то стимулируешь роды на четвертом месяце.

В о л о д я. Да бог с ними, Женя.

Я. А они мне опять про Добролюбова, про его правильный подход, про Кабаниху, про Обломова... Обломов, говорю им, самый приятный, самый положительный, самый незлобный, самый добрый, честный и чистый герой русской литературы. И умер Обломов в добре, в любви, окруженный любящими и любимыми людьми — женой и детьми, во сне, как святой, не мучаясь. Он русский язык любил как никто. Он два раза «что» написать не мог. Прекращал писать. И Ольга ему не нужна была. Она чужая. Ольга тоже Штольц...

В о л о д я. Женька, мы не успеваем ни за твоими мыслями следить, ни выпить. Подожди. Не торопись.

Я. Понимаете, они думают — я уникам, а что они вкладывают в это? Я им и сказал, что Гончаров сравнивал доброго и честного Обломова, за которого боялся, за которого переживал, с делягой, который холодно забирает у честных и добрых их имущество, их дело, все. Но забирают они не существенное, не главное — их Ольг, которые и сами штольцы, стремящиеся лишь к делам. А Обломов получил главное — и любовь и будущее, то есть детей. А будущее Штольца — дело, а не люди...

Ф и л и п п. Женя, Женя, погоди...

В о л о д я. Подожди, дай мы выпьем. Помолчи.

Я. Нет. Не могу молчать. Я их обижал. Обижал в этом разговоре. Обижал личности. Я не думаю о людях. Это я, я, я не думаю о людях.

А тут, оказывается, уже и Галя пришла:

— Брось, Женечка, пойдем погуляем.

Я. Отстань, уйди, дай с ребятами поговорить.

Тут у меня в поле зрения появилось мерцающее пятно, прозрачное и колеблющееся, как теплый воздух. Пятно стало увеличиваться больше, больше. И дальше я не помню.

Галя подошла к Жене, положила руку на голову и стала тихонько гладить.

— Женя, Женечка, перестань, пожалуйста, потом доскажешь.

— Брось ты городить. Хорошо они к тебе относятся. Ждут, когда выйдешь на работу,— сказал Филипп.

— Плохо говорил. И оперировал с сознанием, что они так не могут еще. А еще Люда.

— Ну так считай, что тебя настигло возмездие. Тебе же Фил об этом говорил. Возмездие — удел совестливых...

Мишкин еще быстрее, еще отрывистее стал говорить о своей глобальной вине. Затем стал кричать на ребят, а потом сказал: «А ты молчи, а ты молчи» — и наконец замолчал, откинувшись в кресле. Было непонятно, спит ли он или потерял сознание.

Галя прижимала его голову к спинке кресла.

Володя с Филиппом растерянно смотрели на него, не понимая, что происходит.

— Травматическая эпилепсия, по-видимому,— пояснила Галя.— Но хоть без судорожных припадков.— Она отвернулась от них.— Не трогайте его сейчас. Он быстро придет в себя. А может, и не эпилепсия.

Минуты через полторы Женя открыл глаза.

— Голова болит. Страшно болит голова. Такие частые приступы, просто ужас. Галя, дай горячее полотенце.

Женя прижал ладони к щекам, к вискам, как бы поддерживая грозящую упасть голову.

Галя положила мокрое полотенце ему на лоб.

— Ой, горячо, горячо, держи, держи. Не могу.

Лег на диван. Потом поднялся.

— Будто уложили затылок на шляпки вбитых гвоздей.

Подошел к замерзшему окну и уткнулся лбом в стекло.

— Ох, кажется, легче. Нет. Опять.

Он оторвался от стекла и побежал в уборную.

Галя взяла стакан с водой и пошла следом.

— Сейчас рвота будет.

Вернулся Женя бледно-зеленоватого цвета.

— Сделай укол, Галя.

— Какой укол? — спросил Володя.

— Не нервничай. Не наркотик. Анальгин,— ответил Женя.

Галя вытащила из шкафчика металлический футлярчик со шприцем и иглками.

— У нас всегда стерильный шприц есть. В спирте лежит.

— Я, ребята, полежу немного. Минут через пятнадцать легче станет.

Володя стал смотреть в газету. Филипп в окно.

Что он там увидит, кроме хитросплетений морозных узоров на стекле, разве только в просвете узорном разглядит снежную решетку, закрывающую от них остальной мир.

Молчали.

Ждали.

— Женя, привет, как ты себя чувствуешь? Мы ждем тебя. Временно твои обязанности исполняет Наталья Максимовна.

Это Марина Васильевна пришла. Это ее бодряческие врачебные интонации у постели больного. Сейчас начнет рассказывать про что угодно, лишь бы обойти хирургические дела.

— У нас сейчас опять КРУ работает. Опять поднимают все ведомости. Да, Галочка. С удовольствием выпью чайку. Спасибо. Подняли все ведомости и сравнивают, не наслаиваются ли где дежурства у совместителей. Подняли ведомости и в других районах. Не дай бог где-то совпадут часы. Высчитывают — и начет или на врача, или на администратора. Выкли из дежурства полчаса на обед и полчаса в конце дежурства, перед началом рабочего дня — говорят, отдыхать должны врачи перед работой.

Марина Васильевна говорит:

— ...А еще, знаешь, сестра из терапевтического отделения, Валя...

...Строительство корпуса...

— Женечка, чаю будешь?

Да. Я хотел чаю.

— Здравствуйте, Евгений Львович.

— О-о! Здравствуй, Людочка. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, Евгений Львович, скоро экзамены на аттестат. Уже готовлюсь.

— А в какой институт?

— Только в медицинский.

— Ничего у тебя не болит, Людочка?

— Что вы, Евгений Львович, у меня все, все в порядке. Даже отметки. Я вам так благодарна, Евгений Львович, вы мне ближе сейчас, чем отец. Ему-то я не могу открыться. Как же вас угораздило так? Вы же должны быть вечно здоровы, до самой смерти.

— Не могу больше, Галя. Скажи, пусть никто больше не ходит. Нужна операция, Галя. Я не хочу операции. Был бы рак — можно вырезать или не вырезать. Я понимаю этот риск. Но не хочу никого пускать в мои мозги. Я и сам в них влез сейчас сверх меры всякой, мне этого тоже не надо. Но больше я не могу. Я ж не живу. Зачем я себе такой, Сашке, зачем тебе?

— Что городишь! Зачем тебе операция?

— Вот и я говорю — зачем. Не для меня. Не людское это дело, чтобы в мозги лазить. Но, с другой стороны, гематома там, наверно, приступы частые. Рубцы убирать надо, спайки. Не знаю, что-то надо, но ведь эти операции одни из самых негарантированных. Не хочу оперироваться. Не хочу. Это война в мозгах. Это не место для войны.

— Какая там операция, успокойся, Женя, подожди, все пройдет... Подожди с операцией. Им еще не ясно.

— Да и я не хочу. Но что мне делать?! Галя!

Галя стоит у кресла, гладит его по голове, хорошо от ее руки. Но это ж не может быть вечным лекарством.

— Держи, держи, Галь.

— А невропатологи надеются, что может пройти само.

— Вот приду к людям и скажу им: вот, люди, смотрите, я ваш хирург! А они меня вязать — потому какой я им хирург. Я уже ни с кем не могу разговаривать. Вот опять идет, идет.

Очнувшись, он закричал категорически и решительно:

— Все! Делаем операцию! И все начинаем сначала!

*Запись последняя*

МИШКИН:

Операция позади. Я опять на дежурстве...

Красный цвет ярко, бросок, назойлив.

Я разговаривал с больной, когда услышал шум втаскиваемых носилок, шепоток сопровождающих и говор фельдшеров «скорой помощи». Первое, что я увидел — много красного. Первое, что я подумал — плохо дело, на всю ночь.

Больной лежит неподвижно, не стонет — шок. Кровь на носилках, на черной одежде его.

Сколько уже было их, вот таких, в крови, обездвиженных и безмолвных. Кто выписан — и я не знаю, что с ними теперь. Выписываются, пишут им в конце истории болезни выписной эпикриз — и как в воду... Но живы, это главное.

А кто и умер. Тем пишут посмертный эпикриз — тех помним больше.

А сейчас я увидел живого человека, лежащего как труп. Полыхнуло в глаза красным, засосало что-то внутри, понял я, что пропала ночь, и, как всегда, стало страшно: а вдруг что-нибудь не успею, вдруг что-нибудь не смогу.

Мой молодой коллега, студент на практике, стоявший в коридоре приемного покоя, мгновенно сорвался с места и побежал к нам. Бежать не надо. Надо с больным все скоро делать. Что делать? Ну, кровь, она наверняка нужна — переливать.

Второй дежуривший со мной хирург, наверное, увидел носилки из окна, потому что тоже побежал к нам по лестнице... Быстро разрезать одежду, сразу же шинки и срочно блокады. Планирую! — а еще неизвестно, что у него с ногами, руками.

Еще один доктор, со «скорой», вошел вместе с носилками в коридор и измеряет давление. Доктора что прибежали? Мне сейчас сестры нужнее. Они будут налаживать различные капельницы, переливания. Впрочем, они все уже здесь. И уже налаживают. И уже разрезают одежды. И у всех уже руки красные, а у меня и халат на животе тоже красный.

Началась обычная работа. И переливание, и снимки, и вливания, а потом был наркоз, был массаж сердца, было искусственное дыхание. Из шока мы его вывели.

Около операционной, в дверях, две санитарки. Им интересно — будет жив или нет. А я никогда не могу сказать: «Будет жив». Но всегда хочу.

Пока он числится у нас как неизвестный. Но скоро милиция найдет, откуда он, привезет документы, и родственники приедут, извещенные милицией. Но сейчас мне все эти выяснения — что ждет его дома и как кого будут искать — совершенно безразличны. Вот если он умрет, то да, тогда я могу принять в этом участие. А сейчас мне его не жалко — сейчас я его лечу. Вдруг мне скажут, что у него дома семеро детей, а мне руку ему надо отрезать. Подумаю: «Чем же он на хлеб им зарабатывать будет?» — и задержусь с операцией.

Я оперирую, я латаю его, сшиваю ему кожу, кладу шинки. Уже два часа ночи. Часы висят в операционной. Стрелки припадочно скачут с черточкой на черточку. Я этого не вижу, но вдруг в слух врывается прыжок стрелки. Когда я сам лежал с разбитой головой в больнице, тогда я мог следить за стрелкой глазами. Когда я был после операции, я тоже мог следить за временем.

Операция кончается. Все идет хорошо. Проверяем рефлексы, зрачки, давление. Дело пойдет на поправку. Тело пойдет на поправку.

Вздор какой-то. Чье тело? Просто идет некоторая перекачка сил. Мы отдали ему свои силы. У него прибавилось немного сил, у нас убавилось, правда ненадолго. Мы — лечащие, а он — лечимый. Когда-то и со мной так было. Сначала при травме, потом в нейрохирургии. Мне еще оставили сил: я могу еще их переливать.

Ну, можно переводить в палату, там ему будет покойнее. Правда, здесь, сейчас он пуп земли, человек номер один — все для него и только для него одного. А там он — один из многих. На него напялят удивительные пижамы, разные тапочки.

Я подошел к двери операционной. За ней темнел коридор отделения. У самой двери, у столика постовой сестры сидят три сестры. Рокочет, скачет и щебечет их оживленный перешепот.

— Так комната у тебя теперь двадцать метров?

— Какой там двадцать — дом-то панельный. Мой-то на заводе получил квартиру. А вообще ничего, хорошая. Ну, не такая чтоб очень.

— А мебель-то есть?

— Мебель я уже купила. Гарнитур составила. Все уже есть — и кровати, и шкаф, сервант, стол, ну, в общем, все.

— Теперь еще холодильник нужен?

— Это я еще раньше купила. Хотела сначала маленький, но потом решила — все равно, один раз в жизни ведь. Купила большой.

— Значит, у тебя все есть?

— Вот телевизора нет, но мне обещали достать. Какой-то новый, большой.

«А я не хочу телевизор», — подумал я и тут же взорвался, так стало скучно, так надоело слушать (как будто меня кто-то приглашал). Я резко прервал их болтовню, сказал, чтоб забирали больного в палату.

В половине пятого больному стало хуже. И все вливания и переливания начались опять, но уже в палате.

Может, мне в нейрохирургии добавили сил даже больше, чем было. А? Голова не болит. Силы есть. Наверно, перелили много сил. А если даже нет? Все равно. Караван продолжает идти. Будет идти. Должен идти. Идет.

Я снова помылся и опять занялся больным... «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок пятьсот эскимо».

### Э п и л о г

Прошло время.

Хирурга Мишкина Евгения Львовича вызвали в горздравотдел. На него поступило заявление. Он несколько удивлен и озабочен. Почему заявление? От кого? Сейчас будет все известно.

Маленькая комната. Около десяти человек сидят в разных местах. Вид почти у всех спокойный, даже благодушный. Здесь все без исключения хирурги.

Это и есть хирургическая комиссия горздравотдела при главном хирурге города.

Все разговаривали друг с другом, никто пока не обращал внимания на доктора Мишкина. Наконец председательствующий, один из хирургов, сидящих за столом, постучал зажигалкой.

Председатель. Ну, кажется, время. Да и ждать некого уже. Давайте начинать. Прошу вас, коллега Мишкин. Вот вам текст. Читайте, пожалуйста, вслух. Инспектор, готовивший материал, заболел. Читайте сами.

Мишкин. «Уважаемая редакция...»

Член комиссий толстый, с гладкой прической. А кому жалоба? Не нам?

Член комиссии с шевелюрой. А вы часто видите жалобы нам? Это всегда куда-то, а уж нам — откуда-то. Почему-то им сдается, что газеты — это высшие медицинские инстанции. (Смеется.)

Член комиссии худой, с длинным лицом. Что зря говорить. Первый раз, что ли, пересылают нам жалобы. Читайте.

Мишкин. «Наш сослуживец, товарищ по работе, находился в больнице по поводу инфаркта сердца. Терапевты его вылечили, и он должен был уже выписаться, и каково же было наше удивление, когда однажды, придя в больницу, мы узнали, что наш работник был ночью разрезан хирургами, хотя он и находился в терапевтическом отделении, без предварительного разговора с родственниками даже...»

Член комиссии с трубкой в зубах. Что вы читаете, как пономарь, без знаков препинания!

Мишкин. Я читаю как написано.

Член комиссии с седой шевелюрой. Я помню, у нас в больнице пришлось тоже оперировать больного с инфарктом. У него вдруг старая язва желудка дала прободение. Все в порядке было, но на нас пожаловались: сказали, что это от лекарств. На терапевтов жаловались. Ну, им объяснили.

Член комиссии маленький и круглый. Мне тоже как-то пришлось оперировать инфарктного больного: желчный пузырь лопнул. Шутка ли! Все это было, правда, на глазах у родственников. Сами видели, какие боли, сами просили быстрее оперировать. Выздоровел мужик. Я вам скажу, что иногда, когда родственники ближе, нам бывает спокойнее.

Член комиссии самый старый. И все-таки когда родственники не висят над душой, работать легче.

Маленький и круглый. О чем говорить! Но скажу вам, что если их пускать каждый день, хоть они и лезут куда не надо все время, но спокойнее. И жалоб меньше, а это шутка ли!

Толстый, с гладкой прической. Все эти жалобы лично меня не волнуют. Запишешь историю болезни как следует быть — все, бояться нечего.

Член комиссии с шевелюрой (захохотал). О! Очень важно, сдается мне, хорошо записать про то, как мы прекрасно все сделали.

Председатель. Шутки в сторону, товарищи. Читайте дальше. Зачем вы оперировали его? Что случилось?

Мишкин. Да мы... У него...

Самый старый. Читайте, читайте, все узнаем.

Мишкин. «...без предварительного разговора с родственниками даже он был оперирован, а им сказали, что его пришлось оживать. Мы не вдаемся в подробности и детали медицины. Но результат этих действий столь печальный, что мы обращаемся к редакции с просьбой помочь нам разъяснить целый ряд недоумений».

Худой, с длинным лицом. Нашли адрес! Надо бы к докторам сначала.

Мишкин. Ваш вызов для нас полная неожиданность.

Маленький и круглый. Надо обязательно, как следует, подробно и долго разговаривать с близкими, особенно когда оживление. Шутка ли!

Мишкин. Да мы разговаривали не раз. Пишут-то не родственники.

Толстый, с гладкой прической. А что там особенно



разговаривать? Если ты все правильно сделал, ничего не страшно. Главное — записать надо. А дело известное — если жалоба может быть, лучше не связываться.

Председатель. До чего же нас испортили жалобы. Мы больше заботимся о записях. Вы подумайте, что вы сказали — «не делать». А если надо?

Мишкин. Простите меня. Какие записи? Ведь есть приказ министра писать меньше, только необходимое.

Толстый, с гладкой прической. Все эти указания и приказы — ерунда, вот так. Если там написано все — ты спасен. Не написал — погиб.

Мишкин. Так что ж я, своей историей доказываю свою невиновность?!

Толстый, с гладкой прической. А то!

Мишкин. Значит, надо менять систему контроля...

Председатель. Я думаю, мы дадим возможность коллеге все ж сегодня дочитать до конца.

Маленький и круглый. А я вам скажу, что коллега частично прав. Ну, не совсем, конечно. Уж чересчур, по молодости.

Мишкин. Но таково право... У следователя закон — у вас приказ и инструкция.

Толстый, с гладкой прической. Что ты право да право! Здравый смысл — кому что-то грозит, тот и защищается.

Мишкин. «Во-первых, нам не совсем ясно, как человека, лежащего с таким тяжелым сердечным заболеванием, можно оперировать...»

Самый старый. Логика поразительна! Оживление — и вдруг такой вопрос.

Мишкин. «Во-вторых, нам известно, что сегодня уровень медицины достаточно высок и оживления проводят без разрезания грудной клетки ножом, а закрытым методом...»

Седой, с шевелюрой. Смотри-ка — грамотные все. Сколько вот было жалоб — все от грамотности.

Маленький и круглый. От полуграмотности.

Седой и лысый. И лечить трудно. В индусских ведах еще пять тысяч лет назад писали: «Дураков лечить легче».

Все смеются.

Самый старый. Полудурки — это мы.

Седой и лысый. Нет, мы полуумные. А ведь кто-то говорил, что знания не есть признак ума.

Председатель. Ведь так будет до завтра.

Мишкин. Я прочел недавно в одной книге, что дурак — это тот, кто считает себя умнее меня.

Член комиссии с трубкой в зубах. Вы-то уж совсем зря разговорились, коллега.

Мишкин. Я для беседы. К слову пришлось. Я ведь сейчас просто читчик. «Насколько нам известно, речь шла не только об известном нам по газетам массаже сердца, т. к., по слухам, сшивали какие-то сосуды...»

Толстый, с гладкой прической. Что, порвали что-то небось?

Маленький и круглый. Воистину санпросветработа стала вредной. Шутка ли! Все знают, а ведь ничего не знают. Кстати, помню, пришлось оживлять одного больного — кровотечение, так я делал массаж, а помощник перевязывал сосуды в это время.

Член комиссии с трубкой. Понимаешь, да? Рассуж-

даешь сейчас. А ты помнишь, когда это все только начиналось и я, делая массаж сердца, порвал сосуд и ничего нельзя было сделать? Помнишь? Ты с комиссией приезжал. Так что ты сделал со мной! Ты же на мне камня на камне не оставил. Я до сих пор помню.

Маленький и круглый. Я тогда молод был, все знал, как другим жить. Потом, сам-то я тогда никогда не делал этого...

Председатель. Между прочим, когда Бернард пересадил сердце, француз Дюбос его осудил за это, а вскоре и сам пересадил. Так что чего уж поминать.

Самый старый. А все оттого, что персонал совершенно распущен. Как это так — всем известно о зашиваемых сосудах. И тут, конечно, уже ясна ваша вина. Никто не должен знать, что происходит в операционной.

Маленький и круглый. Ну уж знаете! Передайте, пожалуйста, водички. Все, что происходит у нас, должно быть в условиях абсолютной гласности. Нет, нет! Не перебивайте. Да, да. И чтобы не было такой ситуации, когда мы боимся ее.

Толстый, с гладкой прической. Да вы что?! Наша кровь, гной, грязь, осложнения приведут в ужас посторонних.

Маленький и круглый. Когда-то Амбруаза Паре ругали, что он не по-латыни книги медицинские пишет. Нельзя, говорили ему, чтобы непосвященные могли читать. Врачи анафеме предавали — боялись за себя. Ничего. Все по-прежнему.

Седой и лысый. Нет. Как сказал мудрец: «О тайнах сокровенных невеждам не кричи и бисер знаний ценных пред глупым не мечи».

Все кричат, перебивая друг друга. Большинство за тайну.

Председатель. Подождите! В конце концов, пора покончить с тайной и предать гласности этот текст. При чем тут сосуды, коллеги? Это же не кровотечение — инфаркт. В чем дело? Объясните. И действительно, почему вы делали открытый массаж?

Седой, с шевелюрой. Я раньше, когда шли первые оживления, тоже всегда делал открытый. А сейчас только закрытый. Это не только безопасней, но, по-моему, и эффективней.

Самый старый. А я вам скажу, что все эти оживляющие массажи сердечные — пустая фанаберия. Конечно, надо. Если человек умирает — надо использовать все. Но веры в это у меня нет.

Седой и лысый. Если бы наше оживление даже никогда не помогало, мы должны были бы его выдумать. Оживление вселяет и надежду и веру и в обывателя и во врача.

Председатель. Минуточку, товарищи. Прошу вас, ответьте, коллега.

Мишкин. Оживление было постольку-поскольку, главное...

Член комиссии с трубкой. Как вы можете говорить: «Оживление постольку-поскольку»?! Все ж это оживление, а не перевязка. Это облегченное представление и вызывает в конечном итоге жалобы.

Председатель. А вы дайте договорить хотя бы. Я уж не говорю — дочитать. Ну просто сил нет. Уже скоро час сидим, а даже дочитать не можем. Сейчас бы инспектор нащ доложил — мы б уже к концу подошли. Будем считать сегодняшний эксперимент неудавшимся. Продолжайте, коллега.

Мишкин (усмехнулся). Я уже запутался — на какой вопрос отвечать? А вы историю болезни тоже не читали еще?

Председатель. Нет, конечно. Все эти бумаги мы взяли в руки только что. Об этом я и говорю. Почему открытый массаж был? Зачем вскрывали грудную клетку? Что за сосуды?

Мишкин. Я об этом и хотел сказать. Оживления, по существу, в нашем обычном смысле слова не было. Я оперировал его, а не массируя сердце...

Председатель. А каковы были показания для операции?

Мишкин. Я об этом и говорю. У больного была эмболия легочной артерии.

Общий крик: «Что?! И вы пошли?!» Кто улыбался, кто махал рукой, кто разводил руками, показывая, что речь идет о фанфаронстве, зрящности и прожектерстве.

Худой, с длинным лицом. Как вы могли пойти на такую авантюру? У нас в лучших институтах с прекрасным оборудованием ничего не удается, а тут... Больные погибают все, как и неоперированные. Сто процентов. Неужели вам надо это объяснять? Простите, может быть, о соответствии с должностью вопрос и не надо бы ставить, но вы чудак. Домой, домой пора. Хватит. Я за выговор.

Председатель. Нет, товарищи. Мы должны предоставить нашему молодому товарищу возможность полностью высказаться. Хотя априорно я тоже считаю это авантюрой.

Седой и лысый. Почему же авантюра? Теоретически, если мы успеем удалить сгусток из артерии, мы спасем человека.

Самый старый. Это аксиома, трюизм! Вы слышали, чтобы кто-нибудь успел? Лично я не слышал.

Седой и лысый. Здравствуйте! Из мировой литературы известно, по-моему, около тридцати удач.

Толстой, с гладкой прической. И миллионы потерь.

Председатель. Ну, вообще-то даже одна удача во всем мире позволяет нам совершить спасительную попытку. Оперируют ведь только смертников.

Член комиссии с шевелюрой. Но попытка должна быть с годными средствами, сдастся мне. В маленькой больничке кидаются на больного с ножом ради какой-то химеры, с явным риском получить жалобу. Каково теперь всей больнице!

Мишкин. Но ведь мы...

Худой, с длинным лицом. А вы бы, молодой человек, помолчали. Бог знает за что взяли, подвели под монастырь всю больницу. Хоть бы послушали, что вам говорят старшие товарищи.

Мишкин (опять усмехнулся). А я что делаю?

Председатель. Не огрызайтесь. Поберегите себя.

Седой и лысый. А я вам говорю, что каждый из нас имеет право на подобные попытки. Ведь перед нами труп. А вдруг!..

Член комиссии с трубкой. Но не такому же младенцу идти на подобную попытку. Какой у вас стаж? Сколько лет...

Мишкин. Пятнадцать.

Член комиссии с трубкой. Вот видите! Мы лет по тридцать работаем, а ведем себя скромнее.

Мишкин. Годы не аргу...

Председатель. Я все-таки согласен с теоретической возможностью успеха подобных попыток. И нельзя отказывать в этом праве любому хирургу.

Член комиссии с трубкой. Да это эксперимент на людях!

Седой и лысый. Верно. Но не надо бояться этого. Это эксперимент, по существу, на уже умершем человеке. А вдруг спасти удастся!

Худой, с длинным лицом. Если бы у меня в больнице кто-нибудь посмел, я б своему молодцу так вклеил, что год бы он у меня к столу не подошел бы. Пусть истории писал бы. Но этот-то сам себе зав.

Маленький и круглый. А смелость какова! Шутка ли! Пойти на эмболию! А почему бы и нет! Пусть пробует. Больной-то ведь действительно практически умер. Ха, терять нечего, а приобрести можно целый мир для целого человека. С завов его снять, а попытки разрешить. Ха!

Член комиссии с шевелюрой (хохочет). И правильно. Действительно. Эмболия! Дыхания нет. Мертв. Пусть старается. Конечно, авантюра, но теоретически оживить можно. И мы меры приняли — сняли.

Самый старый. Нет. Нет. Товарищи! Не делайте такой глупости. Практически это невозможно. Больнице от этого неприятности. Жалобы идут. Сегодня он произвел негодную попытку на трупе, а завтра он начнет экспериментировать на живых людях. Я предлагаю это решительно осудить. И чтобы все хирурги города знали. Иначе мы очень скоро получим повальную игру со смертью. Этим не играют, товарищи.

Седой и лысый. Именно что со смертью! С жизнью-то он не играл. Нет, я не вижу оснований для осуждений.

Председатель. Мы не можем осудить за то, что хирург пытался уничтожить уже пришедшую смерть.

Худой, с длинным лицом. Я бы за выговор. Пора кончать.

Мишкин. Но вы же...

Самый старый. Вот, пожалуйста. Только услышал реплику в свою защиту — и тут же вступил в разговор старших. Вы же, доктор, не полноправный член нашего синклита. Мы ведь ваши действия обсуждаем. А вы слушайте, учитесь, черт возьми!

Седой и лысый (обращается к самому старому). Я с тобой уже четверть века знаком, и ты все время такой. Ты не разумный скептик, а ретроград банальный. И рот еще затыкаешь.

Самый старый. Я просто не верю в младенческие попытки.

Седой и лысый. А ты не конкретно не веришь, а глобально, на всякий случай не доверяешь всему.

Председатель. Ну, хватит. Мы не для этого здесь собрались.

Самый старый. Неправда. Я просто пытаюсь выяснить, нет ли за простой авантюрой вины — злостной или суетной.

Седой и лысый. Вот-вот! Я и говорю, что ты не меняешься. Ты, черт побери, не от старости такой, а генетически.

Худой, с шевелюрой. Ну, кончайте, время-то идет без толку.

Мишкин. Разрешите закурить?

Председатель. Конечно.

Большинство закуривает. Молчат.

Председатель. Давайте все же дочитаем жалобу до конца. Прошу вас.

Мишкин. Да тут, по-моему, и жалобы-то нет.

Возгласы: «Читайте! И быстрее! Вон уже сколько времени!»

Мишкин. «...В результате исход для нас, сослуживцев, печальный...»

Член комиссии с трубкой. Для сослуживцев! Сильны!

Мишкин. «...Мы потеряли прекрасного работника. Он вынужден сидеть дома на инвалидности...»

Возгласы: «Как!», «Что!», «Почему!», «Не было эмболии!», «В чем дело?!», «Живой?!»

Мишкин. «...В конце концов, мы не...»

Возгласы: «Подождите!», «Объясните!», «Он живой?»

Мишкин. Живой.

Председатель. А что вы сделали?

Мишкин. Удалил тромб. Восстановил сердечную деятельность. Зашил грудную клетку и через месяц выписал. Теперь у него инвалидность.

Председатель. Что же вы молчали и морочили нам голову? Простите, как ваше имя-отчество?

Мишкин. Евгений Львович. Вы ж не давали мне рта раскрыть.

Самый старый. Этого не может быть, Евгений Львович.

Мишкин. Потому что этого не может быть никогда? Нет, правда. Честное слово на инвалидности.

Седой и лысый. Успели?

Мишкин. Раз живой.

Председатель. Когда это было, Евгений Львович?

Мишкин. Около полугода назад.

Председатель. Почему же вы нигде не сделали сообщения, ни в журнале, ни на обществе?

Мишкин. Не успел.

Маленький и круглый. Ну, знаете ли! Шутка ли!

Толстый, с гладкой прической. А как вы делали? Евгений Львович, расскажите, пожалуйста.

Мишкин. Да как описано.

Седой, с шевелюрой. А сколько минут прошло от начала операции до удаления тромба?

Мишкин. Не больше пяти. А может, и меньше.

Председатель. Как вы успели?!

Мишкин. А мы торопились.

Председатель. Сердце обычно останавливается, если легочная долго пережата. А ведь еще и до этого препятствие мешает?

Мишкин. А это бывает от перегрузки правого желудочка. А мы случайно его поранили и тем самым разгрузили.

Самый старый. Поранили и не остановились?

Мишкин. Выпустили немного крови из правого желудочка, зажали рану и делали дальше.

Седой, с шевелюрой. А дальше как же?

Мишкин. А после зашили.

Толстый, с гладкой прической. У меня бы руки опустились.

Мишкин. Они у меня мысленно много раз опускались. А раньше и не мысленно.

Седой и лысый. Это уж точно непостижимо. Так вам всем и надо.

Самый старый. Просто не верю.

Мишкин. Ничем не могу помочь.

Самый старый. Нет, Евгений Львович, я вам верю. Факт — это факт. И все-таки трудно поверить в этот факт. Невероятно!

Мишкин. Да вы посмотрите историю болезни.

Самый старый. Обязательно! Обязательно. Изучать буду. Я вас поздравляю, коллега Мишкин.

Председатель. Но почему же тогда жалоба?! Почему печальный исход, как пишут они?

Седой, с шевелюрой. Как же! Человек на инвалидность ушел! Стало быть, исход печальный. А для нас, простите, это радость.

Дорогой Евгений Львович, мы вас искренне поздравляем, коллега. А жалоба...

Мишкин. Я пока это письмо проглядел до конца...

Все гудят, не дают ему сказать.

Председатель. Товарищи, нам же говорит что-то Евгений Львович! Дайте сказать. (Все тотчас замолкают.) Прошу вас, доктор.

Мишкин. Я говорю, что проглядел письмо до конца, там вовсе...

Член комиссии с трубкой. Да плюньте на жалобу. Мы ответим...

Мишкин. Я говорю, что нет тут жалобы в конце.

Председатель. Как нет? А что там? Нам же из газеты переслали.

Седой и лысый. Переслали, наверное, не дочитав до конца.

Толстый, с гладкой прической. Да и мы до конца ведь не дочитали.

Председатель. Ну, ладно. Я ж говорю, нужен специальный человек для подготовки материала и доклада. Так что же они хотят? Давайте мне, Евгений Львович, я дочитаю. «...В конце концов, мы не имеем претензий. Мы не жалуемся». Так прямо и пишут, товарищи! «Мы не понимаем. И если это велико, как говорили нам в больнице, то о великом напишите в газете. Если ординарно, но правильно, расскажите нам, чтоб было понятно. Если плохо, предупредите». Всё, и дальше подписи. Собственно, все, товарищи, на сегодня. Я ж говорю, что нам нужен для руководства грамотный, разумный человек, а не специалисты со своей точкой зрения. Время позднее. До свидания, товарищи. Спасибо вам, коллега Мишкин, спасибо и от больных и от врачей.

1970—1973.



---

---

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

## РАДУШИЕ

С белорусского

\*\*\*

Был создан мир. Возникли сразу  
Вершины дивной красоты.  
Увы, горам не придан разум.  
Ты мыслишь — значит, выше ты.

Ширь океана перевозданно  
Валы вздымает, как хребты.  
Бездумны волны океана.  
Ты мыслишь — значит, шире ты.

Родник из глубины струится,  
Земные одолев пласты.  
Раздумий лишена криница.  
Ты мыслишь — значит, глубже ты.

\*\*\*

Кто нынче взвесит стих? Он тяжек  
Для тех, кто им живет всерьез.  
Что ж, собирай, поэт, поклажу,  
Грузи на свой извечный воз.

Клади дотошно — к строчке строчку,  
А надо — так и вразнобой,  
Лишь только б слово било в точку  
И радовало новизной.

Поэт! Везти придется много  
И все при этом раздавать.  
То под уклон пойдет дорога,  
То вверх поднимется опять.

Ты встретишь правых и неправых,  
Идущих в гору и с горы.  
Не ошибись. Чурайся славы,  
Что соткана из мишуры.

Ты встретишь тех, что подпрягутся,  
Помогут в гору воз тянуть,  
И тех, что ложно напрягутся,  
Пытаясь груз перевернуть.

А все ж поэту люди рады,  
Радушьем дышит отчий дом,  
И ехать надо, надо, надо —  
Под градом,  
                        снегом  
  и дождем.

\* \* \*

Ты протянула на прощанье  
Ладонь — и тут я понял вдруг:  
Любовь приносит обещанье  
Не только встреч, но и разлук.

Она дарила нам сначала  
Немало света и тепла.  
Она вздымала, окрыляла,  
Надежды щедрые несла.

Но страсть начальная остыла,  
Дохнула ранняя зима.  
А впрочем, как все это было,  
Ты, верно, помнишь и сама.

Поскольку нет конца былому,  
Той памяти о давнем дне...  
Ты руку отдала другому,  
А муку подарила мне.

*Перевел ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ.*

### НЕ ВЕРЬ

В горячий полдень,  
В полдень летний  
Не видишь тени ты своей —  
Она лишь к вечеру приметней,  
Она к закату все длинней.

Тень великана,  
Не иначе.  
Чуть не верста до головы!  
Простерлась, понизу маяча...  
Перемахнула стежки, рвы...

Вот силуэтом четким, темным  
Легла в лугу на дальний стог...  
И кажется:  
Каким огромным  
Быть должен шаг твоих же ног!

Но, как ни льстит тебе виденье  
И как ни щедр скользящий луч,  
Ты предзакатной этой тени  
Не верь —  
Твой шаг не так могуч.



### РАННИЕ ХОЛОДА

И стужа вдруг, и полутьма;  
И хмарь закоченелая...  
То в ставни туч стучит зима.  
Да погоди ты, белая!

Завьюжить хочешь мхи, луга,  
С метлой над ними шастая.  
А в них — где клюква, где стога...  
Повремени, кудластая!

Еще и грузди хороши,  
А ты ж им не попутчица...  
Ну не спеши к нам, не спеши,  
Дай по тебе соскучиться!

Твоя пора — вся впереди,  
За осенью глубокою.  
Не хмурься так, а приходи  
Искристой, краснощекою.

Да чтоб твой снег был чист и сух,  
Не растекался влагою.  
Чтоб с гор на санках во весь дух  
Мальцам лететь ватагою.

Ты солнцем к лункам щук влеки  
Из глубины, из холода,  
Чтоб рыболовы-старики  
Разулыбались молодо.

Ты сделай так, когда придешь,  
Чтоб в адрес твой — ни жалобы!  
Чтоб весь простор твой молодежь  
Лыжнями расписала бы.

Чтоб щелкали в бору клесты,  
Чтоб след петлял там заячий...  
И чтоб весну встречала ты,  
Сама пред нею таючи!

### ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Пускай оно и не из новых,  
То чувство, — все-таки скажу:  
Я мимо ящиков почтовых  
Всегда с волнением прохожу.

Ведь в каждом — душ людских частицы,  
Ведь в каждом — взять любой подряд —  
Порывы, думы, словно птицы,  
По стенкам крыльями стучат!

Там — все: заботы, ожиданья,  
Знакомства — с фото или без,

Надежды, первые признанья,  
И страсть, и радость до небес...

И птицы белые в тревоге —  
Все больше их, уж тесно им:  
Мол, кто нас держит на дороге?  
Раскройте двери! Мы спешим!

Нам должно быть скорей на месте,  
Где стоя встречная нас ждет!..  
Но знаю: есть такие вести,  
Которым тяжек их полет.

В них — горечь, боль утрат, страданий,  
А вспять нельзя им повернуть.  
Они взлетали из рыданий —  
В слезах и кончится их путь.

Иной раз хмур почтовый ящик:  
Поклепы, дрязги — все в него...  
Но птахи добрые в нем — чаще.  
Жить можно!  
Добрых — большинство!

#### ГЛАВНАЯ ПРИМЕТА

Порой всплывает в разговорах  
Там, где горам средь пальм дивлюсь:  
Мол, чем твой край тебе так дорог?  
Чем так приметна Беларусь?

И главную ищу примету:  
Не луг, не озеро, не бор,  
Не горы — их у нас и нету...  
Зато есть люди — выше гор!

*Перевел ВАЛЕНТИН КОРЧАГИН.*



---

Л. ДУТИН

★

## ЛИЦЕЙ\*

Роман

Часть I

1

Утихла брань племен; в пределах отдаленных  
Не слышен битвы шум и голос труб военных;  
С небесной высоты, при звуках стройных лир,  
На землю мрачную нисходит светлый мир.  
Свершилось!.. Русский царь, достиг ты славы цели!

«Александрю».

**В** морозное мартовское утро 1816 года едва пробудившийся городок облетела весть: русский царь, победитель Буонапарта, Давид, ниспровергший Голиафа,— здесь, в своей резиденции. Сонный городок зашевелился, ожил.

В полдень по расчищенной Садовой улице от оранжереи прямо к дворцу промчался в открытых дрожжах (подражая открытыми дрожками царю) комендант, заслуженный генерал Ожаровский; и полицеймейстер Бехте принял нужные меры — множество чинов в шинелях с блестящими пуговицами появилось на заснеженных, тихих, обстроенных деревянными домиками и особнячками улочках; потом в сторону дворцовой площади промаршировало подразделение гвардейцев; и вот наконец показался, направляясь к манежу, широкоплечий, плотный, бородатый мужичок — и все в нем тотчас признали лейб-кучера Илью.

Да, царь был здесь! Радостная весть разнеслась по прямым улицам, разрезавшим городок на правильные квадраты, — мимо кавалерийских домиков, мимо приземистых дворцовых погребов и гардемейбелных кладовых, от заставы на Санкт-Петербургской дороге до Павловской караульни, по бульвару, окружающему городок, к строящимся домам на Новом месте, к домам купцов, мещан, мастеровых, дворцовой челяди — ко всем, кто жил в Царском Селе. Каждому мерещилась — и это было бы как сон наяву — неожиданная встреча с государем.

Новый директор царскосельского императорского лицея Егор Антонович Энгельгардт больше всех ждал встречи с царем: впервые за время его директорства царь прибыл во дворец.

Но день в лицее, в одном из флигелей дворца, начался как обычно. Ровно в шесть часов утра дежурный дядька зазвонил в колокольчик. Потом послышался голос гувернера:

— Levez-vous! Levez-vous!<sup>1</sup>

\* Сокращенный вариант.

<sup>1</sup> Поднимайтесь! (Франц.)

Гувернер был француз, значит, в лицее был день французского языка; если бы гувернер был немец и раздалось: «Stehen sie auf!» — говорили бы по-немецки.

Дядька, прихрамывая, обошел длинный коридор, поднося колокольчик то к одной, то к другой двери. Из комнат уже слышались возня, выкрики, смех. Служители — в казенной форме или в партикулярном платье — и помогавшие им солдаты из инвалидной команды спешили зажечь огарки сальных свечей, разнести по комнатам вычищенную форму и обувь, наполнить водой кувшины.

В коридоре было холодно — печи за ночь остыли, их теперь растапливали, и из душников несло гарью. Двадцать девять мальчиков в синих мундирах с красными стоячими воротниками в избытке юных сил радостно встречали новый день громкими голосами, гоготом, толкотней и никак не могли ровно построиться.

Опять прозвенел звонок.

Процессия попарно потянулась вслед за гувернером, по винтом изгибающейся каменной лестнице спустилась с четвертого на третий этаж и остановилась в большом зале.

Здесь было совсем холодно, в неясном свете смутно виднелись массивные колонны, арки, росписи на стенах. А за окнами было черно, казалось, что холодный ветер гуляет по просторному, с высоким потолком залу.

Звучный голос затянул утреннюю молитву:

— От сна восстав, благодарю тя, господи... Спаси, господи, родителей наших... Спаси нас...

И, помолившись, неся под мышками тетради, книги и пеналы, пошли через зал в другой конец этажа, в класс; здесь уже зажжены были настенные лампы и свечи на столах; профессор поднялся на кафедру.

Почтенный Егор Антонович появился в лицее в обычной своей, несколько старомодной одежде: светло-синем фраке с золотыми пуговицами, коротких, чуть ниже колен, кюлотах, черных шелковых чулках и в башмаках с пряжками. Приземистый, внушительный, он сохранял на круглом розовощеком лице выражение спокойной благожелательности и достоинства. Его сопровождали надзиратель по нравственной части Фролов — бравый, но сильно обрюзгший от спиртных напитков отставной артиллерийский полковник — и надзиратель по хозяйственной части эконо́м Камараш, с высокой, наклоненной вперед худощавой фигурой, с подобострастным и плутовским выражением узкого, заросшего бакенбардами лица.

Прежде всего осмотрели библиотеку. Библиотека размещалась в арке, соединявшей лицей с остальным дворцом, и царь мог появиться прежде всего именно здесь. Потом поднялись в спальни. Теперь двадцать девять дверей были распахнуты настежь — комнаты проветрены, кровати застланы, умывальные столы вытерты, вещи разложены по местам. Осмотрели зал, столовую, больницу.

Царь не появлялся. Занятия продолжались, а директор вернулся в свой дом — вместительный двухэтажный особняк, к которому пристраивалось еще крыло — как раз против лицей.

И в обычное время, надев штиблеты, в длинном постромке и в шляпе он вышел на обычную свою дневную прогулку. И вот тут-то вблизи ограды, у дворцового подъезда, рядом с дворцовой церковью он увидел царя.

Он замер в почтительном поклоне, а царь помахал рукой, подзывая его к себе. Царь знал его уже лет двадцать, со времени совместных заседаний в капитуле Мальтийского ордена.

— Рад видеть тебя, Энгельгардт,— сказал Александр по-французски.— Пройдемся.— И жестом показал на аллею.

На лице Энгельгардта заиграл яркий румянец. Он пошел рядом с царем, все же одно плечо стараясь почтительно держать позади царской спины.

Он не видел Александра почти пять лет — война двенадцатого года увела русского царя в заграничные походы, из которых он вернулся лишь в начале этой зимы,— но Александр был все таким же: высокая его фигура была еще стройной, подвижной, и все такими же безоблачными казались светло-голубые глаза, и все таким же было лицо с мягким бесформенным овалом, раздвоенным подбородком и ямочками на щеках.

— Ты не боишься холода,— сказал Александр так, как будто восхитился Энгельгардтом, и не просто восхитился, а как будто его, Энгельгардта, хотел взять себе за образец. Это была известная манера царя привораживать людей.

На улице, рядом с парком, офицеры, заметив царя, стали во фронт и поднесли руки к вискам. Царь учтиво ответил на приветствие.

— А я поставил себе за правило,— продолжал он,— гулять в любую погоду. Так нужно душе и телу.— Он вздохнул.— Да, мой друг, так нужно душе...

— О, ваше величество...— в волнении бормотал Энгельгардт.

Дорожка, очищенная от снега и посыпанная песком, вела вниз с террасы на террасу. Парк был прекрасен зимой. Огромные старые липы вдоль аллеи были в снегу. Небо прояснилось, и снег на лужайках, куртинах, деревьях, на изогнутых причудливых крышах беседок и павильонов, на вытянутых руках и запрокинутых головах мраморных изваяний блестел под солнцем. С нижней террасы открылся вид сразу на весь дворец — полуверстный фасад, украшенный атлантами, лепниной и узором позолоты.

— Здорова ли вдова Василия Федоровича? Прилежен ли сын? — Государь спросил о семье покойного Малиновского, первого директора лицея, скоропостижно скончавшегося два года назад.

Большой пруд замерз и походил на поле, занесенное снегом. На другом берегу наверху, на холме, видна была легкая колоннада Камероновой галереи.

Малиновский был, несомненно, почтенный и весьма образованный человек, знаток древних классических языков, и многих европейских, и древнееврейского, и турецкого... Он был скромн и тих, в тиши кабинета работал над проектом объединения наций для предотвращения войн и установления вечного мира на земле — благородная и тяжкая задача!

— Да,— вздохнул Александр,— человек предполагает, но располагает — бог, единый бог...

Наконец разговор пошел о лицее. Царь благоволил к лицейю. Его интересовало все, даже устройство кабинетов. Сейчас был не деловой доклад, а прогулка, поэтому не следовало утомлять государя подробностями. Энгельгардт высказал лишь общие соображения. Лицей, милостью государя основанный на прекрасных гуманных началах, по самой новейшей педагогической методе, отвергающей телесные наказания, лицей, стоящий выше всех российских учебных заведений, не был в том блистательном состоянии, которого можно было ожидать. Привилегированный лицей, основанный во дворце для отпрысков родовитых дворянских фамилий, которых готовили к самым важным постам государственной службы, нуждался в улучшениях. Смерть почтенного Малиновского была невосполнимой потерей. На

посту директора сменялись разные люди, и от безначалия дисциплина пала, обучение шло кое-как, финансы были запутаны.

— Напиши докладную графу Алексею Кирилловичу,— сказал Александр.

Но Энгельгардт уже писал министру народного просвещения. Кабинеты, например физический, обставлены изрядно: электрическая машина, искусственный глаз, глобус, астролябии, готовальни, искусственное ухо...; но библиотека скудна!

— Я пополнил библиотеку из дворцовых собраний,— обещал Александр.— Между прочим, среди твоих воспитанников есть желающие в военную службу?

— Есть, ваше величество.

— Много?

— Не скажу точно, ваше величество, не со всеми еще успел побеседовать...

Царь подумал, потом сказал:

— Ну что же, Энгельгардт, пора познакомить твоих воспитанников с фрунтом.

Разговор принял неожиданный оборот.

— О нет, ваше величество! — не удержался от восклицания Энгельгардт.

— Почему же? — Александр нахмурился.

— Ваше величество... Ваше величество...—Это было ужасно: нужно было возражать царю.— Но, ваше величество, фрунт изменит самый дух лицей. Фрунт превратит лицей в заурядное военное училище!

— Вовсе нет, Энгельгардт! — Царь был недоволен.

— Ваше величество, благоволите выслушать...—Голос Энгельгардта дрожал.—Моя цель — развить лучшее, что есть в детях. Их души открыть не просто — только сердечным участием в их радостях и горестях. Возможны ли подобные отношения во время строевых занятий, во время изучения ружейных приемов?.. Религия, то есть вера в бога, то есть любовь к нему, то есть надежда и твердое упование на него не внушаются насильно... И повиновение должно быть добровольным, а фрунт немислим без наказаний. Наказания же могут создать двуногое животное, но не человека...

По мраморной галерее Сибирского моста они перешли через проток на другую сторону пруда. Обширный парк тянулся на много верст, Регулярный парк смыкался с Пейзажным, Старый парк с Новым, Екатерининский с Александровским, а дальше в одном направлении тянулось Баболово, в другом Павловское — в обширном этом царском заповедном массиве были свои пруды, каналы, леса, горы...

Это было удивительно: царь настаивал, а директор возражал. Щеки бедного Егора Антоновича сделались совсем багровыми. Наконец, вынув из кармана садовый нож, он сказал:

— Ваше величество, другим оружием я никогда не пользовался... Для другого оружия вам понадобится здесь другой директор.— Он поднял голову, как бы принимая удар. Но он сказал то, что должен был сказать: это было заявлением об отставке.

Лицо Александра приняло брезгливое выражение.

— Ну, хорошо, хорошо, тебя не переспоришь...

Мимо фонтана «Девушка с кувшином» они поднялись к Рамповой аллее. Это был обычный путь, совершаемый Александром на прогулке. Он заговорил о другом:

— Исполнители, хорошие исполнители — вот кто мне нужен! Что наши помыслы без хороших исполнителей?

Что это! Вместо гнева Энгельгардт видит опять монаршью ласку, ту царскую ласку, которая делает человека счастливым.

— Положение крестьян... Сейчас генерал Васильчиков ожидает аудиенции. Он думает, я не знаю, о чем он будет говорить.— Александр приблизил к Энгельгардту свое широкое розовое лицо с белесыми бровями, с тонких губ его не сходила застывшая любезная улыбка, глаза близоруко щурились.— А я знаю!..

Нет, великий этот человек был непостижим. Это была доверительная беседа!

Вдруг Александр спросил:

— У тебя есть магическая цифра?

У него самого такая цифра была. Цифра «двенадцать» в его жизни имела особое значение. Он родился 12 декабря. Он вступил на престол 12 марта; ему было тогда двадцать четыре года, то есть двенадцать на два. Нашествие французов было в двенадцатом году; ему было тогда тридцать шесть лет, то есть двенадцать на три... И ему казалось, что жизнь его прервется после 1824 года — двенадцать на два,— когда ему будет двенадцать на четыре...

Подошли к дворцу.

— Иди, Энгельгардт,— сказал царь.— Вот что: для желающих в военную службу учредить класс военных наук.— Это было сказано тоном, не допускающим никаких возражений.

Они простились.

Взволнованный директор отправился к себе домой, а во дворце в это время произошел разговор, который должен был облететь Царское Село, Петербург, всю Россию, образовать общественное мнение дворян и войти в историю.

Не один Энгельгардт нетерпеливо ожидал встречи с государем. Герой Отечественной войны генерал Васильчиков поспешно вскочил со своего места, когда камердинер открыл двери, чтобы ввести его в кабинет. Он знал, что дело, по которому он испросил аудиенцию, угодно государю.

— Подвергаю благоусмотрению вашего величества в соответствии с давнишним желанием вашего величества акт об обращении крепостных в обязанных поселян...— бодро, уверенно заговорил Васильчиков. Это была петиция нескольких петербургских помещиков, предлагавших на известных условиях освободить крестьян.

Но Александр недовольно прервал его.

— Илларион Васильевич,— сказал он.— Кому, по твоему мнению, принадлежит законодательная власть в России?

— Без сомнения, вашему императорскому величеству как самодержцу империи,— ответил генерал четко, без запинки.

Александр возвысил голос:

— Так предоставьте же мне издавать те законы, которые я считаю наиболее полезными для моих подданных.

Так был решен конституциональный вопрос.

Генерал вытянулся как на параде. Речь шла о самих основах Российской империи, и ответ был дан совершенно недвусмысленно.

А директор лицея закрылся в своем кабинете. Он думал об Александре. Александр был самодержец, но просвещенный самодержец, позволявший поданным свободно беседовать с ним и даже иметь свое мнение.

И вот что придумал восхищенный Энгельгардт. Через несколько дней пятнадцатилетие начала царствования Александра. Он устроит в лицее бал. И спросит царя: не соблаговолит ли царь посетить лицей?

Энгельгардт вооружился очками и извлек из конторки толстый гроссбух, чтобы записать мысли.

Но когда в вечерних сумерках он вышел из дома, то увидел выкатывающуюся из дворцового двора на Петербургскую дорогу запряженную четверкой императорскую позолоченную карету с большим царским вензелем на дверцах; впереди на козлах, приподняв в руке вожжи, сидел бородатый лейб-кучер Илья. Спереди, сбоку и сзади карету сопровождали конные казаки.

Все же в характере царя появилась новая черта — склонность к таинственности. Он приезжал и уезжал внезапно.

## 2

Друзья, досужный час настал;  
Сюда, вино златое!  
Скорее скатерть и бокал!  
Сюда, вино златое!

*«Пирующие студенты».*

Директор собрал конференцию профессоров.

В зале конференции мебель была дворцовая — золоченая, массивная, обитая штофом. На особом столике, всем видный, лежал устав лица — в газетовом переплете, расшитом шелком и золотом и скрепленном серебряным шнуром, с приделанной к шнуру печатью.

Энгельгардт возвысил голос до торжественности:

— Император, его величество, удостоил меня беседой...

Профессоры в своих официальных мундирах сидели в креслах с изогнутыми спинками, с подлокотниками в виде орлов, грифонов и лебедей. Профессор французского языка, старичок француз де Будри, в засаленном, слегка припудренном парике положил на стол перед собой табакерку. Конференц-секретарь Куницын рылся в записках, держа листки на коленях. Профессор немецкого языка, немец Гауеншильд, сидел прямой, как палка.

— Исполняя высочайшую волю, я предлагаю вашему вниманию...

И Энгельгардт прочитал составленное им новое расписание, уже с классом военных наук для желающих в военную службу.

Этот новый класс загромождал и без того невозможную раздутую и расплывчатую программу. Предметов было множество — логика, психология, право естественное, публичное, гражданское, основания истории, хронологии, археологии, основания статистики и философского обозрения эпох, политэкономия и финансы, риторика и поэтика, изящные искусства и закон божий, математика и физика и т. д. и т. д. и, главное, языки — латинский, французский, немецкий, на изучение которых отводилась львиная доля учебного времени, — можно было лишь упомянуть, лишь коснуться их основ. И директора беспокоил возможный конфуз на публичных экзаменах. Не следовало ли уже начать подготовку?

Энгельгардт говорил неторопливо, ровным голосом — это была его манера говорить, но вместе с тем это был и придворный этикет. В самом внешнем его облике — в лысеющей со лба голове на короткой шее, в лице с мясистыми щеками, румяными губами и выпуклыми глазами — было нечто немецки основательное, уравновешенное, тяжеловесное.

Он надеялся, что с его приходом для лицея начнется новая пора... Нужна иная система оценок — вместо описательной цифровая. Старая система была неопределенной и многословной. Например: «Господин воспитанник Н. больше имеет понятливости, нежели памяти». Или: «Господин воспитанник М. усерден с рвением...». Или: «Успехи у Н. Н. блистательные не столько благодаря прилежанию, сколько



благодаря счастливым способностям и тонкому честолюбию». Не проще ли употреблять пятибалльную систему: за отличные успехи — единица, высший балл, за очень хорошие — двойка, за хорошие — тройка, за посредственные — четверка, а за худые успехи — ноль? Впрочем, что скажут обо всем этом господа профессоры?

Первым взял слово Гауеншильд. Лицо у этого сухопарого австрийского подданного с рыжеватыми бачками, с выдвинутой далеко вперед, вслед за орлиным носом, губой было надменно. Он был изрядный интриган; ученость его была сомнительной, русского языка он не знал, свой предмет, немецкий, вел в лицее на французском языке — это ли не *bonne histoire!*<sup>2</sup>. Как и следовало ожидать, прежде всего он заверил в верноподданнических своих чувствах. Энгельгардт желал для военного класса в неделю семь часов — он, во исполнение высочайшей воли, предлагал девять. И с этим приходилось считаться — о приватном своем мнении профессор, несомненно, известит министра.

И этому человеку когда-то верили лицей — одно время он был директором. Теперь министр просвещения граф Разумовский поручил ему пансион, в котором детей готовят к поступлению в лицей!

— O, jawóhl... jawóhl... mit Vergnügen...<sup>3</sup>. — У Гауеншильда, когда он усиленно улыбался, верхняя губа обнажала десну.

Со своего места поднялся профессор русской и латинской словесности Кошанский. Горький пьяница, одинокий холостяк, неудачно влюблявшийся в замужних женщин, знаток древней и новейшей словесности, получивший совсем молодым звание магистра, а потом профессора — он прежде подавал блестящие надежды, но остался лишь неудачливым литератором, не сумевшим найти себя ни как поэт, ни как переводчик, ни как ученый-грамматик, и был грустен, скромен, будто немного отрешен от мира. Плечи его сутулились, бледное, немного припухшее лицо с набрякшими под глазами мешочками было мягким, безвольным, но шевелюра была поэтической, пышной и одет он был франтовато: в форменный сюртук с очень модным жилетом и с прихотливо повязанным шейным платком. Он говорил тихим голосом, а руки сложил на груди крестом.

Профессор Кошанский возбуждал симпатию. Недаром когда-то выбирали его конференц-секретарем, потом назначали директором — увы, он нигде не удержался. Но он был автором учебников и переводчиком пособий: недавно вышли его «Цветы греческой поэзии» с критическими, историческими и прочими примечаниями, и теперь он готовил перевод «Ручной книги классической словесности» Эшенберга. Ему, старшему среди лицейских русских профессоров, не было еще и тридцати лет.

Он высказал свои опасения: многие лицеисты, прельстившись славой, печатаются в петербургских и московских журналах. Нужны ли эти ранние публикации, не отвлечет ли столь раннее авторство от занятий и не поселит ли оно в душах суетность? В журналах печатали стихи Пушкин, Илличевский, Кюхельбекер и Дельвиг.

— Счастье всегда ласкает юность, — задумчиво рассуждал, обращаясь не то к другим, не то к самому себе, Кошанский. — Кто же с этим счастьем в юности не поэт? Пусть даже гений! Но справедливо заметить, что и кедр вначале растет наравне с травой... Никто больше меня не приветствует первые успехи и не способствует им, но не важнее ли вначале научиться мыслить и чувствовать?..

<sup>2</sup> Анекдот (франц.).

<sup>3</sup> О, конечно... конечно... с удовольствием.. (Нем.)

Директор согласился с профессором. Он даже сделал для себя заметки.

Когда заговорил Куницын, Энгельгардту вспомнилась необычная сцена, свидетелем которой как гость он был при открытии лицея пять лет назад. Тогда в присутствии августейшей фамилии, высших сановников двора, членов синода, министров и посланников, после длинных, казенных речей, читанных по бумажке, этот молодой, только что вернувшийся из Геттингена адъюнкт-профессор нравственных и политических наук вдруг обратился к воспитанникам в свободной речи и какими-то новыми, необычными словами призвал их не к верноподданничеству, а к служению высоким идеалам, чести и славе. Эта речь вызвала много шума, сразу сделав Куницына бесспорным авторитетом. Теперь он был конференц-секретарь и в петлице носил орден Владимира.

Лицо у Куницына было необычное. Глаза умно и живо смотрели из глубоких глазниц. Голова была будто сплюснута, и от этого выпуклый лоб морщился.

Шум и топот от беготни младшего курса доносился сверху, со второго этажа, в конференц-зал. Но директора беспокоил не младший курс — он мог посвятить ему еще много лет, — а старший, до выпуска которого оставался лишь год с небольшим. Старший курс курил, пряча табак и трубки у швейцара и, что было еще хуже, подкупая его деньгами, играл в карты и без должного платонизма относился к молодым девушкам и женщинам, жившим в Царском Селе.

— Господа, я прошу помимо меня не посылать сведений о лицее.

Конференц-секретарь вел журнал, копии с которого в виде меморий директор направлял лично министру.

Лицо Гауеншильда порозовело. Он вскинул голову.

— Я с господином министром имею не официальную, я имею личную переписку, — сказал он.

— А я прошу помимо моих меморий и докладов не посылать сведений, — сказал Энгельгардт.

Вот что его еще беспокоило. Он познакомился с книгой провинившихся и был буквально поражен! Возможно ли такое? Совместимы ли принципы Песталоцци и Фелленберга с жестокостью по отношению к детям? Около полутора лет назад трое воспитанников — Малиновский, Пуццин и Пушкин — затеяли нечто вроде пирушки и тогда же понесли наказание: во время молитвы стояли на коленях, а в столовой посажены были за черный стол. Справедливо ли, чтобы пустячная детская провинность при выпуске повлияла на аттестацию и имела бы влияние на будущую судьбу молодых людей?

...Он направился не домой. Мимо второго этажа, мимо младшего, уже столь дорогого его сердцу курса он поднялся к старшим воспитанникам. Были те свободные часы, предшествовавшие ужину, когда делать совершенно нечего и воспитанники резвятся в рекреационном зале. Стоя в проходе одной из арок, ведущих в зал, придерживая рукой тяжелый занавес, Энгельгардт с улыбкой наблюдал за мальчиками.

Да, это были дети из хороших дворянских фамилий, попавшие в лицей благодаря знатности или благодаря связям. Один из них — князь Горчаков, племянник военного министра, он вел свой род от Рюриковичей. Родители Гревеница и Кюхельбекера много лет занимали важные посты при дворе императрицы-матери. За Данзаса хлопотала графиня Строганова, сестра известных князей Голицыных. За барона Дельвига — граф Гудович, главнокомандующий в Москве,

шурин самого графа Разумовского. Барон Корф был сыном действительного статского советника, потомок курляндских баронов, ценных при дворе Анны Иоанновны. Семья Тыркова была близка к тогдашнему министру юстиции, знаменитому поэту Державину. Здесь были сыновья из дворянских фамилий, оставивших след в анналах истории или недавно поднявшихся по службе — сенаторов, обер-прокуроров, президентов коллегий, тайных и действительных статских советников. Дед Пуцина был адмиралом, андреевским кавалером. Отец Илличевского — томским губернатором. Здесь был сын французских эмигрантов-роялистов, граф Брольо, которому дозволено было на лицейском мундире носить орден Лилии.

Все эти мальчики пришли в лицей кто из московского благородного пансиона при университете, кто из петербургской гимназии, кто из уездных училищ, а большинство из дома, от домашних учителей и гувернеров. Разве не было высокой задачей для учителя к каждой юношеской душе найти свой особый ключ?

Егора Антоновича заметили, окружили, он оказался посредине зала. В его взгляде не было ни требовательности, ни строгости, а только приветливость и ласка. Опытный наставник, он знал, что самый важный первый этап сближения уже позади и прошел благополучно. Конечно же, вначале его встретили настороженно. Фамилия его Энгельгардт? Они опасались, что к одним он будет энгель (то есть ангел), а к другим — харт (то есть суровым). Сошлись на том, что, судя по его фигуре, он человек «не худой».

Он никогда не заходил в классы, чтобы не стеснять профессоров, но в свободные вечерние часы почти ежедневно виделся с воспитанниками.

— Я имею важную новость, — сказал Энгельгардт.

Одетые в одинаковые казенные одежды, ученики прежде всего различаются по блеску глаз, или широкой улыбке, или особенной мимике. Энгельгардт снял очки и, щуря глаза, вглядывался в эти лица, в эти улыбки и сам улыбался.

— Друзья мои, его величество, император, проявляя о вас всегдашнюю заботу...

Молодые люди не были чужды придворному духу и при упоминании императора поспешили придать своим лицам выражение почтительности.

— ...для желающих в военную службу учреждает класс военных наук...

Какой тут поднялся шум!

Большой актовый зал вечером был ярко освещен. Квадратные шашки натертого паркета поблескивали, а стены и своды арок были расписаны. На окнах висели малиновые портьеры с шелковыми кистями. И весь этот большой зал с массивными колоннами, прорезанными канелюрами, с подвешенными масляными лампами, источавшими красноватый свет, со стенами, окрашенными под розовый мрамор, с росписями, портьерами и паркетным полом отражался и повторялся в высоких, от пола до потолка, зеркалах. А посредине толпа лицестов смеялась, дышала, кричала...

— Друзья мои! — говорил Энгельгардт. — Давайте же решать, кому служить Марсу, а кому — Фемиде...

Толпа бурлила, двигалась, перестраивалась, образуя группки, партии, пары и в то же время оставаясь одним целым.

— Нам предоставлено высокое право, — объяснял Энгельгардт, — определять наших выпускников в чине десятого, даже девятого класса. Я хочу, чтобы все получили высокий чин, не правда ли?..

Это вызвало оживленный отклик.

— Как ты думаешь? А ты как думаешь? — Он обращался то к одному, то к другому и при этом заговорщически подмигивал, и само собой получалось, что у него и у того, к кому он обращался, цель и желания одни.

Когда высокопоставленный директор ведет себя так просто и разговаривает так приветливо, навстречу ему открываются благодарные сердца. И для учителя не может быть радости большей, чем завоевание молодых сердец.

А потом директор объявил бал, посвященный всерадостнейшему празднику восшествия на престол.

Какой восторг это вызвало! Будет бал! Будут приглашены дамы. Будут танцы, *charades en action*, *petits jeux* и прочие *parties de plaisir*<sup>4</sup>, и можно поставить пьесу!

Были те вечерние часы, когда в зимний ненастный день свой дом делается особенно приятным, и в доме кипит жизнь, и трудно всюду успеть: говорить с директором, или забраться в свой любимый угол — полутемный или ярко освещенный, — или сидеть в читальне с газетой или в библиотеке с книгой, или шумно играть, или тихо беседовать с приятелем... Теперь все помыслы, все разговоры были заняты предстоящим балом.

Вскоре звучный колокол возвестил ужин.

Шумная ватага бросилась вниз. Прочитана молитва, и тафель-декер и служители понесли фарфоровые тарелки вдоль длинных столов, за которыми сидели воспитанники. На конце одного стола сидел столовавшийся вместе с лицеистами бессемейный профессор Кошанский.

Энгельгардт все не уходил. После ужина он подошел к Малиновскому.

Этому воспитаннику — рослому, с густо обозначившимися бачками — было уже за двадцать, а стоял он рядом с щуплым подростком: разница лет и подготовки воспитанников была пробелом первого набора.

Энгельгардт взял юношу под руку и прошелся с ним по залу. Малиновский ростом был выше директора.

— Сегодня на заседании конференции была о тебе речь, — сказал Энгельгардт.

Очевидно, юный Малиновский от конференции мог ожидать только неприятности.

— Да-с?.. А почему, Егор Антонович?.. — Брови его нахмурились.

— А ты не знаешь за собой грешков?

По аттестациям новому директору было известно, что этот лицеист — изрядный повеса. Егор Антонович подумал, что этот удалой Иван, в общем, мало похож на своего одухотворенного, с высоким лбом мыслителя отца.

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Помнишь — пирушка... потом молитвы на коленях... Черная книга? Прощено и забыто. Так решила конференция...

Энгельгардт видел все, что чувствовал юноша, и уже понял, что Иван Малиновский простоват, вспыльчив, может быть даже бесшабашен, но беззлобен, и именно эта его беззлобность расположила к нему директора.

— Мне потому это было неприятно, что татап очень переживала... — с раскрасневшимся лицом говорил теперь Иван Малиновский.

<sup>4</sup> Шарады в лицах, игры, развлечения (*франц.*).

— Кто из нас не грешил,— сказал Егор Антонович.

И вот уже сердце лицеиста раскрыто перед ним, уже принадлежит ему — они расстались друзьями.

— Пуцина пришли ко мне! — крикнул Энгельгардт вдогонку.

Шестнадцатилетний Пуцин был ростом невысок, но плотен и так опрятно и ладно одет, что ученический синий сюртук с серебряными пуговицами и шитьем на воротнике выглядел на нем совсем как военный.

— Вы звали меня, Егор Антонович? — спросил он с видимым простодушием.

— Звал, и ты прекрасно знаешь зачем. Ты ведь прекрасно знаешь! — сказал Энгельгардт. Потому что, конечно же, Иван Малиновский успел рассказать ему.

Лицо у Пуцина было совершенно русское, а излишне широкий нос придавал ему выражение простоватости. Но простодушное выражение исчезло, а глаза умно заблестели.

— Да, я знаю,— сказал он.

— То-то же! — сказал Энгельгардт, и так получилось, что оба задорно засмеялись.

— Ну-ка рассказывай, как все это у вас тогда было?..

— Мне тогда пришло в голову,— сказал Пуцин.— Где-то я вычитал, что толченый сахар и сырые яйца если смешать и... добавить рому и... потом кипятку, получится прекрасный гоголь-моголь...

— Вот так гоголь-моголь, в котором ром!.. Ну, хорошо! — Ясного представления еще не было, но Энгельгардт отметил правдивость, старание главную вину взять на себя, и это уже было хорошо.— Конференция простила эту историю...

— Благодарю, Егор Антонович,— сказал Пуцин.

— Ну, хорошо,— еще раз сказал Егор Антонович.— Пушкина пришли ко мне.

У этого воспитанника лицо было своеобразное, и живые, неправильные черты создавали впечатление непрестанной игры. Кожа у него была несколько смуглая, волосы курчавились. Он не шел, а выступал. Он нес, несколько откинув назад, голову, и все его движения показались директору неестественными, даже нарочитыми и напомнили молодых выпускников театрального училища, жаждавших успеха и ждущих аплодисментов. Профессор Кошанский, несомненно, был прав, говоря о вреде раннего авторства. Молодой лицейский поэт, очевидно, привык к похвалам. Чтобы дать юноше обрести естественный тон, Энгельгардт заговорил сам:

— Бывают в жизни такие мгновения, когда человек не помышляет о завтрашнем дне. Но завтрашний день обязательно приходит, и тогда становится ясно, что всегда нужно иметь перед собой цель, для которой мы существуем...

На лице ученика пока не появилось того выражения, которое нужно было Энгельгардту.

— И эта цель,— продолжал он,— для всех одна: быть полезным, делать добро.

Нужного выражения все еще не было: очевидно, все сказанное воспринималось как нравоучение.

— ...Воспитать в себе достойного человека,— сказал Энгельгардт и переменял тон: — Конечно, ты знаешь, зачем я тебя позвал?

— Благодарю, Егор Антонович,— вежливо сказал лицеист.

Но Егору Антоновичу нужна была не вежливость — ему нужна была сердечность!

— Друг мой.— Он положил руку на плечо лицеиста и сказал весело: — Кто в молодости не грешил, тот не был молод!

Он ощутил на себе взгляд больших блестящих глаз. Не было сомнений — глаза смеялись. Краска то отливала, то прилиwała к его лицу, и от этого казалось, что лицо его все время меняет выражение.

— Но я недаром заговорил о будущем,— сказал директор.— Потому что будущее наше неизбежно отразит и наше прошлое. Ты мог убедиться на собственном опыте. Ты согласен со мной?..

Мог ли ученик не быть согласным?

— Вы, очевидно, совершенно правы в этом рассуждении,— сказал Пушкин.

Нет, беседа не получалась. Этот лицеист не хотел открывать сердце, не хотел дружбы. Энгельгардт испытал укол. В душе у него были чувствительные места.

— Вы не вполне доверяете мне,— сказал он с сожалением. Когда он сердился или провинившегося отлучал от своего сердца, он переходил на вы.— Что же, идите.

Он подумал, что характер этого лицеиста требует особого подхода и впредь нужно заняться им.

## 3

Но это лишь мечтанье!  
Увы, в монастыре,  
При бледном свеч сиянье,  
Один пишу к сестре.  
Все тихо в мрачной келье:  
Защелка на дверях,  
Молчанье, враг веселий,  
И скука на часах!  
Стул ветхой, необитый,  
И шаткая постель,  
Сосуд, водой налитый,  
Соломенна свирель —  
Вот все, что пред собою  
Я вижу, пробужден.  
Фантазия, тобою  
Одной я награжден...

«К сестре».

Он сидел в своей комнате — прямоугольной и узкой, как пенал, — за конторкой у окна. Казенная мебель — железная кровать, застланная белым бумазейным одеялом, тумбочка-комод с ящиками и тумбочка-умывальник с зеркалом — была расставлена вдоль стен. За окном на карнизе лежал снег. Он начал таять, и быстрые капли летели мимо стекла, разбиваясь об оконный выступ, — был март, вдруг потеплело и почувствовалась весна.

Когда он сочинял стихи, когда находил на него угар сочинительства, вначале возникало смутное волнение; как будто очень далеко играла музыка и доносились только глухие удары барабана, — а уже потом, вдруг, обретались слова и лилась мелодия.

Теперь он писал о городке, в котором жил, и ясно увидел аллеи, улочки и жителей городка: старушку, опрятно одетую, в белом крахмальном чепчике (она сидит за гран-пасьянсом и судачит о том, кто из соседей влюблен, кто болен и кого жена по моде убрала рогами); и старика с очаковской медалью, отставного майора, раненного в баталии; и гуляющую по аллеям парков нарядную публику...

На зеленом сукне конторки лежали исписанные старательным почерком, с каллиграфическими завитками листки, предназначенные

для завтрашней почты. Он отсылал в Москву, в «Вестник Европы» — лучший и популярнейший журнал, — три своих стихотворения.

Снизу донесся взрыв смеха. Он покусывал короткое гусиное перо и смотрел в пространство перед собой, но уже прислушивался к голосам... Хотелось веселья; хотелось кому-нибудь показать свои стихи. Искушение победило, и, схватив листки, он бросился к двери.

Вблизи двери в зеркале умывальной тумбочки он заметил свое отражение. Он остановился и долго оглядывал себя, вздергивая и опуская голову, поворачиваясь сначала одним, потом другим боком. Хотелось представить, как преобразит его военная форма, когда он вступит после выпуска из лицея в гусарский полк...

Из зала все слышались топот ног и голоса. Но он пошел не в зал, а в библиотеку. Отсюда сквозь окно видна была прямая парадная улица, уходящая под дворцовую арку. По этой улице к одному из лицейстов приезжала сестра. Каждый день Пушкин ожидал ее... Началось это года два назад, а прошлое лето, когда она с матерью жила в Царском Селе, он привык почти каждый день видеть и слышать ее... Теперь тянулась томительная пора ожидания. Он всматривался в подъезжающие экипажи... Но и сегодня, как и вчера, как и позавчера, она не приехала.

Он вернулся в дортуар и направился к двери, над которой черной краской на дощечке написана была цифра «тридцать». Здесь жил князь Горчаков.

— Entrez <sup>5</sup>, — сказал князь.

Комната Горчакова была точно такой же, как и у других лицейстов, — с одной глухой каменной стеной и одной дощатой, не достигающей до потолка. На одной из стен князь вывесил изображение герба своего рода.

Он сидел за конторкой в свободной, непринужденной позе и к Пушкину повернул свое ясное, красивое лицо. Лоб у него был высокий, лицо заканчивалось округлым, но напористым подбородком, большие карие глаза были томно полуприкрыты веками, но из-под век смотрели быстро, энергично, насмешливо.. Горчаков стихов совсем не писал, но среди лицейских поэтов слыл знатоком. Он не был первым учеником — первым был другой лицейст, Вальховский, но считалось, что Вальховский берет трудом, а Горчаков талантом. Он пока был всего лишь лицейстом, но уже все знали, что его ожидают в будущем самые заманчивые почести... В лицее была своя иерархия, и Горчаков был на самой вершине лицейской лестницы.

— О, по секрету могу сообщить тебе важную новость! — воскликнул Горчаков. — Наш министр народного просвещения, блистательный Александр Кириллович Разумовский... — Он сделал рукой жест, будто срезал Разумовскому голову. — Да, мой друг. — Он посмотрел на Пушкина со значением и вздохнул. — Вот что значит perdre les bonnes grâces, потерять расположение. Граф Разумовский подает в отставку, вместо него назначается князь Александр Николаевич Голицын...

Они принялись обсуждать важную эту новость. Но потом перешли на другую тему. Они заговорили о прелести дев — и лица у обоих разругались, и глаза заблестели. Кто из дев будет на лицейском балу? Горчаков давал советы.

Пушкин, чувствующий себя с девами совсем неуверенно, жадно слушал, как ученик.

А за окном все капало, и весенняя эта неожиданная капель будоражила и пробуждала тревогу.

<sup>5</sup> Войдите (франц.).

Князь уловил взгляд Пушкина в окно.

— Гнилая пора,— вздохнул Горчаков.

Он достал из комода пакетик, налил полчажки воды и принял порошок. При цветущем виде князь любил чувствовать болезненность; он утверждал, что страдает от тяжелого рю-ма-тиз-ма.

И наконец, очередь дошла до стихов. Читая стихи приятеля, Горчаков откидывал назад голову, и это ему самому придавало поэтический вид. Он повторял: «Les splus beaux vers! Прекрасно! Parfaitement!» — и пожелал великолепные эти стихи переписать в свою антологию.

Смеркалось. В комнате быстро темнело.

— Антон! — крикнул князь.

Крепостной человек, отданный на услужение в лицей в дядьки с таким расчетом, чтобы он смотрел за молодым своим барином, сейчас же приоткрыл дверь.

— Свечей. Лампу. Сургуч,— командовал молодой князь.

Все живо было исполнено.

— Va te promener! — с сухой деловитостью сказал князь.

Эту французскую фразу неграмотный дядька понял сразу: она означала — «убирайся».

Оставив Горчакова за конторкой переписывать стихи, Пушкин пошел в зал.

Здесь было шумно, людно, весело — репетировали пьесу для лицейского бала. Но его появление заметили. Да, все же слава уже коснулась его легкими своими крыльями, и пьянящий аромат славы иногда кружил голову...

Сейчас же к нему подошел Илличевский — узколицый и тонкогубый лицейский пиит, мастер на каламбуры и эпиграммы. Он говорил с Пушкиным почтительно, искал его одобрения. Высокий, худощавый, он даже горбился под грузом волнения.

Когда-то Илличевский считался главным его соперником. Недавно сложены были стихи:

Слава, честь лицейских муз,  
О, бессмертный Илличевский,  
Меж поэтами ты туз!

Но это было давно. Тузом оказался не он. В Илличевском не звучала музыка — в нем не было поэзии. Но, боясь обидеть товарища, Пушкин говорил с ним мягко, осторожно, деликатно...

В «Сыне отечества» известный Федор Глинка писал, что пора прославить наших героев. Илличевский поэтому задумал издать «Нового Плутарха для юношества» и советовался с Пушкиным: кого из русских героев в него включить?

— Пора показать иностранцам, что у нас есть свои герои! — говорил он с жаром.

Называли имена славных русских военачальников.

— Извини меня,— вдруг сказал Пушкин.

Он подошел к другому лицеисту, чистенькому, с расчесанными на аккуратный пробор мягкими волосами, с продолговатым лицом, мало-выразительным и обыденным в своей правильности. Это был Бакунин, в сестру которого он был влюблен. Он хотел спросить Бакунина, приедет ли его сестра на лицейский бал. Но смущение мешало задать вопрос.

Выхаживая рядом с Бакуниным по залу, он рассуждал с ним о том, как мало нужно мудрецу, который следует за Аполлоном,— ему ничего не нужно, кроме сельской идиллии... Впрочем, Бакунин готовил себя к военной службе, и сейчас же он согласился с Бакуниным:



о да, нет ничего заманчивее военных биваков, сверкания штыков, удалой скачки и блеска бранного булата... Ах, он готов был во всем соглашаться с Бакуниным.

И наконец спросил осторожно:

— Слушай. Бакунин... как ты думаешь, дорога из Петербурга в Царское Село расчищена?

Бакунин мигал — это было нервической его привычкой. Как зачарованный смотрел Пушкин на его лицо.

— Дорога? — воскликнул Бакунин. — Хочешь, я тебе скажу точно, сколько ехать из Петербурга до Средней рогатки, или до Пулкова, или до Царского?..

— Я хотел спросить, Бакунин...

— Нет, хочешь, поспорим? — Он был отчаянным спорщиком. — Каждый раз, когда сестра и папа приезжали, я точно измерял время... Все зависит от погоды... Можно рассчитать до минуты. Поспорим?

Нельзя было дольше пребывать в неизвестности.

— Я хотел спросить...

Но в это время подошел рослый гувернер — он же учитель чистописания — Калинич; из-за тяжести черт лицо его казалось неподвижным, будто озабоченным важной думой. Он был ворчлив и патриархально ласков с учениками, которых называл «мои пичужки».

— Что, воркуете, мои пичужки? — сказал он. — Господин Пушкин, пожалуйста-с в кабинет к господину директору...

Что бы это могло значить?

Кабинет директора, смежный с конференц-залом, сохранял дворцовую роскошь в отделке. Здесь стояли тяжелое бюро наборного дерева, книжные шкафы и письменный стол. Сам Энгельгардт сидел за столом в глубоком вольтеровском кресле. Он поднялся навстречу Пушкину с самым приветливым выражением лица и ласково усадил его на крашенный стул, поставленный сбоку...

Знал ли ученик, что с некоторых пор недремлющее око директора будет постоянно наблюдать за ним? Знал ли он, что его слова взвешиваются, что его поступки оцениваются? Знал ли он, что его душу стараются разгадать?

...Когда после долгой беседы они вышли из кабинета, на лице Энгельгардта было то выражение удовлетворения, какое бывает у врача, совершившего трудное, но необходимое исследование и теперь знающего все, что ему нужно знать. А лицо Пушкина ясно выражало, что исследование действительно было трудным и малоприятным. Энгельгардт крепко держал его под руку.

— Твои приятели сегодня у меня в гостях... — Энгельгардт наклонил свою массивную голову в сторону курчавой головы Пушкина. — Ты не откажешься, надеюсь, посетить дом своего директора? Семейный уют нужен каждому, а? — Он бросил пронизательный взгляд на напряженное, беспокойное лицо юноши.

— Я с огромной радостью, — поспешно сказал Пушкин.

Однако Энгельгардта несколько не удивила фальшь его тона, как будто ничего, кроме фальши, он теперь и не ожидал.

— Но, друг мой, оденься теплее. На улице холодно, — говорил он.

Сам уже одетый для выхода, он следил, чтобы Пушкин застегнул шинель на все пуговицы и крючки.

— Wir werden singen und springen... Die Damen werden auch da sein<sup>6</sup>. — По своему обыкновению, Энгельгардт заговорщически подмигнул.

<sup>6</sup> Мы будем петь и прыгать... Дамы там тоже будут (нем.).

Мимо швейцара с высокого крыльца, все рука об руку, они спустились с лестницы и перешли на другую сторону улочки, к дому Энгельгардта. Через переднюю, где были слуги в форменных одеждах, они вошли в комнаты.

Навстречу несся веселый говор, звуки клавикордов, пение и смех. Молодое общество веселилось в гостиной. За клавикордами сидела старшая дочь Энгельгардта, Бетси, пятнадцатилетняя девушка, худенькая, с птичьим лицом, с костистым носом, но милая в своей хрупкости, нежности кожи, чистоте и белизне одежд. Несколько улыбающихся лицейстов стояли возле нее, другие сидели на диванах; в стороне в кресле сидела четырнадцатилетняя дочь Наталья, а у стола, как бы возглавляя молодую компанию, — семнадцатилетняя падчерица Энгельгардта Аннет.

Директор был мудр: он сам сближал лицейстов с женским обществом. Запретный плод сладок — так вот вам, молодые люди, запретный плод: эти молодые девушки, скромные и чистые, хорошо воспитанные, свободно беседующие по-французски, бегло играющие на клавикордах, легко поддерживающие светскую беседу и способные внушить лишь платонизм в мыслях и чувствах и облагородить юношей.

За маленьким круглым столиком с вязанием в руках восседала хозяйка дома, полуангличанка-полунемка Марья Яковлевна, в белом как снег накрахмаленном чепчике, с выражением несокрушимого, как несокрушима вера в бога и провидение, довольства и спокойствия на лице. Она обменялась с мужем радостным взглядом, относившимся к молодежи, окружавшей их. Ее дочери лицом были в нее.

— *Esse homo!*<sup>7</sup> — воскликнул Энгельгардт, останавливаясь в дверях и держа Пушкина под руку рядом с собой.

Общество встретило прибывших радостными восклицаниями.

— Мы музицируем, — сообщила Бетси отцу. И, засмеявшись, указала на лицейство, стоявших у клавикордов: — Они мешают...

В самом деле, лицейсты спорили, кому из них переворачивать ноты. Всем, очевидно, было очень весело.

— Давайте играть в омонимы, — предложила низким грудным голосом Аннет.

Пение, музицирование, *jeux d'esprit*<sup>8</sup> были здесь обычным времяпрепровождением.

Пушкин несколько оживился, увидев друга своего Пущина. Тот, с всегдашним выражением открытости и энергии на лице, сидел в свободной позе, откинувшись к спинке дивана и заложив ногу на ногу. Пушкин хотел сесть рядом с ним, но по другую руку Пущина сидел Корф — как всегда чистенький, опрятный, притворно-скромный, а с ним Пушкин не ладил. Поэтому он направился к обитому сафьяном диванчику, на котором сидел Кюхельбекер.

Длиннотелый, нескладный Кюхельбекер повернулся и, хотя они расстались совсем недавно, обрадованно обхватил руками локоть Пушкина. Тот слегка отодвинулся.

— А не почитать ли нам? — предложил Энгельгардт. И, вооружившись очками, раскрыл Лессинга.

Он был отличный декламатор. Вечерами он приходил с книжкой в рекреационный зал к своим воспитанникам. Он справедливо полагал, что чтение вслух развивает юные умы и как ничто иное воздействует на сердце.

<sup>7</sup> Се человек! (Лат.)

<sup>8</sup> Игры в угадывание, акrostихи, шарады и т. д. (франц.).

Свет лампы падал на белые страницы и дебелое лицо седеющего директора. Пушкин оглядел своих товарищей. Пять лет они вместе жили, учились, росли и так сроднились друг с другом, что только в какую-то особую минуту удавалось увидеть их как бы со стороны...

Кюхельбекер рядом громко дышал; на слабой, длинной его шее небольшая голова будто не могла удержаться и кренилась набок; он приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Нескладность долговязого Кюхельбекера давно служила неиссякаемым источником остроумия, насмешек и эпиграмм...

Дельвиг внимательно слушал. Из лицейских поэтов, пожалуй, только еще мешковатый, рослый, апатичный Дельвиг нес в себе тайну искусства... В его крупном круглом лице была невозмутимость успокоенной гармонии, но невозмутимость и апатичность исчезали и лицо оживало, когда гармония начинала звучать громче и настойчивее. Сейчас он не просто слушал, а как будто удивлялся тому, что слышит...

Но вот кто всегда достоин похвал! Физически слабый Вальховский — тщедушный, с узкой грудной клеткой — был неутомим в самовоспитании; он урезывал часы сна ради беспримерных подвигов в учении; он, готовя уроки, садился верхом на стуле, вырабатывая осанку кавалериста; он, подобно Демосфену, клал камешки в рот и декламировал в одиночестве у озера; он взваливал на хлипкие плечи толстые тома Гейма и ходил с ними часами — и при всем этом был скромен, правдив, добродушен...

Из всех углов на директора смотрели с преданным восхищением. Только Пушкин был хмур и не слушал чтения. Директор пытался взглянуть ему в душу — это вызывало протест. Директор расспрашивал о доме, о родных, о воспитателях, о книгах, которые он читал, — для чего? Советовал не печатать ничего — почему? Было такое ощущение, будто ласковый, осторожный директор расставляет ловушки, раскидывает сети, чтобы незаметно связать его, лишить свободы.

Когда директор закончил чтение, вокруг снова задвигались, заговорили. Вошел слуга и щипцами снял нагар со свеч. Пуштин, радостно блестя глазами, подошел к Аннет и заговорил с ней по-французски.

— Играть! Играть! В омонимы! Музицировать! — раздались крики.

Пушкин упорно молчал. Из всего, о чем говорил, и из того, как с ним говорил Егор Антонович, делалось ясно, что директор хотел составить о нем мнение. И мнение составилось неудовлетворительное, это тоже было ясно...

— Играть!.. Сочинять стихи!.. Стихи на заданные рифмы...

Но Энгельгардт хотел другого. Он хотел живого общения, живого разговора, он собирал лицейские реликвии — шуточные песни, словечки, выражения.

— Друзья мои! — Егор Антонович обвел всех приветливым взором. — Я уверен: наша дружба, наша откровенность будут расти и мы явим другим учебным заведениям разительный пример взаимодоверия между воспитателями и воспитанниками... А я... — он улыбался, — я буду хранить дорогие моему сердцу лицейские предания...

Сейчас же посыпались словечки из местного лицейского жаргона. Откуда, например, взялось выражение «идти бочком домой»? От походки Тыркова, которую заметили сразу же, много лет назад. Или другое, например. В их рукописных журналах «Для удовольствия и пользы», «Неопытное перо», «Сверчок», «Юные пловцы», «Лицейский мудрец» был раздел «Внутренние происшествия». И теперь никто не может объяснить, как получилось, но просто нет другой фразы, которая бы вызывала так безотказно смех, как слова: «Внутренних происшествий не знаете!»

После разговора с директором в душе Пушкина всколыхнулись воспоминания, и эти воспоминания были неприятны. Сколько довелось ему испытать горечи еще дома из-за губернеров, пытавшихся накинуть на него узду! И дома о нем тоже создалось несправедливое мнение... И тогда это тоже было оскорбительно... Но и тогда, и сейчас, и всегда он готов за себя постоять! Теперь ему остро захотелось встать и уйти из квартиры директора.

А веселые рассказы продолжались. Почему, например, вместо клички «братцы» они величают друг друга странной кличкой «скотобратцы»? Да, почему? — Энгельгардт потирал свои пухлые коротенькие руки. А это Олосенька Илличевский, поэт и художник, всегда в карикатурах изображал своих приятелей то со свиным рылом (раздался смех — речь шла о Мясоедове, тупице, за обжорство прозванном Мясожоровым), то с ослиной головой (опять смех — речь шла о Кюхельбекере, об этом Кюхеле, Гезеле, Вилле, имеющем больше кличек, чем кто-либо другой в лицее), то с медвежьей мордой (а это о рослом, малоповоротливом Данзасе, у которого и кличка была Медведь).

— Но откуда... — Энгельгардт давился от смеха и не мог продолжать, — откуда вот... вот это: «Вставайте, Негг<sup>9</sup> Матюшкин!»?

Матюшкин был здесь. Полный чудноватый мальчик — такой застенчивый, что он все время смотрел куда-то в сторону, а начав говорить, недоговаривал, так что трудно было понять бессвязные обрывки фраз. Энгельгардт смотрел на него восхищенным взглядом отца, неожиданно обретшего еще одного сына. Матюшкин был сирота. Но теперь он обрел семью! Энгельгардт называл его даже не по имени — Федя, — а на ласковый немецкий манер: Федернелке!

— Откуда же, откуда это о Федернелке: вставайте, Негг Матюшкин?

Это из национальной лицейской песни. Национальных песен было бесчисленное множество. Тут же хором пропели куплеты:

Молшаты! Я сам фитала.  
Молшаты! Я гувернер.  
Молшаты! Ты сам софрала.  
Пожалуюсь теперь!

Директор и его семья весело подпевали. Получалось просто чудесно! Неизвестно, кому этот вечер доставлял больше удовольствия — лицеистам или их директору.

— Ну-с, mesdames et messieurs<sup>10</sup>, давайте музицировать, — предложил директор.

Бетси, в легком кисейном платье с оборками и в белой шали с цветными полосками по кайме, снова села за клавикуды. С ней рядом со скрипкой в руках встал Яковлев — лицейский весельчак, артист, музыкант и сочинитель басен.

Между тем и стол уже был накрыт, на нем стояли принесенные из буфетной домашние закуски и сладости. Молодая горничная в фартучке, с наколкой внесла кипящий самовар.

— Пожалуйте к столу, — приветливо сказала Марья Яковлевна. Но Пушкин встал и откланялся.

— Почему же? — недоуменно спросила Марья Яковлевна.

Ему хотелось уйти. Оглянувшись в дверях, он увидел, что Пущин неодобрительно качает головой. В самом деле, уйти в момент, когда хозяйка приглашает к столу, было не в лучших правилах.

<sup>9</sup> Господин (нем.).

<sup>10</sup> Дамы и господа (франц.).

А Энгельгардт с сожалением смотрел на насупленного, неловкого лицеиста. Он уже составил о нем мнение: этот юноша был не в меру честолюбив, был чужд всякому платонизму, утехам семейного счастья; увы, несчастное домашнее воспитание иссушило его сердце и испортило ум. Но в чем в таком случае был долг наставника? Пока не поздно, по мере сил смягчить душу.

Пушкин еще раз откланялся и ушел.

Наступил тот час, когда музы слетались к его студенческой келье. Они несли свитки и свирель, и келья преобразилась, и все, что он за день увидел, узнал, почувствовал, преобразилось тоже, будто сейчас выступила, став явной, прежде скрытая суть вещей... Этой сутью была — красота...

Привычные аллеи парков сделались таинственными; голые, покрытые снегом деревья вдруг зашумели пышной зеленой листвой. И стены привычных домов на привычных улочках стали как будто прозрачны для глаз... Шум и суета прожитого дня отпали, и вся жизнь предстала от начала до самого конца как драгоценный дар веселья, радости... Неужто были сегодня какие-то стычки и ссоры? Они отлетели, как шелуха, и место их заняло дружество, которым прочно было спаяно лицейское братство.

## 4

Могу ль забыть я час, когда перед тобой  
Безмолвный я стоял, и молнийной струей  
Душа к возвышенной душе твоей летела  
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела,—  
Нет, нет! Решился я — без страха в трудный путь,  
Отважной верою исполнилася грудь.  
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!..  
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья,  
Лечу к безвестному отважною мечтой,  
И, мнится, гений ваш промчался надо мной!

*«К Жуковскому».*

Урок вступил в самую томительную полосу: он давно начался, а до конца было далеко. Пушкин читал французскую книжку — и держал ее, не скрывая, прямо перед собой, шумно листая страницы. В лице его — в улыбке и в приподнятых бровях — отражались чувства, которые он испытывал; иногда, задумавшись, он смотрел по сторонам или на потолок, будто внимательно разглядывал окрашенные в бледно-зеленый цвет стены с висящими на них учебными картами и таблицами или замысловатые росписи плафона.

Преподаватель математики, черноголовый тучный профессор Карцов, в ленивой, расслабленной позе сидел за своим столом. Он давал объяснения тягучим голосом и поглядывал на читающего Пушкина. Впрочем, картина эта была обычной. В одной из лицейских песен недаром пелось:

А что читает Пушкин?  
Подайте-ка сюды!  
Ступай из класса с богом,  
Назад не приходи.

Не меняя ленивой своей позы, профессор мелком писал на черной грифельной доске.

— Господин Пушкин,— наконец сказал он.— Пожалуйста к доске...

Пока курчавый мальчик с живыми глазами и подвижным, смысленным лицом шел через класс к кафедре, Карцов пытливо вглядывался в него, будто пытаясь наконец для себя уяснить: что же происходит во время его лекций? Почему никто не занимается?

— Извольте решать,— сказал Карцов.

На доске была написана алгебраическая задача. Пушкин взял в руки мелок и принялся писать, старательно закрывая телом написанное. Было очевидно, что он ничего не знает, ничего не понимает и пишет лишь то, что взбрело ему на ум. Но он задорно улыбался.

— Что же у вас получается? — спросил Карцов.

Пушкин все еще писал, прикрывая телом доску.

— Так, так,— прокомментировал Карцов.— А плюс Б равно красному барану...— Он помолчал, следя полуироническим-полупечальным взглядом за бойко чиркающим мелом учеником.— Так, так,— сказал он.— Тяп да ляп — и построили кораб...— Это был обычный стиль его комментариев.— Но, в конце концов, что же у вас получилось?

Теперь Пушкин повернулся к нему улыбающимся лицом.

— В конце концов, господин профессор, получается нуль,— сказал он.

В классе раздался громкий хохот, и видно было, что именно этого хохота ученик ждал и теперь очень доволен.

— Совершенно верно,— язвительно сказал Карцов.— Ваши успехи в моем классе всегда равнялись нулю. Садитесь...

Возвращаясь на свое место, Пушкин взглянул в окно. Неподалеку от лицея, на дворе соседней Знаменской церкви, стоял незнакомый человек...

Человек вышел из церковного двора и направился к ближайшему переулку. Он носил широкополую шляпу, а на спине друг на друга спускались пелеринки темно-коричневого редингота, и что-то казалось знакомым в его фигуре. Человек повернулся — и тут он узнал: это был Жуковский!

Сейчас же он прильнул к стеклу, распластался на стекле, будто желая выскочить в окно.

— Господин Пушкин,— не меняя тягучих интонаций и, видимо, не сердясь, сказал Карцов.— Вы кого там увидели?

Господин Пушкин, заметно взволнованный, сел на место, а Карцов продолжал:

— Но кого вы могли в это время увидеть? Знакомую мамзель? Или добропорядочную царскосельскую матрону? В неуточный час, в неподобающем месте — какой скандал!

Переваливаясь тучным своим туловищем, он сошел с кафедры.

— Скандал! Настоящий скандал! — повторял он, направляясь к окну. Но, оглядев открывающиеся из окна площадь и улочки, заключил: — Нет, достопочтенные царскосельские жители сейчас на послеобеденном отдыхе...— Он взглянул на большие золотые часы, свисающие на толстой цепочке из жилетного кармана.— Да, царскосельские жители сейчас все по домам. Даже господин Н. Н.— не будем уточнять имени — еще почивает, пристроив ветвистые свои рога на пуховой подушке, а молоденькая его жена уже готовит свои туалеты, чтобы вскоре упорхнуть в известном нам направлении...

Он был изрядным сплетником, этот сумрачный, хмурый математик. Приходя в класс, он приносил с собой сплетни о царскосельских жителях.

Как всегда раздался хохот, поднялся шум.

Так странно проходили эти уроки. Вряд ли ученики уважали учителя, о котором ходила эпиграмма Илличевского:

Поверь, тебя измерить разом  
Не мудрено, мой друг Черняк;

(Карцов был черноволос)

Ты математик — минус разум,  
Ты злой насмешник — плюс дурак.

— Прошу по местам,— повторил Карцов, сам не веря убедительности своих слов. Он мнительно ощущал некую второразрядность своего положения среди прочих профессоров императорского лица.— Прошу записывать...— Будущим дипломатам, сановникам и губернаторам вряд ли могли понадобиться математика и физика — прозаические науки «приказного звания».

Как только прозвучал звонок, возвещающий окончание сдвоенной лекции, Пушкин бросился вниз по лестнице в гардероб и оттуда на улицу. Жуковский ожидал его!

Они пошли по аллеям парка.

Жуковский лучезарным взглядом смотрел на тоненького невысокого лицеиста в казенной серой шинели с алым воротником и фуражке с нарядной опушкой, который легкими, припрыгивающими шагами двигался с ним рядом. Он пришел сюда, чтобы снова увидеть это юное чудо, так неожиданно возросшее в семье давних его друзей Пушкиных.

— Что нового на Парнасе? — живо спросил Пушкин.

Но он и сам знал все новости. «Варягороссам» холодно под «Шубами» Шаховского, не правда ли? Он захохотал. Он никогда в глаза не видел этого Шаховского, гонителя Карамзина, но представлял его угрюмым жалким стариком, достойным всяческих насмешек. Не правда ли, на собраниях «Беседы», которую нужно называть не «Беседой любителей русского слова», а «Беседой губителей русского слова» (это была не его острота, но он знал эту остроту и опять захохотал), — не правда ли, на их собраниях в особняке Державина на Фонтанке (тут он отвлекся, представляя дам в бальных платьях и вельмож и генералов в лентах и звездах), не правда ли, на этих торжественных, как Государственный совет, собраниях томительно и скучно!..

И он тут же пропел шуточный гимн:

Хвала, хвала тебе, о Шутовской!  
Хвала, герой!  
Хвала, герой!

Он сам всей душой был с «Арзамасом». Там были его друзья. Он рвался в бой против «Беседы». Он обо всем читал, все слышал, все знал — он знания впитывал в себя, как губка. Он был полон энтузиазма. Чувства выплескивались из него смехом, сверканием белых зубов, резкими, неожиданными движениями.

Жуковский, склонив по своей привычке голову несколько набок, любовался им: какое милое, какое живое творение перед ним!

— На Парнасе, душа моя, идет страшная война,— сказал Жуковский негромким и каким-то особенным, проникновенным голосом.— Мы сыплем на головы друг другу эпиграммы, упреки, сатирические куплеты, а я смеюсь: по правде говоря, бранные звуки не для моей лиры...

Лицо Жуковского — с очень белой, будто омытой молоком ко-

жей, с темными, по-восточному матовыми глазами — словно бы делилось на две половины: верхняя часть лица мечтательно застыла, а нижняя, с небольшим ртом, мягкими губами и скошенным подбородком, напротив, была очень подвижной, и выражение всего лица зависело именно от нижней половины. Сейчас все лицо его озарилось радостью. И поэтому что-то детское, казалось, было в нем.

Они говорили о войне «Беседы» и «Арзамаса» в том шутовском тоне, который был принят среди арзамасцев — этих веселых людей, неистощимых в остроумных измышлениях и замысловатых выдумках. Они говорили о том, что в знаменитой «Беседе», в этой хранине, обитаемой мертвецами, можно услышать лишь молчание, не нарушаемое звуками человеческого голоса, и увидеть лишь сырость, которая покрывает плесенью запустевшие головы «Беседы»...

О, Жуковский! Пушкин чувствовал — этот человек любит его.

— Скоро, душа моя, и ты придешь к нам в «Арзамас», — сказал Жуковский. — Какую же кличку мы тебе дадим? (В «Арзамасе» все носили клички.) Помнишь, у меня в балладе «Светлана» есть сверчок:

С треском пыхнул огонек,  
Крикнул жалобно сверчок...

Хочешь, будешь Сверчок? Кричи, Сверчок, на здоровье!

И они обсуждали, как, надев красный колпак, Пушкин произнесет клятву, а потом отходную по кому-нибудь из «покойников» «Беседы».

Они шли по дорожке, расчищенной и посыпанной песком для царя, вниз по террасам и вокруг Большого пруда.

И Пушкин уже всерьез стал говорить о Шаховском. Шаховской — посредственный стихотворец, он не имеет большого вкуса. И он худой писатель... Но он неглупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое, дома все записывает, а потом как ни попало вклеивает в свои комедии. Его «Новый Стерн» — холодный пасквиль на Карамзина. Его «Шубы» никого не греют.

Жуковский слушал с удивлением. Нет, в самом деле, что за маленькое чудо вышагивает с ним рядом — сколько живого чувства!..

Он взял Пушкина под руку.

— Поэзия — это мечты нашей грешной земли о святости, — сказал он. — Может быть, человеческий род очистится через поэзию?.. Я в эти дни грешил с музой...

У Жуковского губы сомкнулись, углы безвольного рта опустились, лицо, изменив выражение, сделалось печальным, глаза окутались влажной пеленой.

— Да, я грешил с музой...

И напевным тихим голосом он принялся читать из баллады «Двенадцать спящих дев»...

Они подошли к лестнице, ведущей к легкой белой колоннаде Камероновой галереи. На каменных пилонах высились статуи Геркулеса и Флоры. По широкой лестнице мимо этих статуй, потом по необыкновенно изящно изогнутому маршу с узорчатой решеткой они поднялись на галерею. Сверху открывался обширный вид. На замерзшем, заснеженном пруду, окаймленном полосой прибрежных кустов, высилась ростральная Чесменская колонна.

— Ты написал что-нибудь новое? — спросил Жуковский.

Да, написал. Пушкин извлек из-за полы шинели плотные синеватые листки бумаги. Тут же на галерее Жуковский принялся читать. Это было послание к нему, Жуковскому.



Благослови, поэт! В тиши парнасской сени  
Я с трепетом склонил пред музами колени...

Жуковский с чувством сжал маленькую, изящную, прекрасную руку Пушкина. Он благословлял его: пора издать первую книгу стихов.

Как мужал, как зрел юный талант! Торжественно звучал александрийский стих. И как удачно использованы для афоризмов парные рифмы, как легки они для запоминания. Мастерское послание! В таком возрасте! Пока еще он бродит вокруг чужих тем и форм, но что будет, когда он найдет свое! Нужно направлять его, поэтому Жуковский заговорил о том, что сейчас все — и Карамзин, и Батюшков, и он сам, Жуковский, — мечтают о сказочной русской поэме. Как важна сейчас для отечественной литературы народная поэма! Как нужен сказочно-богатырский эпос о древней Руси! Не попробовать ли здесь свои силы Пушкину?

А потом осторожно, тихим голосом Жуковский заговорил о важности нравственного воспитания:

— Быть счастливым, душа моя, зависит не от нас. Но быть достойным счастья, идти к прекрасной цели — о, это наше! В нынешний просвещенный век знание истории, географии, натуральной истории должно быть фундаментальным. Мне самому плохо приходится от недостатка знаний... И нужно к воспитателям чувствовать благодарное уважение... — И потом опять заговорил о том, что бедной нашей литературе нужна национальная поэма — из времен древнего киевского рыцарства, времен еще не крещенной Руси...

На лице мальчика будто молния обозначила устремленность души к высокому... Как быстро он схватывал, как быстро постигал скрытую суть, тайный смысл!.. Жуковский смотрел на него с любовью.

И Пушкин знал: его любят, его ценят, его сердце и душу понимают. И в том, что говорил Жуковский, разве не было веры в него?

— Мы понимаем друг друга сердцем, — говорил Жуковский. — Эта связь прочная... Помни обо мне, пиши мне, обращай ко мне! Кстати, душа моя, ты знаешь, что на днях к тебе собирается Карамзин? Да, да, Карамзин весьма интересуется тобой!..

Карамзин! П е р в ы й писатель! Неужто сбываются мечты?

— Ну, мне пора, душа моя, — сказал Жуковский.

На прощание они расцеловались.

И снова музы слетелись к келье.

Затейницы! Из встречи с певцом Людмилы им захотелось создать Послание, выразить юношескую признательность и в точных строках со звучными рифмами передать нетерпение неопита, готовящегося к посвящению...

Они разыгрались, их и унять было нельзя!

Из лицейских будней они создали легкие и острые стихи, в которых дары остроумия, беззлобного смеха и метких наблюдений розданы были приятелям...

## 5

И в беспокойстве непонятном  
Пылаю, тлею, кровь горит,  
И все языком, сердцу внятным,  
О нежной страсти говорит...

«Послание к Юдину».

Между тем наступил день лицейского бала. Царскосельский лицей был празднично украшен. В саду, там, где деревья вплотную подступили к зданию, и вдоль дороги, ведущей к парадному крыльцу, и

у самого крыльца зажгли плошки, на фасаде четырехэтажного здания загорелся парадный вензель с именем императора. На высоком крыльце, на каменной площадке с фонарями перед стеклянной дверью, швейцар в дворцовой ливрее встречал гостей.

Съезжались подоспевшие из Петербурга и местные царскосельские фамилии. Всех родителей известить не удалось, но кое-кто знал и приехал.

Появилась мать Дельвига. С давних времен, с начальной поры, когда маленьких мальчиков, собранных здесь, одолевала тоска по дому, так повелось: гурьбой они встречали каждого из приехавших так, как будто он приехал к ним ко всем. И теперь Пушкин среди толпы лицеистов бросился к дородной женщине с полным и очень русским лицом, с добрыми глазами и утопающим в складках подбородком. Только ее сын шел неспешной походкой. Мешковатый, рослый Дельвиг был похож на мать. Гостью повели по ярко освещенной, покрытой алым ковром лестнице наверх, в зал.

Потом приехала щуплая старушка со старомодной прической и накинутой на плечи черной кашемировой шалью, с ней сухопарая, очень высокая женщина, тоже в кашемировой шали, но с цветными полосками по кайме и в нарядной шляпке — мать и сестра Кюхельбекера. Вильгельм Кюхельбекер смотрел на мать и сестру счастливыми глазами, но, стесняясь, держался строго.

Барон Корф и его жена — степенные, патриархальные, он в мундире своего ведомства, при орденах, похожий на иностранца, только что принявшего православие и считающего в православии самым важным патриархальность, она в скромном блекло-розовом платье и высоких черных перчатках, — они не знали о бале, хотели только навестить сына, но ради торжества остались у гостеприимного директора. Младший Корф — хорошенький мальчик с чистым лицом, в тщательно подогнанном костюме, — раскрасневшись от радости, не отходил от своего фатера и своей мутер.

К Пушкину никто не приехал. Взбудораженный, нетерпеливый, он ходил из зала в «газетную», из «газетной» в зал, сбегал по лестнице вниз и поднимался наверх.

Уже полковой оркестр извлек из футляра трубы, флейты, тромбоны и разместился в смежной с торжественным залом комнате, в которой обычно лицеисты готовили уроки; сержант-капельмейстер, казалось, вот-вот взмахнет палочкой. В зале рядами были поставлены кресла.

Тут был усатый герой Отечественной войны, командир лейб-гусарского полка, квартировавшего в Царском Селе, генерал Левашов; его мундир с золотым шитьем, шнуравками, нашивками, эполетами и русскими и иностранными орденами пылал и манил, как огонь манит бабочек. Этот генерал командовал эскортом императора в Тильзите; он участвовал в сражениях; он был живым свидетелем недавних событий двенадцатого года — как много может он рассказать! Несколько щеголеватых гвардейских офицеров — родственники лицеистов или близкие к семьям лицеистов — в ментиках, доломанах, рейтузах и в высоких сапогах, украшенных снизу шпорами, а сверху кисточками, бродили по залу.

Любезнейший из хозяев, Энгельгардт в неизменном своем светлом синем фраке с золотыми пуговицами, кюлотах, черных чулках и башмаках поднялся в зал. Он сиял. Он отвешивал поклоны. Он был полон энергии и задора. Проходя мимо «газетной» комнаты и сквозь портьеры увидев лицеистов, он направился было к ним, но остановился, услышав, о чем они говорят. До него донеслось имя императора Александра. Но о чем они говорят? О благоволении Александра к очарова-

тельной Sophie из царскосельской семьи Вельо. Откуда им все известно! Как смакуют они подробности любовных свиданий в соседнем Баболовском дворце! И какое неопишное выражение на раскрасневшихся их лицах!..

Энгельгардт вздохнул и пошел прочь: воспитанники его вошли в возраст, весьма опасный для разных соблазнов.

Да, он был прав. Как только появилась приглашенная на бал хо-рошенькая Наталья Кочубей — в белом платье из гро-муара, вышитом мушками, с легкой шалью на плечах и с цветами в волосах, прелестная, воздушная,— сейчас же восхищенные юноши обступили ее кружком. Недаром так долго трудились они над прическами, завивались, расчесывали челки, помадились. Вот идет Горчаков как совершенный *homme du monde*<sup>11</sup>, он двигается неторопливой плавной походкой, немного откинув голову с завитыми волосами, неся на красивом удлиненном лице обаятельную улыбку. Матюшкин — любитель уединения и природы — теперь оживленно сует по залу. А тот, кого товарищи зовут Кирпичный Брус, Тырков, тупица с квадратным туловищем, неуклюжей походкой и глуповатым лицом,— даже он надел нарядный галстук и старается ступать легко. Рослый Малиновский — Казак, с неукротимым характером — щеголяет в особом жилете под лицейским мундиром и в модных ботинках. Неуклюжий детина Данзас, в самом деле похожий на медведя, вертит в руках изящный складной лорнет...

Оркестр заиграл увертюру из популярной итальянской оперы. Бал начинается, уже гремит, блещет всюю! Как не закружиться мечтательной голове лицеиста, соскучившегося в своем «монастыре», как не замереть от радостных предчувствий юному сердцу! Ярко горят свечи в шандалах, свечи в канделябрах, кенкетные масляные лампы; расставленные по углам курильницы источают благовоние; нарядная толпа движется, в зале нет ни одного затемненного уголка — на стенах и потолке четко вырисовывается роспись, бесчисленные огни блестят в стеклах зеркал, а тяжелые малиновые портьеры на окнах пламенно отсвечивают.

Пушкин не отходил от Бакунина. Когда же придет его сестра?

Энгельгардт с торжественным и теперь строгим, неулыбающимся лицом отдернул занавес в углу, и перед публикой предстал бюст императора с лавровым венком на голове; оркестр грянул гимн, все сидевшие поспешно встали и спели «Боже, царя храни».

Пушкин нетерпеливо всматривался в окна, будто стараясь различить подъезжающий экипаж. О, как невыносимо ожидание! Наконец снизу через дежурного гувернера передали: к Бакунину приехали. Вниз по лестнице бросились вместе с Бакуниным еще трое: Илличевский, Пуцин и Малиновский. И эти ждали его сестру.

А Пушкин побегом наверх, в свою комнату. Здесь было полутемно. Свет от расставленных в коридоре ламп проникал сюда сквозь открытую дверь. Он стал у зеркала. Сердце его учащенно билось. О, суждено ли ему счастье? И он бросился снова в зал — и вовремя: только успел он пересечь прихожую и подалее отойти от входной арки, портьера откинулась и вошла она...

Она была фрейлиной императрицы. Фрейлинский шифр, сплетенный из мелких цветов, был приколот к белоснежному ее платью у левого плеча. Она была стройной, высокой и нарядно одетой в то струящееся, как античная туника, платье, какое после раскопок Геркуланума и Помпеи, в пору увлечения древней классикой, сделалось самым модным — со свободными складками, с высоким поясом, с пышными буфами коротких рукавов,— и с легкой шалью, накинутой на плечи.

<sup>11</sup> Светский человек (франц.).

И прическа была à l'antique, и крупные локоны опускались по обеим сторонам лба. В ушах серьги. А из больших темных глаз лились радость, доброта, веселье... Ее сопровождали с одной стороны мать, с другой — брат. Илличевский, Пущин и Малиновский, как свита, следовали позади.

Уже с ней разговаривали, уже ее окружили. Нужно было к ней подойти. И он подошел и сумел поздороваться, а потом услышал ее голос — она назвала его имя, он покраснел, сделал шаг вперед и лишь потом сообразил, что она обратилась к своему брату...

— Александр,— сказала она,— проводи же нас, покажи нам, как ты живешь...

Под трубные звуки оркестра процессия — она, мать, брат и свита лицеистов — двинулась через зал.

Ей был уже двадцать один год. Она давно привыкла к большому свету и пользовалась в нем успехом; она была любимой фрейлиной императрицы; последний зимний сезон был для нее блестящим, о том, как она отличалась на придворных балах в мазурке, писал «Петербургский листок».

— Вот здесь,— сказал Бакунин,— мы занимаемся.

Своего брата она очень любила.

— Стоя за конторками, разве удобно готовить уроки? — спросила она.

Все это она видела много раз, но ей необыкновенно трогательной казалась каждая подробность его жизни.

— Стоя легче не заснуть,— сказал кто-то из свиты.

И к товарищам своего брата она относилась очень приветливо, а тех, кто больше других тянулся к ней, называла своими пажам.

...На него ошеломляюще действовало еще и то, что платье на ней, по последней моде, было короткое, оно доходило лишь до щиколоток, и выглядывали носки плоских, без каблуков туфель.

Когда они вернулись в зал, оркестр умолк и директор рассаживал гостей.

Старичок француз де Будри встал перед ширмами, отгораживающими сцену, и отвесил публике поклон. Внимание всех обратилось на него.

— Mesdames et messieurs, мы будем представлять,— сказал де Будри,— la représentation<sup>12</sup>, мы будем представлять маленькая ля комеди большого французского писателя Мариво.

Де Будри ради торжества припудрил парик. Он ораторствовал, помогая себе жестами коротких рук. Он хотел немного рассказать об авторе пьесы.

— Пьер Карле Шамблен де Мариво писал плохие романы и превосходные пьесы. Он был постоянным гостем в салонах мадам де Генсе и мадам де Ламбер — c'est un fait éloquent par lui-même<sup>13</sup>. Мы покажем маленькую одноактную ля комеди, в которой кое-что позволили себе изменить...

Ширмы раздвинулись, зрители увидели трех лицеистов с подрисованными усами, в вывернутых наизнанку, розовой подкладкой вверх, лицейских шинелях.

Один из лицеистов изображал волшебника, другой — слугу волшебника, третий — Арлекина. Потом появился четвертый лицеист — он изображал пастушка. Волшебник хотел, чтобы Арлекин был его другом, и прибежал то к уговорам, то к угрозам, то к своей волшебной

<sup>12</sup> Театральное представление (франц.).

<sup>13</sup> Это говорит само за себя (франц.).

силе. Но Арлекин пылал желанием дружить не с волшебником, а с пастушком, именно с пастушком, и они клялись в вечной дружбе и вместе искали, как избавиться от власти волшебника.

Самым забавным в представлении было то, что хитроумный де Будри, охраняя нравственность вполне уже взрослых своих воспитанников, женские роли заменил мужскими, а любовь переделал в дружбу. Таким образом, волшебник заменил фею, пастушок — пастушку и речь шла о дружбе. По-своему это было мило и очень забавляло публику.

Успех выпал на долю Арлекина. Мимика его была такой живой и забавной, он так ловко изображал дурачка перед волшебником и с такой естественностью являлся умником перед своим другом, что по рядам пробежал одобрительный шепот. Называли фамилию актера — Яковлев.

Хотя пьеса была комедией, но де Будри и в комедии требовал декламации. Поэтому грозно звучали слова:

— Я дрожу от страха! Увы! Он убьет моего возлюбленного друга! Он не простит, что я дружу с ним!..

Зрители смеялись. Иногда до них доносился шепот суфлера.

Бакунина сидела между матерью и братом в ближнем ряду, а поклонники уселись поодаль. Они смотрели не столько на сцену, сколько на нее и шепотом обменивались впечатлениями:

— Нравится...

— Улыбается...

— Засмеялась...

И сами то улыбались, то смеялись.

Ширмы убрали. Драматических артистов сменил певец. Корсаков, внук учредителя Североамериканской компании — хрупкий и бледный мальчик с тонкой болезненной шеей, с синей жилкой, бьющейся у виска, — аккомпанировал себе на гитаре и пел мягким и нежным голосом.

А Илличевский прочитал стихи. В лице его были энергия, решительность, и быстрым взглядом внимательных глаз он оглядывал публику. Закончив чтение, он поклонился в том направлении, где сидел его учитель, профессор Кошанский.

Под конец выступил лицейский хор.

И вот начались танцы! Дамы сидели у одной стены, молодые люди расположились у противоположной. Неужели кто-то оробеет, неужели кто-то забудется в угол, не испытает счастья кружиться рядом с воздушным, легким, непостижимым созданием и держать в руках маленькую ручку! Добрейший Энгельгардт ободрял самых робких и неуклюжих.

— *Vorwärts!* — восклицал он, обращаясь к кому-нибудь, кто жался к стене. — *Tanzen, tanzen* <sup>14</sup>, — говорил он, заговорщически и дружески подмигивая.

Зал был полон танцующими. И что за умильное зрелище для стоящих поодаль родителей и почтенных педагогов: прелестные девушки в воздушных бальных нарядах и рядом с ними молодцеватые лицеисты — все в одинаковых синих мундирах с красными обшлагами и воротниками и в белых перчатках — выдвигают высокие антраша, меняются в причудливых фигурах, взявшись за руки, кружатся, а музыка играет все быстрее и быстрее.

Вот уже в зале жарко, душно, тафель-декер с помощниками разносят на подносах прохладительные напитки и сладости, девушки об-

<sup>14</sup> Вперед! Танцевать! (Нем.)

махивают лица веерами — от танцев, прыжков, духоты их волосы развилась, рассыпались, перчатки промокли. Но танцоры неутомимы.

Он остановился у стены, у окна, взявшись руками за портьеру, и в одно мгновение вся история его любви прошла перед ним. Он помнил замирание сердца при встречах с ней на аллеях парка. И восклицания, и удивление, и взрывы смеха, и робкие слова, которые должны были намекнуть на чувства...

Сейчас он выжидал момент, чтобы к ней подойти. Светские приличия строги: нельзя танцевать с одной и той же дамой, это скомпрометирует ее. Ее приглашали непрерывно. Пока он стоял у стены, с ней танцевал Илличевский.

— Вы устали? — спросил решительный поэт. И, не дожидаясь ответа, воскликнул: — Но сильфиды не устают!..

И Бакунина одарила Илличевского улыбкой.

А он все стоял у стены, краска прилила к лицу, и ему казалось, что губы, нос, лоб у него напряженно вздулись...

Теперь с ней танцевал Пушкин.

— Здесь жарко, — сказал влюбленный Жанно. — Вам жарко. Но каково же мне рядом с солнцем!

И Пушкину была подарена улыбка.

И вот настал его черед — он направился к ней. Нет, учитель танцев Эбергард сейчас не был бы доволен своим учеником. Неужели в этот важный момент бестолковый его ученик забыл, что природа дала нам руки вместо крыльев, что голова, слишком высоко задранная, означает гордость, а слишком низко опущенная — униженность, что глаза должны смотреть прямо, выражая скромную веселость, а губы, не показывая зубов, должны чуть приоткрыться в приятной улыбке.

Внимательный взгляд директора Энгельгардта успевал все замечать — он заметил и лицо танцующего Пушкина. То, что написано было на этом лице, не оставляло надежд на благоразумие ученика!

...Его рот был судорожно напряжен, так что видны были белые крупные влажные зубы. Его глаза, слишком широко поставленные, смотрели напряженно, неотрывно... И он молчал, не зная, что сказать.

Она ласково взглянула на него, и он физически почувствовал живое тепло ее глаз. И ответил ей восторженным взглядом.

А потом отвел ее на место, а сам ринулся в гущу своих приятелей, потом бросился к окну, к форточке глотнуть свежего воздуха.

Бал продолжался. Когда все изнемогли от танцев, затеяли, усевшись в кружки, игры.

Это была очень веселая игра — они отгадывали желания; он разошелся; на него напала веселость, он сыпал шутками, каламбурами, сказал, что Наталье Кочубей нечего желать, потому что она совершенство (а она желала быть розой), что Ангела Северина не хочет быть ангелом потому, что на небе скучно, и она хочет на землю (что было непозволительно смело, и хорошо, что законоучитель отец Полянский не слышал его)...

Бал кончился за полночь.

Среди рук лицеистов, помогавших Бакуниной сесть в карету, была и его рука. Бакунина прощально помахала из кареты. Возможно ли? Она прощалась с ним!

Карета тронулась и покатила. А он еще долго стоял у опустевшего подъезда. А вокруг уже тишина ночи и садов. И только весенний ветер не умолкал и крутил над замерзшими прудами снежные столбы и свистел среди оголенных деревьев и в кустах по аллеям...

На слабом утре дней златых  
 Певца ты осенила,  
 Венком из миртов молодых  
 Чело его покрыла,  
 И, горним светом озарясь,  
 Влетела в скромну келью  
 И чуть дышала, преклонясь  
 Над детской колыбелью.  
 О, будь мне спутницей младой  
 До самых врат могилы!  
 Летай с мечтаньем надо мной,  
 Расправя легки крылы...

«Мечтатель».

Нужно было написать ей письмо! Объяснить ей все...

В классе изогнутые столы — каждый на пять мест, с подлокотниками, с вделанными в черные крышки оловянными чернильницами и медными подсвечниками — тянулись полукругом перед кафедрой. Сидя на своем месте, Пушкин то строчил письмо, то предавался размышлениям. Пять лет он в лицее. Здесь он губит свою молодость. А впереди еще целый год неволи и скучных обязанностей...

Он попробовал слушать.

— Перенесемся в то время, когда несчастная Херонейская битва повергла Грецию во власть Филиппа,— говорил Кошанский, то скрепящая, то простирая руки. Он посвятил лекцию ораторам древности, ибо его ученикам, будущим важным деятелям Российского государства, необходимы были образцы красноречия.— Со всех сторон Греции стекался народ к торжественному судопроизводству! — Постепенно Кошанский разгорался.— Два величайших оратора, Эсхин и Демосфен, оба — министры, оба — правители республики, воспламенялись друг против друга и дышали ненавистью.— Голос его приобрел глубину и ту благородную звучность, которые одни только могли соответствовать идеалу античности.— Вот приступ Эсхина: граждане афиняне, нарушен закон, вы видели замыслы, вы видели ухищрения врагов моих...— Кошанский вольномысличал не без влияния Куницына и вместе с примерами красноречия приводил и примеры республиканского образа правления.

Пушкин закрыл ученическую тетрадь, в которой так и не записал ни одного слова. Но лекция еще не кончилась. Конец ее Кошанский посвятил поэзии.

— Messieurs,— сказал он и досадливо поморщился, потому что услышал смешок в классе.

Ученики, с детства болтавшие по-французски, посмеивались над плохим произношением профессора: «messieurs» он произносил как «месъёз».

— А помните басни Фэдра? — спросил профессор.— У Фэдра вы можете научиться вежливости и благоразумию, и когда над чем-нибудь смеетесь, то и вспомните: quid rides?..<sup>15</sup> Помните?.. Месъёз, молодому поэту незачем спешить увидеть свое имя под типографским тиснением, не так ли?..

Пушкин встрепенулся. Это касалось его. Это он недавно отослал еще три своих стихотворения в известный московский журнал...

— Молодому поэту надобно сперва образовать свой ум и вкус,— поучительно говорил Кошанский. Все же он хотел преподать урок тем

<sup>15</sup> Чему смеешься? (Лат.).

самонадеянным и торопливым молодым людям, которые воображали, что могут обойтись без твердых знаний.— Неловко видеть отданные для тиснения стихи, которые грешат против правил. На прекрасных образцах изучать п р а в и л а — вот пока что нам нужно, не так ли?..— И он перешел к правилам. Он разобрал стихотворение Державина:—

Юная роза  
Лишь развернула  
Алый шипок;  
Вдруг от мороза  
В лоне уснула,  
Свянул цветок —

прекрасный пример события в прошедшем времени...

Пушкин возбужденно грыз ногти. Глаза его были широко раскрыты, во взгляде, которым он смотрел на профессора, были внимание и насмешка.

..Он не испытывал к профессору должной почтительности: во-первых, профессор сам писал стихи и, таким образом, как сочинитель был уязвим, а во-вторых, учитель и ученики бывали в одних и тех же царскосельских домах и проводили вечера в одних и тех же гостиных, а это вело к известной короткости отношений. Но, главное, он знал, исходя из тайны гармонии, которую нес в себе, что профессор Кошанский не может ничего ему объяснить и ничем помочь...

Потом он услышал свое имя. Профессор стоял на кафедре — поэтически растрепанный, поэтически вдохновенный, белый платок вокруг шеи подчеркивал бледность его испитого лица. Не находит ли молодой поэт, говорил Кошанский, погрешности против законов сочетания (он прочитал несколько строк) — холостую рифму (он прочитал еще строки), лишний стих (он опять прочитал), пустое восклицание?..

Нужно было отвечать. Но всерьез отвечать нельзя. Странно: он писал стихи лучше Кошанского, а должен был слушать его советы. Но делаться ученым педантом он не собирался. И он полушутивно-полусерьезно затеял с профессором спор: он и сам видит слабость своих стихов, но пусть профессор не думает, что он пишет для потомства, нет, он пишет для самого себя, марает бумагу кое-как (это было неправдой, черновики, много раз исправленные, лежали в его конторке), он не жертвует ради стихов ни покоем, ни сном и пишет, когда найдет охота — иногда утром в постели, или на прогулке, или в часы досуга...

Кошанский уже сидел за своим столом. Он отвечал с легкой улыбкой.

— Лицей есть храм Весты, в котором не гаснет огонь святой поэзии,— заключил он.— Кто молод и чувствителен душой, тому непростительно не быть поэтом!..

И на этом профессор закончил лекцию.

Уже сновали между столовой и кухней через дорогу тафель-декеры в белых колпаках — готовился чай с обычными крупитчатыми булками. Дядька, прихрамывая, с ключом в руке направлялся вниз, в гардеробную, открыл двери — после чая лицеисты наденут шинели и в сопровождении гувернеров пойдут на прогулку... Гувернер Калинин сидел в «длинной» проходной, согнув широкую спину над столом, и чинил перья — это было его любимым занятием.

Стало грустно. Вспомнился дом. Где он, московский дом,— его давно нет! За время, что он провел в лицее, его семья уехала из Москвы — сначала жили в Нижнем Новгороде, а теперь в Петербурге, в доме, в котором он еще ни разу не был. Для него маленькая



узкая комната с конторкой на высоких ножках, умывальной тумбочкой с вделанными кружкой, кувшином и мыльницей, кровать, украшенная медными шишками над изголовьем,— для него эта комната была привычнее родного дома. .

В какую туманную даль отошел тот день, когда здесь, в парадном зале, заполненном нарядной толпой, впервые их выстроили и вдруг чей-то громкий голос произнес: «Пушкин!» — и он поспешно выступил из рядов своих сверстников, чтобы благодарить и кланяться, как его учили. Вместе с тремя десятками молодых своих товарищей он потом пережил все этапы лицейской жизни — «монастырский», когда их никуда одних не пускали, «анархии» во время безначалия и смены директоров и последний этап «республики», когда им предоставили кое-какие свободы...

Каждая ступенька лестницы могла рассказать о многом. На одной из этих ступенек он когда-то ожидал Державина. С верхней площадки увидел он седую голову старика со сморщенным, как печеное яблоко, лицом, с набрякшими под глазами мешками и обвислыми губами... А вот зал, вот место в зале, где, стоя в двух шагах от Державина, он прочитал свои «Воспоминания в Царском Селе»... Вот окно, из которого он любил выглядывать на улицу... Вот уголок, забившись в который в зимний ненастный день, он любил читать и писать... А вот «келья», в которой он живет, в которой его навещают музы...

Вечером в рекреационном зале было многолюдно. Здесь каждый старался произвести как можно больше шума. Кто-то уселся на стуле верхом, как кавалерист; кто-то на паркетном полу выделял танцевальные па; кто-то прятался за колонной и вдруг с ревом кидался на спину своему приятелю...

Пушкин заметил в уголке за книгой Дельвига и Кюхельбекера и направился к ним. Как нравился ему Дельвиг! В неторопливости этого юноши как будто чувствовалась торжественная неторопливость гекзаметров. Дельвиг как будто пребывал среди богов, поглядывая близорными глазами на все земное... А рядом с ним согнулся крючком Кюхельбекер. Друзья увлекались немецкой поэзией.

Заговорили, конечно же, о стихах — и, конечно, о стихах, посланных Пушкиным в «Вестник Европы». Еще почта скакала разве что где-то по первой половине Московского тракта, а уже нетерпеливое волнение охватило Пушкина и ожидание казалось невыносимым. Но так было всегда. Каждый раз, посылая в журналы стихи, они считали дни. И они знали: нужно запастись терпением и ждать месяц, может быть, два... Март! Значит, ответ в апреле... в мае...

Каждый из них мог считаться поэтом — они писали стихи уже много лет... Пушкину казалось иногда, что он прошел длинный путь... Он увлекался Оссианом, и книга с изображением старца на фоне скал и клубящихся облаков одно время была его настольной книгой... Он хотел стать и вторым Анакреонтом, воспеть любовь, вино... Его дядя, Василий Львович, был известным поэтом — одно время он подражал дяде. Теперь он все больше поддавался чарующей музыке строф Жуковского и Батюшкова... И он наизусть помнил множество стихов старых французских поэтов — Маро, Шолье, Грессе, Парни, Вержье, Грекура, — ему было что сравнивать, из чего выбирать и над чем думать... И еще поражал поэт-гусар Денис Давыдов.

В зале появился Горчаков, но лишь для того, чтобы передохнуть от усиленных занятий в своей комнате. Он подошел к поэтам.

Горчаков так высоко парил над прочими лицеистами, что единственный из всех не имел кличек. Он почитал себя лицейским Катонном, одних он отличал, другими пренебрегал.

— Карамзин оценил тебя,— дружески сказал он Пушкину.— По дороге из Петербурга в Москву он делает специальный крюк — для чего? Для того, чтобы увидеть тебя!..

Этим он выразил свое восхищение Пушкиным и в то же время некоторое пренебрежение к другим.

— Назло славянофилам, этим защитникам бороды и кафтана, государь удостоил Карамзина самым лестным вниманием,— сообщил Горчаков последние важные новости.— Карамзин приехал всего лишь по издательским делам... а сделан статским советником и получил Анну через плечо... а статским советникам Анну через плечо никогда не давали...— Горчаков без всякого усилия вел легкий разговор, в котором были переплетены сплетни и злословие.— Ему отпущено шестьдесят тысяч на печатание истории, и... говорят, вся Академия корчится в бессильных муках зависти. Горе зоилам гения! — Горчаков простер торжественно руку перед собой. Он радостно смотрел на Пушкина, так что можно было подумать, что он говорил это о Пушкине.— Итак, в «Вестнике Европы» мы вскоре увидим твои новые стихотворения... Но чем еще ты одаришь нас?

Пушкин ответил не сразу. У него есть замыслы. Например, он хотел бы описать в картинах Царское Село, день, проведенный здесь, сады и город утром, в полдень, а потом во время вечернего гуляния. Он начал было философский роман. Но самое важное для него сейчас — книга стихов, которой мог бы он открыть поэтическое свое поприще...

— Я рад за тебя,— сказал Горчаков.

Между тем посредине зала собралась горланящая толпа, и, подхваченный порывом нахлынувшей на него жизнерадостности, Пушкин присоединился к ней. Здесь обсуждали другую новость, которую тоже уже знали все,— замену министра просвещения. Шум стоял невообразимый. Мясожоров (то есть Мясоедов) утверждал, что с новым министром лицей переведут в Петербург. Кирпичный Брус (то есть Тырков) уверял, что он обо всем этом давно знал, но таил. Мордан-Дьячок (то есть Корф) и Крот (то есть Ломоносов) вспоминали генеалогию нового министра, князя Голицына. Как отразится замена министра на судьбе лицейцев, у которых скоро выпуск? Брюзгливый старик с неизменным лорнетом в руках — Разумовский — все же был им ближе: он принимал их детьми в лицей, он приезжал и экзаменовал их, его боялись, но знали...

Слышался рассудительный голос Вальховского:

— Граф ли Разумовский, князь ли Голицын — не все ли равно для тех, кто хочет честно служить?

— Господи, упокой душу Разумовского...— затянул кто-то.

И голос Пуцина был слышен; веселый Жанно любил шутки:

— Разум — Разумник — Разумовский.

Пушкин вместе со всеми спорил, кричал, доказывал, как будто ничего так не интересовало его, как замена министра. На душе у него было сейчас светло, самолюбие его было спокойно — и он был простодушен. И он всех любил. Он любил и самых тупых и ничтожных своих братьев. Он любил само лицейское братство. Вот они, его братья — у некоторых уже изрядно обозначились усики и бачки,— они горланят, кривляются, хохочут...

Теперь в центре лицейцев был Данзас — рослый рыжий юноша этот был достопримечательностью лицея, на протяжении всех лет он был последним учеником, и ни один профессор не мог похвастаться, что научил его хоть чему-нибудь. И дело было не в тупости, а в непреодолимом отвращении к занятиям; в приятельском кругу Данзас

оживал и сыпал каламбурами. Главное же, чем он славился, был его каллиграфический почерк; он был переписчиком лицейских журналов.

И теперь, подняв над головой продолговатую тетрадь в красном сафьяновом переплете — затейливая виньетка окружала заглавие: «Лицейский мудрец», — он громко возгласил:

— Умирает! Гибнет «Лицейский мудрец»! Могила скроет скоро прах «Мудреца»... — Недаром за мешковатость и низкий зычный голос Данзас получил кличку Медведь. — Спасите «Мудреца»! — взревел Медведь. — Бедный «Мудрец»...

Номер в самом деле был тощий. Сначала шло обозрение происшествий 1815 года. В прошлом году великие монархи собрались на конгресс в Вене, а виновник, враг человечества, преступник Буонапарт, счастливо совершил побег с острова, но затем понес заслуженную кару...

Они сейчас же вспомнили песню и дружно запели:

Буонапарту не до пляски,  
Потерял свои подвязки...

Эту песню они пели в далеком 1812 году, когда сюда, в лицей, дошли вести о пожаре Москвы, а потом о бегстве Наполеона и победе. О, как полны они тогда были всеми этими событиями! Они знали все сводки и реляции, имена всех героев, и такой пламенный патриотизм владел ими, что однажды на французском уроке они побросали под скамейки учебники, а Пушкин и Кюхельбекер твердо решили записаться в *corps de volontaire*<sup>16</sup>.

Данзас прочитал вслух:

— «Маршал Ней, изменивший своему долгу, казнен во Франции. Но другой пособник Буонапарта, генерал-директор почт граф Лавалет, бежал в неизвестном направлении из тюрьмы в женском костюме. Однако «Лицейскому мудрецу» удалось узнать, где он скрывается. Оказывается, он пробрался в Петербург, а потом в Царское Село и теперь живет в номере тридцать девять, у Кюхельбекера, помогая ему писать плохие стихи...»

Раздался хохот. А Кюхельбекер болезненно улыбался, видимо растравляя в себе боль от незаслуженных гонений.

Опять подняв над головой журнал, Данзас показал карикатуры — его приятели были изображены в виде ископаемых животных.

— О чем думают наши Карамзины? — кричал Медведь — Данзас. Он с надеждой смотрел на Пушкина. — Когда они напишут статьи? Давайте ваши статьи: типография Данзаса, цензор — барон Дельвиг, издатель — Корсаков...

А потом выдвинули на середину зала ветхий диван, вытасченный из класса пения, со спинкой, украшенной позолотой, с узором, изображающим лук со стрелами, и начали через него прыгать.

Ах, как это весело! Очередь прыгунов не уменьшалась, а Пушкину не терпелось, он побежал одновременно с кем-то, и поэтому, может быть, его ноги задели за спинку дивана и он, неловко перекувырнувшись, оказался на сиденье.

Послышался смех. О, в какую ярость он пришел! Он испытал унижение, и это унижение было таким невыносимо острым, что лицо его делалось то пунцово-красным, то бледнело, будто настал последний его час...

И настроение изменилось. Что за пустая забава! Мысли о посланных в «Вестник Европы» стихотворениях овладели им. В одиночестве принялся он бродить по залу. Вот место, на котором он стоял

<sup>16</sup> Добровольческий корпус (франц.).

перед Державиным, читая «Воспоминания в Царском Селе». Он и сейчас стал на тот же квадрат паркета.

Раздался чей-то громкий голос:

— Где Дельвиг?

И в ответ:

— Дельвиг пошел спать!

— Дельвиг принял сонный порошок! — изнемогая от хохота, придумал кто-то.

И толпа взвыла, захохотала, затопала. Скорее наверх! Дельвиг, известный своей сонливостью, Дельвиг, просыпающий первые лекции, принял сонный порошок. Скорее к Дельвигу!

И толпа увлекла его. Бросились наверх. Толпа прогрохотала по лестнице мимо отстранившегося к стенке гувернера. Толпа ввалилась в коридор лицейских спален. К Дельвигу, к Дельвигу! Но Дельвига не было. И тогда взоры всех обратились на Кюхельбекера.

Может быть, почуяв опасность, Кюхельбекер своевременно ушел из зала. Теперь он хотел спастись в своей комнате. Но уже его со всех сторон окружили. Не видя путей к отступлению, Кюхельбекер остановился как вкопанный. Рот его искривился, задержался. Лицо налилось кровью, а выпуклые глаза под тяжелыми веками еще больше вытаращились.

— Не позволю! — закричал он, протяжно растягивая слова и с сильным немецким акцентом. — Не позволю-таки!.. — Он часто употреблял частицу «таки».

— Господа, что это вы? — вмешался гувернер. Он протолкался в центр круга и взял Кюхельбекера под руку. — Господа, нехорошо-с!

— Вниз! Все вниз! — раздался новый призыв.

И так продолжалось, пока не раздался звонок на молитву, звонок раздеваться, звонок ложиться в постель.

Но он не мог спать. Лежа в постели, он через дощатую перегородку, не доходившую до потолка, переговаривался с Пуциным.

Они принялись вспоминать, как впервые встретились в приемной министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского: Пущина привез его дед-адмирал, а Пушкина его дядя, Василий Львович. Теперь они пытались вспомнить, кто тогда был еще в приемной. Дельвиг? Нет, Дельвига не было. Были Горчаков, Ломоносов, Мясоедов.

Как удивительно все совпадало у них. У обоих отношения с гувернерами дома напоминали войну, и в этой войне то одна сторона, то другая одерживала победу. Пушкин дома дружил с сестрой, и Пушин дружил со своими сестрами. У Пушкина была няня, Арина Родионовна, и у Пущина была няня, Авдотья Степановна. И фамилии их — Пушкин и Пушин — были похожи.

Ах, какое счастье иметь друга, первого друга, в котором ты всегда уверен и которому все доверяешь!

## 7

Не грозный приговор на гибель внемлю я:  
Сокрытого в веках священный судья,  
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый  
.....  
Приветливым меня вниманием ободрил.

«К Жуковскому».

Дверь в класс открылась, и, увидев директора, ученики встали. Но директор был не один, за ним вошли трое незнакомых людей, и всю процессию замыкал надзиратель по нравственной части Фролов.

Профессор Кошанский сошел с возвышения кафедры. На его бледном лице выразилось радостное изумление. И сразу все почувствовали, что произошло нечто необычное.

Еще ничего не было сказано, но по классу от стола к столу, как вздох, пронесся шепот: «Карамзин!»

Процессия остановилась.

Перед ними был высокий седой старик, худощавый, с тонким лицом, иссеченным глубокими складками, а рядом с одной стороны низкорослый человек с жирным туловищем на худых ногах, с яйцевидной головой и радостно-приветливым выражением горбоносого лица, а с другой — совсем молодой человек с густыми бачками, насупленными бровями и смотрящими исподлобья маленькими глазками. Кто из них Карамзин?

— Садитесь, господа, — взволнованно сказал Кошанский.

Лицеисты, шумно хлопая откидными крышками, сели, но тянули шею и смотрели широко раскрытыми глазами. Седой старик был одет небрежно, у низкорослого толстяка, напротив, панталоны и фрак были канареечно-яркие, а пухлый подбородок утопал в кружевном жабо; хмурый молодой человек был в строгом темном костюме. Кто Карамзин?..

— Наш профессор русской и латинской словесности, полагаю, небезызвестный вам эрудит и знаток классики Николай Федорович Кошанский, — сказал Энгельгардт.

Кошанский, все время скромно стоявший сбоку от кафедры, дрожащей рукой поправил свой белый галстук и отвороты форменного сюртука.

— Нас почтил визитом, — обращаясь к лицеистам, сказал Энгельгардт, — его превосходительство историограф и знаменитый наш писатель Николай Михайлович Карамзин..

Энгельгардт с любезной улыбкой сделал пол-оборота к седому старику. Он хотел продолжать, но раздался аплодисменты.

Карамзин слабо улыбался. Глаза его скользнули по лицам мальчиков — от одного к другому. Между тем директор, стараясь говорить громче из-за шума и аплодисментов, представил остальных. Они тоже были известными лицами: поэт Василий Львович Пушкин, дядя лицеиста, и поэт князь Петр Вяземский. Возвращаясь из Петербурга в Москву, они не поленились заглянуть в лица.

— У наших гостей времени мало, — со значением сказал Энгельгардт и этим прекратил шум и восстановил тишину.

— Где же маленький Пушкин? — спросил Карамзин.

— Соблаговолите вызвать Пушкина, — сказал Энгельгардт.

— Господин Пушкин! — возгласил профессор.

И над одним из столов в заднем ряду поднялась курчавая голова и худые, но крепкие плечи, так хорошо знакомые здесь всем.

Карамзин с любопытством разглядывал юношу. И Пушкин смотрел широко раскрытыми глазами, так что поблескивали выпуклые белки, потом опустил глаза, потом снова взглянул на Карамзина. А взгляды остальных стремительно перебегали с одного на другого. Под этими взглядами лицо Пушкина наливалось краской: сначала покраснели щеки, уши, потом лоб и широкая переносица, потом шея. Напряжение в нем нарастало, и это было зримо заметно — губы будто тоже налились и еще больше выпятились вперед, странно исказив лицо, широкие, с вырезом ноздри напряглись, крылья их покраснели и раздулись, казалось, напряжение вот-вот взорвет его.

— Молодой человек, — голос Карамзина прозвучал спокойно и благожелательно, — стихи твои радуют друзей литературы...

Он помолчал, как бы давая смущенному поэту время, чтобы в

полной мере почувствовать счастье от его слов. Впрочем, слова его взволновали здесь всех. Егор Антонович Энгельгардт пыгливо и, может быть, по-новому вглядывался в своего ученика. Инспектор Фролов громко и одобрительно крикнул и переступил с ноги на ногу. Василий Львович Пушкин, слыша похвалы своему племяннику, таял и закатывал глаза к небу. Профессор Кошанский, бледный и торжественный, откинул назад голову с поэтической шевелюрой.

— Орел, пари,— сказал Карамзин с силой,— но не останавливайся в полете.— И глядя на курчавого мальчика, опять слабо улыбнулся.

Но он, видимо, сказал все, что хотел сказать.

— Садитесь, господин Пушкин,— посчитал нужным подсказать профессор Кошанский.

Пушкин каким-то стремительным движением, будто пружины сразу ослабели, опустился на скамью. И в это время опять зазвучали аплодисменты.

А Карамзин, кивнув всем головой и поклонившись Кошанскому, торопливо направился к двери. Процессия двинулась вслед за ним.

Как только закрылась дверь, гул и шум, никем больше не сдерживаемые, взмыли с новой силой.

— Господа,— сказал Кошанский,— прошу внимания...

Он поднялся на кафедру и, став возле своего стола в какой-то особо изящной позе, сложив руки крестом на груди и высоко вскинув голову, сказал:

— Господа, визит великого Карамзина — да, господа, это знаменательное событие, оно останется в анналах нашего лица. — Он напряженно улыбнулся. Когда-то, в начале века, первые свои литературные опыты он начал в журнале Карамзина «Вестник Европы». — Мы чувствуем значение этого события,— сказал он.— Господин Пушкин,— Кошанский говорил особо мягким голосом, — вы можете проводить гостей...

Гости были на улице. На Василии Львовиче теперь была тяжелая меховая шуба и шапка, и Пушкин бросился в объятия своего дядюшки; Энгельгардт и Фролов беседовали с Карамзиным, а они отошли в сторону.

Добрейший Василий Львович привез его когда-то в лицей. Теперь Василий Львович неумоимо трубил повсюду о чуде-племяннике и упросил Карамзина посетить лицей.

В облике дядюшки, в его быстрой французской речи, в манере говорить в нос, в благодушной беззаботности было свое, родное.

— Да, Саша,— с чувством проговорил Василий Львович,— рад за тебя, рад, Сашка, очень рад! — Растрогавшись, Василий Львович чмокнул своего племянника.

Вспомнился деревянный одноэтажный московский дом дяди и сам дядя, благодушный хозяин, идущий навстречу гостям с выражением вечной приветливости на лице, с радостными восклицаниями, с раскрытыми объятиями.

— Да, Саша, Николай Михайлович Карамзин не каждого похвалит,— в восторге повторял Василий Львович.— Теперь Карамзину повелено жить в Царском, ты сможешь теперь с ним видаться. Рад за тебя, Сашка!

Губы Василия Львовича были увлажнены, поцелуи заметно отпечатывались на щеках племянника.

— Ах да! — вспомнил Василий Львович и извлек мятое письмо.— Тебе от твоих.

Племянник сунул конверт в карман, а дядя принялся рассказывать: Лелька (так он называл младшего брата Пушкина) растет,

умнеет, но bestия — и болел и не ходил в пансион. Матап (он говорил о бабушке Марье Алексеевне), увы, увы, угасает...

— Как твои занятия? — прервал он себя. Но не дав племяннику времени для ответа, продекламировал:

Слов много затвердить не есть еще ученье:  
Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье...

Слабость его к своим стихам была общеизвестна. А потом уже без всякого предлога он вдруг восторженно продекламировал:

За что мы на костер с тобой осуждены?  
За то, что мы, любя словесности науки,  
Не век над букварем твердили аз и буки...

Эти строки были свидетельством бесстрашной его борьбы с «Беседой», с «варягороссами», с невеждами. Он был старостой «Арзамаса» и носил грозную кличку «Вот-я-вас!».

— Василий Львович, нам пора! — послышался голос Карамзина.

— Но я познакомя тебя с Вяземским, — заторопился Василий Львович. — Он молодой, но уже славный поэт. Острое перо и верный глаз. Князь Петр!

И, представив молодых людей друг другу, сам отошел к Карамзину.

Некоторое время они молчали.

— Ужасно, что мне больше года еще жить пустынною здесь, в Царском Селе, — нарушив молчание, пожаловался Пушкин.

У Вяземского маленькие глазки прищурились, брови сдвинулись.

— Надоела лицевая? — спросил он, с нескрываемым удивлением рассматривая необычного подростка.

— О, только не лицевая! — воскликнул Пушкин, как будто неточное слово умаляло его собственное достоинство. — Лицевая, если хотите, — лицевая, но только не лицевая...

— Хорошо. Но куда торопиться?.. — Вяземский держался степенно. — Спешите служить? Вы знаете, что значит у нас служить?.. Это значит — стараться, чтобы бумажная мельница была в ходу, вот и все. Вельможа подпишет свое имя под исходящими бумагами — и власть довольна...

Вяземский был в оппозиции к власти.

И Пушкин почувствовал — с этим человеком он мог бы дружить.

— Я сам служу, — продолжал Вяземский. — Что же делать, нужно служить. Мне нужен ассессорский чин, а я в этот чин не могу въехать на моих стихах. — Но потом он колючим своим взглядом посмотрел прямо в глаза Пушкину. — Читал ваши стихи, — сказал он все с тем же хмурым видом. — Вы злодей, ведь нам всем от вас бежать надо! Право, вы эдак нас всех задавите!

Оказалось, что у них множество тем для разговоров. Прежде всего — борьба «Арзамаса» и «Беседы», Карамзина и Шишкова, новаторов и староверов. Они принялись издеваться над беседчиками.

— Они слово каби нет производят от русского как бы нет...

— Ха-ха, скажем, человек запрется в своей комнате, и кто бы ни пришел — хозяина как бы нет дома!

— А в журналах, не правда ли, какая бесцветность!

Пушкин и Вяземский обещали пересылать друг другу свои стихи.

— Ждем вашего переселения в наши края, — любезно говорил Энгельгардт Карамзину.

— Счастливого пути! Счастливого пути! — кричали ученики.

Двое слуг, сопровождавших господ, устроились один на облучке

рядом с кучером, другой возле багажа, и тяжелая карета тронулась в путь — в Москву.

— Господа,— сказал раскормленный, краснолицый надзиратель Фролов хриплым своим голосом,— рябчики (так военные называли штатских) хороши, а все же вам бы в полку вначале послужить, побыстрее бы вас повыггерли...

Энгельгардт с уничтожающим презрением посмотрел на надзирателя по нравственной части: от того явственно несло спиртным.

А лицеисты чествовали своего приятеля: он был одним из них, он вырос здесь вместе с ними — и этот день был днем его славы; вдруг все почувствовали необычную судьбу, которая его ожидает. Кто же он?

А он искал уединения. Он вернулся в рекреационный зал — туда, к тому месту, где когда-то читал стихи перед Державиным...

Вечером он долго выхаживал из конца в конец по своей комнате. Чувствуя себя совершенно счастливым, утомленным от чрезмерного счастья, он лег в постель и сейчас же уснул.

## Часть II

### 1

Довольно битвы мчался гром,  
Тупился меч окровавленный,  
И смерть погибельным крылом  
Шумела грозно над вселенной!

.....  
Хвала, о юноша герой!

«Принцу Оранскому».

В этом 1816 году лето началось рано и было жаркое. Уже в апреле стало совершенно тепло. Когда Ладожское озеро вскрылось и по Неве пошел лед, на время похолодало, а потом вернулась жара, духота, и днем, когда солнце палило, птицы прятались среди листвы. И комаров в этом году было великое множество — они звенели в пахнущем болотами воздухе.

По случаю важного события — бракосочетания великой княжны Анны Павловны с наследником нидерландской короны принцем Оранским — при дворе давали бал за балом. Готовился пышный праздник в Павловском. Следуя за двором, в Царское Село потянулась петербургская знать.

Летом Царское Село — Петербург в миниатюре. Со всех сторон мелькали вышитые золотом мундиры, нарядные платья дам, высокие гвардейские кивера с разноцветными султанами, проносились шумные кавалькады, позолоченные кареты и щегольские, на английский манер, коляски.

Во дворце императора гостил его ближайший помощник Аракчеев.

И вот во время обычной своей прогулки Аракчеев подозвал директора Энгельгардта и, пальцем указав на резвящихся вблизи дворца лицеистов, сказал негромким и характерным голосом, один звук которого заставлял бледнеть боевых генералов и важных сановников:

— Непорядок, милостивый государь!

— В чем беспорядок, ваше высокопревосходительство? — спросил Энгельгардт, стараясь, однако, не робеть.



— А вот в чем,— пояснил Аракчеев. Но прежде чем продолжать, он холодными бледно-серыми своими глазами оглядел Энгельгардта, всего его от башмаков с пряжками до шляпы.— Я вот о чем говорю...— И еще подождал, наблюдая, как Энгельгардт, штатский человек, все же не справившись с собой, начал судорожно вытягивать по-военному свое массивное, располневшее туловище.— Я говорю, непорядок, милостивый государь...

— Да в чем же непорядок, ваше высокопревосходительство?

— Ваши молодые люди,— размеренным голосом, несколько в нос сказал Аракчеев,— неисправны в одежде. А это в рассуждении приличия недопустимо.

— Да в чем же неисправны?

Аракчеев указал на недавно отведенный лицу садик.

— У них рекреация,— пояснил Энгельгардт. Он вдохнул воздух, лицо его покраснело, как у полнокровного человека, склонного к апоплексии.— Они отдыхают, ваше высокопревосходительство. Потом опять будет лекция...

— Почему же во время рекреации можно иметь неисправность в одежде? Нарушать приличия и правила благопристойности?

— Но они не нарушают, ваше высокопревосходительство...

— Почему же они расстегнули форменные куртки?

— Ваше высокопревосходительство,— сказал Энгельгардт изменившимся от волнения голосом,— они расстегнули куртки, и это очень естественно: они бегают и им жарко...

— Но другие, однако, не расстегнули?..

— Другим не жарко, ваше высокопревосходительство,— мужественно возразил Егор Антонович.

Почтенный Егор Антонович давно в таком подавленном состоянии не подходил к своему недавно расширенному дому. Он чуял опасность. Его лицей, в котором он мечтал насаждать вечные идеалы, могут превратиться в обычное казенное заведение.

Энгельгардт благоговел перед Александром. Но как мог Александр приблизить такого человека к себе! Может быть, в этом была одна из загадок души великого монарха? Александр, который работал не только для блага России, но для всего человечества, насаждая счастливые установления порядка, передал этому человеку всю полноту власти. Как понять это!

Благое провидение, очевидно, решило утешить Энгельгардта, послав ему навстречу коротенького старичка, одетого совершенно на старинный манер — во французский кафтан синего цвета, белый пикейный жилет, пышное жабо и башмаки с красными каблуками. Напудренный парик у него был с косичкой, заплетенной лентой. Приветствуя Энгельгардта, он шаркнул коротенькой ножкой и махнул коротенькой ручкой. Пухлое личико его было благодушно, голубые глаза широко и безмятежно открыты...

Егор Антонович хорошо его знал: это был известный поэт Нелединский-Мелецкий, в царствование Екатерины — завсегдагой салонов, в царствование Павла — статс-секретарь и сенатор, в царствование Александра — доверенное лицо вдовствующей императрицы Марии Федоровны и во все царствования — галантный кавалер и милый собеседник. Теперь ему было уже шестьдесят пять, но он был говорлив, весел, элегантен и походил на нарядную бабочку — состарившуюся, отяжелевшую, нелетающую, но машущую пестрыми крылышками.

Впрочем, у него были свои заботы. И он направлялся как раз к Егору Антоновичу. Императрица Мария Федоровна в безграничном благоволении поручила ему написать приветствие принцу Оранскому. Конечно же, Егор Антонович знает, что два года назад хор в Павлов-

ском гремел именно его стихами. Но сейчас, увы, музы уже не прилетали к нему. Он обратился к директору с просьбой: в императорском лицее учится Пушкин (кстати, его отца, Сергея Львовича, и его дядю, Василия Львовича, он хорошо знает — ну как же, по Москве, ну как же, столько лет!), и все говорят об удивительном поэтическом даре молодого человека. Нельзя ли высочайшее это поручение, так сказать, порекомендовать ему?

Да, благое провидение решило утешить Энгельгардта, потому что вот был случай показать царской семье, и царю, и Аракчееву, что в лицее, несмотря на воспитание в понятиях добровольного повиновения, а не палочного насилия, господствует дух благонамеренности и преданного служения престолу.

— Конечно же! — воскликнул Энгельгардт.

Где остановился почтеннейший Юрий Александрович? У Карамзина? Он немедленно придет к ним Пушкина.

Вот по звонку кончилась лекция, и Пушкин шагнул в кабинет директора — он как будто с трудом, как будто нехотя вошел сюда из другого, своего мира. Он замялся у порога. Егор Антонович встретил его приветливым жестом и, как всегда, усадил на стул рядом с директорским креслом. Он сразу перешел к делу.

— Почтенный Нелединский-Мелецкий весьма лестного мнения о твоём поэтическом таланте. Ты слышал, конечно, что в Павловском через несколько дней празднество в честь принца Оранского?..

И он передал просьбу престарелого поэта и одновременно приглядывался к выражению лица своего ученика: у того разлился яркий румянец удовольствия и радость проглянула в глазах, именно этого и ожидал директор от молодого человека, в котором сразу же пронзительно отгадал величайшее самолюбие. И он развил план стихотворного послания — злодей Буонапарт по всей Европе посеял смерть и разрушение, но союз царей во главе с великим нашим монархом Александром дал измученной Европе счастье и мир; юный принц — один из героев Ватерлоо; пусть же супружеское счастье будет наградой принцу Оранскому!

Директор видел, что ученик хотя и польщен, но находится в затруднении. Пушкин сказал, что столь торжественному случаю приличествовала бы ода, но оды в наше время кажутся напыщенными и устарели. Директор возразил: ведь и Карамзин и Жуковский писали такого рода торжественные послания, да и Пушкин год назад написал приветствие императору Александру на возвращение его из Парижа, не так ли?

— Я не хотел бы писать по заказу, — откровенно признался ученик.

— Конечно, конечно, — сейчас же сказал директор, — писать на заданные темы нелегко, не всегда легко...

Директор все приглядывался к его переменчивому лицу: то проскальзывала застенчивость, то мелькала насмешка, в складках вокруг толстых губ залегло волнение, а во вскинутых бровях чудилось упрямство... Недавно директор случайно услышал, как этот ученик рассказывает приятелям, захлебываясь словами, о модных лавках на Кузнецком мосту, где у известной ему француженки Антуанетты Лонатер в задней комнате всегда наготове известного сорта девица. А ведь он уехал из Москвы в одиннадцатилетнем возрасте. Да и сейчас он был щуплый, один из самых низкорослых в лицее... Но, может быть, еще не поздно было направить его на правильный путь и приобщить к платонизму, к чистым помыслам, к семейному кругу...

— Почему ты редко бываешь у меня дома? — спросил Энгельгардт. — Моя жена, Марья Яковлевна, тебя ждет...

Директор видел, что доверительный тон оказывает воздействие. Потом вернулся к главной теме: лицей, находящийся под особым покровительством монарха, не может остаться равнодушным к событию, касающемуся монарха. Пушкину нужно пойти к Николаю Михайловичу Карамзину, где его ожидает Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий.

И Пушкин согласился. Положив руку ученику на плечо, Егор Антонович почти в обнимку повел его через кабинет к двери.

...Он вышел в пышные, бескрайние дворцовые сады. Уже густая и яркая зелень все покрывала вокруг. Теперь сквозные рощицы уже казались лесной чащей. На полноводном Большом пруду в темной глубине отражались плывущие облачка, и волны с шумом прибоя накатывались на пологий берег. Теперь сквозь зеленые стены проглядывали только колонны, узорчатый фриз, лепнина строений. Солнце жгло кожу, и солнечное тепло, растекаясь, делало тело воздушным, а движения легкими, быстрыми...

Он почти бегом проделал весь путь. С тех пор как Карамзин поселился в Царском Селе, он бывал в Китайской деревне почти ежедневно.

Вся куртина между Александровским и Екатерининским парками была игрушечным царством: карнизы у домиков были изогнуты, как у китайских пагод, крыши украшены жестяными драконами и флажками, вокруг разбросаны пестрые беседки, через каналы перекинуты мостики с башенками и фигурами китайцев — и все эти башенки, бельведеры и карнизы, позолоченные и ярко раскрашенные, переливались в солнечном свете. Какая прихотливая фантазия заставила соорудить эту затейливую деревню! От центральной круглой площади с замысловатой ротондой, окруженной тополями, веером отходили короткие улочки. Вдоль домов вместо тротуаров были положены белые плиты. Вокруг каждого дома был выгорожен садик. Когда-то императрица Екатерина Вторая селила здесь своих секретарей и адъютантов. Теперь здесь жили важные сановники и те, к кому благоволил Александр. Вокруг безлюдно и тихо.

Был час, когда писатель закончил уже свои труды (он работал каждый день с утра, между завтраком и обедом), совершил уже прогулку (он каждый день в любую погоду прогуливался пешком или верхом) и теперь отдыхал (он любил, чтобы семья и друзья собирались в его кабинете).

Как мудрец, сидел он в покойном кресле с высокой спинкой, положив руки на подлокотники с подушечками, и его суховатый профиль четко выделялся на фоне окна. Седые волосы нимбом венчали его чело. На лбу, у переносицы, залегли глубокие складки.

— У Юрия Александровича на одного тебя надежда,— сказал он Пушкину.

Нелединский-Мелецкий вскочил с места и разразился тирадой. Он погибал! Но теперь он видит, что спасен. Молодой поэт спасет его, не правда ли?.. Как поживает отец юного поэта, почтенный Сергей Львович?.. А как поживает дядя юного поэта, Василий Львович, с которым прежде в Москве?.. О, Москва!..

— Кстати,— он обратился к Карамзину,— вы знаете, как я выехал из Москвы? За несколько минут до вступления французов, в извозничьей карете, в которой до этого разъезжал по городу. И вот так явился в Ярославль и представился великой княжне Екатерине Павловне... Да, так я о Москве: французы осквернили мой дом и я продал его — большой дом на Мясницкой... Варвары, они стреляли в зеркала...— Он вспомнил о Пушкине.— Мой юный друг, мой спаситель,

je vous remercie d'avance...<sup>17</sup>.— Он щебетал, как птичка, русские и французские фразы сыпались трелями.

— Что же, не будем задерживать молодого поэта,— сказал Карамзин.

Но Пушкин не торопился уходить: здесь все ему было интересно. Старый поэт всколыхнул воспоминания о Москве: он помнил его гостем в доме своего отца! Он помнил знаменитые его *les talons rouges*<sup>18</sup> и чудаковатую привычку считать, сколько зажжено свечей в гостиной...

Здесь, кроме самого хозяина, была и вся его семья. На диване с вязаньем в руках сидела прекрасная, в полном расцвете античной, мраморно-совершенной красоты тридцатипятилетняя Екатерина Андреевна, а по обеим сторонам от нее и тоже с вязаньем две девочки — падчерица и дочь, нарядно одетые и миловидные. Мамушка, Марья Ивановна, в домотканой юбке и белом платке стояла в углу, покачивая младенца на руках.

Екатерина Андреевна по-матерински заботливо обратилась к Пушкину, а девочки одарили его лукавыми улыбками, потому что веселый лицеист обычно смешил их своими проказами — то влезал из сада в окно, то по водосточной трубе карабкался к карнизу, то с криками и смехом прыгал через стулья...

Между тем Нелединский-Мелецкий продолжал вспоминать.

— Будучи статс-секретарем у императора Павла, я получил повеление сопровождать его в Казань,— с привычной живостью рассказывал он.— И вот представьте: мне милостиво дозволено ехать в коляске императора. «Посмотрите, ваше величество,— говорю я,— перед нами первые представители уральских лесов...» И вдруг государь в страшном гневе восклицает: «Вон из коляски!» — и лишает меня милости. А почему? Слово «представители» напомнило о французской революции... Он не терпел этого слова.

Карамзин кивнул головой и улыбнулся. Это был известный и с т о р и ч е с к и й а н е к д о т .

Кабинет Карамзина изнутри был украшен лишь узорчатыми стеклами и резными рамами. Эта комната во всю ширину домика была квадратной. Огромный стол занимал левый угол у окна, а на столе, в застекленных шкафах, на подоконнике и на свободных стульях и даже под столом лежали книги, манускрипты, бумаги...

Карамзин заговорил о том, как беспокоит его издanie «Истории»: нужно искать бумагу, наборщиков, типографию... Он молит бога об одном: даровать ему силы, чтобы закончить «Историю государства Российского». Он провел уже двенадцать лет в уединении, показывая своим поведением пример тем, кто все еще дорожит суетной славой...

— В Москве издательские дела куда легче,— говорил Карамзин.— Москва — университетский город, там много студентов, грамотные люди готовы работать почти за ничто. А здесь? Поди-ка найди грамотея!..— И белая, почти невесомая рука его потянулась к фолианту, лежащему на столе. Это было величайшее сокровище, недавно полученное от варшавского епископа: письма пап к российским великим князьям начиная с 1075 года...— Однако в самом деле мы задерживаем молодого человека,— спохватился Карамзин.

— Когда прикажете явиться? — обратился к Пушкину Нелединский-Мелецкий.

<sup>17</sup> Я вам благодарен заранее... (Франц.)

<sup>18</sup> Красные каблуки (франц.).

Видимо, Пушкина охватило воодушевление. Он воскликнул: о-о, пусть не беспокоятся, пусть дадут ему час-полтора...

— Неужели? — воскликнул Нелединский-Мелецкий.

Пушкину было весело. Стихи он писал легко и знал об этом. Трудно было другое: до конца понять тайну гармонии, которая жила у него в душе...

Идя обратной дорогой, он внимательно поглядывал по сторонам: Катя Бакунина жила теперь в Царском Селе и можно было встретиться с ней в парке.. И он прислушивался к женским голосам и приглядывался к мелькавшим среди зелени женским одеждам.

Но когда в лицее на лестнице ему встретился лицеист, он сделал вид, что не заметил его. Кто-то обратился к нему с вопросом — и в ответ услышал невнятное бормотание. Кто-то схватил его за плечи — и отскочил, получив сильный толчок. Он чувствовал нетерпение. Он бывал груб, когда им овладевал бес стихотворства. Он стремительно подошел к своей конторке... В чернильнице торчало короткое гусиное перо с обжужанным, скользким, расщепленным черенком...

...Карамзин и Нелединский-Мелецкий все еще вспоминали пожар Москвы, когда через полтора часа появился снова Пушкин со свернутыми трубочкой листками. Это было послание «Принцу Оранскому» — не очень длинное, из тридцати двух строк, вполне традиционное и вполне образцовое послание.

Нелединский-Мелецкий, шевеля губами, принялся читать строфы, переписанные тщательно, с каллиграфическими завитками. А Пушкина распирало веселье, сознание поэтических сил не давало покоя. Вот судьба невоздержанных натур! Ему бы скромно поднести свой дар и удалиться, оставив у двух пожилых поэтов чарующее о себе представление. А он болтал, он нес какую-то чепуху о женских прелестях великой княжны Анны Павловны и о том, что и сам рад был бы оказаться на месте супруга, принца Оранского! Карамзин нахмурился и удивленно посмотрел на него...

Тогда, весело смеясь, Пушкин ретировался...

Но Нелединский-Мелецкий был благодушен.

— О, юность,— вздохнул он.— Наверное, юноша влюблен. Да, да, он счастлив, он любим — что может быть прекраснее! — И дребезжащим от старости голосом он запел свой любимый, знаменитый в оное время романс:

*Lise, entends-tu l'orage ?..*<sup>19</sup>

И потом похвалил стихи.

<sup>19</sup> Лиза, слышишь ли ты грозу?.. (Франц.)

(Окончание следует)



---

---

# О ЧЕ РЖИ : НА ШИ ИХ ДНЕ Й

ВЛАДИМИР БАРДИН

★

## ОБЫКНОВЕННАЯ АНТАРКТИКА

В ГОРАХ ЗЕМЛИ КОРОЛЕВЫ МОД

**П**од ногами голубоватый, как яичный белок, лед, впереди на горизонте силуэты гор, словно средневековые замки. А совсем рядом голые, неприятные скалы цвета ржаных сухарей. У их подножья валуны, серые, коричневые, оранжевые, оглаженные и остроугольные, размером от цыпленка до слона. Гряды валунов, уходящие вдаль.

Над одной из гряд одиноко торчит трехметровый деревянный шест. По дереву химическим карандашом надпись: «СССР, астропункт № 3, советская антарктическая экспедиция». В стороне валяются две железные бочки из-под бензина и полузанесенное снегом крыло самолета «АН-6» с порванной обшивкой.

— Вот не чаял сюда вернуться, — говорит главный геолог, усаживаясь на плоский валун.

Над головой кружатся поморники, большие серые птицы, местные хищники, сопровождающие все антарктические экспедиции и проникающие вместе с человеком вплоть до полюса.

— Огурец нашел! — кричу я, вытаскивая из-под камня сморщенный остаток того, что было прежде огурцом.

— А это что? — спрашивает Пэпик, наш чехословацкий коллега, подбрасывая на ладони легкий темный шарик.

— Картошка.

— Здесь был камбуз, — уверенно заключает геолог Миша, показывая, что хотя он и впервые в Антарктиде, но дело понимает. — Продукты в Антарктиде практически не портятся, — продолжает он. — Вот американцы, я читал, пробовали недавно продовольствие пятидесятилетней давности, остатки от экспедиции Шеклтона и Скотта, — и хоть бы что, прекрасно сохранились вкусовые качества.

— То консервы, — вставляет Пэпик, — а открытые портятся.

— А что им портиться, здесь же как в холодильнике.

Я не спорю с Мишей, хотя хорошо помню, как в этом самом лагере шесть лет назад сливочное масло после длительного хранения на морозе покрылось белой сальной коркой, приобрело неприятный привкус, как мы говорили — «вымерзло».

— Здесь стояла моя палатка, — показывает главный геолог, сидя на камне и беззаботно покачивая ногами. Тут же он вскакивает как ошпаренный, ругается: — Э, черт, забыл, сидеть на холодном нельзя, в два счета ишиас заработаешь.

— Штаны меховые, не прохватит, — успокаивает Миша.

— Что тут случилось? — недоумевает Пэпик, разглядывая обломок крыла «АН-6», торчащий из снега.

...Тогда нас застиг в горах жестокий, но довольно обычный для этих мест ураган. Ветер достигал скорости пятьдесят метров в секунду, то есть почти двести

километров в час. Наружу выходили лишь в крайней надобности — ветровой поток спирал дыхание и валил с ног. Борта палаток трещали, и только завалы валунов, предусмотрительно сделанные вокруг жилищ, удерживали их на месте.

Внутри было холодно, и почти все лежали, забравшись в спальные мешки. Так продолжалось два дня. На третий сутки, выглянув утром на свет божий, я заметил, что один из наших самолетов, закрепленных на ледовом аэродроме, начал самостоятельно удаляться от лагеря.

Через минуту все мы бежали по льду. Даже главный геолог скользил сзади в валенках. Однако попытки обуздать своенравный самолет поначалу выглядели очень наивно. В один из моментов машину развернуло, приподняло и поставило, как легкий картонный ящик, на бок, на крыло. Кажется, еще мгновение — и самолет перевернулся бы вверх тормашками.

— Камни, тащите камни! — опомнившись, закричал один из летчиков.

Через минуту мы уже отдирали вмерзшие в лед валуны и катили их к самолету. Когда наутро набили камнями, самолет утих. Машина была спасена, хотя одно крыло обломано. Этот обломок и заинтересовал Пэпика. Вот и все, что произошло здесь шесть лет назад.

— Что и говорить, ураган был на славу, я тогда личный рекорд установил: двадцать пять часов не вылезал из мешка, — вспоминает главный геолог.

Ветер постепенно усиливается. Начинает переметать поземка. Снежные ручейки текут между валунами, а выйдя на ледяную равнину, распластываются, сливаются в сплошное покрывало. Наши ноги по щиколотку в снежном потоке.

— Если ногу босую подставить, пятки можно щекотать, — приходит в голову Мише идея.

— Ну, ты себе щеочки на здоровье, а мы пойдем в лагерь, — морщится главный геолог. — И когда же эта проклятая погода кончится? Так мы ничего не нарботаем. Экскурсии будем устраивать, тары-бары разводить. А мне через год на международном конгрессе геологическую карту надо представлять. Это вам не фунт изюму.

Часа через два, перевалив через невысокий горный гребень, мы оказываемся в виду лагеря. Пять круглых палаток среди валунов, а поодаль на ровной снежной равнине два оранжевых «АН-6», «Аннушек», как их обычно все называют.

— Красивое место выбрали, — любитесь главный геолог, — куда лучше, чем на старом лагере. Дима позаботился. Сейчас придем, обед нам летчики сварили, а вечером чайком побалуемся.

На спуске Миша и Пэпик торопливо устремляются вперед. Главный геолог хватается за меня, чтобы не скользить.

— Вот говорят, — продолжает он, — что Дима грубый, такой-сякой. А вот смотри — дело свое знает. Недаром я его на начальника отряда выдвинул.

— Так это вы?

— Ну а кто же, мне эта должность сейчас ни к чему, да и наукой кто тогда заниматься будет? В институте-то он подо мной ходит, ну а здесь пожалуйста — я под ним похожу, мы люди негордые, молодым везде у нас дорога.

В лагере нас встречает Дима, свежевыбритый, крепко пахнущий «тройным» одеколоном. Ему лет сорок. Он широк в плечах, грузен, с большой, идеально круглой головой на короткой шее, бронзовой кожей.

— Все в порядке? — холодно спрашивает он у главного геолога. — Что задержались? Я уже ракету хотел давать: не видите, пурга начинается.

— Все знаем, Дима, не маленькне. Ты бы насчет обеда побеспокоился, люди устали.

— Обед давно готов, мы уже поели, а порядок должен быть порядком.

Наконец мы в своей палатке. Наше жилище больше всего напоминает юрту. Двойной матерчатый верх натянут на скелет из специально собранных дюралевых трубок. Сбоку есть круглые, как иллюминаторы, пластмассовые окна, в потолке колпачок для вентиляции. Такая палатка называется КАПШ, что озна-

чает каркасная арктическая палатка Шапошникова. Хорошо поставленная КАПШ, если ее завалить вокруг снегом или камнями, выдерживает сильнейшие ветры. Этому, очевидно, в немалой степени способствует обтекаемая форма палатки.

К вечеру пурга усиливается, и все расходятся по домам.

В нашей палатке, кроме главного геолога, Пэпика и Миши, живет еще геолог Женя, коренастый, близорукий, в очках на веревочках (пластмассовые дужки давно сломались), и штурман одного из самолетов Володя, он же студент-заочник философского факультета МГУ.

На полу палатки горит газовая плита. Вдоль стен стоят раскладушки, на них в спальнях мешках лежим мы. Сквозь окна проходит внутрь блеклый свет ночной полярной метели.

— Открутите-ка побольше газик, — просит главный геолог, — а потом, когда заснем, надо не забыть выключить.

Миша, высунув свою здоровенную руку за полог палатки, откручивает вентиль стоящего рядом баллона.

А за окном метет. Самолеты на пригорке скрылись в молочной белизне. Снег облизывает серые заочневшие валуны. Снежные струи льются по упругому телу палатки. Дюралевые ребра вздыхают под особенно резкими порывами ветра.

За палатками друг подле друга сидят штук восемь поморников. Теперь они наши «верные» спутники. Они знают, что около людей есть чем разжиться.

В палатке тишина. Пэпик, высунувшись из нейлонового, на гагачьем пуху спального мешка, рассматривает свои многочисленные термометры. Женя, приподнявшись к окну, читает «Искателей» Гранина.

Тихо поскрипывает кровать Миши, он все никак не может устроиться. Мешок ему явно мал, но во всем нашем отряде нет мешка, чтобы пришелся ему впору.

Володя-философ тоже читает — Бальзака, «Блеск и нищета куртизанок».

Под пологом палатки в волнах теплого воздуха купаются портянки. Наверху жарится, внизу, у пола, по измерениям Пэпика, минус четыре градуса.

— Проклятая погода, — нарушает молчание главный геолог. — Сколько ехали сюда — и вот на тебе, время теряем, сидим без дела, дрожим как цуцки. А я бы сейчас дома столько натворил. И что сейчас в институте без меня?

А за окном ветер, ветер, белое молоко. Поморники спят прямо на снегу...

С утра погода ясная. Дует резкий, обжигающий щеки ветер. Оба наших самолета поднимаются в воздух почти одновременно, и с борта одного хорошо виден другой. Удивительно выглядит оранжевый «АН-6», парящий на фоне скал и ледников. Он совсем мал, не больше жука, но в нем поместилось семь человек, среди которых и такой гигант, как Миша. А внизу перед глазами лежат горы Земли Королевы Мод.

Земля Королевы Мод — один из наиболее крупных горных районов Антарктиды. Именно здесь более ста пятидесяти лет назад, 28 января 1820 года, с корабля была впервые «усмотрена» Антарктида экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. После этого лишь в 1930 году норвежская экспедиция побывала у этих берегов и назвала эту часть материка в честь норвежской королевы.

В 1939 году специальную экспедицию направила сюда Германия. С помощью летающих лодок немцы сфотографировали часть горной страны, сбросили с самолета несколько флагов со свастикой в знак своих территориальных претензий, но ногой на эту землю так и не ступили. Попасты в эти горы, тянущиеся с перерывом почти на две тысячи километров, было не просто: горные хребты находились более чем в ста пятидесяти километрах от берега, ледники у их подножья лежали на высоте тысяча пятьсот—две тысячи метров, сами же вершины гор достигали трех тысяч метров.

Первыми исследователями, проникшими в горы Земли Королевы Мод, были на западе — участники международной Норвежско-Британско-Шведской экспедиции, на востоке — японцы и бельгийцы, а в центральной части — мы, русские. В этом можно наглядно убедиться, стоит только познакомиться с географическими названиями на картах этого района. По краям преобладают труднопроиз-



носимые японские, бельгийские и норвежские наименования, а в центре — гора Маяковского, пик Кропоткина, хребет Юрия Гагарина. Но эпоха географических открытий и на шестом материке подходит к концу. Теперь исследователи переходят к систематическому изучению открытых территорий. В задачу нашего отряда входит составление детальных карт рельефа и геологического строения, то есть создание той основы, которая позволит вести направленные поиски полезных ископаемых.

«Аннушка» садится у небольшого горного хребта. Абсолютная высота горы около двух тысяч метров, но основная часть ее тонет в ледниковом покрове. С опаской делаем первые шаги по гладкой, укатанной антарктическими ураганами поверхности снега. Впереди скалы, валуны, поля голубоватого льда, сверкающие так, будто в глаза тебе направили сто тысяч солнечных зайчиков. А кругом трещины, зияющие, с сине-зеленым отливом по краям и забитые снегом, под которыми, возможно, скрываются бездонные пропасти. Там, где трещин много, мы подстраховываем друг друга веревками.

Пока геологи в маршруте, летчики возятся у самолета, готовят обед, а если время свободное и погода располагает, «стукают» в мяч. Энтузиаст этого дела — пилот Виктор. Он и одет по-спортивному, вместо ушанки на нем красная вязаная шапочка с помпоном. Знающие себе цену летчики всегда имеют какую-нибудь отличительную деталь туалета. Если Виктор не расстается со своей шапочкой, то один из штурманов всегда щеголяет в зеленой фетровой шляпе. Нельзя не оценить этот своеобразный шик в антарктических условиях.

В маршрутах наш отряд разделяется на две части, по числу самолетов. Главный геолог работает обычно с Пэпиком и Женей, Дима — в паре с Мишей. Мне как географу предоставлена известная самостоятельность в праве выбора.

Работают группы по-разному. Дима быстро. Не успеешь добраться до скалы и начать отбор образцов, как следует его команда:

— В самолет. Нечего чесаться, потом допишешь.

Дима делает в день до восьми — десяти описаний геологических разрезов — точек.

Ему помогает Миша, завертывает образцы, пишет этикетки. Изредка Дима разрешает Мише поработать самостоятельно, но тут же экзаменует:

— Сколько градусов простиранье?.. Неточно. Порода?.. Врешь, грано-сиенит...

— Так как же? — не соглашается Миша.

— Не спорь, я, брат, на этом деле собаку съел.

Миша смущенно замолкает.

Иногда и мне Дима задает каверзные вопросы:

— Вот ответь-ка, почему на склоне лежат большие валуны, а у подножья — маленькие? — И, не ожидая ответа, тут же заключает: — И чему вас в университете учат?

К специалистам из университетов Дима относится снисходительно. Сам он окончил геологоразведочный институт. А Миша, как на грех, тоже универсант.

Совсем по-иному работает главный геолог. Неторопливо, обстоятельно, пока все не запишет, со скалы не уйдет. Ему помогает Пэпик. За это главный геолог много объясняет Пэпику: что за порода, ее особенности, условия образования. Даже записывая, он присматривает за Пэпиком, чтобы тот не отходил далеко. В случае чего сразу кричит:

— Пэпичка, ну-ка, где у нас мешочки для образцов? Затерялись, не могу без тебя найти!

Пэпик жалобно откликается:

— Сейчас, только лишайники соберу.

— На кой тебе лишайники? — удивляется главный геолог. — Вот добра нашел. Иди, я тебе такой чарнокит подарю, в Праге твои друзья лопнут от зависти.

Если главного геолога и Диму интересуют только древние кристаллические породы, то Пэпика, первого чешского геолога, попавшего в эти горы, привлекает буквально все. К тому же самые различные специалисты его страны просили при-

везти образцы из Антарктиды. Но под надзором главного геолога выполнить все эти поручения не так-то просто, приходится хитрить. Стоит главному геологу замешкаться, Пэпик, скрываясь за валунами, уходит в сторону и «ничего не видит и не слышит». Собрав нужные образцы, он присоединяется к главному геологу. Тот поначалу сердится: «Кричал-кричал, чуть горло не сорвал, хулиганишь ты, Пэпичка!» — но быстро отходит. Что делать, международные связи — дело тонкое.

За день главный геолог делает четыре, максимум шесть точек. По возвращении в лагерь говорит многозначительно:

— Это не как у некоторых, галопом по Европам, у нас наука.

Летчики, однако, не одобряют медлительности в работе. Их заработок определяется количеством посадок. Поэтому летные экипажи, чтобы уравнивать шансы, меняются...

Постепенно все отчетливее начинают проступать контуры создаваемых нашим отрядом карт. Но не во все части горной страны можно попасть на самолете. Там, где поверхность льда покрыта трещинами, завалена валунами, самолету не сесть, оставлять же белые пятна не полагается. Выручает вездеход «Пингвин», присланный на подмогу со станции Новолазаревской, находящейся в ста километрах от горного лагеря.

Вездеход переделан из танка. Зачем попало в Антарктиду это бронированное чудище, не совсем ясно. Очевидно, в первых экспедициях, когда специальных гусеничных машин не хватало, решили позаимствовать технику у энской воинской части. «Пингвин» уже давно израсходовал положенный ему ресурс часов и был списан как негодный еще несколько лет назад, но в этом году возрожден талантливым механиком Новолазаревской. Танк заново покрашен в яркий оранжевый цвет. По бортам у него отштампованы аккуратные сусальные пингины, а спереди, «на груди», кто-то в порядке самодеятельности коряво вывел большое асимметричное зеленое сердце и проткнул его желтой стрелой.

Дима поручает мне наметить по аэрофотоснимкам трассу для вездехода.

— Смотри, упадем в трещину — отвечать будешь, — сурово предупреждает он меня.

Но мы оба понимаем, что если упадем, то ни мне, ни ему отвечать уже не придется, трещины здесь достаточно глубоки.

Согласовав маршрут, мы выезжаем. «Пингвин» лихо преодолевает заструги, перепрыгивает мелкие трещины и мчится вниз по склону ледника. Внутри машины все заполнено грохотом, временами откуда-то наползает дым. Мы целиком во власти дергающегося бронированного зверя. Странное чувство охватывает в гремящей металлической коробке. Возможно, это именно то состояние, которое испытывает танкист во время атаки. Изнутри сквозь смотровую щель плохо видно, перед глазами пляшут прямоугольные картинки ледника, скал и неба. Разве заметишь тут какую-то несчастную трещину? Но раз не видно, то и не страшно. Только бы машина катилась и гремела...

Когда танк, содрогнувшись всем своим бронированным телом, перескакивает через трещину покрупнее, все переглядываются. Дима с возмущением смотрит на меня. Орет, сложив рупором ладони:

— Ну и дорогу ты подобрал!

Он, правда, сердится больше по привычке. Весь этот район изобилует сетью мелких, хорошо видимых трещин, которые нужно только пересекать под прямым углом. Гораздо опаснее ровные заснеженные участки ледника, где под снегом, возможно, скрыты пропасти.

Чтобы лучше видеть, я вылезаю на крышу «Пингвина». Жаль только, что на ней нет орудия и почти не за что уцепиться. Мои сапоги свешиваются с обеих сторон смотровой щели, и движениями ног я могу сигналить, а в случае чего срочно остановить вездеход, перекрыв щель.

Морозный ветер обжигает нос и щеки. После темного нутра машины так ослепительно ярко, что слезы катятся градом, но надо внимательно вглядываться в набегающий лед. И все вокруг выглядит так нереально, совсем не по-земному. Безжизненные горные цепи, низкое желтое солнце, поверхность льда, мерцаю-

щая синими искрами. Длинные недвижные тени от гор, от валунов. И летящий, стремительный силуэт танка со мной на крыше. Все как в фантастическом фильме. Я не удивлюсь, если сейчас вон из-за той медной горы появится сама Мод— королева антарктическая.

Вдруг вездеход сильно подскакивает и резко останавливается. Я чуть не падаю с крыши. Из кабины вылезает разъяренный Дима.

— Куда ты смотришь, угробить нас хочешь!.. — И снова: — По коням, даешь Антарктиду!..

Изредка удается вырваться в маршрут нам с Пэпиком. Интересы наши почти совпадают, мы не мешаем друг другу и получаем от работы истинное удовольствие.

Пэпик высокий, худощавый, с жесткой рыжей бородой, в яркой нейлоновой куртке и с ледорубом в руке — опытный исследователь, побывавший даже у нас на Памире, на пике Ленина. Он ровесник Димы, но этим их сходство и ограничивается. Пэпик ровен характером, а если порой срывается, то быстро отходит. Однако я чувствую, что нервы его напряжены. Ведь обстановка для него особенно необычная. Конечно, он находится среди друзей. Но ведь трудно без знания языка. А Пэпику русский дается с трудом.

...Палатка сотрясается от порывов ветра. Покачиваются развешанные на веревках для просушки носки, портянки и пиджак Володи-философа. На вьючном ящике около постели главного геолога полупустая банка кофе, пачка прессованного сахара и обледенелый зеленый чайник. Все еще спят. Пэпик потонул в своих ярко-голубых пуховых мешках. Миша и Женя закутаны в собачьи меха. Главный геолог нежится в росомaxe. Лиц не видно, только чернеют отверстия для дыхания. Порой из мешка наружу высовывается чей-нибудь нос, но вскоре уходит вглубь, хоронясь от холода.

— Мишенька, газик бы раскрутить.

Никакого ответа.

— Миша, газ пора зажигать.

В палатке безмолвие, из мешков слышится подчеркнута ровное дыхание. Кто-то захрапел.

— Митрюха, симулянт, вставать пора! — взрывается главный геолог.

— Сейчас я разожгу, — говорит Володя-философ. Он вылезает из мешка, засовывает босые ноги в унты, шарит в кармане пиджака и наконец находит спичечный коробок.

— Вот молодец, — ласково одобряет главный геолог и, передернув плечами, скрывается в мешке. — Ой, холодина какая, братцы.

Палатку за ночь действительно сильно выдуло. Пэпик засекает температуру на полу — минус 12 градусов. Просыпается Миша.

— Ты что же, не слышал, когда тебя звали? — ласково обращается к нему главный геолог.

— Нет, я же уши ватой закладываю. С детства они у меня простужены...

После завтрака садимся за разбор образцов. Главный геолог усаживает около себя Пэпика, достает полевой дневник, подталкивает ногой к Пэпику свой рюкзак. Поплевывает на кончики пальцев. Долго вертит в руках первый образец, сверяет с записью в дневнике.

— Пэпик, дай-ка сюда девятый мешочек. Так, девять-а, девять-б, девять-в? Это же липа. Ох, халтурщик главный геолог. Давайте-ка сюда девять-г. И что бы я делал без Пэпика...

Весь день дует порывистый юго-восточный ветер. Метет сильная поземка. Набегают волнами. Снежное облако обволакивает лагерь. Снег сочится, течет, извивается между валунами, лижет зыбкими языками борта палаток и вдруг исчезает. Становится тихо. Промчавшееся снежное облако взлетает на ближайшие скалы. А через мгновение уже набегают новые, бросает острые, жгучие кристаллы в лицо. Из палатки лучше не выходить.

После разбора образцов каждый занимается своим делом. Женя зашивает порванную куртку, разложив вокруг себя коробочки со всевозможными хозяйственными принадлежностями, которые он предусмотрительно захватил из дому.

Миша не спеша расчесывает бороду. Володя-философ продолжает читать «Блеск и нищету куртизанок». Пэпик задремал, обхватив руками подбородок. У него разболелись зубы.

Главный геолог бодрствует. Быстро строчит что-то в большую клеенчатую тетрадь — пишет книгу об Антарктиде по заказу одного издательства.

— Еще одну главу осталось дописать. Если пурга продержится денька три, справлюсь...

Шквальный порыв ветра налетает на палатку, осыпает борта ее песком и мелкими камушками с морены. Огонь нашей газовой плиты постепенно хиреет.

— Надо поставить новый баллон, пока Димы нет, — советует главный геолог.

— Может, засорился вентиль? — сомневается Володя-философ.

— Ничего, новый лучше.

Меняем баллон, и плита снова разгорается.

Главный геолог, отложив тетрадь, достает бритву «Спутник».

— И в сложных условиях не надо опускаться, — говорит он нам.

Пэпик по-прежнему дремлет, держась за зубы. Женя укрепляет пуговицы на штанах и куртке, чтобы, не дай бог, не оторвались. Пуговиц в запас он забыл взять, недосмотрел. Миша перешел к подсчетам своего антарктического заработка. Хватит или не хватит на жилищный кооператив.

Ветер наконец стих. Над горами небо покрылось голубыми, розовеющими поверху пятнами. После замкнутого мирка палатки так широко разверзлось небо надо мной, кристален воздух, яркие краски. Именно в такие мгновения, сразу после пурги, возникают в ледяной пустыне удивительные миражи. Нет, это не тенистые пальмы и прозрачные ручьи, которые уже приелись путешественникам в Африке. Здесь, в холодном антарктическом воздухе, возникают нежные размытые силуэты, похожие на полотна импрессионистов. Вот над мерцающей ледяной поверхностью, почти касаясь ее пятками, в плавном танце движутся легкие фигуры. Это голубые танцовщицы. А в стороне, среди скал, все густо-коричнево. Но в это мгновение низкое полярное солнце трогает скалы, и вижу я прямо перед собой гогеновскую темнокожую возлежащую красавицу, и она шепчет: «А, ты ревнуешь?»

Смотрю туда, где были голубые танцовщицы. Но их уже нет. Просвет чистого неба закрыло облаками, и только одно окно, словно голубой шар, летит по небу...

Возвращаюсь в палатку. Там все устраиваются на ночлег. Последним приходит в палатку Миша. Довольный. Играл с летчиками в карты на леденцы и крупно выиграл. Леденцы, правда, все сам высосал, нам не принес.

— Ой, Миша, жуковатый, — смеется главный геолог. У него отличное настроение, и, влезая в росомаший спальный мешок, он мурлычет какую-то песенку.

— Эх, написал бы кто про то, как мы здесь живем, как уродуемся, — расправляясь в мешке, мечтательно произносит главный геолог. — Журналиста бы сюда толкового. Но нет, не напишут о нас, братцы. Не напишут. Ну ничего. Мы люди негордые. Без славы обойдемся, да так оно и спокойнее. — Главный геолог решительно поворачивается на правый бок.

Постепенно все стихает. Замерли на веревках тяжелые носки. Окаменели поставленные на ящики для просушки огромные альпинистские ботинки. Беспомощно обвис пиджак Володи-философа.

Сладко, как ребенок, спит Пэпик. Размеренно похрапывает Женя, а рядом аккуратно сложены его коробочки, очки на веревочке в футляре и прочее. Володя-философ заснул с книгой в руках, и во сне ему, должно быть, снятся куртизанки во всем своем блеске и нищете. Спит и главный геолог, как всегда с полуоткры-

тыми глазами. Спит и Миша, обмотавшись вокруг поясницы полотняным вкладышем для спального мешка, так как влезть в него он не мог, не помещался.

Все замерло на Земле Королевы Мод до утра.

## СТОЛИЦА

«АН-2», загруженный брикетами мороженого мяса из холодильников «Оби», взял курс на Молодежную. Летчики, еще совсем молодые ребята, без лишних слов прихватили меня с собой.

Кто-то из начальства додумался ввести посадочные талончики на самолет. Меня, старого антарктика, это новшество решительно покорило. Тем более что талончиков у меня не было. Решение лететь созрело внезапно, после разговора с Феликсом, старым товарищем по антарктическим экспедициям, только что прилетевшим на «Обь» после зимовки на Молодежной.

— Надо, надо посмотреть тебе станцию, — сказал он уверенно. — Ты же с двенадцатой экспедиции ее не видел. Пять лет прошло — многое изменилось.

Феликс — аэролог по профессии, отзимовал в Антарктиде в пятый раз. Последние годы я его видел редко. Встречались от Антарктиды до Антарктиды. Но помнился он мне всегда жизнерадостным, пышущим здоровьем, что называется, созданным для суровых полярных зимовок. Сейчас же меня поразили его запавшие глаза с темными обводами, похудевшее втянутое лицо. А ведь обычно после зимовки (как-никак больше сидячая жизнь) поправляются. И тем не менее, невзирая на эти утомленные глаза, Феликсу никак нельзя было дать его сорок пять лет. Что-то мальчишеское чувствовалось во всем его облике. И эта своего рода инфантильность отличала многих других зимовщиков.

Я подумал: очевидно, справедливо мнение, что длительное пребывание в Антарктиде, в краю вечного холода, несмотря на суровые условия, не сказывается губительно на здоровье, а порой действует благотворно, по-своему даже «молодит», или, по выражению одного из полярников, «консервирует».

Еще в период Международного геофизического года (МГГ) один из руководителей американской экспедиции заметил, что год зимовки в Антарктиде делает человека в одно и то же время и старше и моложе на несколько лет. «Возможно, это высказывание, кажущееся парадоксальным, справедливо», — думал я, вглядываясь в лицо Феликса.

Как иногда бывает после шумных приветствий, разговор не ладился.

— Ну что, годик отдохнешь — и опять в Антарктиду? — сказал я, хлопая Феликса по плечу.

— Нет, это последний раз, — отрезал Феликс.

Я знал, что сразу после зимовки обычно все так говорят. А потом проходит год, другой — снова начинают собираться в дальнюю дорогу. Зимовщики в этом отношении народ «испорченный». Однако в голосе Феликса чувствовалась непреклонная решительность. И то ведь его можно было понять: провести здесь пять зимовок, и некоторые из них по полтора года.

— А ты на сезон, конечно? — с долей иронии спросил Феликс. (Зимовщики всегда несколько снисходительно относились к участникам летних сезонных работ.)

Я кивнул.

— Ну правильно, зимой геологам здесь делать нечего, — согласился, однако, он. — Темень и пурга. Это нашему брату подавай круглогодичные наблюдения, замкнутый цикл... И опять на Королеву Мод?

— Нет, теперь в горах Принца Чарльза будем работать.

— Это интересно, разнообразие как-никак. Ну а я последний раз, — повторил Феликс. — Завязываю. Надо наладить жизнь дома. Отец — старик, дочь старшая высшее образование заканчивает. Помнишь, в двенадцатой экспедиции я тебе о ней рассказывал? Она в институт поступала. Радиogramмы тогда часто от нее получал. А сейчас что-то писать перестала... — И меняя, очевидно, грустную для себя тему, продолжал: — Нет, надо тебе посмотреть Молодежную. Вырос поселок.

Метеорологическим центром теперь называется. Я так считаю — столица Антарктиды. С американским Мак-Мердо смело может конкурировать.

— Сколько вас всего отзймало?

— Сто девятнадцать, почти в два раза больше, чем в двенадцатой экспедиции. Один строительный отряд — сорок четыре человека. Гараж теплый отгрохали, поликлинику, радиоцентр новый. Ракеты теперь еженедельно пускаем. Слетай на станцию, просто советую!

— Талоны теперь какие-то придумали, посадочные.

— Что делать, экспедиция теперь большая. Поневоле бюрократию разведешь. Да ты что, в первый раз, как красна девица? Иди прямо к летчикам, договорись, дело найди себе на станции, убеди, если что — за горло бери. И торпись, а то день-другой — разгрузка закончится...

Дело у меня нашлось: достать на станции анероид. В горах без него никак не обойтись. А «брат горлом» не пришлось, летчики оказались покладистыми. Отработав днем на разгрузке, я решил лететь ночью: в это время толкучки у самолетов не было. Слегка подморозивало, и, пользуясь этим, перевозили скоропортящиеся продукты — днем слишком рьяно грело солнце.

«Обь» стояла у кромки припая, почти в сотне километров от Молодежной. Дальше не пускал мощный береговой лед. На разгрузке круглосуточно работала пара «Аннушек» и два мощных турбовинтовых вертолета «МИ-8», забиравших в один рейс до четырех тонн груза. Эти вертолеты я увидел в Антарктиде впервые. Негабаритные огромные контейнеры и ящики они таскали целиком на подвеске, так что смотреть было любо-дорого. Раньше подобные грузы возили на станцию тросами на санях, неблизкий путь по трещиноватому, протаивающему морскому льду, долгая и рискованная операция...

До Молодежной было меньше получаса лета. Я устроился у иллюминатора. Внизу бежала ровная плоскость припая. Эту монотонность нарушали у разводьев тушки тюленей, похожие сверху на запятые. Порой под крылом проплывали громады айсбергов, отбрасывающие длинные емкие тени. Берег материка — плавно повышающийся к югу ледяной купол — был уже виден слева по курсу. Над ним, почти касаясь его поверхности, висело холодное ночное солнце. Оно сейчас круглые сутки не заходило, стояла вторая половина декабря — самый разгар антарктического лета. Скоро в глубине залива Алашеева должна была появиться Молодежная.

Я вспомнил, как пять лет назад я летел на Молодежную вместе с чехом Пэпиком на мешках с картошкой и «Аннушка» была так набита, что к иллюминаторам было трудно подобраться. Сейчас же на брикетах мяса можно было вполне комфортабельно сидеть, хотя слегка подморозивало.

Пора бы уже появиться Молодежной. Я поднялся и просунул голову в кабину летчиков. Действительно, впереди у берега вытянулась знакомая цепочка коричневых сопков. Домиков пока не было видно, но вот вдаль сверкнули серебряные емкости с горючим, и я увидел станцию. Самолет стал заходить на посадку.

На аэродроме встречала погрузочная бригада. Брикеты мяса быстро побросали на волокушу, и трактор потянул продовольствие на склад. Я же, схватив рюкзак, пошел прямо через сопки на станцию. Со стороны с рюкзачком за спиной я, пожалуй, мог бы сойти за туриста, выехавшего за город на выходной. Что ж, в Арктику уже сейчас ежегодно совершаются туристские плавания. Кто очень хочет, может увидеть и льды и белых медведей. Туристы высаживались даже на Земле Франца-Иосифа, под 80 градусом северной широты. А наша Молодежная расположена гораздо ближе к экватору, у южного Полярного круга. Здесь, правда, белых медведей нет, да это для туристов и к лучшему, зато есть не менее популярные пингвины, созданные в самый раз для того, чтобы им удивляться, к тому же фотографироваться на их фоне можно сколько душе угодно.

Ряд стран уже начал показывать Антарктиду туристам. И на нашу станцию Беллинсгаузен заходил туристский пароход. Интересно, что пока эти поезд-

ки привлекают в основном состоятельных дам преклонного возраста. Гостем зимовщиков Беллингаузена была вдова Хемингуэя.

«Будь жив сам писатель, — подумал я, — он, конечно же, захотел бы увидеть шестой материк. Только вряд ли ему пришлось бы по душе созерцательная роль туриста. Скорее бы он отправился сюда на китобойном судне или в составе исследовательской экспедиции».

Я продолжал взбираться на сопку, господствующую над станцией. Четыре года назад здесь было пусто — голая скала с оглаженной вершиной, так называемый «бараний лоб», а теперь и здесь стояли домики на сваях. Над крышей одного из них был расположен красивый разноцветный шар метра в три диаметром, похожий на гигантский апельсин, каждая долька которого была окрашена в свой цвет. Эта зрительная ассоциация невольно заставила меня проглотить слюну, захотелось отведать этот сочный, наполняющий рот свежестью плод. Я мог бы побиться об заклад, что зимовщикам, не видящим фруктов в течение долгого времени, при взгляде на этот диковинный шар приходят на ум подобные же мысли. Истинное назначение сферы я не знал, и спросить было не у кого: все в домиках еще спали.

Перевалив через вершину сопки, я наконец увидел Молодежную. С первого взгляда было ясно, что здесь произошли большие перемены. Прежде всего радовал глаз веселый, можно сказать праздничный, вид станции. Достигалось это яркой раскраской стен домиков — красным, голубым, синим, желтым, зеленым цветами, сочетавшимися самым разнообразным образом, но чаще всего тремя идущими вдоль стен цветными горизонтальными полосами. Эти полосы, в свою очередь, были составлены из цветных квадратов.

Раньше о внешнем виде антарктических домов так не заботились, лишь бы внутри было тепло и уютно, так сказать, «не с лица воду пить». Теперь и внешне станция «смотрелась». Наверное, самый заядлый скептик, привыкший обращать внимание прежде всего на недостатки, не смог бы сдержать возгласа удивления, увидев здесь, в Антарктиде, такой пестрый веселый поселок. Впечатление усиливалось необычной формой и конструкцией домиков. Ведь дома на сваях встретишь не часто. Их строят или в болотистых местностях, или на мерзлых грунтах, как у нас в Сибири, чтобы мерзлота не оттаивала и грунт не проседал. А здесь, в Антарктиде, и, пожалуй, только на этом материке, — чтобы дома не заносило снегом. Я не знаю, кто первый предложил это оригинальное инженерное решение для Антарктиды, но наши станции пока единственные внедрились эту идею.

С высоты холма я насчитал 16 домов на сваях, причем в центре поселка, так сказать на его главной улице, — 11, остальные — на сопках, в отдалении. Вообще поселок раскинулся весьма привольно километра на полтора в длину, а если в его пределы включить аэродром и бензохранилище, то набирались добрые три километра.

Ни одного человека не было видно на улице. Я взглянул на часы — было около шести утра. Сейчас самый сон. Днем шла передача станции от смены к смене, много хлопот, впечатлений от встреч с новыми, «свежими» людьми (как-никак зимовщики год находились в изоляции), от писем и посылок, доставленных кораблем. Словом, ложатся сейчас поздно и, конечно, будут спать до самого завтрака. «Что ж, пока будить никого не буду, пройду по поселку, пофотографирую», — решил я и начал спускаться с сопки.

Чуть в стороне, на склоне, слышались голоса, пыхтел трактор. Я завернул туда. Здесь у вертикального уступа перед дверью, преграждающей вход в тело сопки, стояла знакомая волокуша с брикетами мяса. Скалы Антарктиды прогреваются летом только с поверхности не больше чем на один-два метра, в глубине же господствуют постоянные отрицательные температуры. Зимовщики учли это и вырубил в скале с помощью взрывчатки небольшой туннель, именуемый теперь холодным складом. Над входом в склад неизвестным художником была нарисована пальма, а под ней здоровенная обезьяна, ударяющая огромным кулачком по носу любопытного барбоса: дескать, не суй нос куда не надо. На

назидательный рисунок, однако, не полагались, и на дверь был навешен тяжелый замок.

«Что делать,— вспомнил я слова Феликса.— Экспедиция теперь большая, поневоле бюрократию разведешь». Действительно, в Антарктиде ведут работы разные ведомства: гидрометеослужба, управление геодезии и картографии, Академия наук и т. д. Кроме ученых, здесь немало строителей, инженеров, техников. Эксплуатация сложного хозяйства станции совсем не простое дело. Скоро для бухгалтерских расчетов в пору будет использовать электронно-вычислительную машину, благо сваи под нее уже заложены. Раз ЭВМ будет помогать работе аэрологов, обсчитывать данные ракетного зондирования, то что ей стоит попутно подсчитать оптимальный вариант хозяйствования антарктической экспедиции.

Эта антарктическая экспедиция едва ли не самая крупная в стране. Во всяком случае, по удаленности района работ и сложности их она может усугубить только космическим экспедициям. И изучение Антарктиды во многом напоминает космические исследования — тот же дух сотрудничества, объединение усилий исследователей разных стран.

Все идет к тому, что, пожалуй, быстрее, чем ожидалось, Антарктида войдет в число обжитых материков и по образу жизни не будет столь резко отличаться от остальных своих собратьев. Атомная электростанция в Антарктиде уже действует — на американской станции Мак-Мердо. ЭВМ в ближайшие годы появится у нас на Молодежной. А там дойдет очередь до разработки полезных ископаемых, и, конечно, вот-вот потеряет Антарктида право называться мужским материком. И так уже женщины ступали на эту землю, но пока это было исключением, а когда станет правилом, то какая уж это будет Антарктида...

С такими мыслями я спустился с сопки и вышел на главную улицу поселка. Она была почти свободна от снега. Местами стояли лужи, но вокруг кают-компании совсем подсохло. Летом снег сходит здесь быстро, частью стает на солнце, нагревающим поверхность скал до плюс 20 градусов и выше, частью испаряется. Ведь Антарктида по климатическим показателям — засушливая холодная пустыня. К тому же за зиму вокруг свайных построек больших сугробов не образуется. Ветер, имеющий здесь устойчивое юго-восточное направление, пронесит потоки снега под домиками, сбрасывая снежные массы к подножью сопки, на морской лед. Только около аэрологических павильонов и бани — старых домов, поставленных прямо на грунт, — накапливаются сугробы, которые летом расчищают бульдозером.

Рядом с кают-компанией первое, что бросалось в глаза, — волейбольная площадка с новенькой, аккуратно натянутой сеткой. Площадка не ахти какая, но валунов на ней не было, и при желании хоть сейчас можно было играть. Играть в Антарктиде в волейбол? На первый взгляд это казалось совершенно неприемлемым. Хотя почему же, что в этом особенного? В футбол здесь играют давно, правда на снегу. И я не мог не вспомнить матчи, в которых мне приходилось участвовать.

В 1967 году международный матч на бельгийской станции Король Бодуэн. Стадион — снежная поверхность шельфового ледника. Судья — наш чехословацкий коллега Пэпик. Бельгийцы были здоровые ребята, «застоявшиеся» после долгой зимовки. В трудной борьбе мы победили — 3 : 2. В этом же году мы играли и на станции Новолазаревская на снежнике — местном аэродроме. Геологи и коллектив станции. Ничья — 0 : 0. Великолепно тогда стояли вратари — начальник новолазаревцев Виктор Захаров и начальник нашего отряда Дмитрий Соловьев. А кроме того, сколько раз в свободные минуты «стучали» у корабля на припае или у самолета. Командир одной из «Аннушек» Виктор Голованов был заядлый футболист и повсюду возил с собой футбольный мяч.

Однажды, это было в декабре 1966 года, возвращаясь на самолете Голованова с японской станции Сева на Молодежную, мы потерпели аварию. Была пурга, при вынужденной посадке подломался задний лыжинок. Мы не знали точно, где приземлились. Чтобы что-то предпринимать, нужно было ждать улучшения погоды. Бесцельно толкаясь подле самолета, мы, признаться, немного при-



уныли. В этот момент из «Аннушки» выпрыгнул Виктор с мячом... и душевное равновесие тотчас восстановилось. Так что футбол в Антарктиде, можно сказать, имеет свою историю и, несомненно, не противопоказан полярникам.

А за футболом, конечно, придет очередь других видов спорта, а с увеличением населения Антарктиды, глядишь, начнутся спартакиады, появятся первые рекорды шестого континента. Кстати, население Антарктиды уже сейчас немалое. Ежегодно здесь зимует до тысячи человек. Только на наших шести станциях около 250. А летом вместе с сезонниками — моряками, летчиками, геологами — количество полярников возрастает в несколько раз. В этот период антарктические зимовки перенаселены. Конечно, в Антарктиде еще нет постоянного населения. Тем не менее круг зимовщиков расширяется медленно. Редко кто зимует здесь по одному разу. Как правило, через два-три года, а то и с годовым интервалом сюда снова возвращаются. У многих это становится своего рода призванием. И получается, что такой профессиональный зимовщик прописан, скажем, в Ленинграде, а живет фактически в Антарктиде.

Я сфотографировал волейбольную площадку, и тут мое внимание привлекла корова. Большая белая корова была нарисована во всю стену деревянного сарайчика, пристроенного рядом с кают-компанией. Что она символизировала (изобилие ли на зимовке, молочные реки — кисельные берега или что-то иное), судить было трудно, но в картине чувствовалась уверенная рука художника.

Рассмотрение коровы тут же навело меня на размышления, что крупный рогатый скот в Антарктиде пока не культивировался. Были здесь пони, еще в экспедиции первоисследователя материка Роберта Скотта. Их пытались использовать как транспортное средство, но неудачно: пони глубоко проваливались в снег. В первых наших экспедициях завозили свиней, но сейчас и от этого отказались: много хлопот, пока довезешь — замучаешься, корабль замусоришь. А коров живых не было, и судя по всему, не будет — с кормами здесь плоховато. Свинью-то прокормить — пожалуйста, пищевых отходов сколько угодно, а вот с коровой сложнее, так что парным молочком не побалуешься.

Я сфотографировал корову и тут заметил, что за мной с крыльца одного из домов на сваях наблюдает зимовщик — борода лопатой, чуть не до пояса, глаза смотрят чуть иронично; вот, мол, пожаловал новичок.

Я придал лицу озабоченное выражение, поздоровался и спросил, когда на станции завтракают.

— В восемь часов, — ответил зимовщик и поинтересовался, в свою очередь: — На зимовку?

— Нет, на сезон, с геологами.

— Откуда будете, из Ленинграда?

— Нет, из Москвы.

— Ну что там у вас новенького?

— Да вроде все по-старому.

После этого содержательного разговора зимовщик, указывая на корову, добавил:

— Если живописью интересуетесь, то тут у нас на аэрологическом павильоне еще женщина нарисована.

Я поблагодарил за ценную информацию, но решил осмотр этой картины отложить до завтрака. Сначала нужно было достать анероид, который, по словам Феликса, был у его знакомого, Михаила, мастера по ракетным делам.

«На завтраке я его и подловлю», — решил я и повернул к кают-компанию.

Здание кают-компания, оно же столовая, кинозал, библиотека и т. д., было старенькое, построенное лет десять назад сразу же после основания станции. Его, правда, несколько расширили, приделали пристройку. Но то, что было просторно для 40—60 зимовщиков, стало тесным для 120, а сейчас во время перемены надо было обслуживать человек 300, не меньше.

Над входом в кают-компанию укреплены на флагштоках три флага: Советского Союза, ГДР и Польши. Ученые ГДР и Польши — геофизики и биологи — прибыли сюда на корабле вместе с нами.

Я поднялся в здание. В столовой было еще пусто, зато в кухне уже всюю трудились повара. Я прошел в комнату отдыха, которая теперь помещалась в пристройке. У самого входа висела Доска почета и плакат с социалистическими обязательствами зимовщиков. В центре комнаты вместо одного большого бильярда, который памятен мне по прошлому посещению станции, теперь стало два, но меньших размеров. На длинном столе у стены за бильярдами лежали шахматы, шашки, какая-то неизвестная мне игра с фишками и игральным кубиком — в общем, тихие игры. На стенах висело несколько цветных репродукций из «Огонька»: портрет Плисецкой в темно-малиновом трико, замершей в эффектной позе на пуантах, поленовский «Московский дворик», крымский пейзаж Васильева и «Раненый» Курбе. Еще было приклеплено несколько женских фотографий то ли неизвестных мне киноактрис, то ли просто случайных блондинок. В общем, художественное оформление кают-компании показалось мне эклектичным, унылым, главное же, здесь отсутствовали подлинники, подобные хотя бы той здоровенной обезьяне на холодном складе или белой корове на стене сарайчика.

Постепенно кают-компания стала заполняться полярниками. Перед дверью в столовую даже выстроилась очередь. Чтобы не терять времени даром, я пристроился в первых рядах.

В столовой, пожалуй, ничего не изменилось. Так же надо было подходить к окнам в кухню, где выставлялись подносы с кушаньями, и накладывать самому сколько душе угодно. Сегодня на завтрак — манная каша, творог, чай, а желающие могли еще присовокупить несколько ломтиков сервелата еще из старых запасов, немного позеленевшего по краям.

Позавтракав, я без особого труда нашел владельца анероида — старшего ракетчика, поджарого зимовщика с быстрыми глазами и доброжелательной тонкой усмешкой.

— Вот доем и пойдем к нам в павильон, там этот прибор висит у меня над столом, сам посмотришь. Если сгодится — бери на здоровье.

Через десять минут мы уже лезли на сопку, ту самую, с которой я спускался, мимо холодного склада со стражем-обезьяной и домика с разноцветной сферой-«капельником». Я спросил Мишу, что это такое.

— Радиопрозрачная оболочка, предохраняет антенну локатора от всяких помех, загрязнений, будь то ветер, снег, пыль. Сделана целиком из пластика, без металлических деталей, радиоволнам ничуть не препятствует.

Мы свернули немного в сторону, и вскоре взору открылось продолговатое здание, на стене которого была изображена фигура В. И. Ленина с вытянутой вперед и чуть вверх рукой. На продолжении руки в звездное небо устремлялась ракета.

— Когда на Молодежной стали запускать метеорологические ракеты? — заинтересовался я.

— В четырнадцатую экспедицию, с шестьдесят девятого года.

— А на какую высоту?

— Выстреливаем на сто километров. Там, наверху, головка с приборами отделяется и на парашюте идет вниз. Во время спуска приборы сообщают данные о температуре, давлении. По сносу парашюта определяем ветер на высотах.

— А потом что?

— А потом головка падает. Если близко от станции, ищем ее. Интересно посмотреть, как отдельные узлы подработались. А если ветром отнесло, пропадает. Так чаще всего и случается.

— Это для вас хотя бы ставить здесь ЭВМ?

— В основном, чтобы сразу каждый запуск обсчитывала. У нас в будущем намечается расширение. Кроме метеорологических, геофизические ракеты пускать будем, так что для машины работа найдется.

— Много грохота, когда пускаете?

— Да, немало. Заранее предупреждаем перед запуском, чтобы никто близко не оказался. Сигнальные ракеты даем за полчаса, за пять минут, за минуту. Зимой, когда здесь темно, вот тогда особенно эффектно. Вспышка над сопкой,

сноп пламени — и огненная игла уходит в небо. На фотографиях это хорошо получается...

Мы поднялись на деревянную эстакаду, под крышей ее проходил монорельс, по которому тело ракеты транспортируют со склада к месту сборки. Пройдя по эстакаде, попали в здание сборочного цеха. Здесь просторно, высокие потолки. В центре на стапеле — ракета. А вокруг обстановка мирная, уютная. И поражало обилие зелени. Вдоль окон в ящиках высокие кусты помидоров. Между ними вытуют стебли огурцов. Видны наливающиеся зеленые плоды.

— Целый огород, здорово! — удивился я.

— Да, мы этим увлекаемся. Правда, сейчас запустили, не до того. А вообще здесь, если с умом подойти к этому делу, а особенно специалисту взяться, на гидропонике выращивать, так большой урожай собирать можно, солнца летом навалом.

— И вызревают?

— Да, красные помидоры в прошлом году снимали. Здесь бы оранжерею по настоящему организовать надо, свежими овощами были бы обеспечены.

«И нечему тут удивляться», — подумал я. Антарктида не только полюс холода, это и полюс солнечной радиации. Сюда летом солнечной энергии поступает больше, чем в тропики! Только вот основная ее часть отражается от снежной поверхности материка и уходит обратно в космос. Улавливать солнечную радиацию и использовать ее для хозяйства, конечно — придет время, — будут. Подобно тому как и холод Антарктиды тоже, очевидно, совсем не бесполезная вещь. Отношение к ледникам меняется. «Ледники — богатство нашей планеты» — вот как теперь уже ставится вопрос.

А еще одна стихийная сила шестого материка — ветер. Недаром Антарктиду называют «полюсом ветров», «родиной бурь». Это же неисчерпаемый запас энергии. Даже удивительно, почему до сих пор в Антарктиде не нашли широкого применения ветровые электростанции. Они во много раз экономичнее дизельных, для них не надо завозить топливо.

Конечно, как говорится, не все сразу. И так освоение шестого континента идет быстрыми темпами. Пример тому — сама Молодежная: за четыре года столь зримые изменения...

Из сборочного цеха вверх по склону сопки вела другая эстакада, по которой уже готовую ракету везут на пусковую установку, в металлический короб с раздвижным потолком. Установив ракету, ракетчики возвращаются в сборочный цех, оттуда нажатием кнопки и осуществляется пуск.

Достав с помощью Михаила анероид, я возвратился на станцию. Около кают-компании начальник авиаотряда переругивался с заместителем начальника экспедиции. Оказывается, летчикам не дали вовремя вездеход. Разговор был вроде бы острый, на повышенных тонах, но вскоре я сообразил, что это, как выразился Феликс, просто «берут горлом». Действительно, после резкой перепалки спорящие, довольные собой, мирно разошлись. Я же уяснил, что вертолеты начнут летать на корабль только после обеда. Значит, у меня еще есть несколько часов для того, чтобы продолжить знакомство со станцией.

Прежде всего решил нанести визит начальнику зимовки Ивану Григорьевичу Петрову, с которым познакомился здесь, на Молодежной, четыре года назад. В Москве мне сказали, что Петров серьезно заболел.

Дом, где размещалось начальство, зимовщики еще с первых экспедиций почему-то окрестили «Пентагоном», хотя к военным делам антарктическое начальство не имеет ровно никакого отношения и состоит из людей сугубо штатских.

Антарктида вообще, как известно, континент мира. Здесь еще не было войн и, надо думать, никогда не будет. Зато полярники разных стран всегда готовы прийти на помощь друг другу и, если надо, выручить в беде. Примеры этому широко известны. Сейчас международные контакты на шестом материке — обычное дело. Наш геологический отряд, кочующий по горным районам, неоднократно попадал в гости к иностранным полярникам. Помнится, в 1966 году рождество

мы провели с японцами, а 1967-й год встретили у бельгийцев. Позже, уже в 1972 году, нам приходилось работать в контакте с австралийцами. Эти встречи были интересны и полезны и для нас и для наших зарубежных коллег.

Кроме таких случайных встреч, многие страны постоянно обмениваются учеными на зимовках. Так, на американских станциях отнимовало немало наших исследователей, а на наших — американцев. Не раз зимовали американцы и на Молодежной. Так что дом нашего начальства окрестили «Пентагоном», что называется, для смеху. Но в Антарктиде все названия прилипают всерьез и надолго, поэтому так это и утвердилось.

«Пентагон» — дом старый. Он построен из плит арболита — спрессованных опилок и цемента, недорогого материала. Под влиянием температурных изменений и постоянных вибраций, вызываемых ураганными ветрами, арболитовые плиты растрескиваются. Теперь в Антарктиде из этого материала уже не строят. Последние дома на Молодежной снаружи обшиты дюралюминием, изнутри стены покрыты пластиком, а в промежутке — теплоизоляционная прокладка типа поролон или пенопласта. Толщина стен в таком доме около двадцати сантиметров. Все дома завозятся сюда готовыми деталями, строителям остается установить свайный фундамент и собрать дом.

Начальство, однако, осело в старом арболите и в новый дом переходить вроде бы не собирается. Очевидно, сказалась традиция. У входа к «Пентагону» пристроили узкую застекленную веранду по типу тех, которые можно увидеть в дачных домиках. На окнах веранды зеленели помидоры. Судя по всему, комнатное овощеводство — настоящая страсть зимовщиков Молодежной. Занятие полезное и для тела полярника и для души. Во-первых, витамины, а во-вторых, отвлечение от невеселых дум, от тоски по родине, которая порой одолевает на зимовке.

А вот на старых станциях, заносимых снегом, этого удовольствия люди лишены, как и вообще солнечного света. Над крышами Мирного — пятиметровый слой снега.

Я поднялся по металлической лестнице, вошел в коридор и тут столкнулся с хозяином дома. Долговязый, с высоким, уходящим к темени лбом, он, согнувшись, драил шваброй пол. Значит, болезнь уже отступила, хотя был настоящий глубокий инфаркт. Кардиограмму передавали в Ленинград по телетайпу, и светины кардиологии подтвердили диагноз.

Я растерялся от неожиданности. Готовился увидеть Ивана Григорьевича немощным, в постели, ну, в лучшем случае за письменным столом, а тут на тебе — со шваброй...

— А, здравствуй,— приветствовал он меня.— Проходи, я уже закончил.— И он глянул на меня сквозь окуляры своих сильно увеличивающих очков.

Четыре года назад Иван Григорьевич Петров руководил сложнейшим санно-гусеничным переходом по центральной Антарктиде: Молодежная — Полус Недоступности — американская станция Плато — Новолазаревская. Поход совершался в весьма трудных условиях, на уже изношенных «харьковчанках», которые в пути не раз серьезно ломались. Мне тогда пришлось участвовать в разведке трассы, по которой поход должен был выйти через горы Земли Королевы Мод на Новолазаревскую. Сложный участок пути по изобилующим трещинами горно-долинному леднику! Не многие верили тогда, что Петрову удастся за один сезон совершить такой переход, тем более что с началом похода запоздали. Казалось, с наступлением зимних холодов машины придется оставить до другого года, а людей вывезти самолетами. Но «харьковчанки» все же пробились в Новолазаревскую. Правда, участники перехода крайне устали. Возможно, перенапряжение в походе дало себя знать теперь на зимовке.

Как бы то ни было, но сейчас все шло на поправку и Иван Григорьевич выглядел неплохо.

— Кто это тебе сказал, кто это выдумал про инфаркт? — добродушно рассердился он, когда я сказал, что ему вредно заниматься тяжелой физической ра-

ботой. — А потом, с каких пор упражнения со шваброй стали относить в разряд тяжелой работы?

Однако когда мы зашли в его комнату и Петров наконец уселся в кресло, я заметил, что он тяжело дышит.

Начальник зимовочной экспедиции занимал две небольшие комнаты. Одна служила кабинетом. Здесь стоял письменный стол, книжный шкаф, а по стенам развешаны карты Антарктиды. Вторая комната — спальня. Еще в «Пентагоне» жил заместитель начальника, существовало специальное помещение для обсуждения экспедиционных дел — диспетчерская.

— Там я устраиваю разносы начальникам отрядов, — сказал Петров.

Я улыбнулся: мне ни разу не приходилось слышать, чтобы он повышал голос. В начале зимовки в этом доме жили еще два врача, но с постройкой поликлиники перебрались туда.

Я спросил разрешения осмотреть поликлинику, но Петров то ли в шутку, то ли всерьез предупредил:

— Там у нас строго, чистота, в сапогах тебя не пустят, тапочки надо надевать.

В конце он не без гордости показал веранду, где, как в оранжерее, было тепло, влажно и стоял удивительный для Антарктиды запах свежей зелени.

— Всю станцию кормили, окрошку раз делали. Вот так и живем! Ну, а как тебе наш «Пентагон»?

— Старенький..

— Ничего, он еще поскрипит. — И Петров, довольный, рассмеялся. — А теперь сходи гараж посмотри и дизельную. Ее тоже без тебя построили. Иди, иди, полюбуйся на чудеса Антарктиды.

— А будет станция еще расширяться?

— А как же! Новую кают-компанию поставим, двухэтажную, внизу столовая, наверху кинозал; банно-прачечный комбинат, а потом и о науке пора подумать. Аэрология у нас уютится по старым домам, снегом их заносит, откапываем каждый год. Надо и им свой большой дом. А подожди еще, — Петров сверкнул глазами, — аэродром для тяжелых машин сделаем, тогда международный аэропорт откроем, будет тогда Молодежная, что твои Нью-Васюки. Да, — остановил он меня уже на пороге, — что ж ничего сам не рассказал? Что там у вас за год произошло? Мы же здесь как-никак в отрыве.

— Да ничего такого. Вы же все новости по радио узнаете. У вас же теперь это дело на высоте. Отдельный дом для приема, отдельный дом для передачи.

— Это уж точно: радиостанция у нас мощная. А все равно на таком расстоянии невольно кажется — что-то до тебя не доходит, чего-то не знаешь. Вот меня недавно сын порадовал, прислал телеграмму, что женился. А кто она такая, жена, какая из себя — ни слова. Вот тебе и радиочентр. Все знаем. Не мог отца дожидаться. — И Петров обиженно махнул рукой.

Дизельная и гараж находились в стороне, на краю поселка, ближе к берегу моря. Чтобы туда попасть, надо было пройти мимо домика аэрологов, метеоплощадки, потом пересечь ложбину, по-местному — овраг.

У аэрологических павильонов заснежено. Молодой парень на бульдозере лихо сворачивал сугробы, расчищал дорогу. Я кивнул ему и почувствовал, что он с любопытством уставился мне вслед. И тут на стене одного из домов я увидел ту самую женщину, о которой мне рассказывал утренний бородатый зимовщик. Она сидела в синем купальнике, поджав ноги под себя, в небрежной позе, как видно, на песке у самого моря. Была она вся такая зримая, что называется, возвращенная на хороших хлебах, и в картине чувствовала все та же уверенная рука художника — создателя белой коровы.

Но что-то на этот раз изменило вкусу художника. Я это сразу почувствовал, только не мог понять что. Достав фотоаппарат, я сфотографировал рисунок сначала с расстояния, потом крупно. Тут над ухом кто-то кашлянул, и я увидел молодого бульдозериста, расчищавшего снег. Бульдозерист радостно улыбался.

— Приехали, — сказал он.

— Да, — согласился я.

— Откуда?

— Из Москвы.

— А я с Диксона. — Он, казалось, засмутился, а потом продолжил: — Как там дела?

— На Диксоне?

— Да не, вообще на Большой земле.

— Все в порядке.

— Ну, это хорошо. Скоро сами увидим. А давайте я вашим аппаратом щелкну вас на фоне дамы. У нас так все на память фотографировались.

— Ну, спасибо. — Я отдал ему фотоаппарат.

— Нет, ближе становитесь, вон там. Сейчас неинтересно, а раньше она была без купальника.

— Как без купальника?

— Да так. Нарисовали ее нагой. А тут был один замначальника, хозяйственный. Как увидел, приказал, чтобы одели. Вот и приляпали ей купальник ни к селу ни к городу.

И тут я понял, что не удовлетворяло меня в этой картине — синий купальник. Он действительно был здесь ни к селу ни к городу и, как говорится, разрушал единство формы и содержания. «Ух этот замначальника, — подумал я, — тоже мне, пуританин, блюститель нравственности в Антарктиде. Какой же, очевидно, ханжа и губитель художественных ценностей! Как это он еще до белой коровы не добрался, у нее такое здоровое вымя».

Запечатлев меня на фоне этой единственной антарктической женщины, бульдозерист вернулся к своей машине, а я направился дальше.

Через овраг перекинут железный мостик с перилами. Это тоже было новшеством. В короткие дни антарктического половодья по оврагу устремляется к морю бурный поток. Пока же здесь тихо, вода еще не пробила путь через снежники.

Здание гаража стояло прямо на скалах, на цементном основании. Окрашено в синий цвет. Не крашены были только высокие металлические ворота. Их четверо. Они сияли на солнце. Возле каждого ворот прибита металлическая дощечка с надписями: «Ворота № 1», «Ворота № 2» и т. д., очевидно для того, чтобы зимовщики не запутались. Над центральными воротами № 3 висел плакат: «Добро пожаловать!» — а в сами ворота врезана небольшая дверь. Я толкнул ее и оказался в обширном зале. Прямо передо мной яма — мечта автолюбителя. Дно ее посыпано чистыми опилками. Над ямой на цепи — крюк с подъемником. По сторонам еще всякие приспособления. Здесь любой вездеход можно смазать, собрать или разобрать. Не гараж, а фантастика.

В зале пусто, но сверху, со второго этажа (внутри гараж двухэтажный), доносились голоса. Туда шла лесенка, а над полуоткрытой дверью висела металлическая табличка: «Главный механик».

Такая солидная обстановка как-то подавила меня, я почувствовал себя неуверенно. «Ну что я скажу главному механику? Буду отрывать его от дел праздными разговорами». На полпути остановился, обвел еще раз глазами огромный зал и юркнул обратно в дверь.

Да, вот это масштабы! О таких зданиях в Антарктиде четыре года назад только мечтали. Машины зимовали на улице. Механикам приходилось работать на ветру, на морозе. Но страдали не только люди — преждевременно изнашивались и машины. Около станции на склоне оврага уже полно металлолома: грузовики, вездеходы — целое кладбище антарктической техники. А теперь в теплом гараже ремонтировать машины одно удовольствие, и, конечно, жить они будут гораздо дольше.

Здание ДЭС (дизельной электростанции) до постройки гаража было самым большим на Молодежной. Оно также стояло непосредственно на грунте и снаружи было обшито металлическими листами, зеркально блестящими на солнце.

Перед входом у порога лежала циновка для ног, потом еще мокрая тряпка.

Цементный пол прихожей сверкал чистотой. В центре красовался медный шпиль, увенчанный парусным корабликом, и цифры «1967 г.» — дата постройки ДЭС.

В двенадцатой экспедиции я видел, как возводили это здание. Потом в Москву пришло известие, что ДЭС пустили. Установили четыре двигателя мощностью в 150 киловатт каждый — энергию, говорят, некуда девать.

Я вошел в машинный зал. Ровно гудели дизели. Такое впечатление, что ты находишься на заводе. Работало три двигателя. Значит, нагрузка уже сейчас полная, один двигатель всегда держат в резерве. И в том, что нагрузка резко возросла, нет ничего удивительного. Столько новых зданий, а ведь отопление везде электрическое.

Еще на мосту через овраг я обратил внимание на то, что от здания ДЭС к центру поселка идет вереница двухметровых опор из труб с держателями поверху, на которых закреплена целая связка кабелей. В домиках для отопления используются небольшие радиаторы, наполненные маслом. В каждом находится тепловой электрический нагреватель (ТЭН). А чтобы отапливать в зимние холода такие обширные помещения, как гараж, надо немало энергии.

В машинном зале никого не было. Но я чувствовал, что где-то рядом присутствует вахтенный механик. Нельзя же оставлять такое хозяйство без присмотра. У входа на вешалке висела промасленная спецовка. Лесенка рядом вела на второй этаж ДЭС. Подниматься туда было вроде бы ни к чему, к тому же близилось время обеда, надо возвращаться в кают-компанию.

На обратном пути, проходя мимо длинного, в 12 окон вдоль фасада, здания поликлиники, окраска стен которой образовывала вытянутый красный крест, я совсем было направился туда, но вспомнил строгие слова Петрова, что в сапогах и грязного в поликлинику не пускают. Я же после перелета в «Аннушке» с мясными брикетами порядком вымазался. Даже если сапоги снять, ноги — в портянках на босу ногу. Не пойдешь же, действительно, босиком. Так что оставалось принять на веру, что внутри там есть все нужное для исцеления: сверкающие чистотой помещения, включая рентгеновский и зубо врачебный кабинеты, операционную, и чудо из чудес — ванна!

На обед был борщ, котлеты с макаронами и фаршированным перцем в виде приправы, компот. В столовой встретил знакомых по старым экспедициям, среди них — Саня, моторист, механик-водитель вездехода. Саня выглядел двадцатилетним пареньком, но я знал, что ему уже за тридцать. У него сверкающие цыганские глаза, ослепительная улыбка. Я помнил, что он отлично танцует и поет, вкладывая в это дело всю душу. В двенадцатой экспедиции он шефствовал над станционным псом по кличке Механик, который постоянно разъезжал с ним в вездеходе.

За столиком мы оказались с Саней рядом, и, естественно, первое, что я спросил, — о судьбе пса.

— Не дожил Механик до моего возвращения, — покачал головой Саня, и чувствовалось, что это его немало огорчило. — Не дожил буквально месяца два. Старик стал, уж ничего почти не видел, от снега ослеп. Его, говорят, пристрелили, чтобы не мучился. — И Саня горестно вздохнул.

— Не осталось на станции больше собак?

— Нет, есть одна — Жучка. Ее из Австралии привезли. Но она не полярная собака, комнатная. На улице мерзнет. А Механик гениальный был пес. Другие собаки выбегут на припай, за пингвинами начнут охотиться, драть их, а Механик никогда этого себе не позволял. Я ему специально все растолковал, об охране природы лекцию прочел. После этого пингвин в двух метрах от него пускай сидит — Механик не пошевельнется. А других учи не учи — никакого толка.

— А как перезимовали?

— Да нормально.

— Никаких случаев особенных не было?

— Да нет, ничего особенного. В прошлом году при разгрузке корабля товарищ мой упал с барьера вместе с вездеходом в море, да он пловец отличный —

вынырнул. Правда, только выплыл — ему сверху на голову ящик свалился, но несильно, он опять сумел вынырнуть. Тут ему сетку спустили, достали. Так что все нормально. Пожары у нас были кое-какие в домиках, но мелкие — потушили.

— Так дома же теперь здесь не горючие.

— Снаружи-то точно, металл, а внутри — облицовка, лаки. Еще как горит. Только, конечно, это не то что в Мирном, там под снегом — как в душегубке. Здесь легко по коридору выскочить.

— А пуржило зимой сильно?

— Да нет, нормально. Один у нас потерялся прямо между домиков, но нашли.

— Сейчас посылки из дома получили, веселье на станции?

— Какое веселье! В посылках спиртное не пропускают. Даже бутылку сухого вина нельзя. Был тут один замначальника, так он распорядился, чтобы досматривали посылки: конфеты, шоколад — пожалуйста, а спиртного ни бутылки. А на хрена мне шоколад.

— Это не тот ли замначальника, который приказал одеть женщину, что на аэрологическом павильоне нарисована?

— Вот, вот, тот самый.

Нас уже несколько раз перебивали. Требовался вездеход — отвезти на аэродром перебирающихся на корабль.

— Вот пообедать не дают, — отмахивался Саня, но заторопился и, не доев, побежал.

Я вышел на крыльцо. Внизу толпились отобедавшие полярники. Курили, обсуждали новости. Тут я увидел бородатого утреннего зимовщика. Он тоже заметил меня, приветливо помахал рукой. Я подошел к нему. Он живо поинтересовался:

— Ну как, станция понравилась?

— Да, очень.

— Еще бы, много здесь труда вложено.

— Первый раз здесь зимовали?

— Это я-то! — Он возмущенно оглядел меня. — Третий. И каждый раз по пятнадцать месяцев. Можно сказать, половина домов здесь моими руками выстроена. Только за последние два месяца пять новых поставили.

Я с уважением посмотрел на его руки.

— Сколько времени уходит на алюминиевый дом?

— Теперь целиком ставим за пятнадцать дней.

— А сколько человек работает?

— Восемь — десять. Я сам бригадиром здесь. Когда первый раз ставили, четыре месяца провозились. А теперь все за пятнадцать дней. Сваи — два-три дня. Еще два-три дня — сборка, а остальное на доделки. Теперь быстро делаем, каждый свое место знает, — говорил он с явной гордостью. — Строители у нас все не новички, не один раз здесь побывали. Вот в эту зимовку нам поздно подвезли материал, только в марте. Пришлось строить в апреле—мае. Зима в разгаре. Так несмотря на непогоду строили. Бывало, щиты ветер, как картонки, из рук вырывал, швырял их по станции — того гляди изуродует, а ничего, строили. — И бородач вызывающе посмотрел на меня.

Но я и не думал с ним спорить.

— У меня здесь товарищ перезимовал, — сказал я. — Феликс. Тоже не в первый раз, но устал он после зимовки.

— Знаю его, — подтвердил строитель. — Я с ним недавно говорил. Устал, конечно. И я тоже устал. Теперь отдыхать буду. Года три-четыре никуда не пседу.

— А потом вернетесь сюда?

— Сюда?.. Может, и вернусь... Вложено много...

Недалеке от кают-компания находился столб с указателями расстояний до различных географических пунктов. Это нововведение! Четыре года назад такого столба не существовало. Я направился туда. Подошел и участник нашей экспеди-



ции Слав Караславов — болгарский писатель и журналист, дородный мужчина с немного одутловатым лицом.

— Ну-ка щелкни меня, — обрадовался он, — на фоне этого географического чуда. — И он протянул мне свой фотоаппарат.

Все указатели, кроме одного, смотрели на север, в сторону моря, где за Южным океаном лежали другие материка:

Северный полюс	— 17 555 км
Москва	— 13 783 км
Ленинград	— 14 247 км
Варшава	— 13 470 км
Берлин	— 13 640 км
Париж	— 13 496 км

Лишь одна стрелка глядела на юг, назад, в сторону ледникового щита. На стрелке надпись:

Южный полюс — 2486 км!

Две с половиной тысячи, можно сказать, рукой подать по сравнению с гигантскими расстояниями до Европы.

— А до Софии будет меньше тринадцати тысяч, — подсчитал Караславов. Чувствовалось, что он огорчен тем, что на станции нет соответствующего указателя. — А это что? — показал он на затесавшуюся в середину стрелку: «Сберкасса № 1991 — 14 247,85 км» — и, поняв, расхохотался: — Сюда заработок вам перечисляют!

— Пора собираться на корабль, — сказал я ему. — Неровен час, погода испортится, запуржит — и пиши пропало. На «Обь» нам тогда не попасть, а она тоже долго ждать не может, у нее свой график. Так и застрянем на станции. — И словно подтверждая правоту моих слов, что пора лететь, над нашими головами в сторону моря прострекотал вертолет.

Мы вернулись к кают-компани. Здесь уже стоял битком набитый Санин вездеход.

— Садитесь, садитесь, всех довезу. — Саня сверкал своей цыганской улыбкой.

Вездеход взобрался на сопку, где садились вертолеты. Второй вертолет уже запустил винт. Мы подбежали было к дверце, но летчики замахали на нас. Оказывается, этот вертолет пассажиров не брал, а должен везти на привеске контейнер с грузом.

Спасаясь от ураганного ветра, поднятого лопастями винта, мы отошли с Караславовым подальше на сопку, за здание ракетного павильона. Здесь я уселся на нагретую солнцем скалу, снял ушанку, потер ежик коротких, стриженных под машинку волос.

Отсюда видны почти целиком все холмы Молодежной, вереницы сопки, похожих на верблюжьих горбы, крошечный скалистый оазис среди ледяной пустыни. И вот на этих голых скалах, изборожденных антарктическими ураганами, на этой холодной земле, где не растет ни одной травинки, а в расщелинах прячутся жалкие кустики мхов и лишайников, вырос аванпост человеческой цивилизации, который не без основания можно считать столицей Антарктиды.

— Посмотри, — прервал мои размышления Караславов. Он развернул носовой платок, в котором лежало с десяток антарктических камушков, некоторые с куртинками мхов и лишайников. — Дочке обещал в школу для коллекции.

Я стал разбирать его камни.

— Этот, темный, — биотит-амфиболовый гнейс, а вот с красными зернами — биотит-гранатовый. Это самые древние породы оазиса, образовавшиеся около миллиарда лет назад. А вот более молодая жильная порода — пегматит, в нем, видишь, среди полевого шпата кристаллы слюды-биотита. Когда-то давно такая слюда на окошки для керосинок шла. А это чистый кварц, тоже, очевидно, жиль-

ный. Породы здесь однообразные. А определить лишайники и мхи я не сумею, это надо к специалисту.

— Хорошо, а драгоценные камни здесь есть?

— В твоей коллекции нет.

— Ну а вообще?

— Вообще в Антарктиде, конечно, есть, но добраться до них нелегко — вокруг лед.

— Так растопить его!

— Растопить-то, может быть, и можно, только вряд ли хорошо будет.

— А, да, вспомнил: я читал, уровень океана тогда поднимется — берега затопит. Голландия вся под воду уйдет.

— Вот-вот, — заметил я.

Вскоре прилетел вертолет, и все начали грузиться. У части зимовщиков было довольно много чемоданов, ящиков — наверное, тоже везли с собой разные коллекции. К тому же по пути на зимовку были заходы в иностранные порты, и там, видно, тоже кое-что прикупили. В вертолет набилось человек двадцать пять, на всю катушку.

— Осторожно, не садись на мой чемодан, — предупреждал один зимовщик другого, — там у меня сервиз чайный.

— А ты сам что ж на моем сидишь, хорош гусь! — вскипятился тот.

— Как, разве на твоём? — Зимовщик, смутившись, приподнялся.

— Да сиди, сиди. У меня там никаких сервизов нет. Какие там, к черту, сервизы — домой возвращаемся!

Когда вертолет проходил над Молодежной, все прильнули к иллюминаторам, словно впервые видели станцию.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ



## С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ...

**Н**екотрые понятия, некоторые слова языка нашего, богатого до необычайности и гибкого до удивительности, имеют такое громадное и разностороннее содержание, что мы, особенно если пользуемся ими часто, порой и не задаем себе труда полного их постижения, довольствуемся общим и приближительным. Или, не обнимая целого, подразумеваем лишь частности. К таким понятиям, на мой взгляд, относится и слово «родина» — знакомое, с детства близкое, повседневно-привычное и как будто физически осязаемое. Чего проще? Даже вроде и объяснять тут нечего! А вот спроси внезапно, какой конкретный смысл в него вкладывается, и можно проговорить полчаса, всего не исчерпав, и каждое объяснение будет немножко иным, в зависимости от человека и характера. Каза-лось, все словно на ладони, взял и выложил, а оно и не вдруг получается — то чересчур отвлеченно выходит и сухо, то вроде броско и выразительно, а глубины нет.

Замечено еще притом: люди на возрасте, за плечами которых и труд первых пятилеток, и война, и много пережитого, пережитого, выстраданного, обязательно связывают понятие Родины с революцией, гигантским и стремительным созданием новых человеческих и общественных ценностей, социалистическими преобразованиями. Люди же молодые или граждане вовсе юные, школьного возраста, склоняются к тому, что называется лирикой, говорят о бескрайних просторах страны — и жизнь проживешь, а всего не обойдешь! — о красоте земли нашей, о том, что есть на ней все: и поднебесные горы, и безоглядные степи, и пустыни, и леса, и вулканы. Что велика земля наша — шестая часть суши! — верно, что прекрасна и разнообразна природа — тоже правда. Но когда только о том и толкуется, то нечто главное, составляющее стержневое течение жизни, из виду как раз и выпадает.

Получается место действия без деяния, нечто вроде поля без пахаря.

Передо мной стопка писем школьников разных возрастов на тему «С чего начинается Родина». Известно, что есть превосходная песня с таким названием — в ней перечисляются воспринимаемые по мере взросления человека различные приметы Родины, но в конечном счете над всем доминирует раздумчивая строка вопросительного наклонения: «А может, она начинается...» Прошел под таким названием и цикл радиопередач, начатый писателем Николаем Атаровым. Все это вместе как бы приглашение к продлению разговора за гранью ориентиров, обозначенных в песне, побуждение — размышляй, думай сам. И взрослый человек, конечно, если он не урожденный брюзга или не из породы митрофанушек, возлагающих все упования на извозчика, из подобных размышлений извлечет и удовольствие дополнительных познаний и хлеб истины; а дети, племя младое?

Прочитал я сочинения и письма на эту тему, и, по правде сказать, от некоторых малость грустновато стало, не по себе немного, хотя сами-то письма как раз чаще всего написаны в тонах уверенности и в различных оттенках восторженности. Авторы по преимуществу люди грамотные и даже бойкие — нам

бы, старшему поколению, в такие лета столько! — чувствуется, что уже немало узнали и прочитали, щедро зачерпнули из потока информации об окружающей жизни, пишут иногда поэтично, в литературном ключе. А вот представление о «предмете суждений» — о Родине — маленькое и зыбкое, слащавое и потребительское.

И невольно задаешься вопросом: откуда феномен сей, как же объясняли это понятие в школе и дома? Само собой разумеется, в таком возрасте не к чему ожидать глубокой философии, экскурсов в проблемы социологии и экономики — на все свое время, — но ведь они воспитывались и дома, и в детских садах, и в школе, должны же они знать опорные, отправные пункты, которыми определяется понятие Родины, видеть реальные черты ее лица!

Увы, как говаривали встарь, и увы.

Одна девочка рассказывает, что увидела однажды березки, и возле них стоял мальчик, и она посоветовала ему погладить деревца ручонками, и в это время подошла мама мальчика, чем-то похожая на солнышко, и — цитирую — «улыбалась от счастья, что сын рад природе и Родине любимой». Автор другого письма пишет: «Земля моя, край родимый — ты прекрасен зимою и летом, во все времена... Сегодня я встала рано-рано и увидела такую картину... небо над горизонтом стало синее-синее. Откуда-то из-под земли появился первый луч. Скользнул по полям, лугам, крышам домов, разбудил пегухов. Те загорланили бодрими голосами: «Ку-ка-реку!»...» Правда, чуть ниже упоминается о тысячах комбайнов, которые вышли на уборку, но сказано это торопливо, мимоходом, без души. И еще письмо: «Люблю свой поселок, у нас есть горы, леса, и красиво». И еще одно: «С чего начинается Родина? С подснежника, который пробился из земли и тянет к солнцу снюю головку, с вешнего ветерка, который тихонько шумит: «Слушайте, Родина начинается со счастья!»

Читаешь такие письма и поражаешься — что же это? Пишут их школьники в возрасте двенадцати — четырнадцати лет, и пишут, как сказано выше, грамотно, даже литературно, — значит, учились, значит, умеют. И смотрели по телевизору детские и взрослые передачи, и слушали радио, и ходили в клуб. Насколько больше видят и знают они, чем их сверстники предыдущих поколений! Но в предыдущих поколениях в таком возрасте убежали на гражданскую войну, а потом на Отечественную, старались быть похожими на Чапаева и Чкалова, играли в солдат и командиров, которые бьют фашистов, мечтали стать радистами на Северном полюсе или капитанами кораблей. Что это было, «ранняя политизация»? Опережающее общественное развитие под давлением воспитания? Да ни в малейшей степени! Как раз наоборот — дети жили не в нарушение законов своего возраста, а именно в соответствии с ними; преломляя их в романтический план и воспроизводя в играх, естественно и непринужденно приобщались к большим интересам и делам страны. А это и есть совершенно нормальный путь развития личности от детства к юности и молодости в отличие от того искусственного, когда при ограждении от реальности растят деток-конфеток с ограниченным кругозором.

Все как будто яснее ясного, тем более что есть у нас и исторический опыт, и много талантливых книг по проблемам воспитания. Но вот они передо мной, эти письма, авторы которых, рассуждая о Родине, ни о ее далеком прошлом, ни о революции, ни о войне, ни о подвигах, которые совершили их отцы и матери, не вспоминают ни одним словом. Будто ничего этого не было, а если и было, то для них значения не имеет. Их интересы, словно нарочито зажатая стрелка компаса, ориентированы только на узко понятую лирику и романтику природы — рассветы, цветы, березки...

Березки? Да, конечно, березка опозитивирована как русское дерево, и в этом есть свой глубокий смысл — исторический и психологический. Но березки растут и в других странах, хотя нигде они, вероятно, так не посечены войной, не сохранили под корой столько пуль и осколков, — в Брянских лесах, наверное, из них можно было бы извлечь десятки и сотни тонн металла. Петушинный крик? Петушинный крик такой же точно, как на Смоленщине и Ярославщине, мне доводилось

слышать и в Австралии и в Латинской Америке — птица эта, как говорится, самая повсеместная. Капелька росы на цветке, о которой пишется в одном из писем? Роса везде роса — и в Африке и в Исландии. Разумеется, прекрасное в природе проникает в душу человека и облагораживает ее, наполняет любовью к отчей земле, разумеется, картины мест, среди которых вырос, человек носит в памяти всю жизнь. Но сводить понятие Родины только к этому, да еще сплошь и рядом в сюсюкающей тональности, — это все равно что кормить человека одними леденцами на палочке. Кому же это придет в голову!

Кстати, обязательно следует еще заметить, что понятие Родины здесь сведено к понятию отчего края, что далеко не одно и то же. Под отчим краем мы действительно подразумеваем те почти в пределах окоема места, где родились и выросли, причем это тоже не сводится только к деревьям, травам, петухам да росам, а относится и ко всему преобразованию жизни, запечатленному и в пейзаже, — под Родиной же мы подразумеваем сегодня нашу многонациональную социалистическую страну со всеми ее климатами и ландшафтами, со всеми историко-революционными деяниями от Великой Октябрьской революции до ведущей роли ее в прогрессивном развитии современного мира. Нет, я не могу обвинять авторов приведенных писем за то, что у них эти различные по масштабу и значению понятия перемешались, перепутались, стали заменять одно другое, хотя замена такая ведет только к недоразумениям.

Виноваты не они сами — они взяли то, что дали им взрослые. К тому же надо сказать в интересах полной правды, что далеко не все школьные письма такие. В неисчислимом множестве их иные авторы пишут не только о любви к природе отчего края, но и с энтузиазмом рассказывают о новом строительстве, о хороших людях, о садах, которые сажают сами. Кроме того, в Брянской области, например, — и не только в Брянской — десятки тысяч пионеров летом идут в походы по дорогам боевой славы, глубоко и всесторонне изучают свой край. Да и вообще хорошие у нас растут дети — добрые, человеческие, душевно отзывчивые, любознательные, смотришь — и сердце радуется! И тем огорчительнее, что части их, примеры чего приводились выше, даются урезанные, инфантильные, обедненные понятия о Родине — ведь впечатления детства устойчивы, их потом нелегко исправлять. Спрос тут со всех нас, и в первую очередь с педагогов, литераторов, журналистов, работников радио и телевидения, спрос за тот грех, что употребляем мы некоторые святые и с серьезным содержанием понятия к месту и не к месту, в небрежении к их точному смыслу, в штампованных обоямах и сюсюкающе-слащавой тональности. И причин тут много — иногда спешка, иногда нетребовательность и нерадение к языку своему, а порой и привычная неряшливость и нелюбовь к точному знанию и ясной мысли. Да что далеко ходить за примерами, когда достаточно взглянуть на поэзию нашу — неисчислимо развелось в ней произведений, которые иногда критики хвалят за патриотизм и в которых речь как будто идет о Родине и любви к ней, а при внимательном знакомстве оказывается, что ничего в них, кроме так называемых лирических «извечностей» — березок, рябин, калин, кашек, ромашек, рассветов, облаков, — и нет. Прямо оторопь берет: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Недавно совсем я прочитал книжку — автора называть не буду, при краткости разговора это было бы неправомерно, — в которой в различных стихотворениях более двадцати раз при не слишком разнообразных «метафорических оформлениях» проводится мысль, что хлеб, пшеница — «основа жизни», примерно столько же раз, что земля — «кормилица» для всего сущего. Мысль, по правде сказать, общезвестная, каждодневная, в поэзии использована за века несчетное количество раз, но не это меня смутило — бывают у поэтов и повторы, а к тому же в новой ситуации и новом ракурсе даже старая на первый взгляд тема может заиграть новыми современными красками; смутило меня то, что нет при этом ни малейшего намека, в каком времени этот хлеб растет и каким способом добывается. А ведь, скажем, человек при сохе и человек на тракторе — совсем не одно и то же, это разные

люди по знаниям, по власти над землей, по судьбе, по психологии. И земля-то выглядит по-другому, и поет и жалуется другими голосами.

Нет, я совсем не за то, чтобы поэт писал о тракторе или комбайне: хочешь и можешь — пиши, нет — и не надо, переживется. Но если даже согласиться, что в поэзии существует «лирический герой» — сам я этого термина не приемлю, — то возникнет обязательно вопрос: на какой земле и в каком времени он живет? Если же считать, что лирическое стихотворение отражает непосредственное ощущение и размышление, то опять-таки никуда не уйти от факта, что и в этом случае оно должно нести на себе печать времени и реальной жизни. Не с небес же в душу нисходит! Поэт видит, созерцает, ощущает ту реальность, в которой живет; размышляет и философствует на уровне своего времени. И категориями и образами своего времени мыслит. Там, где нет этого, там нет и настоящей поэзии.

Думаю, нелишне будет заметить, что речь в приведенном примере идет о настоящем советском поэте, талантливом, с хорошо развитым художественным воображением, но допустившем просчет в новой книжке. Может быть, потому, что в предыдущие годы его до бровей и ушей замазали медом огульных похвал, от каковых, надо полагать временно, убавилась острота зрения и слуха? Оговорка же эта нужна с тем, что у нас есть и литераторы, которые пишут старосельскую старину, выдавая ее за нынешний день нашей жизни, и такие, что текут лампадным маслом от умиления древней обрядностью, но, сами выходяцы из села, чужды его людям и делам и чуть ли не как оскорбление высшего эстетического чувства воспринимают замену хаты хорошим домом и соломы шифером. Отчего они такие, трудно понять; может быть, находят, что в пору накаленных политических страстей на ничейной земле жить удобнее и безопаснее? — но тем, на чью долю выпало воспитывать достойных сограждан нашего социалистического отечества, людей убежденных и целеустремленных в будущее, они не помощники. Чтобы получить хороший урожай — духовных ценностей тоже, — поле от века положено засеивать полноценным зерном.

И раз уж зашла речь о поэзии, о литературе — ну совершенно невозможно не коснуться песни! Воистину повсеместно недоумение: «Песен, что говорить, много стало, да все в них любовь, девчонки, дожди, речки, березки. Есть, конечно, и серьезные, да маловато, а уж хором и в застолье и вовсе спеть нечего, больше довоенными обходимся, «Широка страна моя родная» и «Катюшу» вспоминаем. Нет, мы не против гитаристов и джазов, особенно если они не первопопавшиеся, а талантливые, но на однообразии и слух потерять можно, к тому же мы народ коллективный, нам на отдыхе ли, в застолье ли самим хором петь хочется. Так для эстрады песен сколько угодно, а для коллективности — ~~к~~от наплакал».

Что тут сказать?

Нет, разумеется, я далек от мысли обвинять всех поэтов и всех песенников огульно, тем более несправедливо было бы только им одним учинять спрос и за огрехи воспитания — и проблема глубже и круг причин шире и сложнее. Мне думается, что назревает пора для серьезных исследований и суждений по этим вопросам; у нас в прессе были острые статьи об автомобильном сервисе и о том, какие мужчины нравятся женщинам, а разве проблемы духовного формирования личности менее значащи?

Вернемся, однако, к теме.

Выше приводились примеры суждения детей. Ну, а для нас, взрослых, с чего начинается Родина?

Мне никогда не забыть, как два моих молодых земляка в разное время и при разных обстоятельствах приглашали в гости новых знакомых. Один сказал:

— Приезжай, старик, у нас новый ресторан с танцами, есть где и посидеть и размять ноги!

Другой говорил не столь бойко, с паузами:

— Приезжай, у нас много интересного... Брянские знаменитые леса. Соловей Разбойник в них жил и Илья Муромец ездил... Ну, партизанскую их славу сам

знаешь. С нашими дизелями океанские суда ходят, автомобильный завод новый... Город стоит на горе, отстроился в последнее время — не узнать... Нет, правда, есть на что посмотреть!

Речь и тут еще шла не о Родине в полном смысле слова, а об отчем крае, но какой же различный на него взгляд у земляков! Один — словно у серенького кулика на болоте, при воображении тощем, как нищенская сума, другой — с историческим горизонтом, с гордостью за деяния соотчичей своих. Но вот я и сам бывал множество раз за рубежом и видел там людей наших — и уже не говорим мы, что наша родина под Брянском или Краснодаром, под Ташкентом или Таллином, а говорим, что мы советские, что мы граждане Советского Союза. И в воображении иностранного собеседника сразу возникают не перелески и речки, не петушинный крик и роса на цветке, а самая огромная по территории и многонациональная страна мира с чудодейственным разнообразием климатов и ландшафтов, от Арктики до субтропиков, бурная история далекого прошлого, Павлов и Менделеев, Ленин и Октябрьская революция, Лев Толстой и Юрий Гагарин, гигантские электростанции Сибири и дорога в космос — в целом нечто гигантское по географическим масштабам и человеческим деяниям. И даже у противников наших появляются нотки уважения в голосе, и сам ты, сознавая, что всяк из нас в отдельности как человек мал, с глубоким волнением вдруг начинаешь понимать, какая титаническая, вдохновляющая и оберегающая сила стоит за тобой и предстает в лице твоём — твоя социалистическая Родина!

Сам я родился в Брянской области, очень люблю край свой и людей его, часто там бываю и по делам и просто затем, чтобы погостить, если есть досуг. Но вот ездил я весной в Узбекистан, республику со своей древней и новой историей, языком, со своими особенностями культуры и быта. И многому поражаюсь и при виде многого волновался так, как если бы это было и на Брянщине.

В Аккурганском районе, на месте солончаков и пустырей, где и жилья-то не было, на землях от века бросовых построили и продолжают строить огромное прудовое хозяйство. Синий блеск воды, пыление свежей зелени, упитанные, в золотой солнечный тон сазаны и карпы — от этого и так сердце возрадуется. Но оказывается еще, что оттуда круглый год снабжают жителей Ташкента свежей рыбой и в ближайшие годы будут ее брать из этих прудов больше, чем все уловы Аральского моря. И природа вроде та, извечная, и не та, преображенная, и жизнь другая... Легишь на тихоходном самолете от нового, «с иголочки», города Навои — под крыльями серая, с бурыми хвостиками жесткой травки барханная пустыня и пустыня, глазу не за что зацепиться. И вдруг посреди этого уныния и безмолвия возникает новый, современный, по самым последним велениям архитектуры город при золотом месторождении — Мурунтау, совсем молодой город, появившийся несколько лет назад. И есть тут все что положено — кондиционеры в служебных помещениях, современные жилища, детские сады и школы. Перенесли из пустыни в столицу — и к месту будет! Удивительно? И да и нет — выросло все со сказочной быстротой, верно, да ведь в соответствии с темпом и размахом нашей советской жизни! А после того как откатятся назад хлопковые поля по дороге из Нукуса в Бируни, в город, смытый не столь давно наводнением и отстроенный заново, — на скале изображение Ленина, и, как правило, если в дороге делают передышку, то именно здесь. Земля — из древнейших, традиция — из новейших, но ставшая неписанным законом.

Не раз бывал я на Кубани до войны, из Армавира весной сорок второго года ехал на Ростов и Сталинград в эшелоне со своим саперным батальоном. И всегда это была одна и та же картина — огромное синее небо, от горизонта до горизонта накрывшее равнину степь, в которой лоснилась, прогибаясь под ветром, пшеница, и кое-где на улицах станиц фонтанировали зеленую купу деревьев. Лет двадцать спустя после войны я снова ехал, теперь уже на машине, из Ростова на Краснодар и — что такое? — совершенно не узнал этой земли. Когда перестраивают дом или выращивают небольшой сад, к этому привыкаешь быстро. Но у меня в памяти был «отпечаток»: во всех его красках огромный край, бегущая с утра до вечера вдоль поезда неоглядная степь, где вольно ветру да облакам. А теперь ника-

кой степи не было и в помине: час едешь, два, четыре — непрерывно бежит ухоженная придорожная посадка с великолепными деревьями, небо у горизонта спускается не на поля, а на синеву лесных полос, которые, когда смотришь на них не из самолета, а с дороги, представляются бескрайней чашей. Переменился лик земли! И я радовался и не уставал дивиться, и воображение рисовало мне богоравных титанов, приложивших к тому руку свою — в древних мифах к скалам Кавказа был прикован Прометей, — а местные люди хоть и гордились, но говорили об этом буднично.

Недавно я снова побывал в Краснодаре и Адыгее, поездил по полям, и эти разросшиеся лесопосадки, разлиновавшие землю на прямоугольники и квадраты — в одном тучная пшеница, в другом подсолнух, в третьем виноградники, — делают, честное слово, все похожим на рай, каким его описывали прежде. Возле самого города заканчивалось создание целого моря, воды которого пойдут на орошение, а сверх того здесь должны быть питомники для шемаи, рыбака, осетра. Совершенно преобразилась и Адыгея — и по виду, и по содержанию полнокровной, духовно насыщенной жизни.

Ездил я по этим разным краям, преобразенным до неузнаваемости трудом людей, и думал: а кто ж я здесь — чужак, гость? Нет, свой, так же как узбек, каракалпак или адыгеец свой и в Москве, и в Киеве, и в Брянске, и во Владивостоке. И все что ни есть земли с бесконечным разнообразием красот, и все что ни есть богатства — заводы, машины, научные учреждения, книги и театры, — всё это ни есть — это наше общее социалистическое достояние, из которого мы черпаем свою силу и уверенность в завтрашнем дне. И общая наша Родина охранительно витает над крышей каждого дома, над каждой колыбелью ребенка и судьбой человека.

Вот с этого в точном значении слова и начинается наша Родина сегодня — со свободного, на братской основе, слияния всех наших земель, со слияния всех предысторий в едином русле новой истории, с социалистической общности и гигантской созидательной работы. Да, все мы, каждый из нас, сильной, трогательной, неизъяснимой в своей глубине и постоянстве любовью любим отчий край, потому что тут нам впервые открывается жизнь, тут впервые осознаем мы красоту мира и свое место в нем, тут живут наши отцы и матери, и словно всю жизнь пульсирует в легких воздух, который мы здесь вдохнули впервые. Прекрасна и человечна эта любовь! И все же это лишь первая ступень раннего детства, и уже в начальных классах юный гражданин, научившись читать книги, должен делать шаг на следующую — к понятию Родины, а родители, учителя, все, кто имеет к этому отношение, должны помочь ему этот шаг сделать, чтобы впоследствии по духовному богатству и широте мышления он как гражданин и человек был достоин своей страны и общества.

Как сказали бы мои друзья на Кавказе с их любовью к яркому слову — пехухи остаются на своих насестах, а соколы летают в поднебесье!

И еще одно на этот счет соображение.

Кто-то из поэтов сказал: что ты любишь Родину — это еще половина дела, надо, чтобы Родина тебя полюбила. Афористично сказано, жестоковато, но верно. Полнота счастья бывает только в любви взаимной, это хорошо знают все мужчины и женщины, достигшие определенного возраста. Мне всегда вспоминается некоторым образом связанный с этим случай, глубоко поразивший меня своим драматизмом. В Аргентине, в Буэнос-Айресе, когда я там был, мне позвонил в номер и попросил спуститься в холл человек, говоривший по-русски. Когда я вышел, он изложил свою просьбу — походатайствовать за него и за его товарища в посольстве, чтобы им разрешили вернуться в Советский Союз. Я спросил: а как очутились они здесь и что делают? Оказалось, что когда после войны наши войска стояли в Вене, они, один в звании майора, другой капитана, перебежали к американцам. Их долго держали в лагерях под Нью-Йорком, допытывались о всяких разностях, а затем, так как работы не было, помогли уехать в Аргентину. Майор работал здесь в уличном киоске на мелкой починке обуви, капитан — в частном гараже рабочим.



— Но ведь вы совершили преступление против закона, — сказал я. — Вас будут судить.

И он ответил, что знает об этом, но они уже все обговорили и предпочитают просидеть десять лет в тюрьме, чтобы потом чувствовать себя людьми на родине, чем оставаться здесь.

Случай этот, конечно, крайний, на грани трагедии, но он ярко показывает, что бывает иногда в таких ситуациях при любви без взаимности. Что ж, примем его во внимание в качестве уникального и перейдем к делам попроще, покаждодневнее — к обыкновенным житейским.

Разве не справедлива во всех отношениях такая постановка вопроса: если ты говоришь о любви к Родине и предъявляешь права на ее внимание и заботу о тебе, то и сам обязан сделать все, что тебе по силам, ко благу и процветанию ее. Миллионы наших людей доказали это трудом в первых пятилетках, миллионы — бесстрашием, самопожертвованием и гибелью во время войны с фашизмом, десятки миллионов людей доказывают это сейчас беззаветным трудом и творчеством в девятой пятилетке. И мы любим таких людей, как друзей и родных, хотя не всех знаем в лицо, чтим их и уважаем. Но, спрашивается, за что Родина — а это значит все мы — должна любить тунеядца, у которого совесть в желудке, а ум в кармане? Какие права на сочувствие и заботу может предъявить пьяница и сквернословящий при женщинах и детях хам, тем более что чаще всего пьянство и хамство похожи на двух слепцов, из которых один ведет другого? Или вот — бракоделы, которые тоже есть кое-где. Конечно, бывает брак от неумения — тут надо учить. Но бывает брак от нерадения, разболтанности, разгильдяйства, недисциплинированности. Честно работающий человек покупает стиральную машину, а в ней заусенцы, рвущие белье; другой человек — такой случай я недавно наблюдал сам — покупает десять круглых электрических батарей, и внешне интеллигентная женщина за прилавком заворачивает их кое-как, в единственный, уже прорвавшийся на углах листик бумаги, хотя на прилавке ее достаточно, а когда он просит перевязать пакет шпагатом, который тут же висит на катушке — ему ехать на автобусе, батареи могут рассыпаться, — женщина одергивает его: «Донесете и так!» И выходит, что деньги она за работу получает, а работать добросовестно не желает. к себе уважения требует, а другим хамит.

А вот, например, передо мной номер «Правды», и в ней фельетон о некой С. Она бухгалтер на заводе, на собрания не ходит, общественной работой не занимается, сослуживцев всячески, как говорится, обзывает, к общественным организациям одно отношение — дайте квартиру, путевку, зарплату повыше, а то напишу жалобу.

Что означают эти случаи — простую разболтанность? Нет, в лучшем случае это бескультурье, перерастающее в оскорбление человеческого достоинства, настырность, а в крайнем случае — своеобразная разновидность воровства: какая разница для честного человека, вытащили у него деньги из кармана в толкучке на базаре или взяли за непригодную вещь, которую делал бракодел-разгильдяй? А ведь как эти бракоделы и бескультурные люди — бескультурные духовно, хотя иногда и с образованием, — как порой кипят они и бранятся, если кто-нибудь проделает то же самое с ними! Как брызжут они слюной на всех и на вся, ставя под сомнение общественные и нравственные ценности, — словно на свете есть где-либо страна или край, где за ничего можно получить все, где ты можешь от всех требовать, а тебя — не трожь! Нету такой страны и края, даже в библейский рай путевка должна оплачиваться трудолюбием, любовью к ближним, честностью и другими устойчивыми ценностями. А не оплатил — пожалуй в ад, узнай, почем фунт лиха!

Ну, религия — это попутно, для образной иллюстрации, но и реальная жизнь шутки шутить не любит, ведь и в народе у нас давно и мудро говорят: как аукнется, так и откликнется, что посеешь, то и пожнешь. Значит, относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, делай больше и лучше для других, если хочешь, чтобы другие делали больше и лучше для тебя. Это и есть высший

нравственный закон нашего советского общества — не на миллионеров работаем, а на себя! — это и есть настоящая, а не на словах любовь к Родине!

Родину, такую, какая она есть сегодня, наши отцы и деды завоевали в революционных боях и на полях гражданской войны, мы сами строили ее, начиная с фундамента, мы выстрадали ее нерушимость и славу в самой жестокой из всех войн, какие были во всей человеческой истории, сами своими руками создали ее богатства и могущество. Вполне естественно, что мы любим ее — она главная основа нашей жизни, всех вместе и каждого в отдельности, она единственный и самый надежный гарант будущего наших детей. Так давайте же каждый на своем месте делать свое дело так, чтобы и она любила нас, и воспитывать в этом духе детей наших.

Потому что — и это я еще раз хочу подчеркнуть в заключение — любовь без взаимопонимания и взаимности никогда и никому счастья не приносит и не принесет!

А с чего же начинается Родина? С познания ее прошлого и настоящего и с осознанной готовности быть достойным сыном и гражданином ее.



---

# В МИРЕ НАУКИ

## АКАДЕМИИ НАУК СССР — 250 ЛЕТ

В нынешнем году наша страна празднует двухсотпятидесятилетний юбилей Академии наук СССР.

Долгий путь, пройденный штабом отечественной науки, естественно разделяется на два этапа: дооктябрьский и советский. Они не равны по своей протяженности — первый почти в четыре раза длиннее второго. Не равны и по итогам — советский период ознаменован огромным количеством достижений, стремительным развитием научных учреждений, ростом количества ученых, повышением роли науки в жизни страны. О таком расцвете науки не смели мечтать даже самые дерзкие умы дореволюционной России.

Когда пятьдесят лет назад страна, едва оправившаяся от послевоенной разрухи, отмечала двухвековой юбилей Академии, нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский выступил в журнале «Новый мир» с большой статьей, посвященной этой дате. Говоря о том, как складывались отношения между советской властью и Академией, Луначарский отмечал немалые заслуги ученых перед новой Россией, но в то же время не скрывал, сколь сложно добиться полного единодушия с Академией, показывал, что более тесный союз науки и труда — дело будущего.

«Чего могли мы требовать от Академии? — спрашивал Луначарский. — Чтобы она внезапно всем скопом превратилась в коммунистическую конференцию, чтобы она вдруг перекрестилась марксистски и, положив руку на «Капитал», поклялась, что она ортодоксальнейшая большевичка?.. Ведь искренним подобное превращение быть не могло. Быть может, оно и придет со временем и путем постепенной замены прежнего поколения новым, и путем замечаемого нами процесса оживленного осмоса, оживленного проникновения сквозь мнимую броню Академии соков новой общечеловечности».

Этот процесс, отмеченный Луначарским, — одна из главных тенденций научной жизни страны за прошедшие полвека. Сегодня советская наука всей мощью своих открытий и свершений служит социализму, мобилизует весь свой огромный интеллектуальный потенциал на строительство коммунистического общества. Употребляя выражение А. В. Луначарского, Академия наук давно уже стала «большевичкой».

Партия и правительство во всех своих замыслах и свершениях уверенно опираются на помощь и поддержку ученых, которые высший смысл своей работы и жизни видят в служении народу, в служении делу коммунизма.

ЦК КПСС в постановлении «О 250-летнем юбилее Академии наук СССР» отмечает: «Советские люди гордятся своей Академией наук. Она окружена вниманием, заботой партии и народа». И далее: «ЦК КПСС выражает уверенность в том, что, отмечая юбилей Академии наук СССР, ученые, коллективы научно-исследовательских учреждений страны приложат свои усилия к выполнению задач, поставленных XXIV съездом КПСС, добьются новых успехов в деле развития ведущих научных направлений, внедрения достижений науки в сферу материального производства и тем самым внесут достойный вклад в общенародную борьбу за коммунизм».

Отмечая юбилей Академии наук СССР, редакция воспроизводит (с незначительными сокращениями) статью А. В. Луначарского, опубликованную на страницах «Нового мира» почти пятьдесят лет назад, и печатает статью члена Президиума АН СССР академика Б. Н. Петрова, в основном посвященную роли сегодняшней науки в жизни нашей страны, ее вкладу в коммунистическое строительство.

## А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ



## К 200-ЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Основание Академии наук, вначале носившей название Санкт-Петербургской, тесно связано со всеми реформами Петра Великого.

В настоящее время смысл реформ Петра Великого совершенно ясен. Достаточно известно, что реформы эти готовились уже в предыдущее царствование и находили свое логическое продолжение в дальнейшей политике российского самодержавия, хотя иногда и были перебои и искажения.

От таких перебоев и искажений не могли быть свободны и реформы самого стремительного и самого прямолинейного из преобразователей — Петра.

Российское самодержавие являло собою, конечно, прежде всего центр сил и основную форму организации господствующих классов страны. Однако дело не обстояло очень просто внутри самих господствующих классов, различные слои в них вели между собою немалую борьбу.

Старый, главным образом феодально-земледельческий, уклад с примесью некоторых форм сравнительно мелкого торгового капитала более азиатского, чем европейского, типа сталкивался в своих интересах с тенденциями нового торгового капитала, постепенно выраставшего из мелочных оборотов, начинавшего заглядываться на выходы к морям, на использование транзита между Европой и Азией и не только на более или менее широкий обмен отеческого сырья на европейскую продукцию, но и на постепенный переход к самостоятельной обработке сырья.

Политически торговый капитал как будто не играл значительной роли, но экономически он становился все более важным колесом в государстве. Однако же влияние верхних прослоек купечества и сколько-нибудь втянувшейся в торгово-капиталистические предприятия знати не могло само по себе так стремительно и революционно вывести государство из равновесия, как это мы видим при Петре. Для понимания внутреннего смысла реформ Петра надо еще учесть интерес самодержавия как такового. Это вовсе не значит, чтобы персону царя, его династия, двор или даже бюрократия выделялись бы нами в качестве какого-то самостоятельного класса. Вовсе нет. Они, конечно, являются костью от кости и плотью от плоти господствующих классов вообще, но они составляют главный штаб этих классов. При низком развитии общественности в России они представляли собою, конечно, людей, в общем, обладавших наиболее широкими горизонтами, наиболее осведомленных о международных отношениях и внутренних нуждах страны, которой они правили.

Не бог весть как глубока была эта осведомленность и не бог весть какой мудростью являлась политическая мысль этого штаба, но тем не менее одно было для него всегда ясно: необходимость держать колоссальную вотчину российскую в полном подчинении господствующим классам, защищать ее в то же время от хищнических посягновений господствующих классов соседних держав. Военные соображения рядом с соображениями полицейского характера невольно были доминирующими соображениями этого главного штаба. И вот тут с полной очевидностью для всех мало-мальски мыслящих людей выяснились преимущества западной торгово-промышленной культуры даже в чисто военном отношении. Петр Великий воевал много и сравнительно счастливо, результаты его войн (далеко, однако, не безусловно удачных) уже сами объяснялись вовремя введенными преобразованиями военных сил страны на суше и на море. Нет никакого сомнения, что если бы реформы эти производились с меньшей стремительностью и натиском, чем сделано это было Петром, то страна опоздала бы и, несомненно, была бы тяжело изувечена тем или другим из своих соседей.

Но уже военно-политические соображения приводили к выводу, что армия и флот европейского порядка не могут быть поддерживаемы тылом, лишенным некоторых, хотя бы минимальных, элементов построенной по-европейски промышленности.

Эти тенденции самодержавного штаба совпадали с тенденциями верхов торговой буржуазии и чрезвычайно усиливали влияние этого класса.

Эти же соображения крайне ослабляли оппозицию той части барства и духовенства, которая готова была стоять за старину. Решающим при этом являлось то, что самодержавие, начиная с Иоанна Грозного, если не раньше, обрело некоторый новый метод искания себе опоры во внутренних и внешних расприх и некоторый новый слой господствующих, служивший для него источником силы. Таким слоем было помещичество. Необыкновенная сила российского самодержавия перед всеми элементами населения заключалась именно в том, что в Европе, где города развились мощно, с ними приходилось считаться непосредственно, то есть не только покровительствовать им, но испытывать на себе давление их требований. Русские же города в этом отношении были достаточно немощны, играя определенную экономическую роль, толкая страну вперед, на пути европеизации. Содействуя такого рода предприятиям самодержавия, города вместе с тем долго-долго не осмеливались громко заговорить о своих правах.

Помещичество необъятной страны, создавшееся параллельно с силой московских царей, нашло как раз основной узел своей организации в самодержавии как таковом. Оно опять-таки не могло найти никакого другого организующего центра. Распыленное, индивидуально слабое, держащееся только покровительством царя — оно во всей своей массе составляло тем не менее основу военной силы самодержавия, представляло собою, правда, расточительный, нелепый, но тем не менее достаточно сильный аппарат для стягивания еще более распыленной и дезорганизованной крестьянской массы, из которой выколачивалась в последнем счете и военная и экономическая мощь государства. Самодержавие непосредственно через помещиков опиралось на бесправную безоружную крестьянскую Россию, и это позволяло ему в значительной мере игнорировать полуувядшую феодальную верхушку знати и действовать во многих случаях довольно самостоятельно.

Помещичество, конечно, было прежде всего заинтересовано в военно-политической и, в значительной мере, торговой мощи страны. По тому времени это было самое государственное сословие. Отдельные помещики могли совершенно не сознавать этого и быть настоящими дикарями, но классовое чувство в этих случаях, проявляющееся обыкновенно как известный социальный инстинкт, подсаживало помещикам, что их благосостояние теснейшим образом связано с ростом великодержавности России.

Великодержавность была объективно возможна, ибо исторически сложилась страна с огромной территорией и редким, но многочисленным населением. Все дело было только в том, чтобы использовать эту стихию к наибольшей выгоде правящих. Такой метод нашли именно в приспособленной к этой цели европеизации. Ее и проводил Петр. Он мог опереться при этом на более или менее распространенную, ослабившую одних и усилившую других мысль, что без европеизации Россия может погибнуть под ударами западных соседей. Он опирался на интересы растущей буржуазии. Он опирался на свое дворянское офицерство и на свое вымуштрованное, хорошо проверенное в казарме крестьянское солдатство.

Петру не нужно было быть особенно мудрецом, чтобы понимать невозможность создать великодержавие без науки. В XVII веке это было уже бесспорно. Хотя религия держалась более или менее крепко, и не только правительство, но и буржуазия была убеждена в необходимости ее как скрепы повиновения низов. Хотя различные философские системы представляли собою как раз более или менее фальсифицированные выводы из молодой науки, попытки применения их с религиозными элементами, тем не менее фактически мысль буржуазии, уже тогда основного действующего класса, отчалала от религиозного берега. Мы знаем, что после ряда скитаний по морям свободы торговли, свободы слова и совести, наконец даже политической свободы, буржуазия будет пытаться вновь причалить к этим покинутым берегам. XVIII век был весною всех этих свобод, еще не вылупившихся из яйца времени. Для буржуазии было ясно, что широкое мореплавание, мануфактура с постепенным употреблением все более усовершенствованных механических и химических процессов совершенно немислимы без развития математики, механических воззрений на природу и т. д. XVIII веку предоставлено было со всей остротой поставить вопрос о научном освещении явлений общест-

венных. XVII век задумывался об этом сравнительно мало. Механика и математика были его преобладающими интересами, и отсюда делал он необходимые и часто разрушительные экскурсии в области философии и религии, для того чтобы создать себе довольно крепкий фундамент для своих успехов.

Широчайшие построения Декарта, Малерба, Спинозы по своему социальному смыслу были прежде всего попытки, не объявляя прямой войны духовенству, создать логическую и психологическую атмосферу, в которой можно было бы с уверенностью добывать точные знания о природе. Русская религиозная мысль была до ужаса слаба и скомпрометирована. Искренне и свято верующих можно было найти главным образом среди раскольников, абсолютно темных, дикарски-суеверных, совершенно неподатливых по отношению к прогрессу. Может быть, из старообрядчества и был некоторый выход к свету, но он лежал совсем на других путях, чем путь государственного просвещения, естественно избранный Петром. Православие как таковое представляло из себя сплошное гниение. Внизу, в крестьянстве, само собою разумеется, — языческое полужерие в совокупности с суевериями, и больше ничего, а наверху — отсутствие всякого убеждения, пустой ритуал и на каждом шагу поправление всех начал какой бы то ни было христианской нравственности. По сравнению с убожеством русской религиозной мысли Европа как в католицизме, так и в чисто буржуазных изводах христианства, в особенности кальвинистского толка, представляла собою недостижимую твердыню религиозности.

Это обстоятельство более всего позволяло Петру превратить церковь в подсобный, подчиненный и слегка презираемый винт его государственной машины, а лично — подняться до странной смеси слабых остатков религиозного сознания со всешутейшим издевательством над религией.

Петр Великий был чрезвычайно мало связан узами религиозности, и то же, конечно, надо сказать и обо всем окружавшем его бюрократическом генеральном штабе. Зато сознание того, что точные знания о природе являются базой правильного хозяйствования, правильного распоряжения людьми и вещами, крепко вошло в голову хозяев тогдашней России. Отсюда естественное стремление как можно скорее пересадить науку на русскую почву. Строя свою Санкт-Петербургскую Академию, Петр вовсе не думал механически пересадить приглашенных им многоученых немцев в Россию. Говорят, что Петр любил иностранцев; конечно, он находил в них более понимающих помощников, но он великолепно видел, что прививке науки должно во что бы то ни стало содействовать возникновение собственной национальной научной поросли, которая обеспечивала бы возможность большей независимости от Европы. Ленивого русского помещичьего щенка было невероятно трудно заставить учиться. Но Петр решил не жалеть палок и заставить долбить европейскую науку российских недорослей. Немцы призывались для этого, и к немцам отправляли хоть сколько-нибудь способных барчуков.

Очень характерны те, так сказать, кумовья, которые стояли у купели будущей Академии Союза Советских Социалистических Республик. Петр во многом брал свой устав от Парижской Академии наук. Парижская Академия еще и в десятой доле не развернула той революционности научной мысли, которой отличались французские просветители несколькими десятками лет позже, но тем не менее это была очень серьезная буржуазная батарея. Ее членами были очень многие дворяне, но это были дворяне обуржуазенного типа. В Парижской Академии, в самой интересной для Петра части ее, среди математиков, механиков, физиков, химиков и всякого рода других естествоиспытателей, царил та же влюбленность в приобретение точных знаний о природе. Позднее именно на этой почве вырастет чудесный цветок энциклопедии Дидро. Парижская наука позднее не только будет содействовать революционному рационализму, этой весьма активной силе в стихийном сдвиге конца XVIII века, но солидаризируется с самими революционерами, даст своих членов во все партии вплоть до самой крайней, предложит весьма действенную помощь науки в деле самособорной революционной Франции и устройства новой жизни. Вместе со всей французской буржуазией французская наука переживает огромный подъем вверх не только в смысле чисто научных достижений, но и в смысле понимания глубочайшей внутренней связи между наукой и революцией,

понимаемой как процесс сознательного устройства целесообразных форм жизни на земле. Заложенного в Парижской Академии революционного заряда Петр, конечно, не понимал. Ему было важно приобрести орудие просвещения своего дворянского чиновничества и опору для развития национальной промышленности и торговли, а также и в первую очередь военной техники.

Имея все же в виде образца Парижскую Академию, Петр обратился к Лейбницу с просьбой составить устав Академии. Лейбниц, при всей громадности универсального ума, был большой Сахар Медович. Буржуазная наука даже субъективно не осознала в то время необходимости разрыва с монархией. Мощь молодой буржуазии сказывалась все еще в смысле усиления монархии, правда одновременно с перерождением ее в так называемый просвещенный абсолютизм. Этому соответствовала и вся манера Лейбница, готового достаточно тонко льстить разного рода коронованным особам обоего пола и употреблявшего огромные и часто поразительные по остроумию приемы для того, чтобы кричащие противоречия мира превратить в гармонию, в которой благодаря мудрости провидения великолепно сочетаются полная свобода личности (что входило в идеал тогдашнего просвещенного буржуа — предпринимателя и конкурента) и «порядок».

Индивидуалист-буржуа очень жаждал в то время порядка, он и всегда жаждет его прежде всего потому, что вместе с Гоббсом более или менее ясно понимает, что без некоторого полицейского арбитра буржуазные конкуренты могут пожрать друг друга — рассыпать такие теплые объединения для торгово-промышленной эксплуатации заграничи и своей собственной бедноты, какими являлись державы начиная в особенности с XVII века.

Все же Лейбниц был просвещенец. Порядок он представлял себе как нечто гармонически вытекающее из стремления свободных граждан даже самого первого ранга, а к таким он относил ученых, сохранять этот всем дорогой порядок. Ему хотелось сохранить за Академией свободу самоопределения, и в уставе он писал, что Санкт-Петербургская Академия должна быть чисто научной единицей, независимой от бюрократии, не сливающейся с нею, и что члены Академии ни в коем случае не должны получать ни чинов, ни орденов. Ему хотелось, чтобы Академия сама избирала своего президента и вообще представляла собою некоторую коллективную монаду, внутренняя воля которой сама направит ее по линиям, гармонически параллельным целям Российского государства. В таких же приблизительно тонах готов был бы видеть Академию и типичный, несколько узкий, но честный просвещенец — Вольф.

Петру хотелось, чтобы имена блестящих учителей Европы сияли на метрическом свидетельстве новорожденной Академии, но он знал, чего хотел, и в своем указе об открытии Академии от 28 января 1724 года заявлял, что «невозможно, чтобы здесь следовать в прочих государствах принятому образцу, но надлежит смотреть на состояние здешнего государства». Исходя из своего понимания «состояния здешнего государства», Петр Великий даровал, во-первых, всем академикам звание дворян и включил их, таким образом, в правящий класс. Во-вторых, установил для них все правила, какими руководилась жизнь бюрократии вообще, и, в-третьих, признал необходимым, чтобы президент назначался царем. В такой форме и стала жить Санкт-Петербургская Академия.

Хотя она и состояла из иностранцев, но уже Петром были приняты меры к вызову из собственной земли продолжателей этого дела. В недрах Академии устроены были и университет и гимназия, позднее из нее выделившиеся. Как бы символизируя дальнейший ход развития культуры, как бы в ответ на запрос дворянского самодержавия народ из довольно глубоких недр своих, из слоя зажиточного крестьянства, выдвинул гиганта Ломоносова.

В Академию приглашались при Петре и в течение всего XVIII века из-за границы весьма крупные представители науки, но Ломоносов, быть может, затмил их всех как универсальностью тем, которых касался, чем, впрочем, нельзя было особенно удивить их, так и поразительной, поистине гениальной глубиной своего прозрения сущности многих научных вопросов. Ломоносов опередил свой век и во многом является почти нашим современником. Влияние его на Академию и на всю молодую культуру страны было, конечно, огромно, но оно ни в чем не могло изменить коренных особенностей научной жизни России XVIII века.

Когда во Франции созревала революция, электрические токи вольтерьянства и энциклопедизма достигли до России. Они далеко не были только модничанием отдельных российских бар, этих позолоченных татар, далеко не были только парюрой северной Семирамиды, они нащупывали среди появившихся уже передовых прослоек смешанного буржуазно-дворянского авангарда людей, способных откликнуться на них более или менее целиком. Такими были не только всем известные Радищев и Новиков, но, например, и изумительный Крылов, в начале своей деятельности обещавший сделаться совершенно исключительным блестящим сатириком и, быть может, самым могучим проводником вольномыслия на русскую почву. По первому размаху его можно было думать, что он оставит бесконечно далеко за собой Фонвизина и ему подобных.

Но отразилось ли это как-нибудь на Академии? Академия была в такой огромной степени скована своим сановным чиновничеством, она до такой степени была под рукой самодержавия, понимавшего ее как свой аппарат, что, по-видимому, совершенно не всколыхнулась. Правда, в период репрессий конца царствования Екатерины и в эпоху Павла деятельность Академии, даже научная, сильно ослабевает; правда, она как будто выпрямляется с ростом новой общественно-оппозиционной волны, приведшей к декабрю. Но тем не менее можно сказать, что в истории русской общественности как таковой Академия не играет никакой роли. Ее политическая идеология до Ломоносова, у Ломоносова и после Ломоносова тщедушна и благонамеренна. И хорошо уже, если труслива. Академик трусящий — это все-таки более приятный тип, чем академик, которому и трусить-то нечего: до такой степени от своего многодумного лба до своих пяток, облеченных в шелковые чулки и башмаки с пряжкой, представляет он собою без лести преданного ученого чиновника.

И все же именно в этот первый период жизни Академии в XVIII веке она развивает необычайно планомерную деятельность, при этом далеко не только абстрактно научную, не только сверкают в ее списках имена Бернулли, Эйлера, Палласа и родного Ломоносова, но продельвается гигантская практическая работа. Кульминационный пункт этой работы падает на 60—70-е годы XVIII века. В то время Паллас, Гильденштедт, Лепехин, Фальк и другие интенсивно начинают исследовать евразийскую страну, как бы вновь открывая ее для человечества или, вернее, открывая ее для него впервые. Ряд блестящих по своим результатам, классически описанных экспедиций направляется по всем направлениям неизмеримой империи и, обогащая науку множеством новых данных, в то же время накапливает богатые материалы для трона и бюрократии, которым же нужно было, чтобы быть сколько-нибудь рачительными хозяевами, знать, над чем они, собственно, хозяйствуют.

Да, Академия наук в лице своих иностранных и русских сочленов открывает Россию. Самым блестящим ее делом является создание Атласа Российского, появившегося еще в 1745 году и удостоившегося самых блестящих отзывов лучших географов того времени.

Недаром академик Ольденбург в своей записке об истории Академии весьма тонко замечает: «Если сравнить характер работы Академии при ее основании и в первое время ее существования, то нас поразит, как велико сходство этой работы с той, которую делает Академия теперь, особенно со времени революции. Причина этого понятна, если обратить внимание на то, что и тогда и теперь страна переживала громадные перемены: в начале XVIII века Россия начала входить в состав европейских стран своею культурою и цивилизацией, теперь наш Союз вступил в совершенно новую жизнь уже в мировом масштабе, объединяя в себе Запад и Восток. И в тот и в другой период от науки вообще и от Академии в частности требовалось и требуется напряженное объединение теории и практики. В XVIII веке требовалось усиленное изучение страны для познания ее природных богатств и ее потребностей, в XX веке, особенно после революции, идет более углубленное изучение производительных сил страны, и в этом изучении Академия проявила особенную деятельность через специально при ней организованную в 1925 году Комиссию для изучения естественных производительных сил (КЕПС), которую произведена большая исследовательская и учетная работа и напечатан ряд сборников и монографий, получивших широкое распространение в Союзе и вызвавших ряд подобного же рода обследований и учетов в разных частях СССР».



Я не имею здесь ни намерения, ни возможности излагать историю Академии, она и не написана до сих пор, хотя имеется шесть томов, по-видимому, интереснейших материалов к ее истории. Как ученое общество Академия в свою историю включает прежде всего историю всех научных работ и открытий. Она может быть выполнена только коллективно, и надо думать, что эта работа не заставит себя долго ждать.

В последующие эпохи, в XIX веке и в начале XX, Академия крепла. Она окончательно превратилась в Российскую Академию, перестала в какой-нибудь мере быть ввозной, но зато завязала крепкие и благотворные отношения с европейской наукой. Она постепенно разрасталась, и от нее отпочковывались чрезвычайно важные учреждения, не говоря уже о первом российском университете. В ней зародились и с нею до сих пор связаны, например, Пулковская астрономическая обсерватория, Главная геофизическая обсерватория, при ней имеются многочисленные лаборатории, из которых две превратились в сложнейшие и богатейшие институты — Физико-геологический и Химический. Она развернула ряд академических музеев по минералогии, геологии, по ботанике, этнографии и т. д. Она издала за двести лет более 15 тысяч томов, в том числе словарь русского языка. Она заняла среди других Академий мира почетное место.

Но бросается в глаза, что насколько богата ее объективно-научная работа, при этом не только абстрактная, но часто и практическая, настолько же бледна, немощна, настолько же отсутствует, можно сказать, общественная жизнь Академии.

Правда ли, что наука должна жить как затворница, что она должна, как великое древо, приносить свои плоды, совершенно не заботясь о том, какие животные пожрут их у ее корней? Самодержавие, которое временами остервенялось на университеты и на прессу и доходило до умопомрачения, представителем которого был, например, круглый мерзавец Магницкий, несколько осторожничало с Академией. Осторожничала и Академия. Она чуралась как огня постановки всякого вопроса, который мог бы возбудить малейшее ревнивое чувство самодержавия. Академики усердно заседали вместе с князьями Дундуками, иногда под их тяжелым задом, занимавшим академические кресла. Они упивались своей научной работой и как бы закрывали глаза на окружающее. Я не сомневаюсь в возможности доказать, что такое омертвление общественных чувств и мыслей Академии наук, продолжавшееся почти во все время ее существования, не могло не омертвить в некоторой степени ее научную мысль. Но я, конечно, далек от мнения, чтобы научная мысль Академии вследствие этого была лишена ценности. Наоборот, за пределами досягаемости для полиции, в области чистой науки и в области объективного, как фотография, географического и этнографического исследования, Академия делала гигантское дело. Косвенно это имело и общественное значение, ибо без постоянного очага академической мысли лишено было бы станового хребта русское естествознание.

Мы все знаем пути русской мысли. Без расцвета русской академической науки бедны были бы русские университеты, влияние которых на русскую общественность через профессию и в особенности студенчество никто не решится отрицать. Но все это делалось помимо Академии. Можно сказать, что Академия имела благотворное влияние на русскую революцию постольку же, поскольку имело на нее самое солнце. Она светила, она согревала, не заботясь о том, что из всего этого произрастет и произтечет, оставаясь вечно на небе и сторонясь земного...

Я, конечно, не думаю, чтобы деловой переход к коммунизму, который мы сейчас переживаем, заставил нас недооценить важность так называемой чистой науки, и не потому, конечно, чтобы мы склонны были верить в ее самодовлеющий священный алтарь, а потому, что мы знаем, как самые далекие, но логические и экспериментально правильные исследования неожиданно для своих творцов и критиков бросают семя на землю и дают прекраснейшие плоды. Но тем не менее мы ведь замечаем опасения наших ученых, как бы они, давши палец жадной практике нашего времени, не оказались бы во власти ее и всей рукой по плечо, а может быть, и всем телом.

Немного странно видеть человека, который среди извести и кирпича, под стук топоров возводимого здания задумчиво преследует в каком-то углу ход своих совершен-но не связанных с моментом мыслей.

Самодержавие окружило Академию кругом и сказало: за пределы этого круга

выступать не смей, общественность для тебя табу. Ты жрец и не смей брать метлу для того, чтобы выметать из избы грязный сор. Самодержавие имело все основания бояться такой метлы. Ты рожден для чистой науки. И академики глубоко верили в это. Если бы они не верили в это, они были бы несчастнейшими людьми. При всем величии науки, они еще преувеличивали ее значение. Они делали ее настоящей целью всего своего бытия. Они готовы были как угодно общественно охолостить себя, надеть какие угодно мундиры, помолчать, покривить душой, поподличать, но зато, войдя в тишь своего кабинета, почувствовать на своем челе пошелую истины.

Это сознание несомненно способствовало научному развитию. Наука развивалась аристократично, довлея себе. И тем не менее рассеивала вокруг себя лучи света, ибо не светить она не может. Повторяю, омертвения некоторых суставов, какого-то искажения образа истины от этого ее плена не могло не получиться, но некоторые органы ее могли даже расцвести в этих условиях особенно пышно.

Нельзя не отметить здесь одной стороны работы Академии, которая как бы невольно составляла исключение в общем порядке ее работы.

Самодержавие было преисполнено националистического духа, желало разделять и властвовать. Оно отравляло сознание великороссов, убеждая их в том, что они народ-владыка, а остальные народы — народы подданные. Конечно, и Академия вынуждена была официально принять такой чисто российский, проще говоря, великорусский характер. Однако самодержавие должно же было знать эти подданные народы, и Академии дозволено было изучать их. Академия занялась этим со всем присущим ей научным рвением. Она изучала язык, быт, нравы, мышление множества племен, населявших царскую тюрьму, и изучала их настолько внимательно, что создала тем громадные предпосылки не только для краеведения вообще, которое всегда составляло сильную сторону Академии, но и для правильной этнологии, долженствующей быть положенной в основу нашей новой, советской политики.

Отдавая должное каждой национальности, входящей в состав нашего Союза, мы не можем тем не менее не отметить особенной важности наций восточных, ибо они являются в мировом отношении неизмеримо важной скрепой между европейским пролетариатом и внеевропейскими колониальными и полуколониальными народами. И вот здесь Академия имеет замечательные заслуги. Ее азиатский музей является естественным и необходимым орудием той новой государственной политики, которую ведет рабоче-крестьянская власть. Ее санскритский словарь до сих пор еще занимает первое место. Такое же место занимает ее словарь языков тюркских народов, словарь грузино-русско-французский и целый ряд других ее собственных изданий, как равно и изумительная библиотека, изумительная типография, обладающая шрифтами всех языков, — все это составляет настоящее богатство, готовый и совершенный аппарат для нашего строительства братской жизни десятков национальностей.

Из всего вышесказанного видно, что хотя Академия и была затворницей и жила, так сказать, в терему у самодержавного Кощея, но тем не менее являлась весьма живой силой.

И вот пришла наконец революция. К революции буржуазной, Февральской, Академия отнеслась дружелюбно, и в этом нет ничего удивительного; может быть, среди академиков и были какие-нибудь чудаки православно-самодержавных воззрений, но большинство состояло из объективных ученых, которые в общем предпочитали Европу России, довольно легко мирились с самодержавием, но без сожаления с ним расстались. Они ожидали лучшего. Левое меньшинство Академии состояло из настоящих либералов, из кадетов и кадетствующих. Февральскую революцию они восприняли как свою.

Еще в первый период войны Академия создала так называемый КЕБС, Комитет по изучению естественных богатств России. Она, конечно, еще с большей готовностью согласилась служить научным помощником в деле продолжения войны при новом ее, милюковско-керенском обороте. Но в недрах зажившегося самодержавия созрела не только буржуазная революция, но и революция пролетарская. Она последовала скоро за своим немощным предшественником и пожрала его.

Мы знаем, что научный мир в общем и целом отнесся к новой революции как к неожиданным и нелепому происшествию. Подобная небывалая буря, обрушившаяся к

тому же на голову каждого ученого и в области частного быта и в научной колоссальное количество неудобств, вызвала недовольство и ропот в самых широких научных кругах. Многие надеялись, что это наваждение пройдет быстро. Иные ученые становились жертвой политической близорукости либеральных партий, к которым они принадлежали, и надежда на западноевропейскую буржуазию, которую они привыкли уважать. Глубочайшая оторванность от общественной жизни, в которой существовала ученая каста, делала для многих из них совершенно непонятным то, что происходило вокруг, и болезненно било по нервам. Я недостаточно знаком с внутренней жизнью Академии, чтобы сказать, чьей заслугой было то, что Академия наук в общем и целом, как учреждение, как большинство ее состава, сумела поставить себя совершенно иначе.

В начале 1918 года, только что оглядевшись в стенах недавно занятого нами Министрства просвещения в Чернышевском переулке, я решил выяснить отношение к нам Академии среди всеобщих бушевавших волн злобного бойкота. Я запросил Академию, какое участие она собирается принять в нашей культурно-просветительной работе и что может она дать в связи с мобилизацией науки для нужд государственного строительства, которую считает необходимой произвести новое правительство.

Российская Академия наук, за подписью своего президента Карпинского и своего неперменного секретаря Ольденбурга, ответила мне буквально, что «она всегда готова по требованию жизни и государства на посильную научную теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны центром». Я знаю, что Академию обвиняли в своеобразной мимикрии, в своеобразной самобронировке. Раз Академии приходилось жить в «зверином царстве», что же ей, умной, многоопытной, оставалось делать, как не приобрести сейчас же защитный цвет и не заявить, что мы-де, объективные ученые, посильно служим жизни, какие бы она превращения ни переживала, и признаем всякое государство. Разве не так когда-то кастовая интеллигенция церкви заявляла, что «несть власти аще не от бога»?

В то же время Академия, говорят некоторые ее противники, забронировалась за своим старым уставом, подаренным ей царскими временами, и за своим новым уставом, который она стала вырабатывать, и всемерно отсиживалась в автономии, что попытались сделать и другие ученые и высшие учебные заведения. Наркомпрос РСФСР также получил свою долю репримандов. Вот-де автономии высших учебных заведений вы не допустили — и хорошо сделали, но ученые общества, в особенности же Российская Академия, сохранили свою автономию. Это государство в государстве.

Но я спрашиваю: могла ли быть у Академии и у нас более разумная политика? Чего могли мы требовать от Академии? Чтобы она внезапно всем скопом превратилась в коммунистическую конференцию, чтобы она вдруг перекрестилась марксистски и, положив руку на «Капитал», поклялась, что она ортодоксальнейшая большевичка?.. Ведь искренним подобное превращение быть не могло. Быть может, оно и придет со временем и путем постепенной замены прежнего поколения новым, и путем замечаемого нами процесса оживленного осмоса, оживленного проникновения сквозь мнимую броню Академии соков новой общественности. Но при каких условиях этот процесс может благополучно завершиться? Только при условиях доброго соседства. Академия выразила такое пожелание.

Отсиживалась ли Академия? Была ли она для нас бесплодной? Это я решительно отрицаю. Мы взяли у Академии новое правописание; мы использовали результаты работ ее комиссии по реформе календаря; мы получили много интереснейших сведений от ее КЕПСА; мы опирались на нее в переговорах с соседними державами о мире; она создала по нашему заказу точнейшие этнографические карты Белоруссии и Бессарабии. Мы получили мощную поддержку ее при введении грамотности на материнском языке для национальностей, не имевших письменности или имевших письменность зародышевую. И было бы трудно перечислить все те мелкие услуги, которые Академия оказала Наркомпросу, ВСНХ, Госплану и т. п.

Конечно, полного соответствия между работами Академии и между характером работ государства еще нет, но ведь для этого нужно время.

Или Наркомпрос должен был, видя, что Академия мешкает креститься в новую веру, крестить ее, как Добрыня, огнем и мечом?..

В. И. Ленин не только не расхохотался в этом вопросе с Наркомпросом, но очень часто заходил дальше, и я прекрасно помню две-три беседы, в которых он буквально предостерегал меня, чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии. Один очень уважаемый молодой коммунист и астроном придумал чудесный план реорганизации Академии. На бумаге выходило очень красиво. Предварительным условием являлось, конечно, сломать существующее здание на предмет сооружения образцового академического града. В. И. Ленин очень обеспокоился, вызвал меня и спросил: «Вы хотите реформировать Академию? У вас там какие-то планы на этот счет пишут?» Я ответил: «Академию необходимо приспособить к общегосударственной и общественной жизни, нельзя оставить ее каким-то государством в государстве. Мы должны ее ближе подтянуть к себе, знать, что она делает, и давать ей некоторые директивы. Но, конечно, планы коренной реформы несвоевременны и серьезного значения мы им не придаем». Несколько успокоенный Ильич ответил: «Нам сейчас вплотную Академией заняться некогда, а это важный общегосударственный вопрос. Тут нужна осторожность, такт и большие знания, а пока мы заняты более проклятыми вопросами. Найдется у нас какой-нибудь смельчак, наскочит на Академию и перебьет там столько посуды, что потом с вас придется строго взыскивать».

Этот наказ В. И. я запомнил в обеих его частях — и в части угрозы взыскать с тех, кто перебьет академическую посуду, и в той части, что придет время, когда этот «важный государственный вопрос» будет урегулирован со всей силой мысли нашей великой партии.

Я не думаю, чтобы пришл уже сроки и что в связи с вступлением Академии в третье столетие можно было бы ребром ставить вопрос о какой-нибудь коренной советизации ее. Но вопрос этот не за горами, решен он будет, конечно, дружелюбно, считаясь со всеми хорошими традициями Академии, с сохранением всего уважения, которое мы питаем к ней не только за ее блестящее научное прошлое, но которое завоевали у нас многие ее представители, постоянно сносящиеся с нами и сделавшиеся в наших глазах крупными, уважаемыми фигурами в нашей культурной кампании.

Во всяком случае, в третье столетие Академия вступит как Всесоюзная.

Я должен сказать несколько слов по этому поводу. Наркомпрос РСФСР всегда добивался этого. Мы категорически стоим на той точке зрения, что ставить какие-нибудь преграды всесоюзности нашей науки невозможно. Мы вообще не склонны, конечно, ставить какие-нибудь преграды и всемирному размаху науки, но мы вполне допускаем мысль, что некоторая разница подхода ко всем научным проблемам постепенно выяснится, если два мира — социалистический Союз и буржуазный хаос — существуют еще некоторое время рядом. Но внутри Союза мы, конечно, должны способствовать тому, чтобы никаких перегородок не существовало для науки, чтобы не было построено никакой таможенной системы, чтобы не проявлялось никакого партикуляризма. Значит ли это, что хотя бы в малейшей степени Наркомпрос РСФСР посягает на развитие отдельных национальностей, что он хотя бы в малейшей степени антипатично относится к стремлению эту единую науку мощно строить среди любой национальности и по возможности на всех языках нашего многоязычного союза? Означает ли это, что Наркомпрос под видом защиты всесоюзного характера научной мысли стремится к какой-то гегемонии, к какому-то нарушению прав других комиссариатов народного просвещения? К сожалению, такое обидное и грубое понимание нашей позиции было высказано с некоторых сторон. Мы рады, что оно не помешало провозглашению Академии Всесоюзной. Правительство обратит внимание Академии на то, что прошли те времена, когда на нашей родине была правящая нация, когда нужно было обслуживать прежде всего ее, когда она выдавалась дворянско-буржуазным самодержавием за творящий субъект истории, а другие нации — за подлежащий ее эксплуатации объект. Советское правительство укажет, что одной из важнейших обязанностей Академии является разливать свет знаний и культуры повсюду, и прежде всего в самые темные углы страны, что она должна протянуть руку прежде всего отсталым нациям, что для ученых невеликорусских не только может, но и должно найтись место в ее креслах. Российская Академия наук упорно добивалась признания ее Всесоюзной. Она исходила при этом из чисто научных соображений. Она знала,

сколько задач имеется у нее, которые необходимо должны быть распространены и в научном отношении урегулированы из единого общесоюзного центра. Теперь ее удостоили этого звания, это накладывает на нее новые обязанности.

В одной из своих записок непременный секретарь Академии С. Ф. Ольденбург пишет: «Академия вступает в третье столетие своего существования с твердой уверенностью, что она сможет еще более расширить и углубить свою работу во всесоюзном и мировом масштабе».

Никто не посягнет на работу Академии в области так называемой чистой науки, но, конечно, чем дальше, тем больше наше строительство будет вовлекать ее в свой мощный круговорот.

Ее бесценный научный аппарат, ее талантливый научный персонал должны будут выполнять целый ряд важнейших практических задач действительно общесоюзного и даже мирового масштаба.

Затворница самодержавия освобождена. Быть может, многим академикам кажется, что это вовсе не свобода. Им привольно жилось в их золоченой клетке. Да, пожалуй, это не есть метафизическая свобода, которой, впрочем, и вообще-то не существует. Наша свобода есть освобождение от религиозных и буржуазных предрассудков, наша свобода есть освобождение от всяких мелочных пут классового, сословного, национального характера. Недаром Лассаль говорил об естественном союзе ученого и рабочего. Нам нужна могучая и говорящая правду наука, а науке нужно государство или общество, способное полностью выполнять продиктованные подлинным знанием действительности принципы. Но воздухом этой свободы может дышать только здоровая грудь. Для иных эта атмосфера может показаться ядом.

Ведь буржуазным ученым так легко удалось связать свою науку и с религией от формального православия до всяких утонченных эссенций религиозно-философского порядка; ведь они так легко скользнули в розовую пропасть идеалистического миропонимания и всякого рода формализма; ведь они так удобно покачивались в качалках всяких буржуазных софизмов, которые, защищая неравенства буржуазного строя, косвенно защищали и их привилегии! Все те, кто сроднился с такими уклонами, почувствуют, что они разбиты в щепки и свободная наука пожрет их огнем своего истинно демократического и глубоко материалистического существа. Она всенародна, всечеловечна и поэтому не может не дружить с ведущим ко всечеловечности пролетариатом. Она ненавидит всякую ложь, всякие пережитки старины, она мужественно провозглашает всю истину целиком, как она вытекает из правильного эксперимента и честной мысли. Академия наук сумела сказать новой стихии с самого ее появления: «Я не противоречу тебе, я постараюсь жить с тобою, я постараюсь быть полезной тебе. Ты же, со своей стороны, пощади меня, отнесись ко мне с тактом; как только позволят тебе обстоятельства — позаботься обо мне, сохрани мои научные ресурсы, умножь их как только сможешь. Тогда мы постепенно сольемся, мы обменяемся нашими дарами. Ты волеешь в меня твое мужество, твою энергию, ты волеешь в меня новые силы, новых Ломоносовых, которых породят нам фабрики и деревня. Я дам тебе бесчисленные сокровища знаний, я разрешу многие из задач, которые станут перед тобой, я помогу тебе организовать научные силы вокруг твоей борьбы». Вот что сказала Академия советской власти, которая ответила: «All right! Попробуем».

До сих пор мы не раскаялись в этой пробе и думаем, что не раскаемся и впредь.

**Академик Б. Н. ПЕТРОВ,**  
*член Президиума АН СССР,*  
*Герой Социалистического Труда*



## СВЕРШЕНИЯ

**П**очти каждый четверг, когда иду на очередное заседание Президиума Академии наук СССР, мне вспоминается это определение — «подлинный дом науки» — гениального Михаила Васильевича Ломоносова. Его гордые слова, полные веры в высокое предназначение Академии наук, и сейчас, спустя четверть тысячелетия, звучат свежо и точно. Она была и остается подлинным домом науки, объединившим в себе замечательный отряд ученых, с именами которых связаны не только отдельные выдающиеся достижения, но и создание новых направлений в науке. Как отмечается в постановлении ЦК КПСС «О 250-летнем юбилее Академии наук СССР», создание Академии явилось крупным событием в истории развития науки, образования и культуры нашей страны. Ее деятельность оказала существенное влияние на развитие мировой науки. Знаменательную дату советская общественность отмечает в условиях возрастания роли науки во всех сферах жизни и деятельности развитого социалистического общества.

Двухсотпятидесятилетний путь не был прям и легок. Академия не могла быть оторвана от жизни государства, была важным его организмом, выполняя совершенно определенные функции на каждом этапе своего развития. Эти этапы отразились и в ее названии — Санкт-Петербургская, Российская, Всесоюзная.

Она зародилась в период подъема науки и культуры России. Ко второй половине XVII века в стране были созданы правительственные и частные школы, появились центры изучения отдельных отраслей науки. В частности, работы по химии проводились в Аптекарском приказе, Сибирский приказ немало сделал для географического исследования отдаленных районов. Но выдвижение России во время правления Петра I в ведущие мировые державы требовало укрепления экономики, совершенствования государственного управления и армии. Заслуга Петра заключалась в том, что, понимая важность использования достижений мировой науки для развития своей страны, он стремился к вовлечению России в общий процесс научного и культурного развития Европы. При создании Санкт-Петербургской Академии учитывался опыт передовых научных учреждений того времени — Лондонского королевского общества, Парижской Академии наук, где лично побывал Петр, а советником русского царя в создании единого научного центра России выступал универсально образованный Лейбниц.

В отличие от многих зарубежных академий Петербургская Академия наук создавалась как государственное учреждение, которое должно было заботиться не только о развитии познания, но и об удовлетворении научных и технических потребностей страны, об организации науки и образования. Это во многом предопределило ее своеобразие как высшего научного учреждения России, определило ее дальнейшее развитие и роль в научной жизни государства. Оставаясь в течение длительного периода не только главным, но и единственным очагом отечественной науки, Академия трудами своих членов внесла заметный вклад в изучение страны, в формирование научных кадров и той «культурной среды», которая необходима для ее развития, она заботилась о становлении образования, создании новых научных учреждений и обществ.

Академические экспедиции с грандиозными по тем временам программами комплексного изучения природных запасов, климата и населения, исследования истории и языка; создание новой техники; новые научные учреждения, в том числе обсерватория в Пулковке, ставшая к середине XIX века «астрономической столицей мира»; просветительная деятельность: создание Кунсткамеры — первого музея, — первой библиотеки, первого в стране университета; поток научной информации, началом которого стали четырнадцать томов «Комментариев» Академии, — вот далеко не полный перечень ее достижений в первый период.

Возникновение центра научной мысли не могло не породить у представителей народа, искони стремившихся к знанию, тягу к служению родине на поприще науки. И народ выдвинул из своей среды гигантскую фигуру Михайлы Ломоносова, выдающегося ученого и мыслителя, который, по меткому определению Пушкина, «сам был первым русским университетом». На небосклоне мировой науки появились имена русских ученых Л. Эйлера, С. П. Крашенинникова, Н. И. Лобачевского, М. В. Остроградского, С. В. Ковалевской, П. Л. Чебышева, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева, Н. Н. Зинина, И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. М. Манукова, И. А. Вышнеградского, Н. Е. Жуковского, И. И. Мечникова, К. А. Тимирязева, Н. И. Пирогова, К. Э. Циолковского, чьи труды положили начало новым направлениям науки, чьи имена названы законы природы.

Однако успехи эти достигнуты были не вследствие, а скорее вопреки государственной политике царизма. Еще Ломоносов, радея об интересах отечества, доказывал, что науки «не терпят порабощения». И хотя влияние личности Ломоносова на культуру страны было огромно, но и этот гениальный ученый не мог изменить коренных особенностей научной жизни современной ему России. Оковы бесправия вплоть до Октября 1917 года препятствовали взлету талантливой научной мысли. Достаточно привести лишь тот факт, что только в 1803 году Академия получила право избирать своих членов, а президенты назначались царским двором вплоть до революции.

Обильная талантами наука дореволюционной России не имела возможности стать действительно могучей силой общественного развития, не могла обеспечить должного влияния на прогресс техники и образования. Да и могло ли быть иначе, если ученые не получали достаточной поддержки от правительства, а на исследования выделялись незначительные средства, если не существовало продуманной программы развития науки в государственном масштабе. Ведь даже в начале нашего века Академия располагала всего лишь семью музеями, несколькими небольшими лабораториями и астрономическими обсерваториями.

«С победой Великой Октябрьской социалистической революции,— отмечается в постановлении ЦК КПСС,— отношение к науке коренным образом изменилось: научные исследования получили всемерную поддержку народной власти». И вспоминая сейчас о том времени, мы неизменно возвращаемся мыслью к Владимиру Ильичу Ленину, который во многих своих трудах и выступлениях уделял огромное внимание положению науки в обществе, ее связи с практикой. Уже в первые дни после победы революции, на III Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич произнес знаменательные слова, определившие линию развития науки и техники в условиях социализма: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации»<sup>1</sup>.

Союз науки и труда — тезис, провозглашенный В. И. Лениным,— стал основой, на которой строились отношения молодого Советского государства к Академии. Как пронизательный государственный деятель и политик, Владимир Ильич увидел в Академии штаб, вокруг которого можно сплотить силы специалистов и ученых, направить их деятельность на пользу строительства нового общества. «Только социализм освободит науку от ее буржуазных пут, от ее порабощения капиталу, от ее рабства перед интересами грязного капиталистического корыстолюбия»<sup>2</sup>,— говорил В. И. Ленин в мае 1918 года.

Уже в январе 1918 года — в труднейшее для Советского государства время — Ленин поручил Наркомпросу привлечь Академию наук к разработке крупнейших народнохозяйственных проблем.

А. В. Луначарский в своей статье, опубликованной в журнале «Новый мир» в 1925 году, перечисляет первые заслуги науки перед Советским государством: новое правописание, реформа календаря, ценнейшие сведения, полученные от Комиссии по

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 289.

<sup>2</sup> Там же, т. 36, стр. 381.

изучению естественных производительных сил России, создание точнейших этнографических карт Белоруссии и Бессарабии. Академия помогала правительству при введении грамотности на родном языке для национальностей, не имевших письменности. Приведя этот перечень, Луначарский замечает: «...было бы трудно перечислить все те... услуги, которые Академия оказала Наркомпросу, ВСНХ, Госплану и т. п.». Но это было только начало.

В феврале 1918 года общее собрание Академии заявило: «Академия всегда готова по требованию жизни и государства приняться за посильную научную и теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны центром»<sup>3</sup>.

Используя передышку, которую предоставило заключение Брестского мира, Ленин в апреле 1918 года создает «Набросок плана научно-технических работ», в котором ставит перед научными учреждениями задачи по изучению производительных сил страны, размещению промышленности, электрификации. Незадолго до этого Владимир Ильич принял группу академиков, которые передали официальное постановление Академии наук. В нем ученые предлагали свои знания Советскому правительству и изъявляли желание работать на пользу родине. Управляющий делами Совнаркома Н. П. Горбунов вспоминал в связи с этим: «Научных работников Владимир Ильич ценил, и не только по таланту, уму, научным работам, государственному подходу, но и с точки зрения их умения... честно работать на пользу трудящихся». И не случайно Ленин предупреждал А. В. Луначарского, «чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии». Академия наук становилась подлинным центром научной мысли и научной деятельности в нашей стране.

Изменились соответственно и масштабы ее работ. Даже в самый тяжелый для республики период начали свою деятельность свыше 50 исследовательских центров. У Академии впервые за все время ее существования появились свои институты. В 1918—1921 годах в стране были созданы Государственный оптический институт во главе с академиком Д. С. Рождественским, Физико-технический институт в Петрограде, возглавляемый академиком А. Ф. Иоффе, Центральный аэрогидродинамический институт, которым руководили Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин, Институт физиологии академика И. П. Павлова, Радиевый институт во главе с академиком В. И. Вернадским, Институт физико-химического анализа, руководимый академиком Н. С. Курнаковым, и другие научные учреждения, вклад которых в отечественную и мировую науку бесценен.

В это же время по инициативе В. И. Ленина создается Социалистическая академия общественных наук, в 1924 году переименованная в Коммунистическую. Ее целью было объединение марксистских сил и издание трудов марксистского направления. После перевода Академии наук в Москву в 1936 году Коммунистическая волилась в ее состав вместе со всеми гуманитарными институтами.

Так осуществлялась ленинская идея — поднять науку до уровня общегосударственного дела.

Многие из членов Академии помнят то незабываемое время, когда закладывались основы советской науки, появлялась новая поросль научных кадров, которым суждено было сделать нашу Академию одним из центров мировой науки. Совсем недавно вышла книга академика Н. Н. Семенова «Наука и общество». Я советую прочесть ее всем, кто интересуется историей становления советской науки, а сейчас процитирую только одно место, относящееся к тому периоду, о котором шла речь: «Все эти мероприятия советской власти вызвали в среде наших ученых, как молодых, так и старых, необычайное воодушевление. Перед ними открылись широкие возможности для проявления научной и организаторской инициативы. Они увидели необъятные горизонты применения науки на благо страны, на благо людей.

Совсем молодые люди ставились во главе отделов и лабораторий, а иногда и во главе целых институтов. Мне было двадцать четыре года, когда я стал заведовать лабораторией электронных явлений в Физико-техническом институте, и двадцать шесть лет, когда меня назначили заместителем директора этого института.

<sup>3</sup> «В. И. Ленин и Академия наук». Сборник документов. М. 1969, стр. 93.



Самой трудной в то время была проблема быстрого увеличения кадров ученых — их было тогда столь мало, что они никак не могли бы обеспечить успех большого дела. И поистине чудесно, что менее чем за десять лет эту проблему удалось решить.

В 1920 году — все еще среди голода и холода — начала восстанавливаться работа вузов, и со всей страны, из самых разнообразных слоев населения, потянулась в институты и университеты влюбленная в науку, способная молодежь. Из этой-то молодежи мы отбирали наиболее талантливых юношей, и обычно уже со второго курса они параллельно с учебной начинали работать в качестве младших научных сотрудников в исследовательских лабораториях.

В 1921—1924 годах моя лаборатория в Физико-техническом институте состояла сплошь из таких студентов.

Я горжусь, что отбор был сделан хорошо. Из десяти студентов, которые работали у меня в 1924 году, двое сейчас являются действительными членами и трое — членами-корреспондентами Всесоюзной Академии наук, а двое — действительными членами Украинской академии».

Научная деятельность в то время начала широко разветвляться не только в стенах лабораторий. Ленинский план вовлечения науки в дело строительства социализма открыл ученым путь осуществления высшего идеала науки — служения своему народу. Уже в 1924 году Академия наук отправила 78 экспедиций для изучения в первую очередь отдаленных районов нашей родины. В этот период академик П. П. Лазарев руководит изучением Курской магнитной аномалии, академик И. М. Губкин исследует нефтеносные районы Ухты, академик А. Е. Ферсман выявляет природные богатства Колыского полуострова. Комплексные исследования в Якутии, Средней Азии, Сибири возглавляют академики В. А. Обручев и Е. Н. Павловский. Теперь мы видим, что дало нашей стране освоение природных богатств этих районов.

Но научные экспедиции в дальние районы играли и еще одну существенную роль. Первый выборный президент Академии А. П. Карпинский говорил в 1925 году: «У нас есть собственная болезнь, прошлое наследие многих веков, об излечении которой нужно позаботиться прежде всего, — это массовая неграмотность. До тех пор, пока мы не обучим последнего неграмотного, ученые не могут спокойно проводить свою работу. Когда все будут грамотны, когда все до одного приобщатся к основам знания, откроются новые возможности для развития науки и для развития Академии...»

Академические экспедиции являлись своего рода авангардом, который нес знания ранее угнетенным народам. Вместе с другими мероприятиями советской власти они приобщали их к культуре. Начала осуществляться программа, цель которой — невиданное расширение сферы распространения науки. Организация филиалов и баз Академии в союзных республиках и в ряде районов РСФСР позволила сформировать новые научные центры — Академии наук республик и филиалы АН СССР. В связи с этим мы не можем не вспомнить деятельности академика И. М. Губкина в Азербайджанском филиале, академика Д. В. Наливкина — в Туркменском, академика К. И. Скрыбина — в Киргизском, академика И. П. Бардина — на Урале, академика В. Л. Комарова — на Дальнем Востоке и многих других ученых, которые щедро отдавали свои знания и организаторский талант становлению молодой науки в ранее глухих районах.

И хотя процесс создания Академий наук союзных республик завершился только после Великой Отечественной войны, эта сторона деятельности генерального штаба нашей науки получила признание Советского правительства. Уже в 1925 году Академия из Российской была переименована в Академию наук СССР. Это был не просто формальный акт, а закрепление реально достигнутых успехов. Если еще совсем недавно исследовательская деятельность сосредоточивалась в основном в Москве, Ленинграде и некоторых центрах европейской части страны, то теперь на карте советской науки появились точки во всех основных регионах СССР.

Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, мы с гордостью можем сказать: он явился убедительным подтверждением той исторической истины, что социализм и наука неразрывно связаны в борьбе за переустройство мира.

Последовательное осуществление партией ленинской линии отношения к науке дало свои плоды. Восприняв ленинское указание об укреплении взаимосвязи науки и народного хозяйства как кровное дело, как генеральное направление, советские ученые

активно участвовали в индустриализации и электрификации страны, в коллективизации сельского хозяйства. В разработке ленинского плана ГОЭЛРО большую роль сыграли академики Г. М. Кржижановский, А. В. Винтер, В. С. Кулебакин и другие. Ученые Академии наук, развернув широким фронтом фундаментальные исследования, в то же время вели работы прямого народнохозяйственного назначения. Значительный вклад внесен ими в освоение северо-восточных районов, создание второй угольно-металлургической базы в Сибири, в изучение Арктики и во многие другие достижения страны в годы первых пятилеток.

Лучшим представителям отечественной науки начиная с Ломоносова всегда было свойственно высокое чувство патриотизма. Мы помним, как великому физиологу академику И. П. Павлову в первые годы революции несколько раз предлагали уехать за границу, сулили лаборатории, деньги, почет. Но он остался в голодном Петрограде, остался со своим народом. Истинный ученый всегда с народом — в беде и в радости. И это советские ученые еще раз доказали в суровые годы Отечественной войны. В институтах и заводских цехах ученые создавали и совершенствовали различные виды вооружения, на нужды обороны были мобилизованы сырьевые ресурсы восточных районов страны.

Законная гордость звучит в словах президента Академии наук В. Л. Комарова, написанных в трудном 1942 году: «За всю свою полувековую научную деятельность я не испытывал такого глубокого нравственного удовлетворения, как в работе по мобилизации неисчерпаемых ресурсов нашей великой страны на дело обороны. Союз науки и труда, то, о чем всегда мечтали лучшие умы и благороднейшие сердца, стал сейчас как никогда тесным и мощным.

Никогда еще не было в среде ученых такого великого творческого порыва. Он охватывает все области советской науки. Советские физики создают теоретические и экспериментальные предпосылки для конструирования новых видов вооружения; математики создают приемы наиболее быстрых вычислений для артиллерии, авиации и боевых судов; химики находят новые методы производства взрывчатых веществ, сплавов, фармацевтических средств; биологи отыскивают дополнительные ресурсы питания Красной Армии и населения; медики спасают новыми методами военной медицины десятки тысяч дорогих жизней бойцов».

Сегодня в СССР трудится свыше миллиона научных работников, каждый четвертый ученый мира — это советский ученый. «Демократизация науки,— отмечал в 1946 году президент Академии наук С. И. Вавилов,— проявилась прежде всего в приобщении широких масс к научному знанию, в открытии громадного числа новых школ: средних, высших и специальных. Наука стала распространяться в доступной форме в виде книг, журналов, лекций, консультаций. Наука сделалась близкой совершенно неизвестным в научном мире людям, простым людям, практикам, новаторам дела.

Другая особенность нашей науки также неизбежно вытекает из ее роли и места в Советском государстве: это коренная связь отвлеченной мысли, теории с практикой и техникой».

Когда партия взяла курс на восстановление и развитие народного хозяйства страны, ускорение научно-технического прогресса, особое значение получило расширение теоретических и прикладных исследований, внедрение их результатов в практику. И наша наука оказалась подготовленной к решению этой задачи. В годы, когда развернулась научно-техническая революция, число исследовательских институтов увеличилось в стране почти вдвое, а научных работников — более чем в шесть раз. Сеть академических институтов возросла примерно в полтора раза, и теперь она включает в себя 250 организаций. Только Сибирское отделение АН СССР, возглавляемое академиком М. А. Лаврентьевым, насчитывает в своем составе 36 институтов и три филиала: Восточно-Сибирский, Бурятский, Якутский. Бурно развивается современный Урал, славный редким сочетанием природных ресурсов. Велики потенциальные возможности Дальнего Востока — здесь на территории, равной Западной Европе, сосредоточены почти треть энергетических ресурсов страны, треть древесины, ценнейшие ископаемые. Поставить эти богатства на службу народу можно, только используя достижения современной науки. Этими проблемами заняты ученые Дальневосточного и Уральского научных центров АН СССР, объединяющих 32 научно-исследовательских учреждения.

В последние годы в практику организации научных исследований вошло создание крупных комплексных отраслевых центров науки. В Пущине появился биологический центр, в Ногинске — химический, в Красной Пахре — физический. Возрастание роли комплексных исследований — знамение века научно-технической революции. Еще в 1960 году президент АН СССР академик А. Н. Несмеянов подчеркивал: «Настоящее время характеризуется тесным сближением и переплетением наук. Из одной науки в другую проникают методы, идеи, оплодотворяя ее. На гранях соприкосновения наук возникают все новые и новые «гибридные» науки, такие, как химическая физика, биофизика, биохимия, физико-химическая биология, геохимия и так далее. Образуется единая «ткань» науки — процесс, диалектически связанный с продолжающейся специализацией и углублением сферы деятельности отдельного ученого...»

В этих условиях значительно возросла роль Академии как главного штаба фундаментальных исследований, планирующего и координирующего органа. Вместе с тем наука все решительнее выступает как непосредственная производительная сила общества.

В 1946 году академик И. В. Курчатов и его сотрудники создают первый в Европе атомный реактор, а сейчас наша страна может гордиться целым созвездием атомных электростанций.

СССР стал пионером космических исследований. В 1957 году в Советском Союзе создан и выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли.

В 1961 году был осуществлен первый в истории полет человека в космос. Советским космическим кораблем управлял Юрий Алексеевич Гагарин, имя которого осталось в веках.

Эти и другие победы в космосе — результат небывалого развития науки и техники в нашей стране. Огромный вклад в разработку теоретических проблем космонавтики, в решение принципиальных вопросов, связанных с реализацией советской космической программы, в создание новых методов и средств исследования космического пространства внес президент Академии наук СССР академик М. В. Келдыш. Осуществление космических полетов и прогресс космонавтики были бы немислимы без развития ряда направлений науки и техники (в частности, комплекса вычислительных средств), разработкой которых непосредственно руководил академик М. В. Келдыш.

В историю науки навсегда вошло имя академика С. П. Королева, главного конструктора ракетно-космических систем, первых искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных станций и пилотируемых кораблей. Организаторский талант С. П. Королева позволил сплотить и направить работу многих научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, что обеспечило выдающиеся достижения нашей страны в первое десятилетие космической эры.

Ныне влияние космической техники и космических исследований ощущают на себе буквально все отрасли народного хозяйства.

«Результаты космических исследований,— отмечал президент АН СССР М. В. Келдыш,— находят все более широкое и разнообразное практическое применение. Непосредственное проникновение в космос оказывает громадное влияние на мировосприятие современного человека. Он перестал чувствовать себя ограниченным пределами нашей планеты. Выйдя в космическое пространство, люди получили возможность взглянуть на Землю как бы со стороны. Принципиальная возможность достижения других планет, иных миров расширила сферу нашего мышления, внесла в него значительные изменения. Сознание безграничных возможностей науки и техники в овладении силами природы, укрепившееся с развитием космических исследований, несомненно оказало благотворное влияние на усилившееся за последнее время в мире чувство ответственности за судьбы всей нашей планеты. Космические исследования ввиду их преимущественно глобального характера в сильной степени способствовали и продолжают способствовать развитию международного научного и технического сотрудничества, сближению народов мира».

В самом деле, если даже не говорить о косвенном влиянии развития космонавтики на земную технику и технологию — а она потребовала создания новых, особо стойких материалов, совершенствования приемов труда, повышения точности обработки и так далее,— мы видим, что космические исследования дают прямую отдачу для наших зем-

ных дел. Ведь только выход за пределы атмосферы дал возможность вести исследование Солнца, наблюдать звезды и галактики на всех длинах волн электромагнитного спектра. И самая древняя наука — астрономия — становится сейчас одной из бурно развивающихся. С этим непосредственно связано и изучение объектов Солнечной системы. Освоение природных богатств Земли во многом зависит от знания ее геологической истории, расшифровке которой способствует изучение Луны, Венеры, Марса.

Спутники помогают людям познавать законы климатических и погодных изменений, облегчают поиск полезных ископаемых, открывают перспективы изучения земных ресурсов из космоса. Возникли совершенно новые отрасли техники — космическая радиосвязь и космическое телевидение. Подобные взаимосвязи можно проследить и в ходе развития других исследований фундаментального характера.

Советская наука по многим ведущим направлениям занимает передовые позиции в мире. Общеизвестен высокий уровень наших математических школ. Ядерная физика имеет крупнейшие достижения. В области физики твердого тела советские ученые добились выдающихся результатов. Квантовая электроника, лазерная техника, оптика находятся на передовых рубежах.

Отечественная механика имеет богатые традиции и по ряду направлений опережает достижения зарубежной науки. Эффективно развиваются исследования в учреждениях Академии наук СССР и Академий наук союзных республик в области химии, биологии, по многим направлениям наук о Земле.

Марксистско-ленинская методология лежит в основе общественных наук, развитии которых Академия наук уделяет большое внимание. Значительные успехи имеет экономика, широко использующая экономико-математические методы.

Быстро развивается теория управления — основа автоматизации производства и многих других процессов, создаются автоматизированные системы управления различных уровней — от заводских до систем управления целыми отраслями народного хозяйства, а в перспективе стоит задача создать общегосударственную автоматизированную систему сбора и отбора информации.

Разработка фундаментальных проблем механики, науки о машинах, теории управления и принципов автоматизации определяет технический прогресс машиностроения и многих других отраслей народного хозяйства.

Большое значение имеет широкое использование в народном хозяйстве средств вычислительной техники.

Советские ученые в содружестве со своими коллегами из социалистических стран создали единую систему ЭВМ третьего поколения, основанную на использовании интегральных схем, немало сделали для подготовки их математического обеспечения, с помощью которого можно решать разнообразные задачи. Автоматические системы управления все шире применяются в самых различных областях планирования и производства. Это убедительный пример того, как современные научные достижения уверенно входят в практику народного хозяйства, способствуют повышению эффективности нашей экономики.

Советские ученые с законной гордостью восприняли слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева: «Еще совсем недавно мы говорили о том, что наука стала не непосредственной производительной силой. Мы даже записали соответствующий тезис в своей партийной программе. Сегодня мы можем, видимо, сказать, что наука уже на деле стала непосредственной производительной силой... значение которой растет изо дня в день».

Находясь на передовых рубежах мировой науки, советские ученые много делают для укрепления международных научных связей, и прежде всего связей с социалистическими странами. Научная интеграция отчетливо проявляется, например, в деятельности возглавляемого академиком Н. Н. Боголюбовым Объединенного института ядерных исследований, где трудятся физики братских стран, в создании Единой системы ЭВМ социалистических государств, в международной кооперации по отдельным проблемам и темам, в деятельности совместных лабораторий и центров. К концу прошлого года создано 37 координационных центров по научно-техническому сотрудничеству для разработки ряда проблем в рамках СЭВ. Эти центры объединяют усилия свыше 500 научных организаций наших стран. Со времени принятия комплексной программы

страны — члены СЭВ подписали 49 многосторонних соглашений о научно-техническом сотрудничестве. Их поле деятельности весьма обширно — от фундаментальных исследований в области физики до проведения практических мер защиты металла от коррозии. Только в прошлом году около 1600 научно-исследовательских организаций участвовало в совместной или согласованной разработке более 2000 научно-технических заданий.

Важную роль в развитии международного научного сотрудничества играет программа «Интеркосмос». Ее приняли в 1967 году девять социалистических стран: Болгария, Венгрия, Германская Демократическая Республика, Куба, Монголия, Польша, Румыния, Советский Союз и Чехословакия. Эта программа успешно выполняется. На околоземную орбиту уже выведены десять спутников серии «Интеркосмос», в том числе спутник «Интеркосмос-Коперник 500», посвященный пятисотлетию со дня рождения великого польского ученого, запущены две геофизические ракеты «Вертикаль», выполнен комплекс исследований в области космической метеорологии и аэронавтики, космической биологии и медицины, создана международная организация по космической связи «Интерспутник».

Тесное сотрудничество ученых Советского Союза с учеными других стран социализма обусловлено общностью наших задач и стремлений, ролью науки в строительстве нового, самого передового общественного строя. Формы интеграции здесь разнообразны. Академиями наук социалистических стран принята долгосрочная программа многостороннего сотрудничества. В то же время успешно развиваются и двусторонние контакты АН СССР с Академиями наук социалистических стран. Вся эта работа протекает в духе братского взаимопонимания и взаимопомощи. Важный результат нашей общей работы — укрепление интернациональных связей ученых социалистических стран, осуществление политики партии в такой специфической области, как научные исследования.

Программа мира, принятая XXIV съездом КПСС, оказывает благотворное влияние на формирование всей системы международных отношений, и советские ученые средствами, им доступными, способствуют претворению ее в жизнь. В этой связи можно отметить работу по осуществлению соглашений между АН СССР и Индийской организацией космических исследований о запуске первого индийского научного спутника с помощью советской ракеты-носителя с одного из космодромов нашей страны. Советско-индийский проект по запуску искусственного спутника Земли явится одним из элементов программы космических исследований в научных и народнохозяйственных целях. Совместная работа советских и индийских специалистов проходит в духе взаимопонимания и сотрудничества.

Мне хотелось бы здесь привести слова товарища Л. И. Брежнева, сказанные во время массового митинга в Дели в прошлом году: «Дорогие друзья! Многие из вас, вероятно, помнят, что Юрий Гагарин, проложивший человечеству путь в космос, одно из первых своих «земных» путешествий совершил в Индию. Здесь, на вашей земле, двенадцать лет назад он делился своими мечтами о сотрудничестве наших стран в исследовании беспредельных просторов Вселенной. И теперь эта мечта воплощается в реальность: правительства наших стран договорились о запуске индийского спутника с помощью советской ракеты-носителя. Это соглашение во многих отношениях символично. Оно говорит прежде всего о том, какой большой путь за четверть века в своем развитии проделала Индия. Оно говорит и о том, как велики перспективы наших связей. И речь идет не только о космосе, но и об атомной энергетике, электронике и многих других областях.

Наши отношения — одно из самых убедительных проявлений великого союза мира социализма с миром, рожденным национально-освободительным движением».

Плодотворно развивается сотрудничество в области космических исследований с Францией. Для изучения физических процессов в околоземном космическом пространстве и верхней атмосфере Земли были осуществлены совместные эксперименты с помощью спутников «Ореол» и «Прогноз». Коротковолновое излучение Солнца исследовалось с помощью французских приборов, установленных на нескольких советских автоматических станциях «Марс». Проводились совместные работы по лазерной локации Луны.

Важную роль в укреплении международных научных связей призван сыграть и предстоящий в будущем году совместный полет советских и американских космонавтов по программе «Союз» — «Аполлон». Специалисты обеих стран провели большую работу по подготовке этого полета и разработке совместных средств сближения и стыковки космических кораблей. Экипажи обоих кораблей уже побывали в Хьюстоне и в Звездном, заложили хорошие предпосылки для плодотворных совместных тренировок. Американские космонавты отмечали совершенство тренажеров в Звездном, гостеприимство советских людей. Космонавт Д. Лусма в книге посетителей музея в Звездном записал: «С большим уважением и признательностью моим друзьям в Советском Союзе. Пусть наша совместная работа в исследовании космоса послужит улучшению взаимоотношений между нашими странами, что приведет к упрочению мира для всего человечества».

Разве эти факты не яркое свидетельство того, как самая современная наука — космонавтика — служит исполнению сокровенных чаяний людей?

Международный авторитет русской науки всегда был высок. Можно вспомнить, что иностранными членами Академии наук уже в первые годы ее существования были Р. Реомюр, Ф. Вольтер, К. Линней, Ж. Д'Аламбер, а в годы советской власти — А. Эйнштейн, М. Планк, Э. Резерфорд, М. Борн, Н. Бор, П. Ланжевен, М. Кюри, Э. Ферми, Т. Эдисон, Ф. Жолио-Кюри и многие другие. Сейчас иностранными членами Академии состоят А. Балеvски, П. Блекетт, Л. Де Бройль, П. Дирак, Я. Кожешник, Т. Павлов, А. Полинг, Г. Сиборг, Т. Эрдеи-Груз и другие крупные зарубежные ученые. В то же время АН СССР является членом 140 международных организаций, а около 900 советских ученых избраны членами зарубежных академий и научных обществ.

В этом еще одно яркое свидетельство высокого международного авторитета советской науки. Наши ученые разрабатывают многие кардинальные научные проблемы, достигнутые ими успехи вывели науку нашей страны на передовые рубежи, обеспечили ей ведущие позиции. Постоянно укрепляя союз науки и труда, советские ученые прилагают все силы к тому, чтобы результаты их деятельности как можно быстрее внедрялись в народное хозяйство, содействовали научно-техническому прогрессу.

...28 января (8 февраля) 1724 года русский сенат опубликовал указ Петра I о создании Академии наук: «...такое здание учинить... через которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и через обучение и расположение оных польза в народе впредь была...» С тех пор Академия знала разные времена. Свое истинное призвание она нашла на службе народу, на службе строительства коммунистического общества. Ибо самой вдохновляющей силой в научном поиске являются идеи социального прогресса и мира, использование достижений науки для повышения благосостояния народа.



# ИСКУССТВО

ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ



## ПУШКИН. ТОЛСТОЙ

*Заметки к задуманным фильмам*

«Новая постановка никогда не являлась для меня чисто профессиональной работой; речь шла не об одном лишь применении к делу специальных знаний или опыта. Приходилось как бы начинать жить заново». Так писал покойный Григорий Михайлович Козинцев в предисловии к последней своей книге «Пространство трагедии», которую он уже не увидел.

Это книга особого рода. Такие книги (нечасто они встречаются) не задумывают и не осуществляют по заранее намеченному стройному плану. Их пишут — как дышат: непроизвольно. В них — сама жизнь художника, бесконечный, неостановимый поток размышлений, догадок, сомнений и находок, родившихся в процессе творчества. Это — как в цитате из дневника Л. Н. Толстого, которую Козинцев не случайно выписал дважды: «Напрашивается то, чтобы писать без всякой формы: не как статьи, рассуждения, и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь».

Именно так написано «Пространство трагедии». (Замечательна в ней свобода изложения, свойственная, впрочем, и другим книгам Козинцева — «Наш современник Вильям Шекспир» и «Глубокий экран».) В еще большей мере подкупают полной раскованностью, непреднамеренностью выражения сильного чувства не прошедшие стадию окончательной обработки записи в многочисленных тетрадях Козинцева, что возникли в связи с его творческими замыслами. Они — как крепкий соляной раствор: слов мало, содержания много. В них ощутимо бьется живая, беспокойная мысль большого художника, целиком погруженного в стихию своего искусства.

Григорий Михайлович был человеком громадных знаний и редкой широты интересов. Не только кинематограф, но и театр, и живопись, и музыка, и филология — все это было для него открытой книгой. Прославленный мастер, один из основоположников советского киноискусства, создавший знаменитую трилогию о Максиме (сообща с Л. Траубергом), а затем «Дон-Кихота», «Гамлета» и «Короля Лира», триумфально прошедших по всему свету, он до конца дней оставался в естественном для истинного художника состоянии вечного поиска — читал, перечитывал, сопоставлял, делал выводы, примеривался к новым трудам.

Если не вспоминать Г. М. Козинцева за работой — в киностудии, «на натуре», в учебной аудитории, — легче всего представить его себе с пером в руке. Замыслы его были обширны и разнообразны. Вот как он сам сказал о главных из них: «Три мира, которые я хотел бы показать на экране: Гоголя, Блока и — самое для меня трудное — Пушкина (пожалуй, только части этого огромного мира). И — уже другая сфера: „Уход Толстого“». Думал он и об экранизации шекспировской «Бури».

И каждый из этих замыслов обрстал множеством записей «для себя», которые впоследствии, очень может быть, тоже сложились бы в книги, подобные «Пространству трагедии». Книг этих, увы, мы уже не читаем. Но рабочие тетради остались, и материал их постепенно публикуется («Советский экран», 1973, № 19; «Нева», 1973,

№ 11; «Литературная Россия», 1974, № 2; в журнале «Искусство кино» вскоре появится козинцевская «Гоголиада».

Здесь печатаются два цикла заметок, касающихся задуманного фильма на сюжеты маленьких трагедий Пушкина и той картины, которую Григорий Михайлович условно называл «Уход Толстого».

Материал заметок пестр, да и форма их разнообразна. Одно набросано бегло, конспективно, иной раз в двух-трех фразах; другое глубоко обдуманно, развито и отточено. Но при всей пестроте и разнообразии есть в этих записях внутреннее единство, некая связующая их общая мысль.

Исходная точка ее — пушкинский «Пророк». О нем справедливо сказано, что это «самый живой зов в русской культуре».

Обратившись к прошлому нашей культуры, Г. М. Козинцев собирался сказать о назначении художника, о его высоком служении, трагической судьбе и бессмертии. Пушкинская тема пророка сведена на почву истории: знаком трагедии оказывается не символическая десница шестикрылого серафима, но исторические конкретности — пуля Дантеса, самоистязание Гоголя, духовные искания Достоевского, муки совести и уход Толстого.

Художник заперт в жестоком, несправедном, бессердечном, холодном, враждебном ему мире. Но «мысль нельзя запретить». Пусть художник обречен на неравную борьбу с темными силами, на гонения, на гибель — все равно он «самый живой из всех живых», если он понял свое назначение: жечь глаголом сердца людей, учить их правде. В этом залог бессмертия художника, и Козинцев в задуманных им фильмах хотел показать, какой ценой оно достигалось.

Сюжеты маленьких трагедий Пушкина, в сущности, были для Г. М. Козинцева лишь поводом для того, чтобы сказать о самом поэте, проникнуть в его сокровенные мысли, которые волшебной силой искусства трансформировались в речи и поступки выбранных им героев. «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость» как бы вдвинуты «в среду пушкинской жизни», говоря словами Козинцева. Пушкин у него должен был вмещиваться в действие, легко и свободно входить «в игру» и выходить из нее, иногда становиться Моцартом, иногда оставаться самим собой. «Пир во время чумы» только истолкован как диалог Пушкина с жизнью. Трагедия художника включена в широкий исторический контекст: в состав замысла вмещены и творческий взлет гения (болдинская осень), и разгромленное восстание декабристов, и сложные отношения Пушкина с новыми людьми, с которыми столкнула его судьба после 14 декабря.

В фильме о Льве Николаевиче Толстом трагедия художника раскрылась бы еще в одном аспекте: «Величие человека — и малость идей, которые он превращает в вериги для себя». Отвергая благостно-елейную легенду, сочиненную толстовцами (да и не только ими), Козинцев хотел изобразить Толстого в ожесточенном споре с самим собой, в мучительных поисках истины, ускользавшей от него в сутолоке ежедневного обихода, в ощущении лжи всего, что происходило вокруг него — в мире, в стране, в обществе, в собственной семье. В этом была трагедия тщетно смирявшего свою гордыню проповедника всеобщего братства и страшно одинокого человека. Тема круглого одиночества, потерянности среди людей сближала бы козинцевского Толстого с Лириком — в публикуемых заметках сближение это просматривается отчетливо.

Искусство, если относиться к нему с доверием, безгранично в своих возможностях. Решает дело смелость художника.

Немыслимо примириться с тем, что большой и смелый художник ушел от нас так рано, так внезапно. Григорий Михайлович был полон творческих сил и горения, и он, конечно, осуществил бы свои замыслы, и как обогатили бы они советское искусство!

Но и то, что осталось, поистине бесценно. Г. М. Козинцев был взыскательным художником, он никогда не довольствовался достигнутым. Среди его записей есть такая: «Что такое работа? К чему — с огромным трудом — приходишь через десятилетия? Пожалуй, к освобождению от чужого, от «других» — того, что влияло, что считалось в свое время «нужным» (кому нужным?..). Чужое отстает, отваливается, и остается свое... И тогда начинаешь понимать, что то, на что ты способен, что дей-



ствительно твое,— образовалось в каком-то спрессованном, еще не определимом ощущении...»

Это мудрые слова. Духом обретенной внутренней свободы и художественной зрелости, вобравшей в себя весь опыт прожитой в искусстве жизни, веет от того, чем сегодня так щедро делится с нами Григорий Михайлович Козинцев на страницах «Нового мира», где (к слову сказать) в свое время были напечатаны первые главы его книги «Глубокий экран».

Вл. ОРЛОВ.

Ленинград.

## 1. МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ ПУШКИНА

«**П**ир во время чумы». Я уже много лет думаю о постановке этой пушкинской драмы. В 1946 (?) году занимался ею со своим курсом во ВГИКе.

Видимо, какие-то личные ассоциации, ощущение гула вещи у меня сильно. Но как только, считая, что какая-то рабочая гипотеза начинает выстраиваться, берусь за текст — все валится. В поэзии то, о чем я думаю, есть. В диалоге как форме общения характеров — выявления лиц — ничего этого нет. И как будто никогда ни у кого не получалось.

Нет ли здесь именно той формы, которую может дать телевидение? Диалога не Вальсингама с Мери, а Пушкина с жизнью?

Нельзя ли поставить не маленькие драмы, а болдинскую осень?

Пушкинский круг после декабрьского восстания.

Но как избежать надоевшего чтения стихов и документов во время статических портретов автора или гравюр эпохи? И без назидательности: это «про декабристов».

Меняющийся свет на посмертной маске? Несколько подлинных записок: только одни слова, как его состояние?

В стихах нет никакого исступления, вакханалии, и даже «погибшие создания» даны вне тени порока. Это скорее тихое, задумчивое общество. «Гимн чуме» — все же вставка, а не кульминация общего действия.

Вариант начала: на первых словах несут гроб, могила, тело Джаксона.

Два пространства: мертвая улица (только далекие колокола), м. б. труп, который подбирают санитары в повязках (Ленинград — блокада), грохот проезжающей телеги. И квартира (зал), где пир. В какой-то момент («Восславим царствие чумы») председатель раскрывает все окна. Комната призрачная, в дыму. Красное (зеленое) платье женщины. Тогда улица, подбирают мертвого, или кто-то умирает на улице (Лео Мерзин), священник дает целовать ему крест. Бегут санитары. Музыка, хохот из окон.

Может быть, балкон? Красное пятно на балконе. Черный удар: негр на телеге мертвых.

Но — самое трудное — во всем не экспрессионистическая истерия, а пушкинская гармония — покой мысли — даже на «краю бездны».

Декабристы и тост за Джаксона.

Контраст — цветовой — зала и улицы.

Диалог священника и Вальсингама через пространство: балкон и улица.

Яркость платьев кучки людей на балконе и черный (или белый?) священник.

Танец собравшихся. Музыкальный инструмент в зале (век?).

...Нужно годами думать о какой-нибудь вещи. Не перечитывая ее, сочинять постановку. Так я трудился над «Лиром». Сочинял. Потом брался за Пушкина: нег. Сочинял зря. Все иное.

Теперь опять попробую перечитать. Как только мои — прежде всего зрительные — образы сольются с текстом, пора, можно снимать.

Тяжелые шторы закрывают окна. Может быть, узкая щелка — солнечный луч. Кто-то задерживает занавеску плотнее.

Грохот. Приоткрывают дверь: видно, как тащат тела.

Может быть, этот дом полон прекрасных произведений искусства: живопись, фарфор, канделябры. Все — самое совершенное — что создала жизнь. Рядом — царство смерти.

Хорошо, если бы стол — сам образ пира — был бы достаточно странен. Женщины — обнаженные. Нелепость нагого тела, нарядов, вещей.

Пир и смерть.

Пушкинское понятие пиршества.

Великолепное спокойствие, ясная мудрость непредвзятости.

А ответ? Разве он существует?

Она подходит к окну, раскрывает завесы: грохочущая телега, ухмыляющийся негр зовет ее к себе (сверху вниз, трансфокатор), задерживают завесы. Красные?

Три мира, которые я хотел бы показать на экране: Гоголя, Блока и — самое для меня трудное — Пушкина (пожалуй, только части этого огромного мира).

И — уже другая сфера: «Уход Толстого».

Может быть, моя ошибка — уже столько лет — в том, что я пробую найти реалистическое единство психологической драмы там, где им и не пахнет.

Это — поэтический монолог с отступлениями.

Болдинская осень. Человек идет по осени. Он неожиданно подзывает (или это видно по выражению глаз), и из-за деревьев выходит Лепорелло; человек говорит, не глядя на него (скорее японский театр Но, чем драма): мы на дороге в Мадрид. (А пейзаж самый осенне-русский.)

Он входит и выходит из игры. Она просто пропадает. Иногда он становится (не грим, а перерождение, другой характер) героем, иногда остается собой.

Иногда его крупный план: шум голосов, музыка.

Он идет, и кто-то кличет его: «Почтенный председатель».

И он присаживается за стол. Ненадолго.

Он — Моцарт, но только иногда.

Важно на нем давать те слова — мысли, которые занимают его.

Всё — монолог, иногда с диалогом.

Он подсказывает слова? Нет — грубо.

Просто слова — на нем. (А в Париже...)

Вход и выход из действия.

Он переживает свою смерть («Каменный гость») и — не умирает, а просыпается. Последний, видимо, «Пир во время чумы». Пир продолжается.

Тут — только не чепухой, а всерьез — встречи эпох, как в «Week-end»<sup>1</sup> (монтажные кадры в полосатых шарфах).

Долгий, мучительный план смерти. Замер. Смерть. Звуки: смех, музыка, хохот.

Он, спокойный, полный жизни, открывает глаза.

Идет. (Все это движением камеры сделать неощутимым.)

Иногда играть, полностью входя в образ. Иногда только намеком, обозначая характер.

И остальные — то играют, то замирают, задумавшись. (Пир.)

Процесс чтения, иногда в лицах, большей частью в движении.

Особенно важны эти выходы из действия.

<sup>1</sup> Фильм Ж.-Л. Годара. — В. К.

Разные цвета каждой из драм.

Только не делать вульгарных границ, разделов (скорее как у Феллини.)

На тоскливой песне. («Вот мы в Мадриде».)

Песня то занимает все пространство, то чуть слышна.

То, что, условно говоря, можно было бы назвать чтением, должно прерываться трагическими выплесками такой силы, чтобы дух захватывало (телега с мертвыми). И опять возвращаться к странному покою мысли.

Весь Дон Гуан вовсе не на легкомыслии любви, а на необходимости — хоть какой-то! — забвения.

Любовная сцена на полу. В кадр попадает то рука мертвого, то его волосы.

На начале «Каменного гостя» — испанский текст (Кальдерона), на «Пире во время чумы» — английский (Уилсона). Но опять — где-то тоска русской песни.

«Дон Жуан» — лето, жара.

«Моцарт и Сальери» — зима или осень?

«Пир во время чумы» — туман, свечи и факелы, и костры — в тумане.

Яркие накидки девиц.

Эти — уже давние — работы опять оживают в памяти из-за какой-нибудь черт его знает откуда всплывшей детали. Сегодня — при свечах, днем, но в тумане — стал более видным для меня «Пир во время чумы».

Откуда — в ряду каких ассоциаций — возник «Пророк»? Именно это пушкинское стихотворение кажется мне одним из самых живых зовов в русской культуре.

И главное: окровавленная десница — лживый и празднословный язык, не «перекорвавшийся» (не бывает такого!), не заговоривший по-новому, а «вырванный».

Рукой шестикрылого пришельца?

Проще. Пулей Дантеса, голодовкой Гоголя, эпилепсией Достоевского, уходом Толстого.

В Болдине Пушкин был заперт царем, холерой.

И был совершенно свободен. Мысль нельзя было запереть.

Он странствовал по всему миру.

Ветренный — мы забыли, что это от слова «ветер».

Мгновенный импровизатор, сочинитель убийственных эпиграмм.

Лицейский дух.

Любимые пушкинские «...Здесь нет ни ветрености милой», 1830 г.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу...

...и выстраданный стих, пронзительно унылый,

Ударит по сердцам с неведомою силой...

«Непонятная грусть».

В друг эта пронзительная нота.

Спутники поколений, герои снов, которые им снятся, или герои мифов заходят в нашу жизнь, прикрываясь, как калиф Гарун, простыми людьми, такими же, как мы, смертные.

Но они — бессмертные. Гений искусства, беззлобного, легкого, доброго, — Моцарт; гений любви, которая «тоже мелодия»; гений поэзии, бесстрашной перед чумой.

Жизненность? Совершенная реальность? Да. Но и печать, отмечающая отличие от всех — особенность бессмертия.

Полемика. Вызов журнальной критике. 1829—1830 гг. — упреки поэзии Пушкина в отсутствии идей... Черновой отрывок:

Пока меня без милости бранят  
За цель моих стихов иль за бесцелье,

И важные особы мне твердят,  
 Что ремесло поэта не безделье...  
 ...пока сердито требуют журналы,  
 Чтоб я воспел победы россиян...  
 ...И табор свой с классических вершинок  
 Перенесли мы на толкучий рынок...

Это за считанные дни до «Маленьких трагедий»!  
 Ставить пушкинскую поэтическую стихию — как у Ахматовой:

...какой ценой купил он право,  
 Возможность или благодать  
 Над всем так мудро и лукаво  
 (!!!) Шутить, таинственно молчать  
 И ногу ножкой называть?..

Вот и показать — цену.

Пушкин: «...тематический строй был для него, главным образом, своим разнообразием, противоречиво спайкой высокого и низкого, стилистически приравненных, доставляющих материал для колебания двух планов. Это колебание, это постоянное переключение из одного плана в другой... является сильным динамизирующим средством, дающим возможность Пушкину создать новый эпос, новую большую форму» (Тынянов).

Пушкин — читатель Шекспира. Активность этого чтения.  
 «Граф Нулин» — пародия на «Лукрецию» Шекспира (на «Лукрецию» и на всю историю). «Анжело».

Маленькие трагедии.

Дон Гуан — Дона Анна — Ричард — леди Анна.

Все в среде пушкинской жизни: трагедии времени.

«Людам двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их» (Тынянов).

Три брата по крови: Дон Гуан — Моцарт — Вальсингам.

Через все — реквием.

Черный заказчик. Черный священник. Черная статуя.

Гимн чуме — приглашение статуи.

Жанр не столько «драматических изучений», сколько поэтических раздумий (ненавижу это слово), может быть, размышлений.

Это рождено в одиночестве поэта.

Мысли о жизни, смерти, женщинах, судьбе искусства, мировой культуры.

Три стихии:

Музыка — (Моцарт и Сальери).

Театр — (Дон Гуан).

Поэзия — (Пир во время чумы).

Молодой человек в «Пире» напоминает Кюхлю? (Или кого-нибудь другого из их круга.)

Три драмы — о неизбежности смерти.

Реквием — проходит через все драмы. И, может быть, черный человек, который заказывал реквием.

Сапуневская стихия. Они все отделяются из цветового — светового ма-рева, становятся различимыми.

И опять в него погружаются. Как из мглы памяти.

Меняется цвет. Он основа. А если — три стихии: моцартовская, шекспировская и [недописано]. Из множества других мыслей возникают, образуются эти три.

Структура 14-й симфонии Шостаковича.

Ощущение импровизации — вот основа.

Смех — жалость — ужас.

«Надо быть музыкантом, чтобы понять всю силу значения той быстроты, с которой течет время у Пушкина...» (Мейерхольд).

По Мейерхольду, «истина страстей» — музыкальный термин.

Тон:

Моцарт и Сальери — тихо, задумчиво.

Пир во время чумы — площадной, громкий.

Каменный гость — карнавально-трагический

Постановка посвящается памяти Мейерхольда.

И что-то крэговское — в конце — вход в другой мир.

И в Моцарте и в Дон Гуане — вольность, легкость жизни. Они никому не обязаны. Легкие люди.

Сальери полон обязательств.

Нужно, чтобы Моцарта, Вальсингама и Дон Гуана играл один актер: это один характер.

«Моцарт и Сальери». Начало: сон Сальери. Обрывки его жизни — бесконечный труд — один и тот же пассаж.

Ночь. Темнота. Он не может заснуть.

Ночной город (Прага). Бой часов на городской башне.

Монолог Сальери — спор с музыкой. Нечто вроде фигуры фашизма в 7-й симфонии Шостаковича. Однообразное упражнение — для рук, для композиции. Холодная, рассудочная фраза.

Задача: дать артисту то состояние, положение, среду, в которых естественны эти слова.

Музыка Моцарта. Смех. Моцарт играет с мальчиком. Это как танец. Музыка — сам ее дух — доброта, свет. Только без музыки.

Монолог Сальери разрезать кусками Моцарта. Проход мимо трактира. Первая, ужасающе звучащая музыка.

Хохочет Моцарт.

Сальери все время — упражнение пальцев. Он все же безумец.

Моцарт:

...Намедни ночью

Бессонница моя меня томила,  
И в голову пришли мне две, три мысли.  
Сегодня их я набросал...

Представь себе... кого бы?

Ну, хоть меня — немного помоложе;  
Влюбленного — не слишком, а слегка —  
С красоткой или с другом — хоть с тобой;  
Я весел... Вдруг: видеиье гробовое,  
Незапный мрак или что-нибудь такое...

Мотив всех трагедий Стихи Пушкина о бессоннице. Пушкинская бессонница.

Различие разговора об искусстве, сочинении Сальери и Моцарта. Все в среде искусства. Вначале живопись, скульптура. Хор, органная музыка.

Доброта, легкость, беспечность. Тайна.  
Догма. Ремесло.

Скрипач (слепой) — Ярвет.  
Сальери — Вокач? Дворжецкий? Евстигнеев?

В трактире сидят и другие люди. Они слушают музыку, речь Сальери.  
Они аплодируют «за искренний союз»!  
Маньяк — маоист — помесь схимника и убийцы.

Черный человек заказал реквием до встречи с Сальери?

Показать, как навязчивую идею, с начала — сперва вовсе непонятно — Микеланджело и корчащегося распятого.

...Нет! не могу противиться я доле  
Судьбе моей: я избран, чтоб его  
Остановить— не то мы все погибли,  
Мы все, жрецы, служители музыки,  
Не я один с моей глухою славой...  
Что пользы, если Моцарт будет жив  
И новой высоты еще достигнет?  
Подымет ли он тем искусство? Нет;

\* \* \* \* \*  
...Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Это уже безумие догмы. Как монолог Клавдия.  
Сальери красноречиво, распаленно убеждает себя, нас в необходимости убить Моцарта; вот самое страшное место!  
Столкновение все же трагическое; маленькие, но трагедии.  
Сальери — убийца искусства, а не человека искусства,— второе уже деталь.

Конец — Сальери закрывает уши, но реквием звучит все сильнее.  
(Конец «Земли», конец «Портрета».)

У Пушкина он плачет.

...Ты заснешь  
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,  
И я не гений? Гений и злодейство  
Две вещи несовместные. Неправда:  
А Вонаротти? или это сказка  
Тупой, бессмысленной толпы — и не был  
Убийцею создатель Ватинана?

Спор с мирозданием. Очень сильно.  
Уходит Моцарт. Панорама — ниже, ниже,— пропала улица, город,— одно только небо.

Последние слова — на спине уходящего Моцарта. И за ним тоже спиной — идет Сальери.

Реквием?

Веймар? Какой-то из городов Западной Украины?

Элементы богохульства — посягание на святыню: у Сальери (но у Моцарта — тоже!), у Дон Гуана, у Вальсингама.

Название: Еретики. Проклятые поэты.

«Каменного гостя» можно ставить только тогда, когда найдены две стороны мифа, две сталкивающиеся стихии: вольнодумной, свободной жизни и ужасающего наказания смертью, мукой (как фото Ежи Гротовского «Стойкого принца»).

Нужно только не потерять основу мифа о Дон Жуане.

Нечестивце? Порочном дьяволе?

Напротив: поэте, самом живом из всех живых.

Поэтому обреченном на смерть.

Обольститель? Да. Поэзия всегда обольщение.

По Мейерхольду, «Каменный гость» — самая волшебная из всех трагедий.

Эта постановка должна обладать особым качеством — пушкинской легкостью, ясностью.

В звуке — тема жизни: женский смех, гул голосов, стихи.

Все начало играет очень быстро. Счастье вырваться, убежать от преследования. Нужно играть в сумасшедше быстром темпе. Чтобы не перевести дыхания.

Эмигрант, изгнанник, внешне — все пушкинское. Счастье — быть на свободной земле. Искусство. Жизнь. Смерть.

«Маленькие трагедии» — три сна о смерти.

Время: Эль Греко? Или XIX век?

См. все эпитеты Цветаевой о Пушкине.

Вольнодумец. Что-то, что не может жить в государственном порядке.

Кто воплощает этот порядок?

Он приезжает в Мадрид — обреченным на гибель, и знает это заранее. «И мнигы, очередь за мной». Знает, что придет Каменный гость.

Подо всем — ощущение приближающейся гибели. Он пробует с ней бороться.

Черно-белое кино. Обычный экран.

Москва тридцатых годов прошлого века.

Муть и грязь осени.

Бумага: «Секретно. Честь имею сим донести, что известный поэт, отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин прибыл в Москву и остановился в Тверской части, 1-го квартала, в доме Обера, гостинице «Англия», за коим секретный надзор учрежден». (Рапорт обер-полицейстера г. Москвы, 20 сент. 1829 г.)

Человек в промокшем пальто поворачивается к камере и говорит неумело, припоминая, как это делают люди, неожиданно остановленные интервьюером:

— Вскоре после моего выпуска из царскосельского лицея (в 1829 году) я встретил Пушкина на Невском проспекте, который, увидев на мне лицейский мундир, подошел и спросил: «Вы, верно, только что выпущены из лицея?» «Только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку, — ответил я. — А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» «Я числюсь по России». — был ответ Пушкина.

Другая бумага: «Секретно. Чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин 13-го числа сего месяца прибыл из С.-Петербурга и остановился в доме г. Черткова в гостинице Коппа, за коим учрежден секретный полицейский надзор». (Полицейстер Миллер, 15 марта 1830 г.)

Еще одна: «Секретно. Квартировавший в гостинице «Англия» чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин, за коим был учрежден секретный... выехал в С.-Петербург».

Женский голос: «Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Я совсем потерял мужество и не знаю в самом деле, что и делать? Ясное дело, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать. Мы окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная. Я провожу мое время в том, что мараю бумагу и злуюсь...»

Из марева образуются какие-то формы: лошади в упряжке, грязный дилижанс, сонный кучер, пассажиры на империале. Подъезжают жандармы.

Два пассажира, одетые странниками, быстро идут по дороге; радостно осматривается, быстро говорит Дон Гуан:

Дождемся ночи здесь. Ах, наконец  
Достигли мы ворот Мадрита! Скоро  
Я полечу по улицам знакомым,  
Усы плащом закрыв, а брови шляпой.

Плотнее закутывается в плащ, смеясь поворачивается к спутнику:

Как думаешь? узнать меня нельзя?

Шлагбаум. Стража. Лепорелло и Дон Гуан бегут. Дон Гуан хохочет — это игра. Он добрый, шальной малый. Все для него игра!

Жандармы за углом, те, что убили Лорку.

Вольнодумец — актриса — монахиня — смерть.

«Дон Жуан» — против чего? кого?

Смерти.

Жизнь и небытие. Шутки с небытием.

Клином — невыносимо контрастным — входит веселый и грешный мир театра. Не упустить арапа! черного! африканца.

Таинственное мерцание красок — контраст эль-грековского кладбища. Мизансцены «ряженных».

Лаура в театральном костюме и гриме, парике, на высоких каблуках. (Мельпомена, царица.)

Когда она разгримировывается (монолог дона Карлоса) — девочка.

Дон Гуан — Ольбрыхский?

Лаура — Софико Чиаурели?

Командор — Дворжецкий?

Домский собор в Праге. Образность католицизма.

Готическая Дона Анна.

Барочный театр.

Балаганный театр на площади. Неподалеку виселица (или гаротта)?

Бродячие актеры, фургон, лошади. (Атмосфера «Дворца чудес» Хоггарта.) Или театр на постоялом дворе.

Гремят аплодисменты. В смутном свете свечей и фонарей раскланивается артистка. На сцену летят цветы.

За кулисами столпились поклонники. Опускается занавес, и Лаура убегает со сцены. Ее окружают мужчины. Она довольно откровенно переодевается, снимает грим.

Первый мужчина (кричит из зала, перекрикивая аплодисменты, крики «браво!»):

Клянусь тебе, Лаура, никогда  
С таким ты совершенством не играла.

Второй (стоящий среди других за кулисами):

Как роль свою ты верно поняла!

Первый (расталкивает других):

Как развила ее! с какой силой!

Третий:

С каким искусством!



Лаура:

Да, мне удавалось  
Сегодня каждое движение, слово,  
Я вольно предавалась вдохновенью.

Опять аплодисменты. Подымается занавес, Лаура вновь выбегает раскланиваться. И вот она уже идет, окруженная мужчинами, по кулисам. Уходят другие артисты, на ходу снимая наряды, музыканты тащат свои инструменты. Гасят театральные лампы.

Дон Гуан идет по ярмарке мимо балаганов. Нанимает слепого скрипача, и он идет за ним. Реквием.

Вечеринка в самом театре. Мир ночного, пустого театра.

Дон Гуан зажигает свечи, загораются огни. Он хохочет и дергает веревку занавеса. Потом идет по канату, чуть не падает.

Лаура танцует для него. Просыпается гостиница.

...Недвижим теплый воздух, ночь лимоном  
И лавром пахнет, яркая луна  
Блестит на синеве густой и темной —  
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»  
А далеко на севере — в Париже —  
Быть может, небо тучами покрыто,  
Холодный дождь идет и ветер дует.

В Санкт-Петербурге!

Поэт — артистка — власть.

У Пушкина — Дона Анна никогда и не любила своего мужа.  
Чудо любви.

Дон Карлос ближе к Тибальду.

Место действия может быть и монастырь.

Дверь в комнате Доны Анны ведет (при втором ее открывании) в Давид Гареджу\*.  
А вначале — явно! — в другую комнату.

Памятник, лежащий. (Рыцарское надгробие.)

...Каким он здесь представлен исполином!  
Какие плечи! что за Геркулес!..  
А сам покойник мал был и тщедушен,  
Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку  
До своего он носу дотянуть.

Размеры статуи. Статуя не белая, а темная, бронзовая.

Статуя сначала — ракурсами — следит за ним.

Он идет по кладбищу как раз такой, каким описывает себя Моцарт. Жизнь идет мимо смерти.

А что, если за ним следят? Повсюду. За каждым шагом.

И — конец. Выследили. Поймали.

Два раза он переживает — со всей подробностью — смерть.

Одна — от яда. Другая — от богохульства. (Та же тема со священником)

Он умнее, сложнее старой легенды.

Статуя движется, как мраморный лев вскакивает в «Потемкине». И Дон Гуану некуда вырваться.

\* Высокогорная местность в Грузии. — В. К.

Всюду статуи.

Пожатие руки — играется с воображаемой рукой. Как это мог бы сыграть Марсель Марсо. Не вырвать руку! И он весь — от руки — каменеет. Смерть — очень долгая, ужасающе страшная сцена. Смерть как у Вайды.

А как бы сделать: земля (могила) их поглотила?

Конец Каменного гостя: пустота, на которой лежит (висит?) тело Дон Гуана.

Панорама — череп.

«Какие глубокие, фантастические образы в поэме: «Пир во время чумы»! Но в этих фантастических образах слышен гений Англии... это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего...» (Достоевский, XXI, стр. 444)<sup>3</sup>.

Густой, трагический тон с самого начала.

Вся драма — мгновение. Может быть, она приснилась?

Напряженность конфликта. Ритм решает все. Ничего не разыгрывать.

Они все продали души дьяволу. За что? За забвение. А оно не выходит.

Как к этому трагическому надрыву добавить каплю карнавала, пира? Песни «бешеные»! «Сих бешеных веселий».

Они все проклятые. Изгой.

Пир сопровождает странный оркестр? Вдребезину пьяный скрипач? Ярвет, Гринько. Нужно найти какую-нибудь пьесу Шостаковича.

Пир идет уже несколько дней. Все уже на взводе. Это середина пира. Нота исступления.

Странное соединение: фрагмент и большая форма.

Молодой человек — Бурляев, Даль, Янковский, Барышников.

Луиза — Яковлева, Н. Бондарчук.

Мэри — Купченко.

Молодые лица и старые — священник, может быть, и другие монахи.

Варианты места действия: корабль (небольшой) у пристани, улица над городом. Черные флаги. Площадка в Таллине (начало «Гамлета»). Какая-либо улица Праги?

Планировка, видимо, не за столом. Он только подходит к нему.

В комнате — выход на балкон: за ним — чума.

Противостоит не пьянка страху, а молодость — реальности, безнадежности этого света.

Священник во главе процессии, освящающий дома, улицу. Закрытые балахонами лица монахов. В руках свечи.

Это как шествие прокаженных. Все в капюшонах с прорезями для глаз. Факелы. Один из идущих размахивает трещоткой, другой бьет в гонг. Или труба?

Кучер сбрасывает балахон: негр, скалящий зубы.

«Моцарт и Сальери» — очень тихая пьеса, здесь площадная, громкая. Сумасшедший контраст ритмов.

Может быть, они в маскарадных костюмах. Председатель в бауте. Маски на лицах (когда священник).

Звуки бокалов, шум. Председатель перекрикивает:

Он выбыл первый  
Из круга нашего. Пускай в молчаньи  
Мы выпьем в честь его.

<sup>3</sup> Разрядка Г. М. Козинцева. — В. К.

Все пьют молча. И тогда слышна чума. Сила этих контрастов — трагические качели.

Итак — хвала тебе, Чума!  
Нам не страшна могилы тьма,—

страшно выговорить, но он выговаривает.

Пушкин до Камю показал этот образ чумы — жизни.

Выход из действия. Крупные планы на расплывающемся фоне.

Как прием — через все три трагедии.

Трагедии, а не драмы.

Смерть — ее образ (тройной), всерьез, как в 14-й симфонии Шостаковича.

Хорошо бы хоровод — все три героя присоединяются. Может быть, уход в Давид Гареджу. Человек уходит в пустоту. Замолкает все разом, оглушительно наступает тишина. Все уже беззвучно.

Или где-то предчувствие — так сделанное, а потом оживают звуки (появляется цвет?). Так, когда ветер проходит по кладбищу, покрывало шевелится на голове статуи.

Через действие проходят минуты задумчивости. Все, как бы чем-то неожиданно застигнутое, замолкают, прекращают движения.

Затихает «Пир». Задумывается (к чему-то прислушивается) Дон Гуан.

Разная цветовая гамма каждой трагедии. «Каменный гость» черный, подсвеченный. Иногда Эль-Греко. «Пир» — фантазмагорический. На надписях гул голосов — немецкий(?), испанский, английский, песни, музыка.

## 2. УХОД ТОЛСТОГО

Получилось так, что последнее время, пока я в муках пишу «Глубокий экран», легко придумываются три постановки: «Король Лир», «Ревизор» и «Уход Толстого». Легче всех, и именно та, что мне особенно хочется поставить (и, увы, не удастся), «Художник».

Для «Ухода» важна обыденная, ничуть на первый взгляд не плохая повседневность: жена, дети, дом, жизнь изо дня в день.

Это должна быть маленькая, простая, дешевая картина. О великом.

7 VIII 65.

Оскорбительно, если Льва Николаевича будут играть. От артиста нужно только глаза. Такие — у Скоробогатова.

Сценарий писать, помня: никаких «игровых» сцен.

Рядом с ним нужно показать как что-то вовсе невозможное суету литераторов с их спичами о задачах родной литературы, их совершенной повседневностью.

Величие человека и малость идей, которые он превращает в вериги для себя.

Человеческая гордыня и идея смирения.

Не репински-благостный Толстой за плугом, а сумасшедшие скачки на коне через лес и овраги.

Безумный мир. Синемаатограф в доме для умалишенных. Подлинные хроники (парад войск, царь, президент, Глупышкин).

Толстовский — обнажающий суть вещей — взгляд на мир.

Дело не только в нищете крестьян, а в бессмысленности всех общественных отношений (см. в этом плане все авторские отступления).

Мир глазами Толстого. Иногда бессмысленность каких-то действий, лишенных звука (только его текст), иногда, напротив, на плане его лица — звуки, абсурдные без внешнего действия. Дуб, под которым он просит его похоронить.

Два человека ведут дневники — Лев Николаевич и Софья Андреевна, два взгляда на одно и то же явление.

Автомобильные гонки. Гонщик застрял на дороге, показывает Л. Н. устройство машины. Чудеса XX века: синематограф, механическая пианола, фонограф.

Внешнее действие образует то, что сегодня кажется нелепостью: кому принадлежат права на его сочинения. Кто будет владельцем его мыслей и чувств?

Бесконечнейший состав поезда: играют в карты, пьют, матерятся, женщина кормит грудью ребенка. Бархат диванов первого класса и сорок человек и восемь лошадей. Дымит и трясется поезд через огромную пустую страну.

Эпизод из Библии. Самый простой. О гордыне.

Что это за мера: один человек. Один человек — и весь мир.

А так, история совсем простенькая: муж, жена, детки, то, се.

Поезд — одна из главных сцен. Л. Н., стиснутый людьми, в третьем классе. Трясется вагон.

Другие классы. Где-то читают Толстого.

Человек и государство. Человек и его родина. Человек и его народ. Человек и мир.

Образовывать круги: маленький — семья, большой — народ, огромный — мир.

Экран в сумасшедшем доме: цари и президенты глазами Л. Н.

На миллионах мелочей настоять раствор времени. Плотное вещество будней. Газеты, развитие техники. Международные дела, колонии... Голодный, остановившийся в древнем прошлом — народ.

Ничего наглядного.

Где-то на задворках, на дальних планах открывается тема. С грохотом подлетела к подъезду пролетка: сын приехал.

Сын бренчит на рояле.

Русский, иступленный татарский взгляд стеклянных, широко раскрытых глаз. Взгляд Салтыкова-Щедрина, Достоевского. Есть такая фотография и Л. Н.

Он уходит не из Ясной Поляны, а из всего этого мира.

Вот где «тлеющая драма», о которой мечтал Бальзак.

Трудность не в том, что нужно выстроить драматургию событий, т. е. внешних интересов нескольких людей, очевидно, вокруг завещания (интересно, корни слова «завещание» относятся ли к «вещи»; ведь «вещь», «владение вещью» будут и понятиями философскими), а выстроить движение — лабиринта сцеплений — его мысли, его поиск. Это — плотное вещество, образующееся в призрачном мире мнимых отношений и несуществующих вещей (напр., «право на сочинения Толстого»).

Начало. Гербовая бумага. «Таким образом, права на сочинения графа Л. Н. Толстого принадлежат...»

Узнать точные формулировки завещания.

Две плоскости: неподвижность внешней, наружной жизни — еда, письма, граммофон, винт, гости. И внутренний: поиск истины.

Попробовать соединить один пласт — зрительный — с другим — звуковым.  
Мысль продолжается при сдаче карт, опять возникает во время сеанса кино.

Твердые убеждения имел Стасов. Л. Н. был «темный» (воспоминания Стасова).

Есть еще два движения его: к смерти и к бессмертию. Вся вещь о смерти.

Найти в записях дневника опровергаемое. Толстой вовсе не записывал изречения, он вел бешеный спор. С собой. Поучения о целомудрии можно понять, вспомнив «Дьявола».

Это должна быть «бедная постановка». Ничего от «величия» темы, от эпиграфов, настраивающих на возвышенный лад, не должно быть и громкой симфонической музыки, подчеркивающей огромность, небывалый титанизм героя.

Фильм — домашний; без затрат на массовки. Музыка: граммофон и тапер на сеансе синемаатографа.

Действие происходит на отшибе. Скромность средств выражения в этом случае обязательна. В истории этой нет ничего внешне шумного, величественно-торжественного.

«Человек сознает себя Богом, и он прав, [потому] ч[то] Бог есть в нем. Сознает себя свиньей, и он тоже прав, [потому] ч[то] свинья есть в нем. Но он жестоко ошибается, когда сознает свою свинью Богом» (Дневник, 27 июля 1910 г.).

Сделать совершенно ясно, что Софье Андреевне самой не нужны деньги: ее долг — обеспечить детей.

Показать жизнь детей, которую необходимо продолжать такой же и их детям.

Поколение, род. От деда до новорожденного.

И поколение людей обслуживающих.

Эмма Попова — дочь.

Луспекаев — сын.

По серой и грязной дороге едут с рекордной в 1910 году скоростью автомобиля. Пустынная, лапотная Россия — то телега, то мужики с котомками за плечами, смотрят на гонки. Церквушка на холме.

Одну из машин, залепленную грязью, занесло на повороте. Старый мужик подошел к шоферу. Лев Николаевич смотрит на чудеса XX века, сулящего людям счастье.

Победоносная техника: автомобили, самолет, граммофон, кино.

Как происходит казнь («Не могу молчать!»).

Если делать гонки, то ничего от потешного показа курьезов техники быть не должно.

Показать глазами Толстого, т. е. выдвигая на первый план одни детали и не придавая значения другим (а как раз они и считаются ошибочно главными), действия каких-то общественных институтов.

Выразительность оперы, лишенной звука, богослужения — символического значения обрядов.

Внимание ко всему нехудожественному.

Достать точный текст завещания.

Лексика юриспруденции.

«Жизнь остановилась и стала жуткой».

Диалог: текста нет, а есть то, о чем они сейчас думают.

Все остановилось, как в финале «Ревизора»: лакей, наливающий вино, человек, тащащий блин на вилке в рот, тройка, подъехавшая к подъезду.

Начало: карта мира, изданная в начале нашего века. Карта Европы. Карта Российской империи. Карта европейской части России. Карта Московской, Тульской губерний.

Еще крупнее масштаб: точка. Ясная Поляна.

В кадре должны достаточно отчетливо показываться ограда, ворота. Иногда закрытые, иногда открытые.

Великан среди лилипутов. За оградой Л. Н. открывает калитку. Из маленького мира он выходит в огромную пустую Россию.

Должен быть и ее гоголевский размах и ее странное и непонятное значение.

Поезд — все классы — в ночи — один из самых важных образов.

Бешенство максимализма. Героизм поиска истины, «всесвязующей идея».

Все они — Гоголь, Достоевский, Толстой углубляются «до корня».

Бесстрашие этого поиска. (У Белинского именно поэтому в один день эксперимент доходит до крайности и собственного противоречия.— Признать разумной Россию Николая Первого?.. Да, согласен.)

Б. И. Бурсов: «Мир... находится на грани катастрофы, и от человека зависит, произойдет или не произойдет эта катастрофа» (стр. 288, «О национальном своеобразии...»).

О чем будет фильм?

Если угодно, о русском национальном характере.

Бесстрашие выводов.

— Что же, Шекспир, Пушкин вредны?..

— Разумеется.

Ужас в этом спокойном, домашнем, повседневном голосом сказанном «разумеется».

Так и Маяковский — пришло время — дошел «до корня»: искусство? Пишите агитки или по заказу ГУМа.

Горло их песни, на которое они наступали — Гоголь, Толстой, Маяковский,— было уникальной выделки, природа создавала его раз в век...

Название фильма: «Старик и земля».

Счетные машины и совесть.

...Право показать это нужно не получить и не заслужить, а выстрадать.

Только глубина страдания сделала возможным ясный покой русской прозы — классической в самом высоком смысле понятия...

В ночь ухода читал «Братьев Карамазовых». Кажется, смерть Зосимы.

Толстой и Достоевский. «Легенда о Великом Инквизиторе».

См. «Нет в мире виноватых». Фраза из «Короля Лира».

Мысль Эйхенбаума: дневник — «проба литературной манеры».

«Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и глядите в нее каждый час, каждую минуту» (стр. 98). (З о с и м а)

Сделать кадры толстовского взгляда. Сперва событие. Потом, ночью, оно опять оживает, беззвучно, бесконечное. Едят блины и опять едят. Бесконечно прислуживает

старый лакей. Играют в преферанс. Идут императоры (из хроники Патэ), мечется в камере буйнопомешанный.

Перевоплотить толстовский показ богослужения и оперы.

Ночью он просыпается. Руки — мужицкие — разводят мыло. Мылят веревку.

...Только технология казни. Сон повторяется несколько раз. Вначале непонятно, что собой обозначают эти предметы. И, м. б., цена на них.

В сущности говоря, мой способ работы — это сделать отвар на множестве предметов. Получить единство — образное — множества фактов, при котором отдельность каждого факта потеряется, утратит отчетливые черты, перейдет в общее качество.

Получилось так, что для настройки тона — как бы звука напряженной струны — я читаю «Братьев Карамазовых». Градус интеллектуального напряжения, сила поиска правды.

Нет, это не может быть простая, только жизнеподобная история, это не только конец истории жизни, но и истории сложения главной мысли. Великой русской мысли о всесвяующем звене внутренней правды, на огне которой сторел Гоголь, а потом — Достоевский, Толстой.

Есть три сферы, в которых вращается, заключено действие. Несоединимые. Огромный мир народной России, народной правды. Пошлая, внутренне бессмысленная, лживая ярмарка т. н. государственной, религиозной, интеллектуальной, прогрессивной и еще там какой жизни материализма начала XX века.

И внутренний мир Толстого.

М. б., начало — русское, совсем простое, извечно народное: земля, труд, дети, огромное небо над огромными полями.

И с дымом и треском мчится по русской грязи гоночный автомобиль.

Все это на натянутой струне. Своего рода достоевский «надрыв». И ритмы иные, современные и крупные. Вон из фильма выметать благостное, репински-толстовское, всяческого «великого старца» и т. п. вегетарианство.

Иван: «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего — не принимаю».

О «слезах человеческих, которыми пропитана вся земля, от коры до центра...».

М. б. в последнюю ночь глава «Карамазовых». Какие-то слова Ивана (из «Pro и Contra»)? Спор с этим?

А вокруг — в суете и нечеловеческом напряжении сил — возводится фундамент нового варианта Вавилонской башни.

«Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь. А я мучительно сильно чувствую ужас, развращаемость нашего положения» (Л. Толстой, запись в Дневнике 1, 1909).

Судя по выписанным мною реальным фактам, драматически сгущенного, действительного материала слишком много и слишком уж он сгущен. Задача: найти простое. Мысли, воздух между этими действительными элементами. Нужна поэзия течения внешних, и особенно внутренних, событий, где «много простора и воздуха» (Пастернак).

Самое простое, а также глупое и стыдное — снять чувствительную историю о старце-жертве, замученном семьей и состраданием к ближним своим.

Он самый сильный из всех. Жертвой и пахнуть не должно. Он Геркулес, мощный дуб — какой непогоде свалить его? Должны быть и часы счастья в его жизни.

Для Л. Н. то, как мучают его окружающие — особенно Софья Андреевна, — лишь часть, и не самая опустошительная, тяжести его жизни, бремени совести. Он и должен

играть — отвечать на эти раздражители — лишь отчасти, как поверх чего-то иного, более для него важного, тяжелого.

Весь фильм продолжается его спор с собой. Итог спора — уход. Внешние события — как раз те, которые предполагал Гёте купировать в «Гамлете».

«...Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть, и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третья и последнее мучение людей...» («Легенда о Великом Инквизиторе». Достоевский, т. 16, стр. 442).

«...А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина!»

Должен быть в фильме какой-то своего рода Смердяков. Тот, что сидит и в душе. Какой-то сгусток пошлости. И одновременно фантастически зловещий, как мужик из сна в «Анне Карениной».

Оптика пустынь. ...Старец выходил к воротам скита. Богомольцы со всей России падали ниц, целовали его ноги, землю, по которой он ступал, вопили, бабы протягивали к нему детей, подвозили больных кликуш.

Проходил последний народ из церкви. Нищие.

«Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилие, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого» («Русский инок», т. 17, стр. 39).

Нужно отшелушить от «смирения» иную тему: «...Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство... были бы братья, будет и братство...» («Русский инок», т. 17, стр. 60).

Дело в том, что у Л. Н. как бы и вовсе нет с ними всеми диалога, хотя он выслушивает, а потом отвечает всем им.

Главная важность особой внутренней жизни, прислушивание к себе, о котором он писал в образе князя Андрея.

Конец «Пушкина» Тынянова: «Ровнее дыхание. Выше голову. Жизнь идет, как стихи».

Начинать с литературы. Что это такое? Типографские машины. Редакции. Банкеты с речами литераторов.

Олеша отлично пишет: «Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился».

Какая поразительная судьба! Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особым событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке, входит автор «Войны и мира», ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться».

Так и строить сценарий. Начиная эпизоды — недолгой сценой — событием в жизни какого-либо характера времени. Как бы лишние кадры — посторонних сюжету судеб, — образующие пейзажи: время, Россия.

Начало: автогонщик. Человек машины XX века.

Середина: душевнобольной, помешавшийся на каком-то внешне будто и не важном обстоятельстве. Санитары, смиренная рубашка.

Лев Николаевич в больнице.



Сын — кутеж с цыганами, разговор об отце. Вызов в Ясную Поляну.

X 65.

Лев Николаевич как раз в это время читал 1-й том «Карамазовых» и «Великого Инквизитора» (19—23 октября 1910). М. б., на этом и сделать часть религиозной темы?

Проходящий через фильм лейтмотив записи: Е. б. ж.

«Если буду жив».

См. Монтеня. Вообще в книгах, которые он тогда читал, можно найти материал для диалога.

А если сделать разговор: Лев Николаевич, Достоевский, Монтень?

Этот фильм должен быть ближе к эссе, нежели к драме.

Материалистические точности:

Что есть жизнь?

Старость?

Смерть?

Толстой: язычество, плоть, чувственное восприятие мира, Старые руки. Старая кожа.

См. Вячеслава Иванова «Борозды и межи».

Два плана: его монолог. Спокойный, неторопливый.

Суета сует жизни, литературы.

Круг литературный. Господа литераторы в бобровых пубах. Мастера пера и делатели изящной литературы с их разговорами о долге перед народом и путях прогресса. Витии.

В вокзальном буфете они едят бутерброды и говорят о долге писателей.

К старому человеку ночью пришла смерть.

Они посидели вдвоем. Потом она ушла. Ненадолго.

Эпоха — как это понимал Блок в «Возмездии», Ахматова в «Петербурге Достоевского». И — это главное — в определении непостижимых движений истории у самого Толстого.

Огромность семейного начала и в жизни и в искусстве Толстого: огромность корней — дети и дети детей.

Род. Гнездо.

И все разом к черту.

Патриарх.

Шарманка дней. Совершенная неподвижность. М. б., беззвучность: еда, письма, граммофон, винт, гости...

Мысль — звучащая — при сдаче карт, во время еды, сеанса кино. Через фильм, как-то отличаясь от реалистической фактуры основного действия, идет единый, без начала и конца, прерывающийся действием монолог Л. Н. И последние слова смерти — как конец (незаконченный) его.

Контраст: обыденность, отсутствие напряжения, пустота картин жизни. И волнение. Достоевский надрыв внутреннего монолога. (То, что я хотел сделать в «Гамлете».) Причем не только текст, но и барабаны казни, не дающие покоя во время еды. Он думает о совсем другом. Память детства. Музыка, которую он особенно любил.

Звук казни во время обеда. Монтаж двух звуковых рядов.

М. б., это основа — драматургия звука.

Драматургия в этом несовпадении пластов внутреннего и внешнего. Внешний пласт, условно говоря, реалистичен, внутренний — современное понятие реализма с его смещением границ между видимым и сущим, натуральным и призрачным, сознательным и подсознательным. Этот монолог вовсе не одни слова, а плотная ткань звукового мира. Найти, где сам Л. Н. опережал Джойса.

Деревья в парке: их сажал сам Л. Н.

Такие толстовские символы, как дуб, чертополох и т. п.

День Софьи Андреевны: заказ обеда, перешивка платьев. Ее мир. Большое хозяйство. Сколько человек сядет за стол? Круг этих интересов.

Чертков. Спокойное высокомерие. Кавалергард. Год прожил в Англии. Настаивает на своей самостоятельности как религиозного реформатора (те же мысли до встречи с Л. Н.). Аристократ и богач. Организатор народного изд-ва «Посредник», он хотел создать вокруг Л. Н. что-то вроде организации. Одно время подумывали о съезде толстовцев.

Л. Н.: «И меня выберете генералом и какие-нибудь кокарды сделаете?»

В сухости «народных рассказов» и в запретности широкого творчества для Толстого Чертков виновен (Шкловский).

«Мы должны уважать волю Толстого, который так уважительно относился к Черткову, но для того, чтобы читать письма Черткова о несопротивлении, надо совершать насилие над собой» (Шкловский). Все время Шкловский пишет: черствость и сухость.

Когда началась история отношений? В 1885 г. уже была переписка: Чертков, как и все в таких случаях, требовал «маленьких переделок».

В кругах мыслей Толстого: власть денег, власть плоти.

В ход мыслей врезать кадры «Дьявола».

Приезд А. Б. Гольденвейзера и Сергея Кусевицкого с пятью музыкантами-французами из «общества исполнителей на старинных инструментах». Мышление под эту музыку. Гнусно-реальные звуки (казнь) вытесняют музыку. Ему делается плохо. А в это время Софья Андреевна шарит по ящикам. Это зима.

Изъятие из продажи «О разуме и вере».

Изъятие из продажи «Круга чтения». Про эти изъятия он, очевидно, узнавал из «Книжной летописи».

Уничтожение брошюры «Учение двенадцати апостолов».

Эти запрещения и уничтожения — как рефрен.

По дневнику и хронике: текучка множества как бы и больших (весь мир и т. д.), но на деле ненужных дел. Видимость. Текучка. Получение из Москвы приветствия от главы французской парламентской делегации бар. Детурнеля де Констанса.

Как, вероятно, раздражала его идея быть «учителем жизни». Текучка писем иностранцев, наших и т. п. Что делать? Как быть? Научите!.. Вегетарианцы, толстовцы.

Вся работа над «На каждый день» автору «становится тяжела»: «какой-то педантизм, догматизм» (Дневник, 3, 1910).

Очень важная линия. Он уходит и от вынужденной роли «учителя жизни».

Исправление корректуры «Пути жизни». Автору «не нравится» — «очень скучная» (Дневник, 3, 1910).

Намерение написать пьесу для народного театра в Телятниках. Тот же день, что и правка «скучной» корректуры. Хорошо сопоставление двух отношений.

Первый набросок комедии «От ней все качества» (в те же дни).

Запись в дневнике: «С утра хотел написать о своих похоронах и о том, что прочесть при этом» (Дневник, 4, 1910).

«Мучительная тоска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной, голодной смерти... Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали» (Дневник, 4, 1910). Звук камней — туда же, к барабану казни.

«Проснулся в пять и все думал, как выйти, что сделать? И не знаю. Писать думал. И писать гадко, оставаясь в этой жизни». Стук часов.

Посещение Толстого членом «Союза русского народа» полковником Троицким-Сенютовичем, обличавшим в непоследовательности (верховые прогулки).

Как его мучили с самых разных сторон. Обличали. Требовали. Приставали к старому человеку, измученному и без них. В один и тот же день были шпион, стрелявший в революционеров, бранивший попов, и этот полковник.

Все же его — день за днем — доводят до отчаяния.

Посещение Троицкой окружной психиатрической больницы (почти каждый день). Беседа с врачами и больными.

Посещение Мещерской психиатрической больницы. Поездка туда на сеанс кинематографа («скучно и нецелесообразно»).

Работа над статьей «О безумии». Вероятно, и Софья Андреевна тоже наводила на мысли, связанные с этой темой.

«Тяжело, что в числе ее безумных мыслей есть и мысль о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недействительным мое завещание, если есть таковое» (16 сентября 1910).

Все же безумие, алогизм, какая-то высшая точка нелепости собственности. (М. б., и в сумасшедшем доме «богач»?)

Собственность на имение, землю, людей, сочинения.

Все это время он в Кочетах.

Страшит приезд в Ясную Поляну.

Чтение с отметками — «Русские пословицы». Очень хороший мотив — народный. М. б., тоже материал для монолога?

Одна из основных тем: «Наступить на горло собственной песне».

Чтение Гоголя. Набросок заметки о Гоголе. Много думает о Гоголе и Белинском. Сопоставление их отношения к вере.

«Нынче думал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не был влюблен. А не мог не жениться».

М. б., какой-то зрительный образ их первой поездки?

Чувство нагнетения конца.

Толстой продолжает начатое им художественное произведение «с таким увлечением, какого давно не испытывал». Важно, что состояние его эти недели вовсе не единообразно. Им владеет множество интересов. Ему мешают. Вот в чем дело.

«Дома так же мучительно тяжело. Держись, Лев Николаевич. Стараюсь». Вот где весь характер! Обязаны быть и моменты счастья. Он не

должен выглядеть жертвой. Как раз напротив. Сила в нем. Он — самый крепкий из всех! Не дай бог, если получится сочувствие замученному старику. Он выше всех. И живет как-то поверх их всех.

Старый человек ушел из своего дома искать места, где он может в покое кончить свои дни.

Великий человек ушел из мира, где жил. Все было неправдой: государство, религия, семья, учение, которое он создал.

Он пошел к народу, к которому он принадлежал. Во внутреннюю правду жизни которого верил.

В ночи, в пустоте России он слышал звуки.

Гудели анафему басы певчих, били колокола.

Были гудки, скрежетали машины: механический, тупой, бесчеловечный, бездушный XX век.

«Альфавил»<sup>4</sup> в крестьянской стране.

Диалог — это разговоры его самого с собой. Он раздвоен, расстроен. И един в этих неумолкающих требованиях.

Сумасшествие.

Так жить стыдно.

Мы живем безумной жизнью.

Ночь. Он идет. Его гонят звуки: слова жены о завещании, церковная проповедь, требования Чергкова о толстовстве. Тысячи наведенных на него дул: ты должен!

Ты обязан!..

От тебя ждут!..

Тебе необходимо!..

См. у Толстого все уходы. Старец Федор Кузьмич. Отец Сергей. Что еще?

«Побег». От семьи. От церкви. От государства. От времени.

Трагедия в том, что он хотел уйти на край света от времени.

А дошел только до полустанка.

Оптина пустынь.

Он идет мимо погоста.

Кликуши, больные, ожидающие старца, чуда («Братья Карамазовы»).

Где-то тексты Библии или Евангелия.

Контрапункт смерти. Разные ее обличья.

Вплести три смерти (и дерева)?

Тема смерти — важная.

Он сошел с корабля дураков.

Корабль дураков — образ Ясной Поляны (с откликами тем всего мира).

В фильме должны быть толстовские отступления: общие планы исторических, народных движений; философии истории в ее мощном, гегелевском размахе. Так возникает тема 1910 года:

Двадцатый век... еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла)<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Фильм Ж.-Л. Годара. — В. К.

<sup>5</sup> Из «Возмездия» Александра Блока. — В. К.

М. б., начинать с очень маленькой точки. В 1910 году в имении Ясная Поляна (такой-то области, столько-то десятин...) жил старый человек. Ему было столько-то лет. У него была жена, дети. Осень этого года была суровая.

Смерть. Образ мироздания. Дыра космоса. И кургузый сыщик в галошах, топаящий по грязи привокзальной улицы.

Теперь в словарь вошло — «глобально».

Должны быть два плана: глобальный и предельно узкий — усадьба.

То же, что и Гёте.

Его мысль.

Пространство, где он живет.

Арзамасская готика.

Как он — скачка — вырывается из усадьбы. М. б., где-то его герои? Холстомер?

«Умереть — значит присоединиться к большинству».

Старый мужик: «Надо летом помирать: летом легче могилу копать».

Этот год. Такой же, как и все. Как наш. Испытание нового оружия. Долголетие. И один человек: Совесть, как жить?

Определить все его вопросы.

Кажется, замысел этой работы после перерыва в несколько лет продвинулся. То, что мешало работе, заранее умаляло ее смысл — конструкция игрового фильма; где несколько артистов разыгрывают историческое событие, имитируя умерших людей, сама поделка под которых оскорбительна (наклеил бороду, исполняет роль Толстого), — отпало.

Фильм-документ. Реальные материалы: хроника, дневники Льва Николаевича, донесения агентов полиции, точка зрения семьи.

Играть можно всех. Кроме Толстого. Возможен лишь его голос, съемка с его точки зрения.

Почительны «Мариенбад»<sup>6</sup> и «Гражданин Кейн»<sup>7</sup>.

Старик. Жизнь. Смерть. История. Огромность тем и крохотное пространство, где происходит трагедия.

Я забыл главную тему: Вера, Религия, Правда и Ложь.

Цивилизация и природа.

26 VIII 69. Нарва (съемки «Короля Лира»).

Конструкция фильма должна быть далека от сценария.

«Острия»:

1. Обед (вернее, поглощение пищи) в Ясной Поляне.
2. На лошади.
3. Вагон 3-го класса — Россия, мчащаяся в ночи. Ответ, вернее, отклик «птицы тройки», «Медного всадника».
4. Старик с палкой в дождь.

А если взять форму дневника? Его самого почти нет. Может быть, при проходе, отражение в зеркале, старческая рука, раскрывающая сидение палки с рукояткой — стулом. И — особым ходом — на самых общих планах: через людей в вагоне; тень на стене, на земле.

И только раз — длинный план — мертвый. Очень длинный. Ветер из окна шевелит волосы.

<sup>6</sup> Фильм А. Рене. — В. К.

<sup>7</sup> Фильм О. Уэллса. — В. К.

Вот самое проклятое место: барский стол. Недаром так много в нашем языке определений: объедки с барского стола, крохи с барского стола...

Самый обычный дом. И самый странный дом. Здесь все не верят друг другу. Кажется, все ведут дневники, и каждый запрятывает свой (как можно дальше), чтобы не дать ближнему своему, не дай бог, обнаружить его — прочесть, что там написано.

Может быть, это форма? Дать каждому право высказать свою точку зрения, свое понимание «правды». Мы ведь почему-то сразу же убеждены: прав Толстой. Так ли это? И так ли он сам думал?

Его дневник. Софьи Андреевны (обязательно его прочесть!). Черткова. И терпеливо выслушать каждого.

А этот дом — лишь ничтожная точка в огромности России. Гоголевский простор, наводящий ужас.

Начало: паника в усадьбе. Попытка самоубийства Софьи Андреевны.

Поезд: его не узнать (справа спиной).

Крупный план (как в «Под шум трамвайных колес»<sup>8</sup>): обед в усадьбе. Те же герои, но в обыденном, благозвучном виде.

Обязательно где-то «снятие масок» («опера»).

Наиболее страшно в этой жизни не ее агрессивность или, хуже того, мелодраматичность, а беззвучная однотонность, тупо-утомительная бессодержательность, бездушность.

Начисто изъято всё духовное.

Тут толстовское доведение до крайности, эксцентрическое выключение содержания (балет, богослужение).

Даже истерики жены какие-то беззвучные, почти что снятые рапидом, лишённые звука. И они (мнимая сила чувства — ее) тонут в бессмысленных бытовых подробностях.

Она просит его сняться вместе, говорит о любви к нему.

Фотограф тащит штатив.

Слова: Как это стыдно.

И опять ночь.

Стыдно. Мучительно стыдно.

XX век! Гонщики на машинах. Треск моторов.

— Дедушка, нет ли где-нибудь колодца? Срочно нужно долить в радиатор! Ох уж эта азиатчина!

Дедушка в башлыке, спиной.

Сцены семейные делать вне драматургии. Они бесформенны. Тупо повторяемы: еще супа? где соль? Многократны.

Нет последовательности драматургии. Она образуется — потом — в сознании зрителя.

Как краски накладываются.

Тина мелочей — это создать монтаж.

Вот где пастернаковское — повторяемое — микрокрут быта.

И повторяется: восход, закат, весна... осень... рождение, смерть.

Прямо так и ворошить эти огромные круги, пласты.

Текст — его! — только дневники.

<sup>8</sup> Фильм А. Куросавы. — В. К.

«...пришлось ему бежать ночью, в темноте, с одним верным человеком, бежать неизвестно куда, по тряской дороге, под дождем, куда глаза глядят,— писал в письме (о смерти Толстого) к Станиславскому Л. А. Сулержицкий.— Какое ужасное одиночество!.. Человек, завоевавший весь мир, 83-летний старик... думает, куда бежать — на юг, на север, на восток или запад?.. Слишком... видели в нем «великого» и забыли старика, нуждающегося и в ласке, и в любви, и во внимании...» (Леопольд Антонович Сулержицкий. М. «Искусство», 1970, стр. 471).

Лев Николаевич Толстой, уходящий из мира — не посыпав главу пеплом, с посохом и в рубище, а в набитом людьми, задымленном вагоне третьего класса железной дороги, линия Москва — Останкино.

О ком это? О Лире.

И так же, как Лира затиснули в шалаш, Толстой оказался в вагоне третьего класса — лодке, несущейся в бушующем океане вселенной.

Название: Один человек.

Кадры космоса.

Тема: что есть песчинка?

Все помещено в космос: комната, дом, Ясная Поляна, вселенная.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. СИДОРОВ

★

## УРОКИ ЛЕОНОВА

**Т**ворчество Леонова — источник, из которого каждое новое поколение читателей будет черпать свое. Сегодня, перечитывая недавно вышедшее четвертое, наиболее полное собрание леоновских сочинений, вспоминая необозримую критическую литературу у нас и за рубежом, посвященную его творчеству, понимаешь это еще отчетливей, чем раньше. Герои лучших леоновских книг — «Барсуки», «Вор», «Скугаревский», «Русский лес», «Eugenia Iwanowna» — проходят перед взором, не создавая впечатления толпы, внезапно призванной на ассамблею итогов. Они существуют в нашем сознании как живое и необходимое выражение властной воли писателя, пытающегося осмыслить и пластически развернуть важнейшие философские и нравственные столкновения века. В этом смысле Леонид Леонов — очень цельный художник; можно сказать, что его главные герои, ввергнутые в неслыханную работу по переустройству человеческого мира, — всегда отражение диалектической мысли писателя, постоянно проверяющей себя в аргументах на обширных площадях романа. Взаимоотношения, отталкивания и притяжения этих героев непременно сложны и противоречивы, поэтому так насыщена, даже громоздка словесная партитура леоновских книг; это писатель не для «скользящего» чтения.

Перечитывая Леонова, листая старые записи своих бесед с ним, я думаю о том, что представляется наиболее важным в этом удивительно мощном, нелегком литературном характере.

У Леонова свой, выстраданный годами неустанного труда катехизис писательства. «В сущности, писатель — это переводчик, толмач между жизнью и читателем», — неоднократно повторяет он. Жизненный

материал, которым в XX веке располагает литератор, необычайно сложен, насыщен не всегда явно различимыми противоречиями. В духовном активе советского человека сегодня огромные исторические, нравственные накопления. Были гражданская война, Магнитка, великий подвиг народа в борьбе с фашизмом — многое было, прекрасное и сложное, горькое и величественное. Страна Ленина обладает громадным человеческим опытом, и писатель, подобно Леонову, стремится вызвать к жизни всю сложность и красоту созидания нового, невиданного мира, заслужит благодарную память не только современников, но и последующих поколений.

В современном мире резко усложнилось самосознание личности и общества. Сегодня на квадратный сантиметр души ложится такое количество информации и нервной нагрузки, что оно требует крайне интенсивного режима внутренней работы. Для Леонова важно передать это состояние современного мира и современного человека, причем не внешне, не в формах стихийных, как это делали в свое время Дос-Пассос или Б. Пильняк, а обязательно проведя через синтезирующую мысль. Он с большим сомнением относится к абстрактивистам, к разного рода формально-стилистическим способам отражения противоречивости и сложности действительности, ибо убежден, что ее можно наиболее полно передать лишь посредством авторской философской мысли. Разумеется, это требует от современного писателя повышения интенсивности слова, которое не просто должно нести художественную информацию, но как бы уподобляться лестнице, ведущей в глубину смысла явлений и характеров.

Вот откуда синтаксическая и образная



«перегрузка» леоновской фразы, которую узнаешь мгновенно, открыв любую страницу. Кроме редкой талантливости, здесь зафиксирован немалый труд, «пот ума», так что возникает почти материальное ощущение прочно и мастерски сделанной вещи. Кажется, что налитую тяжеловатой образностью фразу Леонова можно ощупать руками, взвесить — столь значителен удельный вес составляющей ее ткани:

«Никогда еще ей не доводилось ездить, вернее — так близко быть вдвоем с мужчиной, все время чувствовать сбоку его угловатый, неудобный локоть, причем на виду у появившихся по сторонам прохожих, чем странно удваивалась степень удовольствия, и потому с какой-то особо сытной остротой ощущала и встречный жгучий ветер прямо в лицо, и благословенно-загадочную неизвестность впереди, а прежде всего тот непреклонный бег красивой лошадки, которая с такой легкостью, играючи, чуть враскидку и, главное, без всяких усилий ставя копыто, несла ее, Таню, прямиком к ее судьбе».

В этом чисто леоновском словесном периоде, почти наугад выхваченном из «Вора», со стереоскопической глубиной запечатлено мгновение, пережитое юной героиней. В одну фразу энергии художественной воли спрессованы картины и рефлексия, внешнее изображение и психологическое состояние. Здесь Леонов один из самых рачительных наследников Толстого, его романного мышления. Подчеркнуть это необходимо, ибо более явные линии, связывающие его творчество с другим гением русской и мировой культуры — Ф. М. Достоевским, надолго ограничили и сузили обзор иных плодотворных источников, которые питали неповторимость леоновского голоса.

Одна из самых точных и развернутых характеристик этого голоса принадлежит Е. Суркову, автору вступительной статьи к новому собранию леоновских сочинений: «К сердцевине своей мысли писатель ведет всегда самым долгим и трудным путем — через множество поворотов и сечений, необходимых для того, чтобы мысль раскрылась как бы в процессе своего становления, не как данность, а как результат, была бы не подарена нам, а завоевана нами... У самого Леонова слово, наоборот, подсвечено, подчеркнуто, поставлено так, чтобы мы все время воспринимали его игру, ощущали его фактуру, натыкались на его специально за-

остренные углы, чувствовали на себе излучение его образной энергии, всегда активизированной до предела. В каждую новую строку Леонова поэтому тоже вступаешь, как в лабиринт. Ее нельзя проскочить одним духом, через нее необходимо пройти так же, как проходишь через весь роман или пьесу: не пропустив ни одного нюанса, ощутив все нагромождение деталей, оценив малейшие оттенки мысли, все поджидающие нас эмоциональные сдвиги».

В речи героев, добавим от себя, для Леонова крайне важна не только расстановка и прямое значение слов, но и их окраска. Если человек у него произносит, к примеру, слова «циркулярность», «дамский бюст», «Макиавелли», то тем самым он не только сообщает нам нечто, но и мгновенно аттестует, окрашивает себя в наших глазах психологически. Кроме того, нельзя забывать, что в жизни мы не всегда говорим так, как думаем, и то, что думаем. Леонов часто советовал актерам, репетирующим его пьесы: «Играйте мысль, а не слово, играйте пьесу, а не текст!» Мысль для него — главное, это индуктивный ток, направляющий движение речи.

Высоко ценя изобразительную сторону литературы, Леонов всегда стремится увидеть и запечатлеть прежде всего внутренний, скрытый рисунок жизни. Рисунок в глубине — это и есть для него художественное мышление. Наше общество идет невиданно сложным маршрутом, и художник, для того чтобы познать закономерности великого переустройства человеческой души, должен, по мысли Леонова, обладать способностью всепроникающего «внутреннего» зрения.

Этому внутреннему зрению молодой Леонов пылливо учился у Достоевского. Однажды он заметил, что сближение его стиля только с Достоевским не очень правомерно, хотя в нем имеется известный смысл. В моих записях есть интересное рассуждение Леонова по этому поводу:

«Я начал читать Достоевского примерно с четырнадцати лет, читаю всю жизнь и думаю, что понимаю его художественный инструментарий. Впоследствии в своей работе, вырабатывая свой стиль, я пользовался методом Достоевского, разумеется, применительно к нашему, совершенно иному времени. В принципе же литератор проходит под арками всех великих писателей, с которыми его сталкивает жизнь, и вырабатывает свою систему».

У Бунина — виртуозное искусство описания, но, как правило, без мыслительной фигуры. Это как икебана: цветы подобраны красиво, хорошо, но мне мало. Чехов — удивительный талант, его художественный миф ~~вбирает~~ многие оттенки видимого спектра человеческих чувств. У Достоевского — всегда не только видимые глазом цвета, но и невидимые, ультракрасный и ультрафиолетовый — это мне в нем особенно дорого. Он проникает в такие сферы, какие до него не были доступны литературе. Вот человек у Достоевского — это первая сфера. За ней следует семья, сослуживцы, сословие, целое общество — эти сферы, как концентрические окружности, исходят от человека и вбирают его в себя. Но есть сферы, невидимые глазом, и Достоевский первый различил их — призраки и боги, окружающие человека. Так глубоко в человеческую душу не проникал никто.

Когда я читаю «Бесов», я верю, что Ставрогин мог бы жениться на хромоножке, ибо в этой почти фантастической гипотезе схвачена самая суть характера героя, который подобным актом утверждал бы свое гордое смирение, свою победу над собой. (Вот они, ультрафиолетовые лучи!) В то, что аристократ князь Нехлюдов женится на проститутке Масловой, я, однако, не верю, ибо здесь произошло некоторое «учительское» насилие великого проповедника над жизненным материалом. Гораздо логичнее вообразить, что Нехлюдов купит для Катюши домик с палисадником где-нибудь в районе Матросской тишины и будет изредка наведываться туда».

А. В. Луначарский однажды заметил о Достоевском: «Его интересует самый субъект в переживаниях и самые переживания как таковые, поскольку он очень мало останавливался на описании среды, окружающей его героя обстановки. Проходя мимо этого, он стремился поскорее подвести читателя к потоку, к калейдоскопу мыслей, к музыке чувств своего героя».

Но одной «музыки чувств», понятой объективно, Достоевскому тоже мало. Это особая музыка, до него неизвестная в мировой литературе. Гениальное новаторство писателя прежде всего в том, что он до предела «субъективировал» духовную жизнь своих героев. К примеру, все Карамзовы, включая Смердякова, есть в известной мере образы души самого автора. Это неперестанное мучительное «двойничество» — важнейшая черта художественного

миросозерцания писателя. Недавно на нее вновь указал Б. И. Бурсов в своей работе «Личность Достоевского».

Здесь, перечитывая Леонова, мы по необходимости вступаем в опасную зону возможных параллелей. Герои его книг, по мнению Е. Суркова, как и герои Достоевского, «каждую минуту ощущимо погружены в единый поток авторского повествования, познаются по отношению к нему самому (автору.— Е. С.) как разные грани его самопродуцирующей, движущейся через собственные противоречия мысли». Значит ли это, что образы Леонова суть чисто философские фигуры, не имеющие для нас типологической, объективно жизненной ценности?

В этой связи уместно вспомнить одну критическую полемику. В 1964 году Л. Аниинский опубликовал интересную статью о посредственном фильме по роману Л. Леонова. Среди дельных и остроумных рассуждений в ней содержался один мотив, вызвавший возражение автора настоящих заметок. Речь шла о Грацианском, которому критик решительно отказал в «социальной метрике», объявив его, как, впрочем, и все основные характеры романа, явлением не типологическим, а сотканным из другой, философской материи, отражающим сложную, ищущую душу писателя.

Повторю еще раз свои аргументы, ибо конфликт Вихров — Грацианский и по сей день имеет для каждого из нас глубоко практический, а не просто исторический или «идеальный» смысл. Философ и художник Леонов, конечно же, постигает некую «общую идею» одновременно, в единстве с формами ее жизненных проявлений. Только аналитическая мысль критика может обособить общее от конкретных форм его существования и выразить в понятии; реалистическое искусство вряд ли стерпит такие обособления.

Я убежден, что в Грацианском Леонов открыл тип человека. Не просто индивидуализация общего представления о «зле» занимала писателя, а стремление понять причины и следствия того нравственного парадокса, что и в нашей общественной среде весьма возможен случай, когда бездарность забивает талант, а подлость торжествует над порядочностью. Конечно, Грацианский — фигура причудливая, вре-

менами гротескная, но ведь причудливость Грацианского идет прежде всего от резкого многослойного сочетания черт, поступков, жестов психологически достоверных вопреки тому мнению, что Леонову якобы свойственно лишь персонифицировать в персонажах свои идеи о мире, особенно не заботясь о житейском правдоподобии героев.

Парадокс «двойной звезды», магнетической спайки дуэта «заклятых друзей» меньше всего я склонен объяснять, подобно Л. Аннинскому, двуступенчатым развитием леоновской мысли: сначала будто бы, при первом замысле романа, не было ни Грацианского, ни Вихрова, а был один герой, в душе которого вера боролась со скепсисом. «Развивающаяся в том замысле внутренняя мыслительная борьба разорвала героя надвое, разведя его идеепреемников на полюса философского конфликта...» Эффектная схема, но что-то мешает ее принять. Да вот кто мешает — сам Иван Вихров, его и самого впору, по Л. Аннинскому, «разорвать» еще раз «надвое», потому что его вера, его тяга к органичности — лишь нравственная посылка, как правило, мало-результативная и в не очень сложных жизненных обстоятельствах. Не мог быть «органичным» любимым герой Леопова во времена, описываемые в романе, и задачей своей писатель ставил не столько рассмотрение корней и истоков грацианщины (время тому рассмотрению еще не вышло), сколько анализ вопроса: почему хороший, честный человек Вихров так евангельски-терпеливо сносит все неправедности, чинимые ему блистательно бесплодным оппонентом?

Пока существуют такие Вихровы, пока они существуют, грацианщина нет-нет да и покажет свой вполне житейский, а не философский оскал; ведь в ком из нас, по совету, даже прелучших и честных, не сидит еще это проклятое сомнение, это непротивление тонко завуалированной демагогии, эти черты пусть не всегда вредного для других, но губительного для себя, для души своей компромисса со злом, еще не «опознанным» общественно.

Вот от этой полной невозможности самостоятельного существования Грацианского без Вихрова и лежит, на мой взгляд, ключ к пониманию грацианщины и парадокса «двойной звезды». Л. Аннинский, конечно же, был вполне последователен, когда писал о невольной тяге этих героев друг к другу. Такая расстановка «сил

необходима критику для доказательства тезиса о безусловно субъективном происхождении героев Леопова. Между тем, если исходить из реальности романа, а не умозрительных о нем представлений, трудно отыскать в тексте «Русского леса» сколько-нибудь веские свидетельства магнетической тяги Вихрова к Грацианскому. Совсем наоборот, Вихров и рад бы от него избавиться, но не умеет; позже это сумеет сделать Поля, прошедшая войну и познавшая мудрую святость «законов, записанных в сердце». Чернила, которые она выплескивает в постылое профессорское лицо, разрывают пресловутый магнетизм. Характерно, что Леонову этого условного, откровенно символического акта оказалось достаточно для «наказания» своего героя, но ведь и мы не маленькие, и нам здесь этого достаточно, раз и не только душа, но и рука наконец поднялась!

К «Русскому лесу» — этой «энциклопедии философских и этических представлений» Леопова (выражение Е. Стариковой) — будет еще не раз возвращаться и читатели и критики, потому что конфликт его из разряда вечных, не исчерпанных ни писателем, ни самой жизнью, ни нашим сознанием.

Роман и драма — основные зоны художественных открытий Леонида Леопова. Мне кажется, например, что глубокое освоение «театра Леопова» еще впереди — настолько своеобразен условный мир его пьес, не поддающийся адекватному сценическому переложению по законам эстетики «переживания». «Усмирение Бададошкина», «Метель» да и «Нашествие» ждут своего режиссера, который объединит в едином постановочном стиле поэтическую приподнятость речи, символику и сатирические, гротесковые краски леоновской драматургии. Ее уроки не достигли пока той степени широкого распространения, которого она безусловно заслуживает, оставаясь на время больше чтением, нежели зрелищем.

Но зато леоновская публицистика, словно набат на площади, мгновенно достигает слуха миллионов. Напомню только выступления писателя в годы войны, его тревожные статьи о судьбе отечественных лесов и памятников зодчества, его слово в защиту российской орфографии от опустошительного набега новоявленных реформаторов, его размышления о русской классической и современной литературе. Леонов являет собой пример редкой пре-

фессиональной и нравственной взыскательности к делу словесности, и поэтому «запрограммированное соотношение целебного яда и приторного до горечи елеса» в нашей литературе для него вопрос болезненный, личный, к нему он возвращается постоянно.

На торжествах столетнего юбилея А. М. Горького строчками пушкинского «Пророка» Леонов вновь и вновь напоминает о высшем нравственном долге современной словесности. В этом пафосе моральной взыскательности, в этом пристальном взгляде на творения рук своих и товарищей по искусству заложен сильно действующий заряд выстраданного социально-нравственного, исторического оптимизма, отрицающего любую фальшь — и румян и очернительства — во имя подлинной правды времени, во имя утверждения коммунистических идеалов человеческого общежития.

Особая область неустанной леоновской деятельности — воспитание литературной смены. Масштаб и влияние творчества этого писателя столь велики и несомненны, что он с полным правом может быть назван учителем, о чем, кстати, и свидетельствуют многие страницы из сборника «Уроки Леопова», недавно вышедшего в издательстве «Современник». В создании этой книги приняли участие известные наши литераторы, испытавшие на себе в полной мере благотворное воздействие леоновского слова. Главные уроки Леопова заключены в его произведениях, но и прямые беседы с молодежью, посвященные литературному труду, заслуживают пристального изучения на семинарах по мастерству. «В чем отличие посредственного писателя от истинного художника? — спрашивал он несколько лет назад на встрече с молодыми литераторами России. — Предположим, что перед ними стоит одна и та же задача: вышить бисером Красную площадь. Один сразу сядет на корточки и начнет вышивать метр за метром. Другой подыметя ввысь, окинет взглядом пространство площади, продумает композицию рисунка, наметит узоры и лишь затем приметя за работу. Этот подъем и есть писательство, остальное — швейный труд, по-своему вполне почетный, но мало уместный в искусстве». Не

могу не привести и еще некоторые высказывания Леопова на той встрече, сохранные мной в записи: «...Самое главное, когда садишься за стол, на время забыть, что ты знаешь. Работать так, как будто до тебя не существовало других книг. Надо найти, открыть новую формулу развития произведения, ритм начальной фразы, тонус словесной мелодии. Для меня также всегда имела значение предварительная, мыслительная «обкатка» темы. Это подобно рыхлению почвы, обработке зерна, подготовке благоприятствующей погоды. Чрезвычайно полезно набросать график развития книги — композиции, сюжета, характеров. В хорошем романе, драме, повести все детали, все шестеренки и колесики пригнаны, как в исправных часах. Произведение должно быть очень точно и прочно выстроено...»

Оглядываясь сегодня на большой путь, пройденный писателем, — семьдесят пять лет жизни, свыше полувека работы в литературе, — перечитывая том за томом его собрание сочинений, ясно сознаешь, что леоновские лучшие произведения выдержали испытание временем. От них не веет холодком музейной классики, они живы, потому что многое предугадали в нашем стремительном, чреватом катаклизмами времени и как бы перебросили мощный и одновременно ажурный мост пытливой и гуманной художественной мысли, связав нравственные искания великой русской литературы прошлого века с современными социальными и философскими борениями. Опыт Леопова чрезвычайно актуален еще и потому, что в нем зримо воплощаются национальная природа русского писательства с его горячей проповедью возвышения души, интернационального братства, проповедью, далекой и от национального сектантства и от самоуверенного космополитизма. В литературе социалистического реализма место Леонида Леопова — рядом с А. М. Горьким, М. Шолоховым, А. Толстым. Ему при жизни вышал редкий для художника удел — войти в пантеон отечественной культуры, и нам, его младшим современникам и читателям, радостно от сознания того, что собрание сочинений Леопова еще далеко не завершено. Оно продолжается...



---

---

МИКОЛАС СЛУЦКИС

★

## ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ С ВЕКОМ

**Ч**ем захватывает нас литературное произведение? Что больше привлекает, скажем, в творчестве Льва Толстого: историческая широта или особое умение, не прячась за стилистическую риторiku, открыто говорить правду, как бы ни шокировала она всех окружающих и ни была мучительна для него самого? В одном случае нас покоряют логически выверенные истины, в другом — «настроение», его нюансы. Однако как бы оригинально ни было литературное произведение в смысле его воздействия на читателя, в нем, когда это настоящее произведение искусства, всегда существует эпицентр — то особое поле притяжения, попав в которое, выдуманные или сконструированные образы становятся порой даже живее иных живых, а то и выходят из-под власти самого автора.

«Меня захватывают сильные страсти, такие ситуации, когда страсти достигают наивысшего накала. Тогда слышится скрежет зубовой и возникает невероятное напряжение в отношениях между людьми. Вот о чем надо писать, и я всегда старался это делать. Такая книга не оставит читателя спокойным». Эти слова, принадлежащие Леониду Леонову, не только недвусмысленно противостоят любой «бесконфликтности», но и энергично ратуют за острый конфликт, который захватывает человека целиком, со всеми его возможностями и эмоциями. Раскрывая таящиеся в обществе и в самом человеке противоборствующие страсти — этот самый «скрежет зубовой», — писатель борется за человека, стремится «облагородить» его. Именно высочайший накал конфликта выплавляет ценные духовные качества героя, хотя при этом следует помнить, что нередко нити конфликта натягиваются исподволь, идут из-

далека, связывая многое такое, что потом и не будет участвовать в действии.

Часто приходится слышать: уж что-что, а пьеса без конфликта невозможна... А что, позвольте узнать, сварится без огня? Из необожженной глины и простой горшок развалится.

Недавно один мой приятель, литератор уважаемый и вполне добросовестный, вернувшись со стройки, рассказывал, сколь поразила его не только сам труд, его размах и целеустремленность, но и современные взаимоотношения людей в бригаде, с которыми он познакомился. Там и в самом деле работают по принципу один за всех, все за одного. «Как же тут быть с конфликтом? — искренне недоумевал образованный литератор. — Ведь отрицательный герой, появившись он здесь, с первых шагов придет в столкновение с коллективом и будет выведен на чистую воду. Значит, настоящий драматический конфликт уже невозможен?» Доброму надо радоваться, но как быть с «необходимостью» конфликта?

Изменилась классовая, социальная сущность конфликтов наших дней — советское общество избавилось от конфликтов антагонистических, создало оптимальные условия для решения многих возникающих проблем, и тем не менее и у нас несоответствия и противоречия разного рода рождаются движением самой жизни. Это закон диалектики, это, если угодно, стимул развития, необходимый социалистическому обществу. Да, антагонистические конфликты не раздирают наше общество, но человеческие отношения — главный предмет приложения исследовательского пафоса литературы — не стали легкими и бесконфликтными в непрерывно изменяющихся материальных и нравственных условиях. К

тому же общество и индивид наделены исторической преемственностью социального, культурного и морального порядка, и новые производственные, бытовые и иные отношения, радующие нас как ростки социалистической солидарности и сознательности, существуют не в вакууме, а проявляются в сложной взаимосвязи то с наслоениями прошлого, то с новыми противоборствующими общему движению тенденциями. Социалистический писатель обманул бы себя и читателя, признав несущественность прошлого для судеб общества и личности, точно так же как если бы он отверг конфликтность некоторых новых явлений в развитии общества, посчитал случайными иные трудности и ошибки.

Все это хорошо просматривается в литературе наших прибалтийских республик. Тут есть одно немаловажное обстоятельство: среднее поколение наших писателей еще явственно помнит капиталистическое общество — главным образом в его мелкобуржуазном, кулацком обличье. А какой рубец оставило соприкосновение с фашизмом — «классическим» фашизмом третьего рейха и «местным», слегка провинциальным, но не менее человеконенавистническим! Само собой разумеется, что память эта пронизывает и широкие слои общества, по-разному отражаясь в идеологии и психологии человека, давая дополнительное «горючее» для литературных конфликтов. Это ясно понимаешь, знакомясь с книгами эстонцев П. Куусберга, Л. Промет, Э. Бэзкман, латышей М. Бирзе и Э. Вилкса, литовцев Й. Авижюса, А. Беляускаса, В. Бубниса. Должен сказать, что я при этом имею в виду их книги не о прошлом — о настоящем! Острое чувство прошлого, заинтересованно критическое отношение к нему, поиски его отзвуков в сегодняшнем дне — все это пронизывает, к примеру, такие разные и интересные романы, как «Примавера» Лилли Промет и «Глухие бубенцы» Эмэ Бэзкман. Дела минувших беспокойных лет, казалось бы, безвозвратно ушли в прошлое, разговор о них уже неактуален, однако мотивы поведения людей, социальные, психологические навыки — прямо или в отражении — еще живы, еще причудливо переплетаются с явлениями наших дней.

Особенно живым и пронзительным ощущением этого прошлого отличается сегодняшнее творчество писателей ГДР. В последние годы оно все больше привлекает к себе внимание мировой общественности.

Возьмите хотя бы роман Гюнтера де Бройна «Буриданов осел». Он написан вовсе не о войне, а о банальном, едва не заканчиваемся скандалом флирте трусливого начальника с молоденькой сослуживицей. Но даже и такой роман все равно отмечен знаком прошлого! Чего стоит, к примеру, фигура дворника, столь характерная для третьего рейха и теперь странным образом вписавшаяся в социалистический быт. Но еще значительнее спрятанное в подтекст ощущение тех страшных времен — оно-то и не позволяет героям, запутавшимся в перипетиях дешевой драмы, стать плоскими и тривиальными.

История продолжает жить. И это — прежде всего — живая память людей, не кончающиеся ни сегодня, ни завтра споры о прошедшем.

В любую эпоху человек, как бы ни был он обременен заботой о хлебе насущном, не перестает спрашивать себя о своем месте в мире, в эстафете поколений. Иногда он пытается вернуть утраченные позиции, и его ждет трагедия, если эти позиции были социально и гуманистически неправыми. Конфликтное в человеке часто формируется глубоко и исподволь. Всегда надо помнить, что человек — сложнейший продукт исторического развития, классового и культурного воспитания.

В литовской литературе носителем конфликтного начала довольно часто был и ныне нередко остается некий «срединный» персонаж. А так как в нашей литературе и традиционно и по фактическому положению (республика сравнительно недавно вступила на путь индустриального развития) большой удельный вес принадлежит образу деревенского жителя, то здесь этот «срединный» персонаж являл собой того крестьянина-середняка, который, с одной стороны, приближается к деревенским пролетариям, с другой же — не свободен от определенных кулацких иллюзий. Целую галерею таких «срединных» персонажей находим, например, в творчестве крупного современного литовского писателя Йонаса Авижюса. Однако этим «срединным» персонажем может выступать и горожанин, нередко он по-своему отражает материальное и духовное расслоение деревни — даже если и утратил непосредственную связь с ней и действует в чисто интеллектуальной сфере.

При всем том, что подобная «срединная» позиция, казалось бы, предлагает неограни-

ченное множество сюжетных и психологических коллизий, способных лечь в основу конфликта, писателей сегодня все чаще привлекают «исключения», скажем свернувший с социально-классовой колеи элемент, спутавший «правила игры» и тем самым проливший новый свет на саму эту «игру», то есть на историческую, социальную акцию, на ее драматизм. Таков Антанас — герой моего небольшого романа «Чужие страсти». В водовороте послевоенной классовой борьбы он выступает вроде бы и в «выигрышной» роли: по своему социальному происхождению он батрак, участник Великой Отечественной войны; но гибельно, что этот герой, человек незаурядной энергии и духовной активности, руководствуется в своей гражданской практике мотивами социальной «мести»; индивидуалистические устремления, оторванные от устремлений социально близкого коллектива, приводят Антанаса к конфронтации и с врагами и с друзьями. Возникает очень трудный по своим психологическим коллизиям конфликт, он ведет героя к неизбежному одиночеству.

Чем острее ощущение возросшей роли личности в общественной жизни, тем глубже взгляд художника на истоки конфликтного поведения человека. Исторический подход к выяснению причин и всех возможных граней того или иного конфликта — не прокрустово ложе, не спасительный уравниватель всех и вся, нет, именно такой подход, такой социальный историзм дает нам возможность обобщить индивидуальное, диалектически связать его с общим.

Позволю себе предположить, что в этом случае нашим действенным орудием могут стать не только факты истории, далекой или близкой, мы можем брать на вооружение даже мифы (ими плодотворно пользовались наши великие предшественники). Любителей и почитателей мифов всегда было достаточно. Ведь мифы, помимо всего прочего, — это первые литературные опыты человечества, первые примеры конфликтной драматургии. И этим они ценны.

Однако необходимо заметить и следующее: в литературе нашего времени, особенно в западноевропейской, замечается определенный переизбыток мифологических элементов, своеобразная «мифологическая деформация», порой смазывающая индивидуальность различных авторов. Бывало и так, что мифы освобождали кое-кого от ответственности, от гуманной обязанности

хотя бы одобрительно смотреть на смысл человеческого существования. О сложности этого вопроса, наверное, никто не сказал лучше, чем автор романа-мифа «Иосиф и его братья» Томас Манн в известном своем докладе об этом романе:

«За последние десятилетия миф так часто служил мракобесам-контрреволюционерам средством для достижения их грязных целей, что такой мифологический роман, как «Иосиф», в первое время после своего выхода в свет не мог не вызвать подозрения, что его автор плывет вместе с другими в этом мутном потоке. Подозрение это вскоре рассеялось: приглядевшись к роману поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции (разрядка моя.— М. С.), причем настолько радикально, что до появления книги никто не считал бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь — вплоть до мельчайшей клеточки языка — пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа...»

Литература не может жить без прошлого, без памяти о нем, но плохо, если это становится самоцелью, единственным углом зрения и методом исследования разнообразия жизни. Мы должны помнить, что все происходящее в наших книгах прежде всего обращено к современному человеку, важно для его духовного здоровья и материального благополучия. Главная стихия конфликта — современность, внутренний мир человека, живущего одной жизнью с веком. Я бы сказал, что право «копаться в прошлом» дает писателю лишь его кровная заинтересованность в проблемах сегоднешнего дня!

Новое, что происходит в жизни, неотвратимо, невзирая на степень нашей готовности принять его; оно постоянно чревато конфликтами, недостаточно нам знакомыми, а то и вовсе неведомыми. Стоит только вспомнить, скажем, о проблемах научно-технической революции или уязвимости экологической системы. Но возьмем совершенно «позитивную» тему — материальную заинтересованность при социализме, по праву возведенную ныне в ранг социальной политики. Как соотносится она в повседневности с требованиями социалистиче-

ской сознательности? Как она конкретно раскрывается в море человеческих характеров и судеб, в трактовке категории личного счастья? А проблема прихода в жизнь новых поколений — с новым знанием, с новым пониманием прекрасного, рационального, нерационального, интимных отношений?..

Конфликты, как правило, возникают и за пового как результат развития действительности, прогресса в движении человечества, но в самом исходе конфликтов деятельнейшее участие принимает старое: старый опыт, старый интеллект, старые привычки, пусть уже и утратившие свою социальную первопричину. Неспроста в новейших произведениях советской и других социалистических литератур конфликт очень часто аккумулируется «внутри» одного индивида, одного сознания. В качестве примера приведу роман опять-таки Гюнтера де Бройна «Присуждение премии». Ведь борьба здесь идет не столько между Тео Овербеком и Паулем Шустером, сколько в самом Тео Овербеке, между ним вчерашним и сегодняшним. Впрочем, так ли это ново, если иметь в виду опыт мировой литературы? Конечно, прекраснотушный Отелло во всем противоположен Яго, они антиподы, но мучительная борьба идет прежде всего в страстной душе Отелло, и именно сила этой борьбы поднимает шекспировский образ до величайших обобщений. Так же наивно было бы оценивать гётевского «Фауста» лишь по внешним конфликтным взаимоотношениям Фауста с Мефистофелем — все клокочет в самом Фаусте, этом, как сказал Томас Манн, символическом образе человечества.

Проникновение в глубины характера и психики героя уже само по себе обязывает писателя чутко внимать пульсу времени, ибо — повторяю — лишь настоящее, современность решает судьбу персонажа, несмотря на то, что в строительстве ее активно участвует и прошлое. Интерес к настоящему — кровное дело художника, и проявляется он сообразно таланту, его эстетическому развитию.

Реализованное в образах, ставшее художественной плотью действие не иллюстрирует жизненную акцию, из которой оно, в конечном счете, возникло, а скорее обнажает ее суть или позволяет усмотреть суть там, где порой принято видеть второстепенные, а то и третьестепенные явления. Деформируя, гиперболизируя или препарирова то,

что казалось неделимым, раз и навсегда данным, оно создает новое единство. При этом на поверхность иногда выплескивается магма, о существовании которой и не предполагалось. Художественный конфликт, равно как и художественный образ, нередко может воплощать исключение из правила (не таков ли уже упоминавшийся мною конфликт Антанаса «со всеми сразу» в романе «Чужие страсти»?), неизменно подчиняясь при этом требованиям художественности и идейно-философского обобщения. Даже тогда, когда автор, казалось бы, руководствуется лишь субъективными стимулами, которые не могут соперничать с научными истинами! Интересное писательское свидетельство о соотношении научной истины и творческого воображения можно найти в прекрасном рассказе Ярослава Ивашкевича «Sérénité» («Иностранная литература», 1973, № 6):

«Вообще меня даже несколько тревожит, что я не могу согласиться с Шуаром. Послушай, Август, говорю я себе, ведь все это довольно нелепо, перед тобой большой ученый, ты даже не всегда можешь поймать нить его рассуждений. Он настолько умней, образованней, настолько мудрее тебя, что ты мог бы и должен был бы принять на веру все, что он говорит. Он руководствуется истиной, а ты какими-то неясными даже самому тебе порывами, которые, если бы ты рассказал ему о них, вызвали бы у него только улыбку» (разрядка моя.— М. С.).

А между тем образ искусства — это особая реальность со своими законами, хотя она плоть от плоти жизненной реальности. Творческая индивидуальность видоизменяет ее по законам художественной формы (сами эти законы, конечно, тоже релятивны и непостоянны). Творческая индивидуальность и процесс становления художественной формы — вот то горнило, в котором вполне привычные каждому вещи или явления, питающие конфликт, превращаются в неповторимо своеобразные, в большей или меньшей степени обобщающие картины и образы, воздействующие на нашу психику и чувства.

Тот, кто видит средоточие конфликта главным образом в драматургии, не охватывает всей сложности возникновения литературного образа вообще, а в частности, сложности его «отпочкования», отталкивания от жизненного прообраза, превращения в иную, художественно самостоятельную



ценность. В драме персонажи обычно сталкиваются в открытую, лицом к лицу, и линия конфликта здесь четко очерчена (хотя есть предостаточно драм с затаенным, глубоко запрятанным конфликтом). В рассказе, повести, романе суть конфликта обязательно находит выражение в прямой речи героев, обязательно даже в характерах, она как бы заложена во множестве художественных компонентов, находящихся в сложной взаимосвязи. Конфликт может течь глубоко, как вода под толстым слоем льда. Иногда — чем глубже, тем лучше, особенно если не утрачивается связь с жизненной основой. Утрата реальных связей жестоко мстит автору, лишая его произведение обобщающей емкости и жизненной достоверности, а тем самым и возможности воздействия на читателя.

Думая об известной способности искусства аккумулировать в частном всеобщее, целостное, расширять временные и пространственные понятия и в ярком свете представлять глубинную связь фактов и явлений, я с особым интересом перечитываю эссе немецкой писательницы Кристи Вольф «Прошлое, настоящее, будущее...», опубликованное в журнале «Иностранная литература» (1973, № 11). Криста Вольф, как мне кажется, попыталась ответить на вопрос, почему каждый раз надо писать по-новому, не придерживаясь стереотипов. Писательница увидела Волгу, и это всколыхнуло в ней целый рой чувств, мыслей, реминисценций. Никогда ранее не бывавшая в этих местах, она полна впечатлений, воспоминаний, определивших судьбу не только ее, но и всего ее поколения:

«Я пишу это в гостинице «Россия»: сознательная настоящая, в котором есть, скажем, эта река внизу и все связанные с ней реальные или воображаемые переживания, пишу о прошедшем, двигаясь вслед за которым я — по цепочке ассоциаций — вспомнила не только о прежних событиях, но и о прежних мыслях и воспоминаниях — и при этом ко всему прочему еще добавилась возможность, что когда-нибудь, потом, в будущем (которое в данный момент является настоящим) все это каким-то образом приобретет для меня значение. Хотя бы потому, что я об этом пишу».

Может показаться, что такая мобильность образа свойственна исключительно новейшей прозе, ее лирико-ассоциативному направлению, жертвующему ради впечатления фундаментальностью. Да, новыеобрази-

тельные средства довольно нервны, они ответственны нашему мироощущению, изменившемуся под воздействием множества раздражителей и впечатлений, но в зародыше они существовали уже давно. Внутренний монолог есть у Толстого, а могучие образы, питаемые работой подсознания, потрясают, когда читаешь Достоевского. С давних времен с помощью несюжетного, побочного материала старались передать основное действие, конфликт произведения. Разумеется, «побочным» его можно назвать лишь условно, ибо в художественном организме важны даже запятые (не зря же сегодня кто-то демонстративно отказывается от них, а кто-то упорно защищает). Классическая литература очень широко пользовалась не только контрастами как средством организации конфликта, но и параллелизмами, вспомогательными плоскостями, нюансами. Например, каждому ясно, что по своему историческому и жизненному значению мытарства молодого офицера, попавшего то ли в плен, то ли в услужение к Пугачеву, и одиссея самого народного вождя Пугачева несравнимы; но ведь именно благодаря тому же молодому офицеру и его возлюбленной, дочери коменданта крепости, так потрясающе рельефно вырисовывается картина народного восстания в «Капитанской дочке» Пушкина. Историю мы как бы видим через фильтр, но уберите фильтр — исчезнет вся или почти вся прелесть... С тех времен было создано множество эпических полотен, непосредственно изображающих этот исторический конфликт, но, признаюсь, образ Пугачева для меня жив и неуваждаем прежде всего благодаря пушкинскому, как бы контурно сделанному наброску.

Итак, важную роль в организации конфликта играет то, что мы называем формой, выбор ее компонентов и средств, способ ее развертывания и степень законченности. Но это вовсе не значит, что существуют готовые формовочные опоки — бери любую и лей в нее словесный материал. Форма произведения — это только возможные структуры, которые мыслятся в теоретическом плане; для «заливки» писателю не дано ни одной конкретной заготовки, а тем более — подходящей его замыслу, идее. Писатель каждый раз «изобретает», скажем, тот же ямб, которым уже написаны тысячи и тысячи стихотворений. Точно так же «изобретается» им заново уже ставшая классической мопассановская или чеховская модель новеллы. Нет ли тут противоречия:

изобретают изобретенное? В том-то и дело, что, даже не замахиваясь на новаторскую задачу, писатель обязательно создает новое. Ямб в теории и ямб как ритм конкретного стихотворения — две разные вещи. От силы таланта зависит степень этой новизны, но новое будет обязательно (о графоманах я тут не говорю) — или в важных звеньях, или в частностях.

Не претендуя на оригинальность, все же замечу, что форма мертва без содержания и каждый раз видоизменяется согласно этому содержанию. Содержание же зависит не только от своего жизненного прообраза, но и — в значительной степени — от творческой индивидуальности автора, от его идейных и эстетических устремлений, которые в конкретном произведении могут проявиться через систему образов, минуя комментарии. На всех великих (и не очень великих) творениях литературы лежит могучая печать личности автора. Ибо субъективное в искусстве является способом наилучшего его выражения.

Субъективность, помогающая раскрывать объективное, — необходимый элемент художественности, который, однако, в конкретных случаях не поддается точному «формулировочному» обозначению. Это не дает повода отрицать познаваемость искусства, это просто специфика художественного творчества, заводящая в тупик структуралистов, пытающихся расчленивать образную систему на простейшие, точно взвешиваемые слагаемые.

В настоящем искусстве всегда есть подтекст, недосказанность, нечто брезжущее сквозь видимые очертания, ореол духовности, что ли, и все это трудно объяснить даже при помощи более сложных иероглифов, чем те, которыми пользуются структуралисты. Надо ли в исследованиях об искусстве расчленять все вплоть до мельчайшей клетки? Мы, например, говорим «улыбка Джо-

конды» — и при этом чувствуем многое, хотя объяснить, в чем именно прелесть этой улыбки, не беремся. И вообще достаточно снять лишь одну деталь портрета — и это уже не тот портрет, достаточно вырезать одну черту из характера — и это уже не тот характер. Мы, материалисты, твердо верим в объяснимость сущего, но, выступая против мистификации искусства, мы подчеркиваем его трепетную сущность, тонкость и сложность структуры.

В субъективности искусства, как я ее понимаю, сливаются не только стихийные начала таланта, не только образные средства, но и мировоззренческие устремления творческой личности, ее идейные привязанности, понимание мира и человека. Ассоциативная связь, метафора, даже силуэт характера могут родиться «по наитию», но произведение в целом — плод и стихийных и осознанных сил таланта. При этом личная биографическая связь автора с его произведением, с изображаемым конфликтом может быть весьма тесной, но отнюдь не прямолинейной. Зачастую она бывает и противоречивой — ведь знаем же мы произведения, где логика внутреннего развития идет как бы наперекор декларированному автором кредо. Как известно, В. И. Ленин назвал Льва Толстого, проповедовавшего непротивление злу насилием, зеркалом русской революции. Однако не будь Толстой гениален, идейные воззрения увели бы его далеко от подлинных высот искусства, отмеченных ныне его именем.

Противоборствующие начала являются, конечно, важным стимулом для творчества, однако художник-гуманист, страстный свидетель и участник жизни, тысячами уз связанный с народом, должен принципиально и точно определять свою позицию в конфликте.

Вильнюс.

*Перевела с литовского Б. ЗАЛЕССКАЯ.*



---

---

ЛЕВ ОЗЕРОВ



## УЦЕНЕННЫЕ ВОСТОРГИ

Восторг — благое иступление, восхищенье, забвение самого себя, временное отрешение духа от мира и сует его..

*В. Даль, Толковый словарь.*

Об одном из своих кавказских друзей написал я статью. Это было нечто вроде открытого письма. Шла статья не к юбилею республики, не к юбилею поэта, шла она после выхода его новой книги в русских переводах. По прочтении книги у меня оказались претензии и к автору и к переводчикам. Изложил я их, каюсь, не в полном, не в развернутом виде, а как бы вскользь. Но каково было мое удивление, когда доселе добродушный автор прислал мне суровое письмо — мол, это разнос, этим, мол, не могут не воспользоваться его литературные враги, коих у него немало, это, наконец, может повлиять на его авторское самочувствие в мире. Ему одному ведомым способом он подсчитал, что 65 процентов моего текста относится к области критики («разноса») и только 35 процентов может быть условно зачислено в актив его, автора, как его явное достижение. Ну хотя бы цифровое соотношение было противоположным: 65 процентов похвалы и 35 процентов критики! Тогда можно было бы говорить о добром действии статьи. А так она «медвежья услуга», «подрыв авторитета», «удар из-за угла», тем более неожиданный и тяжелый, что исходит от доброжелательного, как казалось, человека. Уж лучше бы совсем ее не писал. Тоже мне друг...

Через некоторое время я стал получать отклики других товарищей; они говорили, что статья благожелательна, более того, в ней — забота о будущем поэта. Постепенно все стало на место. И сам-то я убедился в том, что, грешным делом, стремился только к анализу, что критика в статье зву-

чит, увы, под сурдинку, что она могла и должна была звучать в полный голос, если бы...

Вот об этом «если бы» и речь. С некоторых пор в нашей литературной и писательской среде мало-мальская критика стала порой восприниматься как проработка или разнос — ее место все больше стали замещать комплименты, критические восторги.

Несколько лет назад я с удовольствием прочитал у ленинградской поэтессы Майи Борисовой такие строки: «...ничто, мне кажется, так не оскорбительно для писателя, как безудержная апологетика в его адрес или преувеличение его литературных заслуг». Майя Борисова приводит убедительные примеры «потоков патоки», которые льют критики на поэтов (да и не только на поэтов), патоки, которая по своей вязкости может сравниться с раскаленной смолой, которой «в средние века поливали неприятеля, осаждавшего крепостные стены».

Верно: как же надо не любить поэзию и поэтов, чтобы только провозглашать тосты, только курить фимиам. Сколько искалеченных судеб! Сколько легковверных авторов, не уразумевших этого проклятия похвалой, не встало на путь истинный, путь настоящей литературы!

Мы восторгаемся часто и по многим поводам (и без поводов), и эти наши восторги бывают настолько необоснованны, что тут же становятся уцененными. Уцененные восторги! — это стало, на мой взгляд, явлением литературной жизни.

Из сонма возможных примеров такой критики я беру некоторые, малую часть, быть может и не самую показательную. Одному человеку сейчас не поднять весь



скательность, нежелание улучшить уже опубликованные тексты.

Велико стремление критика возвеличить не только действительные заслуги своего героя, но и мнимые, вымышленные:

«Пафос ошанинских стихов состоит в том, что его герой-строитель понимает труд не как житейское ежедневное дело — встань по гудку, уйди по гудку, — а как подвиг, как дело всенародной, государственной важности («Тизтта», «Мечтатель», «Мы строим город», «Шахтер из Криворожья» и др.)».

Оказывается, «житейское ежедневное дело» труженика куда ниже дела того, кто понимает труд «как подвиг». Можно ли противопоставлять одно другому? Есть ли какой-либо смысл в этом противопоставлении, даже просто в сопоставлении? Однако упоенный своей мыслью критик продолжает: «Поэту близка и интересна только та жизнь, которая равна подвигу».

Кто мало-мальски знаком с работой Льва Ошанина, поймет, что это далеко не так. Самый подвиг у него нигде не противопоставляется обыкновенному делу. Но желание во что бы то ни стало хвалить, хвалить — и за сомнительные достоинства — ведет критика вперед и выше, вперед и выше...

«Ошанин был и остается на переднем крае гражданской лирики и в песнях о любви...»

Используя известную формулу «был и остается», критик не чувствует никакого неудобства...

«Война показана Слуцким героически», — пишет Владимир Огнев в статье «Реализм и духовность». О том, что хотел сказать критик, мы догадываемся из следующей фразы: «Основной тон этой поэзии — героический». А поначалу получалось, что Слуцкий проявил героизм, показывая войну.

Но не будем останавливаться на отдельных неловких фразах. Заинтересуемся только высказывания: «Для Слуцкого отнюдь не исчерпана в русской поэзии роль поэта-водителя». (В чем она состоит? И почему зашла об этом речь?) «В стихотворении «Правильное отношение к традициям» Б. Слуцкий дает глубокое объяснение самой сути преемственности». «Слуцкий, в отличие от Сельвинского тех лет, далек от практицизма, расчета и деловитости. Он демократичнее». Здесь все неточно, все требует серьезных доказательств.

Вл. Огнев считает, что Б. Слуцкий более

демократичен, чем И. Сельвинский, и что Б. Слуцкий более далек от практицизма (какого?), чем И. Сельвинский. На чем основано это утверждение? Доказательств нет. И зачем за счет возвышения одного поэта принижать другого, его учителя? Нам легко опровергнуть Вл. Огнева, показав, что И. Сельвинский не менее демократичен, чем Б. Слуцкий: для этого только надо прочитать «Тамань», «Севастополь», «Россин», «Я это видел», «Лебединое озеро», «Аджи-мушкайские каменоломни».

Комплиментарен Вл. Огнев не только по отношению к Слуцкому, но и к Е. Винокурову. Он пишет, что «предшественники Е. Винокурова в русской поэзии — это Баратынский, Тютчев»... Доказательств нет. Критик без доказательств (а потому и без оснований), комплиментарно причисляет имя современного поэта к славным классическим именам, чем оказывает поэту медвежью услугу.

С таким же успехом можно считать его учителями Слуцкого и Блока, Фета и Огарева. Докажите!

В иных статьях сразу же берется такая высокая нота похвалы, что дальше и слов не хватает, срывается у критика голос.

Помнится, еще до войны я слушал в редакции «Нового мира» чтение Алексея Толстого. Это чтение он закончил коротким словом, содержание которого выглядело так: вот вещь написана, ее важно оценить, так определить ее, чтобы у ждущего этого определения писателя был перед критикой «страх божий». Алексей Толстой с сожалением сказал, что этого-то «страха божия» он, увы, не испытывает, а сие огорчительно. Значит, рассуждал он, надо в себе самом стимулировать критика, дающего верную, немилосердную оценку написанному. Писатель воспитывает в себе, должен воспитывать в себе критика.

Чувство особой ответственности, взыскательности тем более должно быть присуще критику.

Недавно я прочитал книгу стихов автора, о котором в предисловии сказано, что он «наиболее видный представитель народного направления в современной поэзии. Истоки его стихов — в устном народном творчестве. Национальная основа его поэзии выделяется самостоятельностью, оригинальностью и художественным своеобразием».

О ком идет речь?

О Кольцове? Некрасове? Шевченко? Нет,

речь идет об Иване Лысцове, а речь ведет Евгений Осетров.

Можно понять Лысцова: у нас вызывает протест высушенная, унифицированная, пресная речь. Хочется самобытности, находчивости, яркости поэтической речи. Но что же нам предлагает Лысцов в своей книге «Стезя»?

Перебались девки,  
По задворнам поюнься,  
Вот им все мои одетки,  
Вот приданое от нас.

На каком языке это написано? Что взято в основу речи? Глагол «перебались», этот неологизм, отдает мертвой литературщиной. Но не назло ли общенародным словам и ударениям Лысцов предлагает свои, уродующие речевой строй ударения: «свою исполнят песьнь песьней», «не в расчете на корысть, Родина, о тебе полевой пишу».

Конечно, бумага все терпит. Можно ставить ударения в словах так: корысть вместо корысть, песьнь вместо песьней, неприязнь вместо неприязнь. Можно, конечно, написать «каньте, сомнения, мимо», хотя нигде на Руси так не говорили и не говорят, разве что в старой Одессе на Молдаванке, но это был особый язык. Можно загнать зайцев в норы, но и дети знают, что в норах не зайцы водятся («Зайчишки, тише-ка вы там, да в землю шибчеё хода!»). Все это надуманно, все это Белинский называл «притворной народностью». Ничего общего это не имеет с традициями Кольцова, Никитина, Сурикова, Дрожжина... Иван Лысцов сейчас на такой стадии своей работы, когда ему необходим взгляд со стороны, подсказка критика. Но Евгений Осетров, на мой взгляд, скорей сбивает его с пути.

Не предложено ли нам под видом восстановления народной речи запоздалое переиздание зауми, заумного языка футуристов, помесь Крученых с адмиралом Шишковым? Наша деревня не говорит на таком языке. Она никогда так и не говорила:

Мир — не одни только груди,  
Что вскормили меня.  
Есть, кроме сельбица, люди.  
Есть, кроме лывы, моря.

Праздностью — сердце судимо,  
Леностью — души больны.  
Каньте, сомнения, мимо,  
Каньте в раздолья страны.

И вековечно стремленье  
В соколы выйти земли:

Люди — ее оперенье,  
Крылья людей — корабли.

Мысль Лысцова становится подчас ясной, и он находит слова верные, когда речь идет о главных его желаниях: «Быть может, я один достоин твоих, о Русь, девичьих чар...»

В этом качестве и утверждает его добрый и щедрый на похвалы Е. Осетров. Ему показалось недостаточно громким предисловие к книге «Стезя» (10 000 экземпляров), и он продолжил свой панегирик в брошюре «Поэзия вчера, сегодня, завтра» (тираж 131 900 экземпляров).

«В стихах Ивана Лысцова, — пишет он, — много широты и раздолья, они под стать сибирским просторам, по которым ему довелось в юности пройти в геологической поисковой партии. Отсюда, видимо, его поэтическая удаля, атмосфера яростного утверждения действительности, всей жизни как деяния...»

Не раз выступавший против инфляции слова, против суесловия Е. Осетров сам стал жертвой этого ненавистного ему явления.

А вот берет в руки перо К. Ваншенкин и пишет критическую статью о Леониде Мартынове — «Современность поэта».

«Сказать, что Мартынов поэт яркой самобытности — значит почти ничего не сказать». Верно, ничего не сказать, если произносить эти слова как комплимент. Слова «яркая самобытность», прав Ваншенкин, ровно ничего у нас не значат. Они произносятся походя — всеми и обо всех. Эти слова уже не действуют. Ваншенкин же дает этим словам свое толкование: «Самобытен каждый истинный художник. Мартынов поразительно не похож на других — интонацией, манерой, голосом». Но ведь эта непохожесть Мартынова и есть самобытность! Ваншенкину мало самобытности, и для возвеличивания Мартынова он... лишает его связи с традицией: «Между самыми прекрасными поэтами России можно протянуть линию в той или иной степени родственных связей. К нему или от него идущих «кабелей» не видно — это скорее уже внутренняя «проводка».

Ваншенкину для характеристики Мартынова понадобилась особая терминология — электротехническая. Но какая там «внутренняя «проводка» без подключенности (вот вам еще термин из электротехники!) к внешней сети? Значение Пушкина не стало

меньше от того, что Белинский «подключил» его к предшественникам — Батюшкову, Жуковскому, Державину, что другие находили связи с Байроном (целый период «байронических поэм»), с французами. Нет, выбранный Ваншенкиным способ восхваления (сказать ярко самобытен — «значит почти ничего не сказать») идет не от хорошей жизни. Искерпаны краски земли, нужны краски космические... Комплиментарность зашла так далеко, что обычные слова не действуют, нужен допинг, мало воздуха, нужен горный воздух высот, кислородные палатки...

Ваншенкин характеризует Мартынова: «Да, по своему духу и складу это поэт-исследователь, поэт-ученый, поэт-историк». «И он чрезвычайно современен». Критику и этого мало, он добавляет: «Остро, предельно современен. Не на словах, как некоторые (кто эти некоторые? — Л. О.), а очень органично, естественно, это у него в крови. Это в нем главное. Это он сам. И поразительно (слово «поразительно» бездействует так же, как «чрезвычайно». — Л. О.), что это его свойство с каждым годом и с каждой новой книгой проявляется все более явственно и сильно». Чему же здесь проявляться «все более явственно и сильно» с каждым годом и с каждой новой книгой, если он и так «предельно современен»?

В своих послыхах он прав: есть у Мартынова и самобытность и современность. Но выражено все это так, что восторг одного поэта перед работой другого носит характер сильно уцененный.

Что же, спрашивается, неужели Л. Мартынов с его большим мастерством стихотворца не достоин похвалы? Неужели автор этой статьи намекает на то, что его надо ругать? Нет, нет и еще раз нет. Похвалы похвале рознь. Покажи К. Ваншенкин на анализе мартыновских стихов их особенности, докажи на образах поэта их смысл и действительность, он мог бы произносить свои похвалы. А так они и остались тостами на юбилее.

Существует словосочетание: «огульное ругательство». Не пора ли ввести такое словосочетание — «огульная похвала»? Помню времена, когда работа Леонида Мартынова оставалась в тени. Теперь же — по прошествии полутора-двух десятилетий — все, что выходит из-под пера Л. Мартынова, получает автоматически-хвалебную и однообразно-комплиментарную оценку. Здесь на-

ходим тонкие оттенки от восторга до упоения.

Но если бы писали так только о Мартынове!

«Вошла в пору зрелости Лариса Васильева, поэтесса необычайно органического дара. Утренняя свежесть и самобытность отличают ее последние стихи», — заявляет А. Михайлов в статье с характерным названием «Есть о чем поспорить»...

Как же все-таки образуются такие статьи повышенно-хвалебного тона, где все на свету, где предметы не отбрасывают тени?

Лучше не гадать, как это образуется у других, а сказать, как это бывает у тебя самого. Мне легче увидеть на себе психологические предпосылки такого явления, ибо и я повинен в этой общей беде, и аз грешен...

Юбилейная дата. И вот статья подтягивается до уровня торжественного застолья. Уж нет лучше и краше, чем этот самый именинник. Болезнь товарища. И вот он должен успеть услышать доброе слово. Это его, так сказать, «тонизирует». И вот эти дополнительные соображения — в общем и целом гуманные — становятся со временем из дополнительных основными, а от этих основных до единственных — один шаг. И мы его делаем. Хвала на наших палитрах становится главной краской. Авансируем молодых, стараемся умаслить маститых, всех, всех уравниваем в незначимой похвале. Так плодится юбилейное суесловие.

Обо всем говорится красно, высокопарно, витийственно. Compliment грозит вытеснить из нашей литературы подлинно критические, исполненные доброжелательной строгости отношения.

Я здесь называю имена действующих критиков, людей литературы. Не стремился я специально выискать их «родимые пятна» и огрехи. Нет, материал сам идет в руки. Он лежит на поверхности. И, говоря о явлении, я испытываю тяжелое чувство: приходится называть известных поэтов и критиков. Приходится говорить горькие вещи, к которым и те и другие не приучены. Но я хотел бы думать, что, критикуя тех или иных моих современников, я тем самым выказываю высокую меру уважения к ним.

Повторяю: речь здесь не об именах, а о явлении, которое надо общими усилиями все-таки изживать.

Не шарахаясь из стороны в сторону — от задабривания до заругивания.

Постоянно возвращаясь к анализу.

Восторг, определенный в эпиграфе из Дая, имеет основанием «восхищение, забытие самого себя», то есть доброе чувство. Но в приведенных мной случаях с уцененной похвалой имеет место не искреннее восхищение, не «забытие самого себя», а, как правило, умысел, некое стоящее за пределами литературы соображение.

Среди передовых русских писателей льстецов не было. Это было противоположано передовой литературе и передовой журналистике.

Вспомним, как Пушкин читал Батюшкова — своего учителя! Какие он отметины оставил на полях его «Опытов»: «Весьма дурные стихи», «Слабо», «Темно», «Черт знает что такое!», «Какая дрянь», «Тошно», «Как плоско!» и тут же «Гармония», «Сильные стихи», «Смело и счастливо»... Какая свобода определений, какая безбоязненная правдивость!

Здесь, в этом месте статьи, мне на мгновение надо отвлечься и заглянуть с вами в толковый словарь.

Великодушие — свойство характера, выражающееся в бескорыстной уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими интересами. Даль добавляет: «доброжелательствовать и творить добро».

Прекраснодушие — возвышенно-сентиментальная настроенность, основанная на идеализации чувств и человеческих отношений.

Можно понять великодушного критика, но нельзя понять и принять критика прекраснодушного. Если к прекраснодушному добавим еще и суесловие, то мы, не желая никого обидеть, получим любопытную смесь, которая превращает работников серьезного жанра литературы в поставщиков словес, приятных с виду, бесполезных по существу, весьма пагубных и вредоносных.

Критика критике рознь.

Сильный талант настоящей критики не боится.

Михаил Светлов рассказывал: «Однажды Маяковский встретил меня и говорит:—Я читал ваши стихи в «Известиях». Это — гадость. Вы не умеете писать агиток! И не пишете!»

Я спросил Светлова, не обиделся ли он на Маяковского. «Что вы! Как можно!»

Ахматовой на склоне лет удалось услышать доброе слово о себе. Поклонники ей

писали, восхищались ее поэзией. «Когда меня хвалят, мне все кажется, что говорят о другом человеке. Как-то привычнее мне жить в безвестности...»

Хвалебные статьи стали производить тягостное впечатление. Наиболее дальновидные авторы мечтают о талантливой хуле. Этак лучше. Говорит К. Ваншенкин:

Ниспроверяют незаслуженно  
Порой талант. И он молчит.  
Зато посредственность натуженно  
Сама взбирается на цит.

Пускай потешится. Пожалуйста.  
Ведь совесть времени чиста.  
Она бесстрастно и безжалостно  
Все ставит на свои места.

Забыто все пустопорожнее,  
Всему достойному — хвала,  
И возвеличиванье ложное  
Страшней, чем ложная хула!

Бывало, что на Руси долго могли не замечать сильное произведение сильного таланта, но никогда на Руси бездарность и посредственность не возводилась критикой (передовой критикой!) до высот гениев.

Конечно, нельзя действовать с аптекарскими весами и долями граммов измерять литературные достоинства — отвешивать похвалу и хулу. Критики так порой расхваливают автора, что редакция просит, нельзя ли подбавить критических замечаний — о частностях стиля, об отдельных «неточностях», с последующим: «Но... несмотря на эти досадные частности, автор великолепно справился со своей задачей».

Аптекарские весы в литературной критике не нужны.

Есть похвала — результат анализа, гребень волны, восторг перед созданием.

И есть похвала — задача. Задача во что бы то ни стало курить фимиам, вне анализа и даже вопреки анализу. Такая похвала приводит к тому, что хвалимых перестают читать. Она-то и наносит вред литературе.

Со всем вниманием отнесемся к утверждению Ренана, что «хула великого мыслителя угоднее богу, чем корыстная молитва пошляка».

Обратимся к непререкаемому для нас авторитету. Да, прав Пушкин: «Глупость осуждения менее заметна, чем глупость похвалы».

На этом завершим мы нашу похвалу «глупости похвалы».





## НЕУЖТО НЕ НАДОЕЛО?

**В**ладимир Стасов, люто ненавидевший всяческую фальшь, в какие бы привлечательные одежды она ни рядилась, как-то сердито и очень точно охарактеризовал надуманные, чуждые жизни полотна модного художника: лжеприрода, лжелюди, лжедеревья...

Трудно удержаться от желания снабдить той же краткой и исчерпывающей приставкой всю многообразную продукцию о Советском Союзе, что преподносится с унылой последовательностью читателям реакционными журналистами капиталистической прессы вот уже шестое десятилетие. В ход идут все газетные жанры. Тут лжеинформация и лжезарисовка, лжепублицистика и лжеинтервью, лжеобзор и лжекомментарий...

Формы разнообразны. Неизменна, извечна цель: антисоветизм. Фальсифицированные сообщения подаются под разными соусами. Порой это незамаскированный злобный выпад, иной раз — «объективно-бесстрастная» информация. Нередко очередное разоблачительно-сенсационное сообщение окрашивается в скорбные тона «дружеского сочувствия». Бывает, что срабатывают одновременно все мыслимые приемы враждебных идеологических инсинуаций. Так — в случае, о котором хочется рассказать читателю нашего журнала: ложь на этот раз предстает в двух ипостасях — «дружеского расположения» и прямого недоброжелательства.

В двенадцатом номере «Нового мира» за минувший год были опубликованы записки заместителя министра внешней торговли СССР Н. Н. Смелякова «Деловые встречи». В первых же строках ясно очерчены мотивы, вызвавшие к жизни данную публикацию.

Лето 1973 года, пишет автор, вошло в историю весьма примечательными и памятными сообщениями, связанными с нормализацией советско-американских отноше-

ний, улучшением отношений с рядом других стран, значение которых трудно переоценить. Напомнив читателям о визите в США Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, автор рассказывает о ходе советско-американских переговоров, подписании важнейших документов, закрепляющих происходящую нормализацию отношений между двумя крупнейшими государствами мира. На встрече в Вашингтоне с представителями деловых кругов США, пишет Н. Смеляков, товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул, сколь важное место в переговорах между советскими и американскими руководителями заняли наряду с политическими проблемами вопросы развития экономических связей между СССР и США.

Естественно, что Н. Смеляков, один из видных деятелей советской внешней торговли, посвящает свои записки прежде всего и главным образом проблемам экономических взаимосвязей СССР с США и другими странами. Статья его проникнута уверенностью в добром, взаимовыгодном торговом сотрудничестве, в благоприятных условиях для укрепления позитивных сдвигов в этой области. На протяжении всей статьи автор сохраняет уважительный тон к партнерам по экономическим взаимосвязям в капиталистических странах, размышляет о мерах, могущих укрепить их.

Помимо обширной и весьма интересной информации о состоянии дел в области внешней торговли СССР, автор по-деловому, объективно и самокритично рассматривает многие еще не решенные нашими промышленными предприятиями проблемы.

Записки Н. Смелякова вызвали широкий читательский отклик. В частности, московские публицисты попросили автора встретиться с ними, и такая встреча в начале нынешнего года произошла в Центральном доме журналиста. В ходе оживленной и дружеской беседы Н. Смеляков ответил на многочисленные вопросы советских журна-

листов, проявивших большой интерес к перспективам развития советско-американских торговых отношений.

Примерно в это же время состоялась другая встреча. Заочная. К сожалению, отнюдь не дружеская. И если статья заместителя министра, сам характер его беседы с московскими журналистами достаточно полно отразили серьезную заинтересованность деловых кругов и общественности нашей страны в добром сотрудничестве и успешном развитии экономических отношений с капиталистическими странами, то «устроители» заочной встречи Н. Смелякова с читателями американской и японской газет преследовали прямо противоположные цели. Отклики, напечатанные в февральских номерах газет «Дейли Йомури» (Япония) и в «Нью-Йорк таймс», не только не дают объективного представления о содержании «Деловых встреч» и главной идее статьи, а дезинформируют читателя, давая искаженное представление об экономике Советского Союза, его внутренней жизни.

Познакомив своих читателей с автором «Деловых встреч» как «специалистом по торговле, который представлял Советский Союз в Соединенных Штатах и Западной Германии, много путешествовавшего» («Нью-Йорк таймс») и достаточно хорошо «знакомого с капиталистическим деловым миром» («Дейли Йомури»), корреспонденты названных органов печати сочли возможным перейти далее от фактов к привычному жанру — лжекомментариям.

Сопоставим, что писал Н. Смеляков и что «прочли» в его записках зарубежные истолкователи их.

Туманно намекнув на «некоторые скрытые споры Кремля», о которых-де неосторожно проговаривается автор «Деловых встреч», корреспондент «Нью-Йорк таймс» Хендрик Смит в тоне «скорбно-объективного» свидетельства подкрепляет свои домыслы таким неопровержимым, с его точки зрения, аргументом: «Они (читай: «советские руководители промышленности». — В. Е.). не привыкли к такому откровенному разговору на людях, так как советская пресса обычно превозносит советские достижения и приуменьшает любое указание о структурных недостатках».

Какие же «кремлевские секреты» и тайные сведения о необратимых провалах в работе промышленных предприятий обнаружил в своей статье Н. Смеляков вопреки строжайшему запрету газетам и

журналам давать в советской прессе что-либо эдакое критическое?

Автор записок по-деловому, с хозяйской рачительностью прослеживает ряд недостатков в работе наших торгующих и промышленных организаций, связанных с экспортом. Что это за недостатки? Автор останавливается на некоторых из них: в области рекламы (не всегда учитываются требования покупателей и рынка), технического сервиса (нередко упускается из виду, что одно из основных слагаемых сервиса — бесперебойное снабжение запасными частями) и в области технического прогресса (работа на экспорт обязывает учитывать главный критерий в международной торговле — конкурентоспособность).

Какие же тут секреты и немислимая для советской печати критика? Ведь в той же статье автор приводит слова Леонида Ильича Брежнева на встрече с представителями деловых кругов в Вашингтоне, где он с подлинно ленинской прямотой заявил: «Могу сказать вам, что, рассматривая не так давно положение в области внешнеэкономических связей СССР на высоком форуме, каким является Пленум ЦК КПСС, мы пришли к такому выводу: сегодня нас не может удовлетворять то, чего мы добились. Был поставлен вопрос о резком расширении этих связей. Скажу откровенно, мы остро критиковали многие наши ведомства, занимающиеся этим делом, за отсутствие масштабов, робость, устаревшие представления, за недостатки в их работе».

Это сказано на обширном совещании представителей американских деловых кругов! И разве не ясно, что содержащиеся в записках примеры находятся в тесной взаимосвязи со сказанным, дают представление о характере недостатков, к преодолению которых и призывает автор в интересах успешного развития торговых взаимосвязей. Да, собственно, сами по себе факты эти не являют собой ничего сверхординарного, ибо подобная критика не только не составляет исключения, как в том пытаются убедить своих читателей авторы названных откликов, а типична для всей советской печати в целом. Однако ведь не истины ради затеяна подобная шумиха.

«Смеляков бросил вызов некоторым канонам советской экономики... Они не привыкли к такому откровенному разговору...» Представитель «Дейли Йомури» куда решительнее своего коллеги из «Нью-Йорк таймс»: автор «призывает отбросить комму-

нистическую идеологию». Так вот — черным по белому — и написал. Не сразу поймешь, чего больше в этой ахинее — глупости или злобы. Логические построения просты и категоричны: поскольку критика и коммунизм — вещи несовместимые, автор записок, отважившись по критиковать некоторые промышленные ведомства, порывает тем самым с коммунистической идеологией. Третьего не дано!

Ох, как все это старо. Неужто не надоело?

Ну, а как быть с советской прессой? — ведь в любом номере любой советской газеты — центральной, республиканской, областной — ежедневно публикуются подобные же «запретные» для большевистской печати, как пытается в этом уверить читателей своей газеты корреспондент «Дейли Йомури», критические статьи.

Но именно это обстоятельство и используют для дезинформации читателей своих газет комментаторы. Прodelывается неслложная операция: из советских газет извлекаются статьи, содержащие критику в области экономики, культуры, партийной жизни, быта, сферы обслуживания. Факты коллекционируются, все отрицательное сгущается, все положительное исключается.

Можно не сомневаться, что в досье злопыхателей занесены и факты из передовой «Правды» с острой критикой положения дел на некоторых стройках пятилетки и тщательно зафиксированы выступления коммунистов на партийных конференциях, где развернулась нелицеприятная и подлинно большевистская критика... и многое, многое другое (все это, кстати сказать, в тех же февральских номерах, когда появились и отклики на статью Н. Смелякова). Следующий этап операции — подобрать подходящий к случаю ультрасенсационный заголовок о полном провале пятилетних планов и снабдить им, к примеру, такую лжеразоблачительную цитату, скрыв при этом, что она взята из советской прессы: «...в ряде трестов еще слабо внедряются прогрессивные методы строительства, велики текучесть кадров, потери рабочего времени. Как и в прошлом году, ввод в эксплуатацию большинства пусковых объектов отнесен министерствами на конец года...»

К сведению заокеанских обозревателей: цитата подлинная, остается лишь подать ее в соответствующем антисоветском обрамлении.

Нужны ли другие выдержки из нашей периодики для подтверждения очевидного? Ведь для этого потребовалось бы приводить целый перечень статей, в которых о недостатках в работе промышленных предприятий говорится с не меньшей откровенностью и не меньшей остротой, чем в записках. Да и как могли бы мы достичь за полстолетия с небольшим столь грандиозных успехов во всех областях экономики, культуры, политики, откажись мы от такой движущей силы развития социалистического общества, как критика и самокритика? Но все это, полагаю, хорошо известно авторам откликов, ибо, надо думать, за выступлениями в центральной прессе, особенно критическими, они следят внимательно. Но известно им и другое: манипуляции с цитатами можно проделывать безнаказанно, ибо никто из читателей газет за руку их не схватит, с поличным не поймает... за неимением под рукой советской прессы. В умы же доверчивых подписчиков просочится яд сомнений: а так ли уж нужно торговое сотрудничество с СССР, если, глядите, сам заместитель министра внешней торговли «проговаривается» о «структурных» недостатках? Отсюда прямой ход к главной цели: внушить с помощью явного и скрытого подтасовывания цитат о якобы вынужденно открытом признании советской печатью преимуществ капиталистической системы перед социалистической. Для такой суперсенсации и заголовок подобран в «Дейли Йомури» соответствующий: «Побоку красную идеологию». Лихо и завлекательно!

О критических замечаниях в записках я говорила. Теперь несколько цитат (да простит мне читатель некоторую пространность их), дающих представление об идеологической основе статьи, и о тех бесчестных передержках, которые проделали с ней два солидных зарубежных органа печати.

Н. Смеляков писал: «По мере развития народного хозяйства в целом, в индустрии в частности, увеличивался советский экспорт машин и оборудования. (Автор подкрепляет это утверждение цифровыми данными по годам.— В. Е.) Вырос удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в общем советском экспорте. В 1972 году он составил около четверти всего объема нашего вывоза за границу. Это большая заслуга советской промышленности, советского рабочего класса, ин-

женерно-технического персонала, научных работников, строителей, плановых органов, работников транспорта — всех звеньев советской экономической системы, руководимой партией и государством... Для нашей страны увеличение и улучшение структуры экспорта означает значительное движение вперед, результат больших усилий партии и народа. Наше положение на мировом рынке прочно».

Из откликов, о которых идет речь, явствует прямо противоположное: плохо у Советов с экспортом, непрочны их положение на мировом рынке.

Еще несколько принципиальных положений статьи «Деловые встречи», столь вольно (точнее, гангстерски) истолкованной комментатором из «Дейли Йомури»:

«Советский Союз поставяет развивающимся странам большое количество машин и других товаров. Но главная заслуга нашей страны заключается в помощи по созданию в развивающихся странах национальной промышленности, что, собственно, и обеспечивает поступательный рост производства и вывоза готовых изделий». Экономическая же политика капиталистических стран сводится к беззастенчивому грабежу, ибо «империалистические державы и их монополии не собираются уменьшать экономические и политические доходы, ведя неравноправную торговлю с развивающимися странами. Они стремятся к эксплуатации развивающихся стран... За время зарубежных поездок мне лишь изредка доводилось видеть завод, производящий средства производства, который был бы построен при содействии капиталистической фирмы высокоразвитой в промышленном отношении страны. И в то же время достаточно общеизвестны факты, когда Советский Союз строит предприятия тяжелой и энергетической промышленности в слаборазвитых странах. К числу их относятся Асуанская ГЭС в АРЕ, металлургический комплекс в Исфагане, наконец, Бхилайский металлургический завод в Индии...»

Трудно истолковать такое высказывание как признание явных преимуществ капиталистической экономики. Не укладывается в заранее разработанную схему «разоблачительных комментариев» и такое место в записках:

«Много раз мне, так же как и другим товарищам, приходится отвечать на вопросы о целесообразности и обоснованности

щедрой помощи Советского Союза другим странам, в то время как наша страна сама нуждается в металлургических заводах, электростанциях, дорогах, текстильных фабриках, во всем том, что переходит советскую границу и становится собственностью арабов, индийцев, афганцев и других. Ответ может быть один: такова природа Советского государства, основанного на ленинских принципах интернационализма и братства между народами. Помощь нашего народа тем и ценна, что она оказывается не от излишков материальных средств в стране, а от чистого сердца друга, который в трудную минуту готов оказать помощь народу, борющемуся за свое существование, готов отказать себе в чем-то, но дать часть другу, разделить, как говорится, кусок хлеба».

Казалось бы, позиция предельно ясная. Но вот это-то высказывание и оценено комментатором как призыв «покончить с коммунистической идеологией!»

Что же касается «конкурентоспособности», о которой напоминает Н. Смеляков советским руководителям промышленности (что также расценено «комментаторами» как отказ от социалистических принципов торговли), то в статье недвусмысленно на сей счет сказано: «Никак нельзя упрощать подход к конкуренции товаров на международном рынке. Здесь необходим классовый подход, ибо конкуренция, по существу, это борьба между социализмом и капитализмом. В ней сказывается все: культура общая и промышленная, грамотность общая и техническая, идеология и сознание людей, социальный строй и политика, уровень науки и техники».

Только крайней невежественностью, если не злым умыслом, можно объяснить сенсационное «открытие» Хендрика Смита из «Нью-Йорк таймс», которым он спешит поделиться с читателями: видно, плохо, мол, дела в СССР, если «советским руководителям промышленности говорят учиться у Запада». По мнению Смита, на такой архикрамольный призыв автор «Деловых встреч» мог ответить лишь с «благословения на высоком уровне, от коммунистической партии».

Надо ли говорить, что открытие это запоздало лет эдак на пятьдесят с лишним, ибо «благословение» на то, чтобы учиться у Запада, родилось, к сведению Смита, не сегодня и не вчера. С первых же шагов становления советской власти Ленин, пар-

тия неустанно звали учиться торговать у Запада. Вот какие слова были сказаны Владимиром Ильичем на XI съезде РКП(б) в политическом отчете: «Он, коммунист, революционер, сделавший величайшую в мире революцию, он, на которого смотрят если не сорок пирамид, то сорок европейских стран с надеждой на избавление от капитализма,— он должен учиться от рядового приказчика...»

Призыв учиться, учиться, учиться никогда не переставал звучать со страниц печати, в партийных документах, в нашей публицистике. Вспомнить бы комментаторам, что об этом говорил в Нью-Йорке в одном из своих докладов, озаглавленном «Что я привезу в СССР», и Владимир Маяковский: «Мы приезжаем сюда учиться тому, что нужно, и так, как нужно для России... Америка для России — лозунг устройства советской индустрии, но американизм как уклад жизни для Советского Союза неприемлем».

Об этом же никогда не устаревавшем

стремлении напоминает в заключение статьи и Н. Смеляков: «По-прежнему мы должны неустанно учиться торговать, учиться и у друзей и у врагов, как этого требовал от нас Владимир Ильич Ленин».

Итак, как видим, обращение к статье Н. Смелякова понадобилось не для объективного ознакомления с ней читателей японской и американской газет, а для дезинформации путем тенденциозного, недобросовестного жонглирования цитатами. Остается лишь выразить удовлетворение тем, что, несмотря на многочисленные и многообразные попытки помешать нормализации торгово-экономическим связям между СССР и США, деловое сотрудничество между ними успешно развивается. Одно из свидетельств того — создание американо-советского торгово-экономического совета, призванного содействовать развитию всего комплекса экономических отношений двух стран.

**В. ЕЛИСЕЕВА.**



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Л. Михайлова.** Отражение истории в человеке.— **Е. Книпович.** Оружием критики.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Вал. Гольцев.** Накануне.— **Олег Моисеев.** Хлеб целины.— **П. Чернасов.** Мятежная эскадра.

## Литература и искусство

### ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ В ЧЕЛОВЕКЕ

**Б. Полевой.** До Берлина 896 километров. Из записок военного корреспондента.

**М. «Советская Россия».** 1973, 288 стр.

**Б. Полевой.** Силуэты. «Дружба народов», 1973, № 8, 9.

**Б. Полевой.** Силуэты. «Вопросы литературы», 1973, № 11.

В конце прошлого года публиковались фрагменты из задуманной Борисом Полевым книги новелл «Силуэты».

Предваряя в «Литературной газете» публикацию новеллы «Мастер», Полевой характеризует эту свою книгу как «род своеобразной прозы».

Своеобразие такой прозы — ее бесфабульность. Вместо хорошо знакомого расположения (завязка, кульминация, развязка) ситуаций, созданных фантазией автора, описываются реальные факты и события от собственного «я», и происходят они при самом непосредственном участии рассказчика.

Известно, что непревзойденным мастером этого рода прозы в русской литературе был А. И. Герцен. Начиная печатать пятую часть «Былого и дум», он писал, как «опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин... Спать их в одно — я никак не мог. Выполняя промежутки, очень лег-

ко дать всему другой фон и другое освещение — тогдашняя истина пропадет». Герцен объяснял, что содержание «Былого и дум» составляет «не историческая монография, а отражение истории в человеке...»

Отражение истории в человеке... Необычайная популярность жанра документальной прозы сегодня объясняется значительностью исторических событий, выпавших на наше время.

Дневниковые книги Полевого хорошо известны читателю. Недавно опубликованы новые записки военного корреспондента — «До Берлина 896 километров». Но и свои новеллы писатель определяет как «невыдуманные истории». У этой невыдуманности тот же исторический аспект. «Человек — он весь в делах своих, — замечает Мартирос Сарьян в новелле «Мастер», — ...только в делах своих рук, своего ума. Только то, что ты сделаешь для людей, о тебе и будет напоминать потомкам».

Историческая роль человека в созидании — об этом говорит герой Полевого. И таково «отражение истории» в социалистическом человеке.

В рассказе про то, как реальный Сарьян писал реального Полевого, есть нечто более значительное, чем сам факт. Это, во-первых, попытка описать творческий процесс как выражение суммы взглядов и навыков художника. И, во-вторых, то неосознанное творчество, каким была занята «модель». Едва ли Полевой сознательно «прицеливался» в Сарьяна, он слишком робел и с трудом преодолел свое чувство неловкости. Шутка ли, позировать такому мастеру: «...взгляд художника, требовательный и вдумчивый, походил, пожалуй, на взгляд следователя, допрашивающего подозреваемого, который все еще пытается отговориться от явных улики».

Казалось, активной была лишь одна сторона в этом дуэте, но, в сущности, работали оба, и доказательство налицо — новелла, о которой мы говорим. У нее как бы два сюжета, и оба невыдуманные. Один явный, а другой угадываемый, точнее, даже не сюжет, а то, что читатель получил вдобавок к замыслу — понимание непрерывности творчества, ощущение писательского труда как обязывающего «праздника, который всегда с тобой».

Бесфабульная проза используется иной раз как удобный плацдарм для бесформенной мысли. Но с точностью пера этот род прозы превращается в лирическую летопись времени.

Некоторые главы «Силуэтов» писатель называет плодом «репортерских наблюдений», материалом для будущих исследований жизни и творчества Галана, Пудовкина, Вишневого, Хикмета, Чуковского, Федина, Мадлен Риффо...

Пусть так. Но в материале есть позиция, соотношенная с высоким общественным идеалом того, кто говорит и о ком говорится.

«Я люблю репортажи», — признается Полевой.

И видно, что любит — по той веской, предметной насыщенности, какую в них вкладывает.

Содержательный репортаж — метод освоения современности и в то же время «черновик истории» — так называет работу военных журналистов автор книги «До Берлина 896 километров».

Упоением наступательной битвы дышат страницы этой книги. И трагизмом войны, даже на ее победном этапе. Атмосфера близкого торжества и роковая смерть, незабываемые встречи и люди. Человек в порыве атаки и в великодушном чувстве победителя.

Эпизоды, факты, имена — их немало накопилось в корреспондентских блокнотах. Рассказы о грандиозных баталиях последнего этапа войны укладывались в сжатые абзацы газетных корреспонденций. А то, о чем нельзя или не время было говорить, выходило на страницы печатных изданий после победы и выходит сегодня. Смысл ретроспекции — воскресить конкретность, ставшую легендой. И рядом с лицами и действиями солдат, офицеров, генералитета — лица и действия корреспондентского корпуса Великой Отечественной войны.

Полевой рассказывает о Сергее Борзенко, Борисе Горбатове, Михаиле Брагине, Сергее Крушинском, Михаиле Зотове, о других журналистах-офицерах, готовых «шагать за десятки километров, лежать в кюветах во время бомбежек, ежедневно, а то и ежечасно рисковать, чтобы добыть для своих читателей интересный факт... они сейчас вот, в кипении этой нечеловеческой трудной войны, пишут первый, может быть, отрывочный, может быть, неуклюжий и топорный, но зато самый справедливый и неприукрашенный черновик военной истории».

У каждого из описанных Полевым военных журналистов — своя методология создания репортажа, отвечающая характеру этого человека и характеру момента. Известен взрывчатый темперамент устных выступлений Всеволода Вишневого, но лишь после его смерти, рассказывает Полевой, «когда были опубликованы тома его дневников, мы узнали, какую он проделал огромную работу и какую ставил перед собой задачу». В одной из записей имеются такие слова: «Наша задача — сохранить для истории наши наблюдения, нашу сегодняшнюю точку зрения участников. Ведь через год, через десять лет, с дистанции времени все будет виднее, возможно, будет иная точка зрения, иная оценка. Оставим же внукам и правнукам свой рассказ. Наши ошибки и наши победы будут уроком для завтрашнего дня».

Это — развитие герценовской мысли о сохранении «тогдашней» истины.

«Силузты» и военный дневник Полевого содержат значительный по объему и смыслу драгоценный фактический материал. Но, разумеется, не только в этом ценность пи-

сательской работы. Интересна психология журналистской профессии, которую исследует автор, сам олицетворяющий ее и влюбленный в нее пожизненно.

Л. МИХАЙЛОВА.



## ОРУЖИЕМ КРИТИКИ

Л. Якименко. На дорогах века. Актуальные вопросы советской литературы. М. «Художественная литература». 1973. 368 стр.

Когда автор книги «На дорогах века» Л. Якименко в последней главе обращается к новым чертам, появившимся с движением времени в работах наших критиков, он стремится определить общие закономерности, объясняющие эти изменения.

«Нам всем приходится жить и работать во все более и более усложняющейся обстановке. Борьба идеологий приобретает неслыханную остроту. Поверхностному наблюдателю многое может показаться неясным, запутанным до чрезвычайности». Эта сложность времени требует, по справедливому мнению автора, еще более глубинного и одновременно конкретного понимания партийности и народности литературы, умения раскрыть эти основополагающие принципы в самой «плоти» художественного произведения.

«Вот почему представляется важным и необходимым остановиться на некоторых проблемах, связанных с нашим подходом к современному литературному процессу. В конечном счете это не только принципы исследования, но принципы оценки, — соотношения явлений литературной жизни с идейной борьбой, идущей в мире, с исторической действительностью, с проблемами самой жизни».

Выводы эти Л. Якименко дает в конце своей книги. Вся работа его построена в соответствии с ними; им подчинены пути исследования тех многообразных явлений литературы, о которых идет речь.

Книга «На дорогах века» очень богата по материалу. Причем советская литература предстает в ней действительно как многонациональная и целый ряд существеннейших тезисов «вырастает» из анализа и сопоставления произведений литературы русской с произведениями писателей Украины и Узбекистана, Киргизии, младописьменных

литератур. «Массивы» материала продуманы и логично расположены в трех больших главах — «Время и эпос», «Эпос войны. Личность художника и литературный процесс», «Современные проблемы метода социалистического реализма», а различные пути к познанию «правды века», многообразии связи литературы с эпохой раскрываются по-своему и убедительно в многочисленных подглавах больших глав.

В начале книги Л. Якименко ставит вопрос о традициях советской литературы, раскрывает роль Горького, который воздействовал на целое поколение писателей не только своим личным опытом и творчеством, но и своим пониманием и освоением традиций нашей классики. Опираясь на конкретный материал переписки Горького со старейшинами нашей литературы, на высказывания этих старейшин — Федина, Леонова, Шолохова, — Л. Якименко справедливо и наглядно раскрывает роль Горького в творческом самоопределении крупнейших мастеров старшего поколения.

Однако последующую жизнь горьковской традиции в литературе нашей Л. Якименко, на мой взгляд, пытается определить несколько «суммарно».

«Жизнь традиции в искусстве, — говорит Л. Якименко, — повернута к современности. Переосмыслена ею в самых, казалось бы, неожиданных аспектах. Поэтому, когда мы пытаемся рассмотреть традиции Горького в современной литературе, исходя из того, каким было влияние Горького на литературный процесс 20-х и 30-х годов, мы вряд ли достигнем полного успеха.

На поверхности, к примеру, в жанре современных рассказа и повести, в стиле-вом содержании их проступает скорее чеховско-бунинская традиция. Поверхностному наблюдателю горьковская традиция может даже показаться прерванной. В на-



шей печати появились озабоченные призывы к «возрождению» горьковских традиций. Мы забываем при этом, что «горьковское» вошло в наши эстетические представления, что оно вошло в самую кровь социалистического искусства. Оно стало живым достоянием, теряя при этом иногда внешние приметы индивидуально-неповторимого... Горьковские традиции живут и обогащаются, они возникают в новых связях, в новых формах, новых обретениях и даже отталкиваниях».

Но не станем забывать: и при жизни Горького было немало крупных литературных явлений, лежащих вне традиций его творчества, как, например, романы и пьесы Михаила Булгакова, талантливейшее творчество Андрея Платонова и многое другое. Кстати говоря, это «не горьковское» Горький умел высоко ценить.

Призывов к возрождению горьковской традиции я лично в советской печати не видела. Но рассматривая сегодняшнюю жизнь литературы лишь «сквозь призму» 20—30-х годов, мы вряд ли приблизимся к осознанию современных эстетических процессов. Если же мы выдвинем тезис, гласящий, что традиция стала достоянием в с е х деятелей нашей литературы, мы попросту «закроем» тему идейно-художественной сложности литературного процесса.

Неужели можно сказать, что горьковской традиции (пусть в новых «обретениях» или «отталкиваниях») в равной или неравной мере причастны, например, «Бочкотара» В. Аксенова и «Сотников» В. Быкова, «Южно-американский вариант» С. Зальгина и «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова?

Думаю, что дело тут обстоит гораздо сложнее, что «традиций» и перекрестных течений тут гораздо больше, и, если бы вместо общей формулы, как бы вынесенной за пределы конкретного анализа, автор с точки зрения традиции взгляделся в некоторые «обретения» всех тех писателей наших дней, которых он любит и так хорошо понимает, несомненно, связь «обретений» с «традицией» стала бы не менее наглядной, чем и в разговоре о творчестве Шолохова, Леонова, Федина, Фадеева.

О плодотворных (и не везде реализованных) возможностях такого «поворота темы» в книге свидетельствует многое. Например, тот анализ некоторых особенно-

стей современного узбекского романа, о которых автор говорит в первой главе книги:

«Если обратиться к истории жанра романа в узбекской прозе, то мне кажется, что она связана прежде всего с ярко выраженной эпической тенденцией. Вряд ли эту тенденцию можно возводить к традициям эпической поэзии народных героических сказаний. Скорее всего здесь проявилось освоение опыта русского советского романа, а если говорить о романе, который решал проблему становления социально активной личности, смело выступающей против навыков и традиций прошлого, то я бы в первую очередь назвал традиции Горького. Я вижу эти горьковские традиции в таком, например, романе, как «Учитель» П. Турсуна, в романе А. Мухтара «Сестры» с превосходно выписанными женскими образами. И не столько в структуре этих произведений, сколько в самом подходе к человеку, в реализации этических принципов. «Падающего толкни» — это один из основных догматов «морали господ», писал Горький. «Мораль господ» была мне так же враждебна, как и «мораль рабов», у меня слагалась третья мораль: «восстающего поддержки». Борющийся человек прекрасен — таков один из важнейших эстетических заветов Горького, наследованный и развитый советской литературой».

Л. Якименко удачно показывает, как Горький помогал молодым тогда классикам нашим, так сказать, открыл глаза на себя самих, обрести свой путь и вместе с тем как он указывал и направление пути, предостерегал от тех соблазнов, которые в той или иной форме могут встать перед осмысляющим мир в годы крутых поворотов истории.

Вопрос о традициях, о классическом наследии превосходно поставлен в первой главе книги на примере Л. Толстого и М. Горького. Но авторские экскурсы в область чеховского творчества порой представляются спорными. Основное и очень верное определение самой сути, «души» чеховского наследия никак не вяжется с конечным выводом о пассивно-сострадающем характере чеховского гуманизма.

Когда Л. Якименко на примере классиков советской литературы показывает своеобразие, аналитический рассказ его приобретает особую остроту и убедительность. Шолохов, к которому особенно «прикипе-

ло» сердце автора книги, проходит по всем ее главам и разделам. «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», «Они сражались за родину» — все произведения эти в разных опосредствованиях встают и в связи с разговором об эпической сущности жанра романа, и в главе о ленинском принципе партийности, и в главе «Герой, нравственность, время». Черта под темой «Шолохов» подведена в одной из подглавок — «Философия истории и методологии литературоведческого исследования (Еще раз о судьбе Григория Мелехова)».

Убедительная полемика с той трактовкой трагедии Григория Мелехова, которая дана в сравнительно недавних (середина 60-х годов) работах Ф. Бирюкова, А. Хватова, Ю. Андреева, В. Петелина, А. Бритикова, — это как бы предлог для того, чтобы еще раз и с полной точностью сформулировать свое понимание самой сущности романа М. Шолохова.

«В романе вершится не только «суд» над Григорием Мелеховым или Михаилом Кошевым. Шолохов «судит» и сами обстоятельства, в которых оказываются вольно или невольно герои его романа. Само понятие идеала включает, очевидно, не только представление о том, каким должен быть прекрасный человек, но и понимание тех обстоятельств, которые бы способствовали раскрытию всех прекрасных и достойных человеческих качеств.

Социальный оптимизм Шолохова основан на убеждении в достижимости высоких коммунистических идеалов. И поэтому жизнь Григория, события революции и гражданской войны не только изображаются такими, какими они были, но и оцениваются все время в поэтической работе воображения с позиций победоносной «правды века».

Литературоведческий спор о судьбах эпического жанра, анализ концепций А. Чичерина, В. Днепрова, В. Кожина, М. Кузнецова и других как бы отделены в книге от анализа «живой плоти» искусства и несколько выпадают из общего «чертежа» ее, тем более что и ведется спор преимущественно о работах семи-десятилетней давности.

О путях эволюции, о многообразии советского эпического жанра более полно и подробно повествуют разделы «Пути романа», «О поэтике современного романа», «Мастерство романиста» — в первой главе, вся вторая глава «Эпос войны. Личность художника и литературный процесс».

Как мы уже говорили, большим достоинством книги является то, что автор в своих «посылках» и выводах опирается на опыт всей многонациональной советской литературы.

В книге нет особенно «разветвленной» полемики с зарубежными отрицателями жизнеспособности эпического жанра. Однако по ходу дела автор справедливо определяет самую сущность таких теорий — стремление ликвидировать реализм в литературе, отрицание познавательной функции и социальной активности искусства слова. И даже без разветвленной полемики вся книга «На дорогах века» объективно становится полемикой с такого рода ликвидаторами.

«Советская литература проходит исторический путь, — говорит автор, — на котором были и ошибки, утраты, и гордые победы — они принесли нашему искусству мировую известность. Как правило, читательская известность приходила к тем книгам, которые мужественно и правдиво открывали мир революционной России, советскую действительность на различных этапах строительства нашего общества... Человеческая индивидуальность, судьба личности исследовались в сопоставлении с историей общества, в сопоставлении с судьбами, целями и борьбой исторически действенной активной массы».

Эта «открытость миру», это ощущение историзма каждой человеческой судьбы Л. Якименко рассматривает как одну из определяющих черт советской литературы. И вся книга его справедливо и убедительно доказывает, что «сложная диалектика исторически значительных событий, в которых наиболее отчетливо выражается «массовидность» действия, и «частная» история, судьба отдельных людей. лежит в основе и наиболее значительных произведений современной советской литературы».

Мир, открываемый художниками разных народов Советского Союза, многообразен. Конкретные обстоятельства борьбы и победы народа над угнетателями, построение нового общества также очень различны. Различно и культурное наследие и традиции всех этих народов. За плечами одних — произведения мирового или хотя бы «континентального» значения, за плечами других — лишь традиции устного творчества, песня и сказка, запечатлевшие труд-

ную судьбу народа и неистребимую веру в лучшее будущее.

Особый склад обстоятельств, по справедливому убеждению автора книги, рождает и те особенности эпического жанра, какими отмечены произведения различных литератур Советского Союза. И вместе с тем, указывает автор, в советской литературе — литературе социалистического реализма — идет все более интенсивный процесс взаимовлияния и взаимообогащения культур. Это процесс многосторонний, важный и для литератур с давней и высокой эпической традицией, и тем более для литератур, где эпическая проза родилась лишь недавно.

«Когда читаешь «подряд» одну за другой книги С. Курилова, Г. Ходжера, В. Санги, С. Тока, С. Сарыг-оола, затем, например, «Абая» М. Ауэзова или «В далеком аале» Н. Доможакова, испытываешь странное, до головокружения, чувство. Будто на твоих глазах «прокручивается» красочная и в высшей степени достоверная кинолента истории... Перед нами не бесстрастная «музейная» память истории, а живое и потому такое убедительное свидетельство наших современников. Так уже сложилась исторически жизнь народов в нашей стране, что произошло поразительное сочетание различных укладов жизни... Мы становимся свидетелями побед реалистического искусства, которое, опираясь на поэтические национальные традиции, на завоевания русского советского романа, воссоздает действительность и характеры во всей их национальной неповторимости...»

Л. Якименко справедливо отмечает и некоторые просчеты у писателей младописменных или даже «молодых» в эпическом творчестве литератур при решении новых и сложных задач, встающих перед ними. И все же тема взаимодействия литератур намечена в книге несколько тезисно. Было бы очень поучительно, если бы автор конкретно «раскрыл», например, свою мысль о влиянии «сложного образования» — творчества Чингиза Айтматова — на современную русскую литературу. А также если бы

свои беглые (и справедливые) характеристики современной литературы Литвы он дополнил бы анализом того взаимодействия и той «эстетической полемики», которые происходят внутри этой литературы, отражая и борьбу различных тенденций за ее пределы.

Естественно, что, прослеживая «движение» эпической формы в советской литературе, Л. Якименко опирается на те произведения, которые наиболее близки ему как читателю и исследователю. Советская литература настолько богата и многообразна, что самые разные проявления эстетической «субъективности» критика, естественно, могут войти в объективную картину движения литературного процесса. Я думаю, что «субъективные» пристрастия Л. Якименко чаще всего носят и объективный характер. И не только в разговоре о классике нашей. Так, например, проблема нравственных начал, их становление и эволюция в разные периоды жизни нашего общества в книге раскрыты интересно и убедительно не только в разделах, посвященных «Разгрому» и «Молодой гвардии», «Чапаеву» и другим классическим произведениям, но и там, где речь идет о «Прощай, Гульсары!» Айтматова, «Памяти земли» Фоменко, «Иду на грозу» Гранина. Но в книге есть и не так мало «перечислительных страниц», беглых и иллюстративных характеристик (например, там, где речь идет о военных романах К. Симонова), что, вероятно, связано со стремлением — на деле все же недостижимым — охватить все, не упустить чего-нибудь живого и значительного из актива нашей культуры.

Последняя глава книги «Современные проблемы метода социалистического реализма» представляет собой итог анализа — под углом именно этих «современных проблем» — огромного материала литературы. И подводя черту под своей работой, Л. Якименко удачно формулирует основные задачи критики и называет те средства, с помощью которых можно эти задачи решить.

Е. КНИПОВИЧ.



Политика и наука

## НАКАНУНЕ

История второй мировой войны 1939 — 1945 гг. В 12-ти томах. Том первый. Зарождение войны. Борьба прогрессивных сил за сохранение мира<sup>1</sup>. Воениздат. 1973. 367 стр.

Почти три десятилетия отделяют нас от того времени, когда в предместье Берлина — Карлсхорсте — в зале инженерной школы делегация фашистского рейха подписала акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. А затем три месяца спустя состоялась такая же церемония на борту американского линкора «Миссури». Здесь были подписаны документы о капитуляции империалистической Японии. Эти исторические акты подвели черту под второй мировой войной, которая была развязана агрессивными кругами империализма.

И хотя события войны все дальше и дальше отходят в прошлое, ее итоги и последствия продолжают оказывать огромное воздействие на современную международную обстановку, на общественные процессы современности. Именно это и обуславливает неостывающий интерес к истории второй мировой войны со стороны не только военных специалистов, но и политиков, публицистов, ученых-исследователей, писателей, деятелей искусства и культуры, самых широких слоев общественности.

У нас и за рубежом возникла огромная литература о войне. Она продолжает непрестанно расти. Здесь и военные исследования и мемуары, документальные сборники и художественные произведения, философские трактаты и фундаментальные труды экономистов. Войне посвящены многочисленные театральные постановки и многосерийные кинофильмы.

И если советские авторы, историки стран социалистического содружества, прогрессивные ученые мира стремятся исследо-

вать классовую природу войны, ее причины, дать объективно-исторический обзор ее хода, показать роль народных масс в сокрушении агрессоров, то реакционная историография направляет свои усилия в диаметрально противоположную сторону. Выполняя социальный заказ военно-промышленного комплекса, буржуазные историки преднамеренно искажают события минувшей войны. Они стремятся замолчать великий подвиг советского народа и его славных Вооруженных Сил, сломавших на советско-германском фронте становой хребет гитлеровской военной машине, что поставило фашистскую Германию на колени. Они необоснованно возвеличивают, приумножают значение операций союзников, которые проводились на второстепенных фронтах, уклоняются от ответа на вопрос, почему США и Англия нарушили взятые на себя обязательства и не открыли своевременно второй фронт. Буржуазные фальсификаторы немало извели чернил, чтобы в ложном свете представить великую освободительную миссию Советской Армии. Некоторые из них даже пытаются возложить ответственность за возникновение войны на Советское государство и тем оправдать Гитлера и его сообщников, их чудовищные преступления против человечества.

Советские историки много сделали для разоблачения этих антинаучных концепций. В своих трудах они неоспоримо доказали, что войну развязал фашизм, ударная сила мировой империалистической реакции. Исследуя истоки нашей великой победы, советские историки справедливо отмечали, что она была победой советского социалистического строя, общественного и государственного, победой нашего многонационального народа, тесно сплоченного вокруг Коммунистической партии, руководящей и направляющей силы нашего общества. В годы войны партия сплотила вокруг себя народные массы, подняла их на защиту социалистической отчизны и привела к всемирно-исторической победе.

Успехи советских историков, изучающих проблемы второй мировой войны, неоспо-

<sup>1</sup> Главная редакционная комиссия: А. А. Гречко (председатель), Г. А. Арбатов, В. А. Виноградов, П. В. Волобуев, В. Г. Гафуров, С. Г. Горшков, А. А. Громько, А. А. Епишев, А. С. Желтов, П. А. Жилин (заместитель председателя), Е. М. Жуков (заместитель председателя), С. П. Иванов, Н. Н. Иноземцев, В. М. Кожевников, В. Г. Куликов (заместитель председателя), С. К. Куркоткин, Е. Е. Мальцев, Д. Ф. Марков, П. Н. Поспелов, А. И. Радзиевский, С. И. Руденко, А. М. Румянцев, М. И. Сладковский, Т. Т. Тимофеев, П. Н. Федосеев (заместитель председателя), С. К. Цвигун, С. М. Штененко.

римы. Однако в советской историографии остро ощущалась потребность в капитальном направляющем и руководящем исследовании, посвященном второй мировой войне, в труде, где бы все стороны были освещены все аспекты, особенности и характерные черты этой войны. Ее предыстория, ее зарождение и развитие, цели воюющих сторон, ход боевых действий на всех фронтах, на всех театрах войны, партизанское движение и антифашистская борьба, техника вооружения, военная наука, стратегия, оперативное искусство, тактика армий, экономика, политика и идеология воюющих сторон, международные отношения, дипломатическая борьба, итоги, уроки и последствия войны. Словом, труд, который дал бы социально-политический слепок войны, показал бы весь ее сложный и противоречивый механизм, ее классовую природу в самом широком опосредствовании.

Именно с этой целью и было предпринято создание двенадцатитомной «Истории второй мировой войны 1939—1945 гг.». Сейчас вышел первый том этого капитального издания. Он открывается сообщением «От главной редакционной комиссии», в котором дается научно обоснованная периодизация второй мировой войны, излагается программа и методологические основы труда и краткая характеристика содержания всех двенадцати томов.

В обращении от комиссии говорится:

«Вторая мировая война проходила в новую эпоху всемирной истории, открытую Октябрьской революцией,— в эпоху перехода человечества от капитализма к социализму. Главная историческая закономерность этой эпохи — революционное утверждение нового, коммунистического общественного строя — неуклонно преодолевала возникавшие на ее пути трудности и чинимые старым миром препятствия. Ее неодолимая сила проявлялась в растущих успехах первого в мире социалистического государства, в усилении его влияния на ход международных событий и развитие мирового революционного движения. Она особенно отчетливо сказалась в том, что именно Советское социалистическое государство внесло решающий вклад в сокрушение агрессоров в ходе второй мировой войны».

Первый том «Истории второй мировой войны 1939—1945 гг.» рассматривает события международной жизни, борьбы классов с конца первой мировой войны до осени

1935 года. Его первая часть посвящена зарождению войны в недрах мирового империализма, исследованию роли фашизма как ударной силы империализма и милитаризма, показывается возникновение первых очагов мировой войны. Вторая часть тома посвящена строительству социализма в нашей стране, его победе, развитию Советских Вооруженных Сил, росту их боевого могущества, укреплению обороноспособности нашей Родины. Широкое освещение получила в рецензируемом труде напряженная борьба миролюбивых народов во главе с Советским Союзом против военной опасности.

Именно в этот период состоялось крушение версальско-вашингтонской системы мирных договоров. В это время фашистские государства развернули бешеную подготовку к новой мировой войне при самой активной политической, экономической и идеологической поддержке американских, английских и французских капиталистических монополий. Исследование истории этого периода с марксистско-ленинских позиций имеет огромное значение для понимания того, в какой сокровенной тайне готовятся агрессии и как надо быть народам бдительными, чтобы не поддаваться на обманные заверения их организаторов, которые используют все средства социальной демагогии, все средства дезинформации, чтобы замаскировать свои чудовищные человеконенавистнические планы.

В своих заметках о задачах советской делегации на международном Конгрессе мира, который проходил в декабре 1922 года в Гааге, Владимир Ильич Ленин, резко критикуя пацифизм международной социал-демократии, указывал на необходимость «объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой война рождается...». Материалы первого тома восстанавливают в памяти читателя реальную политическую обстановку в мире накануне второй мировой. Война возникла не внезапно. Она вызревала в течение двух десятилетий в условиях углубления общего кризиса капитализма, обострения всех его экономических и социальных противоречий.

Под флагом антисоветизма к власти пришли в Германии фашисты. Антисоветизмом прикрывали свои агрессивные намерения японские милитаристы. С помощью германских фашистов реакционные круги США, Англии, Франции намеревались сокрушить

Советский Союз. Антисоветизм, как показывают многочисленные факты, приведенные в книге, был и духовным оружием агрессоров и их дымовой завесой, за которой скрывалась подготовка к новой войне. И здесь хочется на минуту оторваться от страниц книги, чтобы заметить, что и ныне антикоммунизм, антисоветизм остается идеологией агрессоров. И потому, откуда бы ни раздавались антисоветские угрозы — с Запада или Востока, — они всегда свидетельствуют о ненависти к социализму, новому миру, свидетельствуют об угрозе военной опасности.

Большое место в томе отведено анализу социально-исторических причин возникновения фашизма как открытой террористической диктатуры финансового капитала. Фашизм, как справедливо указывается в книге, — это детище общего кризиса капитализма, кризиса всей социально-экономической, политической и идеологической структуры буржуазного общества.

Излагая историю фашизма в Италии, Германии и других странах, авторы подчеркивают, что с первых дней возникновения фашистских режимов все их организационные и экономические мероприятия были подчинены подготовке к агрессии. Именно империализм и его порождение — фашизм подготовили вторую мировую войну, образовали ее горячие очаги.

Характеризуя причины возникновения первого очага войны на Дальнем Востоке, авторы указывают, что «война и колониальные захваты на протяжении ряда десятилетий были основными вехами японской истории. Кратковременные передышки между войнами служили главным образом для ликвидации последствий прошедшей войны и подготовки к следующей. Масштабы войн с каждым разом становились все более широкими. Это предопределило значительную роль милитаризма в жизни государства, влияние его на внешнюю и внутреннюю политику».

Открытая агрессия Японии против Китая, захват Маньчжурии, выход японских армий к границе СССР создали прямую угрозу новой большой войны. При попустительстве Англии, США и Франции японская военщина образовала опасный очаг на Дальнем Востоке. Это радовало поджигателей войны из Лондона и Вашингтона, уверенных, что японская агрессия направлена только против Советского Союза. Но они опасно прощались — японская агрессия повернулась

против их интересов в Азии и в бассейне Тихого океана.

Раскрывая сложный ход национально-освободительной борьбы трудящихся Китая против японских захватчиков, материалы тома показывают бескорыстную братскую помощь Страны Советов сражающемуся народному Китаю. Советский Союз поставлял революционной армии Китая оружие, боеприпасы, снаряжение, оказывал финансовую поддержку. Вместе с китайскими бойцами против японских захватчиков сражались советские военные специалисты во главе с Василием Блюхером.

Но уже тогда группа Мао Цзэ-дуна пыталась использовать эту помощь в своих авантюристических целях. В томе приводится любопытный факт, когда в начале 30-х годов «левая» группировка в руководстве КПК во главе с Ли Ли-санем считала, что «взрыв мировой революции» «подтолкнет революцию в Китае», пыталась организовать восстание в Маньчжурии. Этот провокационный план поддержал тогда фронтовой комитет Мао Цзэ-дуна. Это была явная попытка столкнуть в военном конфликте Японию и СССР во имя шовинистических притязаний сегодняшнего диктатора Китая.

Одновременно с агрессией против Китая проходило сближение Японии с фашистской Германией и Италией, закладывались основы их военного пакта, военного союза, направленного прежде всего против СССР.

В главе «Образование главного очага мировой войны» рассматриваются социальные и экономические причины, обусловившие захват фашистами власти в Германии. Поддержка крупных монополий, трусость и предательство интересов рабочего класса социал-демократией, оголтелый шовинизм прусского юнкерства, агрессивность немецкой военщины, потворство западных держав — вот что позволило Гитлеру занять кресло рейхсканцлера и на всех парах развернуть подготовку новой мировой войны.

Фашистский переворот в Германии явился поворотным пунктом в практической подготовке к войне, во всей политике немецкого империализма, в разрывании его военно-экономического, морально-психологического и чисто военного потенциалов. Он привел к возникновению в центре Европы опаснейшего очага войны. Лихорадочно заработал немецко-фашистский генеральный штаб, скрытно разработавший де-

тальный план войны против Франции с кодовым наименованием «Рой», планы вторжения в Австрию («Отто») и Чехословакию («Грюн»). Военная машина гитлеровской Германии была приведена в состояние боевой готовности. Над Европой нависла страшная опасность фашистского порабощения.

А что делали в это время правительства и правящие партии крупнейших буржуазных стран Европы? На этот вопрос дают исчерпывающий ответ последующие главы тома, где анализируется политика поощрения фашизма со стороны Англии, Франции, а также Соединенных Штатов Америки. Именно правящие круги Англии и США выступали против создания системы коллективной безопасности, за которую в предвоенные годы настойчиво и последовательно боролся Советский Союз, стремясь предупредить фашистскую агрессию. Англия, Франция, США сквозь пальцы смотрели на военные приготовления гитлеровцев. Многочисленные документы, свидетельства современников, в том числе и буржуазных, приведенные в томе, убедительно показывают, что политика поощрения фашизма, проводившаяся западными странами, отвечала классовым интересам монополистического капитала. Она и привела к развязыванию второй мировой войны.

Обобщая огромный фактический материал, показывающий, как в недрах капитализма созревал военный пожар, как разгорались его очаги, авторы труда разоблачают не только прямых фальсификаторов, но и показывают всю несостоятельность концепций буржуазных ученых, которые пытаются обелить финансовые монополии, снять с них ответственность за порождение фашизма. Это придает исследованию боевой, наступательный тон, делает его острым оружием в борьбе с нашими идеологическими противниками.

Вторая часть тома посвящена победе социализма в СССР и ее значению для отпора империалистической агрессии. Индустриализация страны, победа колхозного строя, осуществление культурной революции укрепляли обороноспособность Страны Советов, подымали боевую мощь Красной Армии и флота. На основе индустриализации была создана мощная оборонная промышленность, имевшая развитую отраслевую структуру. Возникло отечественное самолетостроение, производство танков и бронемашин, новых видов артиллерийского

оружия, надводных и подводных кораблей. Эта промышленность обеспечивала текущие нужды Советской Армии и накопление необходимых запасов на случай войны. Она была способна в военное время обеспечить на первых порах фронт необходимой техникой и вооружением, пока народное хозяйство не будет переведено на военные рельсы. Приведена интересная таблица производства боевой техники и вооружения в нашей стране в 1930—1935 годах. Из нее мы видим: если в 1930 году наша страна выпустила 899 самолетов, то в 1935 году — 2529, танков соответственно 170 и 3055. Эти и другие цифры, приведенные в рецензируемом труде, свидетельствуют, что в годы первых пятилеток социализм становился достаточно мощным, чтобы успешно противостоять любой империалистической агрессии.

Социализм породил могучие движущие силы: социально-политическое и идейное единство советских народов, их дружбу и патриотизм. Составители тома правильно отмечают, что «нерушимое единство Коммунистической партии и советского народа — главная черта социально-политического облика социализма». Именно это непоколебимое единство, вера народа в партию и помогли нам выстоять против сильного и вероломного врага в годы суровых военных испытаний.

Седьмая глава тома содержит краткий очерк развития Советских Вооруженных Сил в этот период. В нем дается характеристика Красной Армии как армии нового типа, армии защиты социализма, армии, стоящей на страже мира. На наш взгляд, следовало бы более обстоятельно перечислить имена тех военачальников, политработников, которые тогда закладывали основы могущества Красной Армии, развивали военную науку, создавали новые командные кадры, которые с таким блеском проявили себя на фронтах Великой Отечественной войны. Обзорность — существенный недостаток этой важной главы.

Первый том заканчивается рассмотрением внешней политики Советского государства, в основе которой лежали ленинские принципы мирного сосуществования государств с различными социальными системами. Все акции Советского правительства на международной арене в этот период, как показывают приведенные документы, направлены на обуздание агрессоров, на сохранение мира на земле.

Советская дипломатия придерживалась правила: «Не ждать мира, а бороться за него». Агрессивной внешнеполитической стратегии стран фашистского блока СССР противопоставил принцип неделимости мира и коллективной безопасности. Все это завоевало нашей Родине огромный авторитет у трудящихся всего мира.

Таково содержание первого тома «Истории второй мировой войны 1939—1945 гг.». В нем главным образом идет речь о философии войны, о ее социальных истоках.

Редакция тома проделала большую научную и литературную работу и в целом успешно справилась с поставленными перед ней задачами. Но при этом, как и в каждом большом деле, не обошлось без недостатков, на которые хочется указать,

учитывая, что работа над многотомной историей второй мировой войны только началась. И прежде всего на обзорность в изложении материала.

Приводятся иногда цифровые данные, без которых можно было бы обойтись. Ну к чему, скажем, в такой работе давать цифры, характеризующие состояние художественной самодеятельности в армии? Вызывают возражение и некоторые иллюстрации тома.

Первый том «Истории второй мировой войны 1939—1945 гг.» — капитальный исторический труд. Он будет с интересом встречен не только специалистами — военными историками, но и самыми широкими слоями наших читателей.

Вал. ГОЛЬЦЕВ.



## ХЛЕБ ЦЕЛИНЫ

Ф. Т. Моргун. Хлеб и люди. М. Политиздат. 1973. 350 стр.

«Хлеб и люди» — это и отчет хлебороба (так именует себя автор, 11 лет жизни и напряженного труда отдавший целине), это и воспоминания о прожитом, и глубокие раздумья передового агронома, советского патриота, коммуниста о хлебе. Чувствуется, что книгу эту автор просто не мог не написать. Она ему была нужна, необходима. Потому книга нужна и дорога нам, читателям.

Автор говорит, что Джек Лондон — один из самых любимых его писателей. «И все-таки герои Клондайка не идут ни в какое сравнение с героями покорения целины. У тех главная цель — золото, нажива, богатство... Там рисковали во имя личного обогащения... Совсем другие наши герои-целинники, которые терпели лишения и очень часто рисковали жизнью во имя благополучия нашего народа, совсем недавно так много пострадавшего в тяжелейшей войне с фашизмом... Разве вот эти парни... не достойны, чтобы о них узнал весь мир?»

История освоения целинных земель и тяжелейшей борьбы за хлеб рассказана автором на примере совхоза «Голбухинский», который сперва возглавлял прибывший сюда с Полтавщины агроном Моргун, на примере Ленинградского района, где его избрали секретарем райкома, на примере Павлодарской области, где он работал вторым секретарем обкома партии, и, наконец, Целинного края, где автор впоследствии

стал первым заместителем председателя крайисполкома и начальником краевого управления сельского хозяйства. История покорения целины показана непосредственным участником событий, причем кровно заинтересованным, радующимся каждому успеху своих товарищей, болеющим за каждый их и свой промах. Ф. Моргун успешно руководил многими партийными и советскими организациями на целине, его деятельность, направленная на улучшение условий жизни целинников, была поддержана правительством. Все это, казалось бы, позволяет автору говорить лишь о победах, забывая мелкие промахи в работе. Однако Ф. Моргун не желает показывать историю «в исправленном виде». О своих ошибках он говорит столь же подробно, как об успехах. Он беспощаден к себе, ибо надеется, что предостережет молодых руководителей от подобных просчетов. И в этом одно из проявлений высокой гражданской позиции автора, его партийного, заинтересованного отношения к жизни.

В самом начале книги Ф. Моргун пишет: «Я не литератор, а всего лишь хлебороб... на суд читателя предлагаю не повесть и тем более не роман, а просто документальный рассказ о том, что видел, что пережил».

Однако эта книга высокого публицистического накала, несмотря на солидный объем — почти в 20 печатных листов, — чи-



тается на едином дыхании, повествование напряженно и драматично.

Хочется воспроизвести хотя бы один из эпизодов — рассказ о том, как отец Ф. Моргуна, старый крестьянин, благословляет сына, едущего на целину.

«...Мой отец Трофим Евстафьевич выглядел торжественным. Еще на зорьке он ушел в сад, что-то там рубил и тесал. А когда подошел час прощания, появился в хате с чистым расшитым украинским рушником. На рушнике лежал небольшой свежесвытесанный кол. В комнате наступила тишина. Я медленно поднялся из-за стола.

— На колени, сынок, доченька,— прошептала мать.— На колени станьте...

Момент был столь волнующий, что ноги у меня подкосились сами собой, и мы с женой Саней стали на колени. Моя старшая сестра Мария подвела к нам наших притихших детей: семилетнего сына Вову и четырехлетнюю дочь Аллу.

— Вот, Федор,— сдерживая волнение, заговорил, стоя над нами, отец,— вот тебе мой наказ. Ту яблоню, что росла в конце огорода, у крыницы, еще до войны Владимир посадил (старший брат Ф. Моргуна.— О. М.). Из этой яблони я и вытесал кол. Он как раз по чемодану... И я тебе наказываю, чтобы ты там на целине начал жизнь отмерять от нашего кола. Чтобы создавали крепкое хозяйство, чтоб урожай у вас был, чтобы люди и вы там были счастливы.

Сказав это, он передал мне колышек, а затем вместе с мамой благословил и пожелал счастливого пути.

Я принял драгоценный дар, поднялся с колен и обнял родителей.

— Устраивайтесь,— тихо сказал батько...— я приеду, посмотрю...»

Потом, приехав в целинный совхоз, отец Моргуна увидел там беспорядок и при всех пошел на сына с кулаками, потому что ему, «батьке», «было стыдно перед людьми».

Со страниц книги встают многие героические эпизоды освоения целины. В жестокий казахстанский буран комсомолец Николай Шабатура спасает секретаря совхозной парторганизации Ислама Мажитова. Метель застала их в дороге, кончилось горючее, заглох мотор. Пришлось бросить остывшую машину. Продолжали путь пешком, ощупью отыскивая в снежной темноте дорогу. У Мажитова иссякли силы, и

комсомолец, сам изнемогая, тащит его по снегу на снятом с себя плаще.

Потом и самому автору пришлось пережить не менее трудную ночь. Узнав, что километров за сто от центральной усадьбы есть каменный карьер, где можно заготавливать столь нужный совхозу бут, Моргуна выезжает туда с группой товарищей. В пути их застает буран. Машины глохнут. Надо добираться пешком. А ветер не дает возможности двинуться. Даже Моргуну, выдавшему виды сержанту-фронтовику, изменяют силы. Он чувствует, что замерзает, мучительно хочется спать, и уже нет сил переставлять ноги. А люди все же ползут по обжигающему лицу снегу.

Битва за хлеб. Именно — битва. Нет, не для красного словца называет автор своих боевых друзей «однопольчанами-целинниками». Освоение целины действительно было грандиознейшим сражением партии и народа за изобилие хлеба. Сражением с грозной стихией — то с жестокой засухой, то с ураганными ветрами или проливными дождями. И всюду побеждали воля и героизм советского человека.

В книге есть цифровые выкладки, таблицы. Но и они органично вводятся в повествование. Благодаря им становилось понятно, с чем связаны столь резкие перепады в урожаях на целине, заставлявшие кого-кого сомневаться — стоило ли осваивать целину, не было ли это ошибкой?

Главы, посвященные экономическим проблемам, не выбиваются из общего стиля книги — в них чувствуется глубокая авторская заинтересованность в успешном выполнении воли партии.

Запоминающиеся страницы книги посвящены встрече автора с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым.

В августе 1957 года Л. И. Брежнев прилетал в Казахстан проводить совещание с руководителями областных и районных партийных организаций и сельскохозяйственных органов Северного Казахстана. Леонид Ильич находит время не только осмотреть новую усадьбу совхоза, но и побеседовать с целинниками совхоза «Толбухинский», поинтересоваться делами директорского сына, столь же страстного голубятника, как и его сын. Он как бы вскользь окидывает взором скромную домашнюю библиотеку директора. А спустя некоторое время тот получает неожиданно-негаданно из Москвы сюрприз: только что изданные ценнейшие книги.

И еще одна встреча — в Москве, в ЦК партии, куда Моргуна через несколько лет приводит дума о хлебе завтрашнем. Целинные ученые доказывают: зерновое хозяйство на новых землях необходимо вести со значительным паровым клином, а на местах в погоне за ежегодными требованиями увеличивать посевы пшеницы категорически запрещают отводить земли под пар. Отсюда на многих полях урожая... бурьяна. Срочно требуются орудия агротехники, которых не хватает.

«В приемной меня предупредили, что я могу располагать 10—15 минутами», — пишет Ф. Моргун. Но «беседа наша длилась более двух часов. Я увидел неподдельный

интерес секретаря ЦК к целинным проблемам и его желание немедленно практически помочь делу». И эта помощь вскоре приходит. Целина теперь будет давать еще большие урожаи.

Книга «Хлеб и люди» вышла через несколько месяцев после того, как Ф. Моргун был избран первым секретарем обкома партии той самой Полтавской области, где делал свои первые самостоятельные шаги как агроном-выпускник, откуда уехал на целину.

И читатель вправе надеяться, что через несколько лет он увидит новую книгу того же автора — «Записки секретаря обкома».

Олег МОИСЕЕВ.



## МЯТЕЖНАЯ ЭСКАДРА

Жан Ле Рамай, Пьер Воттеро. Бунтари Черного моря. Париж. «Эдиссон сосьяль». 1973. 236 стр.

Сотни научных исследований посвящены выяснению различных аспектов всемирно-исторического и международного значения Великой Октябрьской социалистической революции. Большое место занимает в них тема братской солидарности мирового пролетариата с рабочим классом Советской России в период гражданской войны и иностранной интервенции.

В. И. Ленин придавал огромное значение поддержке международным пролетариатом борьбы молодого Советского государства против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. «Эта победа, которую мы одержали, вынудив убрать английские и французские войска, — отмечал он, — была самой главной победой, которую мы одержали над Антантой. Мы у нее отняли ее солдат. Мы на ее бесконечное военное и техническое превосходство ответили тем, что отняли это превосходство солидарностью трудящихся против империалистических правительств»<sup>1</sup>. Одним из ярких примеров этой солидарности с республикой Советов, несомненно, является восстание моряков французской эскадры на Черном море в 1919 году.

Прогрессивное парижское издательство «Editions sociales» опубликовало в 1973 году воспоминания двух участников восстания — бывшего матроса-электрика линкора

«Франс» Жана Ле Раменя и бывшего рулевого линкора «Вольтер» Пьера Воттеро.

Задолго до окончания первой мировой войны, 23 декабря 1917 года, Франция и Англия заключили соглашение о разделе территории России на сферы влияния: французская сфера включала Украину, Бессарабию и Крым. К бывшему французскому послу Ж. Нулансу, оставшемуся в России, тянулись нити от заговоров Савинкова, Локкарта, Белочехов и многих других противников советской власти.

Военная интервенция на юге России начала осуществляться буквально через несколько дней после подписания перемирия между странами Антанты и Германией 11 ноября 1918 года. Уже в декабре 40-тысячный экспедиционный корпус, поддержанный французской военной эскадрой с Черного моря, начал оккупацию Бессарабии, Украины и Крыма. Разоблачая империалистический характер этой операции, Марсель Кашен говорил с трибуны палаты депутатов, что речь идет о попытке реакции «затянуть петлю на шею русской революции».

Несправедливый, антинародный характер войны, развязанной (хотя и не объявленной) правящими кругами Франции против республики Советов, очень скоро был понят французскими рабочими и крестьянами, одетыми в солдатские шинели и матросские блузы. Они стали открыто выступать

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 391.

за прекращение интервенции, не скрывал своих симпатий к Советской России. Большую работу среди французских солдат и матросов развернули одесские большевики и группа французских коммунистов, в которой важную роль играла дочь участника Парижской коммуны Жанна Лябурб. О встрече с Жанной в Одессе рассказывает в письме к одному из авторов воспоминаний, Ле Рамею, бывший матрос Фредерик Докро. «Возвращайтесь во Францию,— говорила она Докро и его товарищам,— и передайте французскому народу, что большевистская армия стремится освободить свой народ от царского рабства. Пропагандируйте ваших товарищей за то, чтобы интервенция в России прекратилась как можно скорее».

2 марта 1919 года Жанну Лябурб по приказу французского командования расстреляли, но листовки и обращения, написанные ею, еще долго ходили по рукам французских солдат и матросов.

В начале февраля 1919 года солдаты 58-го пехотного полка отказались подчиниться приказу командования идти в наступление на Тирасполь и остались в казармах. Полк был разоружен и не участвовал более в боевых действиях. В марте движение за прекращение интервенции охватило 17-й пехотный, 19-й артиллерийский и 7-й саперный полки. Число частей, отказавшихся повиноваться, росло.

Вскоре волнения охватывают корабли французской военной эскадры, крейсировавшей вдоль берегов Крыма. О восстании на линкоре «Франс» рассказывает бывший матрос-электрик Жан Ле Рамей. «Еще не остыла огромная радость, которую принесло перемирие 11 ноября 1918 года,— пишет он,— как наш энтузиазм упал: линкору надлежало 8 декабря направиться в Черное море». Вскоре по кораблю пронесся слух, что предстоит война с большевиками. Возмущение экипажа, как вспоминает Ле Рамей, было настолько сильным, что командир «Франс» капитан первого ранга Робэ-Пажийон еще до отплытия корабля списал на берег 60 человек из числа самых «неблагонадежных».

На «Франс» несколько лет существовала подпольная революционная группа, насчитывающая от 20 до 30 человек. Группа регулярно проводила собрания, на которых обсуждались доклады о текущем положении. Из газет, попавших на корабль, моряки узнали о кампании, начавшейся во

Франции против военной интервенции в России. 17 апреля на нижней палубе появился плакат, призывающий «не стрелять в наших русских братьев» и «не быть орудием клемансистской реакции».

Когда кораблю отдали приказ выйти на внешний рейд Севастополя и начать обстрел окрестностей города, где стояли части Красной Армии, большинство матросов отказались подчиниться, а адмирала, прибывшего на «Франс» для усмирения мятежников, освистали.

19 апреля взбунтовавшиеся матросы избрали трех делегатов, которые предъявили командованию требования: прекращение войны против России, скорейшее возвращение во Францию, облегчение дисциплины, улучшение питания, предоставление отпусков. В этот же день к морякам «Франс» присоединяется команда флагмана французской эскадры линкора «Жан Бар», направившая своим товарищам приветственное письмо, в котором, в частности, говорилось: «Мы категорически отказываемся стрелять в наших братьев-большевиков».

20 апреля, в день пасхи, восстание разгорается с новой силой. На «Франс» одна за другой прибывают делегации от других кораблей и воинских соединений. Так, солдаты 175-го пехотного полка просят оставшихся моряков взять их на борт и доставить во Францию. Своего апогея восстание достигает после расстрела греческим патрулем под командованием французского офицера мирной демонстрации севастопольцев, в которой приняли участие и около 300 французских моряков. Двух матросов убили, несколько человек получили ранения. Это произошло 20 апреля.

Разгневанные моряки заставляют командующего эскадрой дать обещание вывести корабли из русских территориальных вод.

В 10 часов утра 23 апреля мятежный линкор покидает Севастополь и 29 апреля бросает якорь в Бизерте. 4 мая на борт корабля прибывает специальная комиссия, которая проводит расследование. В результате 33 матроса были арестованы и отданы под суд, а остальные в спешном порядке демобилизованы.

Восстание распространялось все шире. В течение апреля оно охватило экипажи 13 кораблей французской черноморской эскадры, которую в спешном порядке вывели во Францию.

Антиинтервенционистские выступления продолжались все лето 1919 года. Наиболее

широкий размах они приняли на линкоре «Вольтер». Об этом рассказывает в книге его активный участник Пьер Воттеро.

Линкору «Вольтер», находившемуся в момент описываемых событий в Бизерте, по замыслам французского правительства, предстояло заменить восставшие корабли в Черном море. Это официально подтвердил адмирал де Маржери, поднявший на «Вольтере» свой вымпел.

Как только эта новость стала известна команде, на корабле вспыхнуло массовое возмущение. 15 июня во время обхода адмиралом корабля команда встретила его криками: «Демобилизация!», «Нет — борьбе с революционной Россией!», «Свободу морякам линкора «Франс»!» Вечером того же дня 800 человек экипажа собрались на палубе и распевали революционные песни.

17 июня команда избрала четырех делегатов, в числе которых был и автор воспоминаний, предъявивших капитану линкора следующие требования: отказ плыть на восток, возвращение корабля в Тулон, отказ грузить уголь и боеприпасы, немедленная демобилизация резервистов и всех моряков, срок службы которых заканчивался в 1919 году, предоставление отпусков, улучшение питания, отказ от войны против революционной России, освобождение моряков линкора «Франс».

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией, — заявили делегаты. — Следовательно, не должно быть интервенции, и мы отказываемся сражаться против русской революции».

В результате «Вольтер» не был направлен к русским берегам. Восставший экипаж высадили в Тулоне и заменили новобранцами, которых так и не рискнули послать в Россию. «У нас остается уверенность, — пишет Воттеро, — что наши действия были полезны, а наши жертвы не напрасны, и мы можем гордиться тем, что защищали Октябрьскую революцию 1917 года».

Отдельная глава воспоминаний Воттеро посвящена его пребыванию в тюрьме в

1919—1922 годах. Автор рассказывает о мужественной борьбе восставших моряков, продолжавшейся в заточении, о широкой кампании за их освобождение, развернувшейся по всей стране, отзвуки которой доходили до их камер и вливали в заключенных новые силы.

Большой интерес представляют подробные выдержки из судебных отчетов о процессе над восставшими моряками, состоявшемся 29 сентября — 9 октября 1919 года. 26 человек с «Франс» приговорили к тюремному заключению на сроки от 6 месяцев до 15 лет. 8 моряков с «Вольтера» получили от 3 до 20 лет.

Восстание французских моряков, равно как и антиинтервенционистские выступления в армиях других империалистических держав в 1918—1920 годах, ярко свидетельствует об огромном революционизирующем влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на трудящихся всего мира.

Пример французских моряков, как подчеркивает в предисловии к книге член ЦК ФКП Франсуа Бийу, показывает, что «истинный патриотизм неотделим от пролетарского интернационализма, в то время как пассивная покорность буржуазному государству ведет к предательству национальных интересов».

Восстание моряков французской эскадры на Черном море наряду с развитием революционного рабочего движения в самой Франции во многом подготовило условия для образования Французской коммунистической партии в 1920 году. Многие моряки, в том числе и авторы воспоминаний Ле Рамей и Воттеро, одними из первых вступили в ряды ФКП.

Революционные выступления французских моряков в 1919 году навсегда вписаны не только в историю французского рабочего движения, но и в летопись дружбы советского и французского народов.

**П. ЧЕРКАСОВ,**  
*кандидат исторических наук.*



---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**НА УДАРНЫХ СТРОЙКАХ.** Рассказывают писатели и журналисты. Составитель Л. С. Попов. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 1974. 127 стр.

Одна из примечательных особенностей литературы последних лет — возрастающий выпуск книг, посвященных трудовым будням нашего народа. Произведения отдельных авторов и коллективные писательские сборники о крупнейших предприятиях, новостройках, о традициях рабочей чести выходят в издательствах центральных и местных, заметно теснят «чистую» беллетристику на страницах литературной периодики.

Идея сборника «На ударных стройках», выпущенного в Челябинске, родилась на собрании областной писательской организации, когда обсуждался вопрос о том, каков будет вклад литераторов в борьбу за выполнение пятилетнего плана.

Южный Урал — край славных индустриальных традиций. Металл Магнитогорска, сталь Златоуста, гусеничные богатыри с маркой ЧТЗ — трудно перечислить все слаемые славы этой суровой и щедрой земли на стыке Европы и Азии, которую справедливо называют «опорным краем державы».

Рождение новой, советской литературы неразрывно связано в этих местах с теми же очагами современной промышленности. «Буксир» на Магнитострое, «Мартен» в Златоусте, «Трактор» в Челябинске — эти и другие объединения открыли дорогу в литературу ныне известным всей стране поэтам и прозаикам: Б. Ручьеву и А. Авдеенко, М. Львову и Л. Татьяничевой, К. Мурзида и Н. Воронову. И ныне связь уральских литераторов с творцами «тонн», «мощностей», «кубометров» — всего, что является четкими параметрами пятилетки, реальным ее содержанием, — носит не эпизодический характер. Авторы книги «На ударных стройках» давно уже стали своими людьми на ударных стройках области.

О реконструкции ЧТЗ имени Ленина, в результате которой, ни на минуту не останавливаясь, завод перестраивается на выпуск мощных тракторов промышленного назначения, рассказывает кадровый работник предприятия, один из авторов изданной недавно Профиздатом «Летописи Челябинского тракторного» Леонид Комаров.

Строители и эксплуатационники цеха

покрытий Магнитогорского металлургического комбината — герои очерка уральского писателя Марка Гроссмана. На Магнитострое в 30-х годах началась его трудовая и литературная биография. И сегодня, вглядываясь в черты нового поколения магнитогорцев, вникая в их дела, автор вспоминает годы юности, связывает в одну линию прошлое с настоящим. Тон человека глубоко причастного придает очерку обаяние доверительности.

Писателю Петру Смычагину житейски и творчески близки степи Урала, жизнь и быт сельских тружеников. Потому он и взялся рассказывать о том, как индустриализируется сельское хозяйство края, как на смену животноводческим фермам идут полностью механизированные комплексы по производству мяса, работающие на строго научной основе.

Сборник тематически разнообразен, рассказ о каждом коллективе вписан в контекст жизни всей страны; авторы исследуют закономерности становления новых производств, пишут о внимании, которое оказывает вся страна ударным стройкам. Интересен, например, опыт «Комсомольской правды», шефствующей над реконструкцией ЧТЗ (очерк журналиста Анатолия Семинога «Комсомолка» в рабочей спецовке).

В сборнике «На ударных стройках» не все равноценно. Есть страницы беглого репортажа, переполненные цифрами, именами, важными и второстепенными фактами (этим грешат особенно очерк Л. Комарова и очерк А. Ярушина «Руками молодыми»). Не обошлось и без весьма однообразных описаний встреч и разговоров авторов с производственниками. Но лучшие страницы книги — это цельные, психологически детализированные портреты современников (Героя Социалистического Труда Михаила Коновалова — «На железной земле» М. Гроссмана, строителя Василия Осипцева — «У подножия Таганая» А. Шмакова и других).

Писательская публицистика — это не этюд к более крупному произведению. Очерк не только схватывает действительность в ее сиюминутной злободневности. Очерк может и должен, констатируя факт, идти к ее анализу, к пониманию ее нюансов, к прогнозированию тех вопросов, которые в полной мере дадут о себе знать завтра.

Происходят качественные сдвиги в рабочем классе, в разных слоях трудящихся. В той же деревне, где строится описанный П. Смычагиным свиноводческий комплекс, не будет ни свинарей, ни пастухов, но резко возрастет количество ветеринарных работников. Структурные изменения подобного рода отражаются и на психологическом климате предприятий, и на управлении ими, и на трудно учитываемой, но безусловно меняющейся шкале потребностей человека — трудовых, бытовых, культурных.

На передовых рубежах пятилетки встречается множество явлений, требующих комплексного осмысления экономистами, философами, социологами. Но и гражданственное слово писателя необходимо здесь не меньше научного инструментария ученого. Книга «На ударных стройках» еще раз показывает верность этой мысли.

**Е. Арензон.**

Челябинск.



**КСЕНИЯ НЕКРАСОВА. Стихи. Составитель Л. Е. Рубинштейн. М. «Советский писатель». 1973. 160 стр.**

В нашей многоликкой литературе издавна существует явление уникальное и развивающееся по своим законам — русская женская поэзия. Этот своеобразнейший художественный мир проделал за полтора столетия сложную эволюцию от Анны Буниной до Анны Ахматовой.

Ксения Некрасова (1912—1958), чья книга избранных стихов выпущена издательством «Советский писатель», выбрала с вои путь в поэзии. Смело можно сказать, что ее стихи вообще ни на кого и ни на что не похожи (единственное сопоставимое с ней явление в поэзии — это, пожалуй, Новелла Матвеева, ее сборник «Душа вещей»). В своем предисловии Л. Рубинштейн сообщает, что Анна Ахматова «с восторгом и удивлением» слушала стихи Некрасовой. Чувство Ахматовой вполне понятно: творчество Некрасовой, при всей его несомненной талантливости, должно было казаться ей образцом необычной, неблизкой поэзии.

Ксения Некрасова писала так, как будто она была первой поэтессой на земле, как будто ее знаменитых предшественниц в поэзии не существовало. Разумеется, тут не было никакого отрицания, никакой полемики — ту же Ахматову Некрасова читала и написала о ней прекрасное стихотворение. Просто поэзия ее первозданна, неразложима на влияния. Здесь нет стройных стиховых конструкций, у ее стихотворений своеобразная архитектура, особого рода пластика. Некрасова сама говорила:

Слова мои — как корневища,  
А мысль — как почвы перегной.

Поэтесса выбрала в поэзии путь, который условно можно назвать «путем Хлебникова», — «высокое конноязычие». Внутри ее свободного стиха живет ничем не связан-

ное, по-новому осознанное поэтическое слово. У Некрасовой неожиданная, сложная и в то же время очень непосредственная поэтическая образность. Стихи ее строятся порой на частушечной и песенной основе:

Пил высокий, чернобрый,  
Плечи как сажень,  
Галстук новый,  
Лиджак новый,  
При часах ремень.

Вместе с тем стих Некрасовой умеет быть и строгим, точным и лаконичным:

Что ты ищешь, мой стих,  
Преклоняя колени  
У холмэв погребальных?

Ее поэтический взгляд на мир — это всегда как бы первый, ясный, ничем не замутненный взгляд изумленного богатством бытия человека. Поэтическая индивидуальность Некрасовой именно в этой естественной органичности, непосредственности, первозданности восприятия жизни. И потому особенно интересны ее размышления о культуре — о живописи и архитектуре, о ювелирах и их работе («Готика», «Инкрустация», «О мастерстве», «Рублев. XV век» и другие).

О Ксении Некрасовой мы знаем очень мало. Ее прекрасный портрет работы Р. Фалька воспроизведен на суперобложке сборника (кстати, за этот портрет Некрасова «заплатила» живописцу по-своему — не менее прекрасным стихотворением «О художнике»). О жизни поэтессы рассказали нам Ярослав Смеляков (в сборнике «День России») и Евгений Евтушенко (в давнем стихотворении «Памяти поэта Ксении Некрасовой»).

Да, сведений мало. Но остаются стихи, остается с нами поэзия, представляющая собой своего рода дневник, поэтическую автобиографию. И в мире этой цельной поэзии навсегда запечатлен образ его создательницы, оригинального поэта и человека Ксении Некрасовой.

**Вс. Сахаров.**



**С. АЛЕКСЕЕВ. Небывалое бывает. М. «Детская литература». 1973. 592 стр.**

Трудно представить себе детское чтение без яркой, умной книги на историческую тему. Она может стать замечательным спутником детства, как «Овод», «Спартак», «Хижина дяди Тома», «Капитанская дочка» или «Баллады» А. К. Толстого. Ребенка изумляет, что люди жили, боролись, мечтали о будущем задолго до его появления на свет.

Любопытное путешествие в прошлое обещает младшим школьникам книга Сергея Алексеева «Небывалое бывает», где в небольших рассказах на историческую тему охвачены важные периоды из жизни русского народа. Да и не только русского.

Здесь вы встретите украинцев, белорусов, башкир — представителей разных национальностей, сражающихся с богатеями в отрядах Разина и Пугачева, дерущихся в одном строю против иностранных захватчиков в Отечественной войне 1812 года. Исторически сложившаяся общность — советский народ по праву гордится переплетением своих корней еще в далеком прошлом. Нам всем равно принадлежит Богдан Хмельницкий и Салават Юлаев, Кармелюк и Болотников, Сковорода, Разин и Пугачев.

В новом, порой неожиданном ракурсе увидит читатель Степана Разина, Емельяна Пугачева, Петра Первого, Александра Суворова, фельдмаршала Кутузова, каждому из которых посвящен цикл рассказов, связанных одной сюжетной цепочкой. Можно назвать в книге С. Алексеева немало запоминающихся характеров людей из народных низов. Среди них крестьянские парни — разинцы Егор и Яков, саратовский бондарь Галушка, казаки Гусь и Присевка, запорожец Иван Сорока... Ловлю себя на том, что, называя имена, не испытываю необходимости вновь обращаться к тексту. Герои запомнились, хотя и не стоят в центре повествования.

Многие рассказы в книге населены детьми — ребятами живыми, «всамделишными», любящими игру, шутку, но находящимися, как и взрослые, под давлением суровых обстоятельств.

Особенно удались автору образы Гришатки Соколова и Мити Мышкина («История крепостного мальчика» и «Жизнь и смерть Гришатки Соколова»), свидетельствующих жизнью своей, как труден был путь народа к вершине сегодняшнего дня. Естественно и поэтично оживает прошлое в книге Сергея Алексеева, проявившего острое чутье к историческому материалу, психологическую зоркость, умение тонко живописать словом.

Два замечания. В хорошо отредактированной книге вдруг повторился один и тот же рассказ — «Измаил». Он является составной частью повести «История крепостного мальчика». И уж совсем не обязательно — слово в слово — дублировать его в разделе, посвященном Суворову. Пожалуй, излишне шаржирован оренбургский генерал-губернатор Рейсдорп, беспощадно колющий своих подчиненных стальными иглами. Здесь явный пересол, утка достоверности, столь характерной в целом для умной и талантливой книги С. Алексеева.

**Богдан Чалый.**

Киев.



**РЕМБРАНДТ.** Автор текста и составитель альбома Л. А. Ефремова. М. «Искусство», 1973.

Обычно, посмотрев альбом репродукций какого-нибудь художника и прочитав текст, предваряющий эти репродукции, вы узнаете массу сведений и о биографии са-

мого художника, и о его современниках, и о том, как замечательно художник умел организовывать пространство своих картин.

Но бывают книги совсем иного рода.

Издательство «Искусство» выпустило альбом, посвященный Рембрандту. Чистого текста в этой книге не более 20 страниц. Однако когда читатель доходит до последнего абзаца, у него возникает ощущение, что он не просто прочитал текст, предваряющий альбом репродукций, а сам побывал в шкуре живописца.

Возникает это ощущение от поразительной убедительности, с какой автор текста раскрыл внутренний мир художника. В книге передана физическая потребность, физическая необходимость для Рембрандта накладывать краски на холст по законам своего искусства, не считаясь с тем, модно это или не модно, отвечает ли его способ изображения действительности современным требованиям или не отвечает, довольны ли его заказчики своим изображением или возмущены, в достатке ли живет сам художник или в нищете.

Перед нами анализ деталей картин, написанных Рембрандтом в разные годы. Руки ученого (портрет 1631 года), руки Данаи (1636) и руки старого еврея (1654).

«Руки в портрете ученого старательно срисованы. Для того чтобы охарактеризовать их, Рембрандту пришлось нарисовать все морщинки кожи. Рисунок скован. Художник в границах рисунка как бы раскрашивает руки и книгу, на которой они лежат.

Руки Данаи. Мазок кисти легко и свободно лепит руку. Художник опускает детали, границы между предметами растворяются, входя в единый строй живописи: перед нами живое, дышащее тело.

И посмотрите на третий фрагмент — руки с портрета старика еврея 1654 года...

Сравните эти три фрагмента. Они дают очень ясное представление о том, как Рембрандт к концу 30-х годов достиг высочайшего мастерства и как в дальнейшем он его разрушил, ибо критерий мастерства был для него уже иным.

Художник теперь не только не скрывает, как все сделано, а, наоборот, обнажает мазки краски, обнажает материал живописи...

Мазки краски пастозные, нервные. Когда смотришь на портрет, отойдя на некоторое расстояние, то мазки краски превращаются в старческие руки, и все-таки видишь краску...»

Такой анализ конкретных деталей рембрандтовских картин помогает вам как бы самостоятельно открыть для себя ту простую истину, что мастерство настоящего художника находится в кровном родстве с его мировосприятием. И меняться мастерство может только под воздействием общих перемен в мирозерцании художника.

Чем старше становился Рембрандт, чем свободнее выражал он свое понимание

жизни и живописи, то есть чем значительнее и тоньше становилось его мастерство, тем хуже относились к нему современники. Но именно благодаря этой свободе его картины в музеях мира висят не как безжизненные тела, нарисованные и раскрашенные умелыми организаторами плоского пространства, ограниченного бронзовой рамой, а как живые свидетели жизни души художника.

Весь текст альбома — в каждом своем абзаце, в каждой строке — апофеоз труду живописца.

Впрочем, книга о Рембрандте и не может быть не чем иным, как апофеозом труду художника. Не только потому, что Рембрандт Гарменс ван Рейн действительно был одним из величайших живописцев мира, но прежде всего потому, что судьба Рембрандта как бы самым сцеплением событий и обстоятельств его жизни говорит нам о великой любви художника к своему труду. Чем еще, если не этой великой любовью, можно объяснить само существо-

вание последних полотен Рембрандта, созданных в те годы, когда он уже не надеялся ни на то, что картины его будут куплены, ни даже на то, что они покажутся прекрасными хотя бы какому-нибудь случайному прохожему?

«Рембрандт, старый Рембрандт, в последний год своей жизни похоронивший единственного оставшегося духовно близкого человека — сына... Для кого ему было писать, когда даже показать работы было некому?»

Выставка — это изобретение XVIII века...

Писать для будущих поколений? Но Рембрандт вряд ли надеялся, что картины всеми забытого художника дойдут до потомков.

И все же он работал со все возрастающей мощью».

Что к этому можно добавить? Разве только еще два факта. Могила великого Рембрандта неизвестна. Родина художника была последней страной, признавшей его величие.

**Б. Сарнов.**





---

---

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

**Л. И. Брежнев.** Молодым — строить коммунизм. 2-е доп. изд. 527 стр. Цена 80 к.

**Визит Леонида Ильича Брежнева в Республику Куба.** 28 января—3 февраля 1974 г. Речи и документы. 112 стр. Цена 15 к.

**Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями.** Июнь—июль 1919 г. Сборник документов. Т. 8. 792 стр. Цена 2 р. 11 к.

**М. Чернышев, К. Чермашенцев.** Жизнь — Родине. О Маршале С. С. Вирюзове. 111 стр. Цена 14 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Аникст.** Шекспир. Ремесло драматурга. 607 стр. Цена 1 р. 51 к.

**Э. Крустен.** Книга о Пексах. Роман. Перевод с эстонского Н. Яворской. 262 стр. Цена 42 к.

**А. Кушнер.** Письмо. Стихи. 95 стр. Цена 26 к.

**В. Сапожников.** Портрет акварелью. Повесть и рассказы. 320 стр. Цена 48 к.

**К. Федин.** Писатель. Искусство. Бремя. 3-е доп. изд. 671 стр. Цена 1 р. 83 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Г. Джеймс.** Повести и рассказы. Переводы с английского. Составление и предисловие А. Елистратовой. 432 стр. Цена 93 к.

**Я. Ивашкевич.** Хвала и слава. Роман. Перевод с польского В. Раковской, А. Граната, М. Игнатова, Ю. Абызова. («Библиотека всемирной литературы») Т. 1. 590 стр. Цена 2 р. Т. 2. 558 стр. Цена 1 р. 92 к.

**К. Федин.** Собрание сочинений. В 10-ти томах. Т. 10. Сочетание лет. Горький среди нас. Шаг за шагом. 446 стр. Цена 1 р. 10 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Исбах.** Юность моя, комсомол мой. Рассказы. 319 стр. Цена 72 к.

**Коммунисты, вперед!** Сборник стихов. Составитель В. Пуцыло. 191 стр. Цена 79 к.

**В. Шефнер.** Скромный гений. Фантастические повести и рассказы. 272 стр. Цена 40 к.

### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Н. Зарьян.** Давид Сасунский. Повесть по мотивам армянского эпоса. Перевод с армянского Н. Любимова. 270 стр. Цена 87 к.

**К. Ломунов.** Ленин читает Толстого. 160 стр. Цена 75 к.

**В. Осева.** Динка. Повесть. 589 стр. Цена 1 р. 41 к.

**Е. Рысс.** Петр и Петр. Роман. 383 стр. Цена 84 к.

**А. Халдов.** Там, где засыпает солнце. Повести и рассказы. 159 стр. Цена 42 к.

---

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

---

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

---

Сдано в набор 26/II 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/V 1974 г.  
А 02267. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)  
Тираж 175 000 экз. Зак. 715.

---

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5, в комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02319.

Цена 70 коп.

70336